

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

4 (417)

2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ
Владимир Гандельсман. Статуэтки 3
Альбина Синёва. «За столько лет, что шли с тобой навстречу...» и др. стихи ... 138
Алексей Порвин. «Не подлежать замене на свет...» и др. стихи 146
Надежда Мальцева. «Эмигрантский вальсок» и др. стихи 172
Олег Дозморов. «Подошел к самому себе...» и др. стихи 194
Андрей Пермяков. «На вокзалах они виноградные...» и др. стихи 199

ПРОЗА
Вадим Ярмолинец. Свинцовый дирижабль «Иерихон 86-89». Роман 9
Борис Хазанов. Плюсквамперфект и другие времена 148
Леонид Немцев. Дунайская магнолия. Сознание переселяется. Рассказы ... 179
Александр Кузьменков. Вакидзаси. Эксгумация. Рассказы 202

Сергей Слепухин. О прозе Александра Кузьменкова 230

ДЕБЮТ
Леонид Дроздов. Пуро. Осень 2007-го года. Рассказы 142

В СВОЕМ ФОРМАТЕ
Сергей Боровиков. В русском жанре – 38 232

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
Евгения Изварина. Путь «искренность – правда – истина» в поэзии Максима Анкудинова: первое приближение 238
Сергей Слепухин. «Мне это ощущение знакомо...» 244
Олег Рогов. Пусть Пелевин повторяется...; Классика и современность 247
Александр Журов. Всего лишь быть 247
Олег Рогов. От трагедии – к идиллии 251
Сергей Трунев. Влияние почвы 252

КИНООБОЗРЕНИЕ
Иван Козлов. Морфий для пленного солдата 253

© «Волга», 2009

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

Статуэтки

Девка в двух частях

1. С подругой

Ах, елозилось, мать, вкривь и вкось.
Муж за двери –
я к любовнику, там – ноги врозь.
Люди – звери.

Рвут друг друга на мясо, пасть в пасть,
чтобы слиться.
Да ведь лучше раскваситься в страсть,
чем озлиться.

Здесь ссыхайся, а там разминай,
как кобыла,
круп и лядвия и отстенай,
что копила.

Бросить мужа? Сама посуди,
что с ним будет?
Там скачи, мать, а здесь посиди, –
не убудет.

У того есть супруга и сын, –
тоже, к счастью,
не разбёгся. Глядишь – керосин
вытек страсти.

Мясо мясом, а смотришь – скелет.
Что с ним сталось?
Так и вышло за тридцать-то лет –
рассосалось.

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН родился в 1948 году в Ленинграде, получил высшее техническое образование. Работал сторожем, истопником, грузчиком, гидом. По рабочей визе уехал в США (1990), где работает преподавателем русского языка по сей день. Печатается с конца 80-х. Автор более 10 сборников стихов (большая часть в изд-ве «Пушкинский фонд», СПб) и литературного дневника «Чередования». Переводил стихи Льюиса Кэрролла, Уоллеса Стивенса, Джеймса Меррилла, Томаса Венцловы (переводы вышли отдельной книгой) и др. Живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

Ну а главное нас пронесло,
зла семье-то
мы не сделали, – где оно, зло?
Славно это.

Как устроилась, как сопряглась,
приварилась
к жизни подлая жизнь, ты не сглазь,
всё забылось!

Улеглось, утряслось, улеглось,
оклемалось.
Ах, как славно, мать, всё солгалось,
как соткалось!

2. Предсмертная песня

Загребают справа-слева грабли скорые,
ветры воют, как взбесившиеся «скорые»...

А не то бывала ночь – вся предвкушение,
смерть как где-нибудь в танзании крушение:

вся нестрашная, забавная, забытая,
жизнь как блядство, жажды карта недобитая,

и никто не завывает, кроме любчего,
кроме нежно-изомлевшего подъюбчего,

да и с мужем хорошо пилось-затягивалось
сигареткой, да в постельке-то потягивалось...

Кто ты есть? Не узнаю, – на узнавание
сил не стало – что ещё за изваяние?..

Говорю во тьму залегшую, кромешную:
Господи, прости блядь-душу грешную!..

Всё! молчу, берёт паскуда на измор, вия
из меня, живой, верёвки. На хер! Морфия!..

Ночь подходит, приливает ночь вплотную.
– Что, лютуешь? – Отвечает ночь: лютую.

На веранде

Если, глядя на закат, признаться,
надо бы давно разняться,
жизнь прошла бок о бок
с тобой чужим, долгий обморок,

что запомнила – сказать боюсь:
вонь похмельного рта,
хрипы надо мной, человек гол и бос,
тело живо, душа мертва,
я хотела, чтобы ты пропал
без вести и наверняка,
вот колода, бери, когда не устал,
доиграем в пьяницу-дурака,
если есть надежда – на смерть она,
там с тобой прощусь
так светло, что уйду прощена,
на краю бессмыслицы преображусь.

Живые и мёртвые

Я остро чувствую отсутствие
людей, которые ушли.
Сойти с ума и жить безумствуя,
ноль умножая на нули?

Нельзя. «Уж лучше посох...» В опыте
утрат, как белка в колесе,
вертись всей памятью. Но, Господи,
куда они девались все?

Я в гроб смотрел со всею утлою
своей способностью смотреть,
и труп мне показался куклою,
и мерзкою игрушкой смерть.

Потом из пустоты бесчисленной
свет, чёрно-белый на просвет,
возник как смысл, но обессмысленный,
как если б «да» сказало «нет».

И это всё. Молчи. А то ещё
беду притянешь, как магнит.
Но если что-то мнит чудовище
живых людей, то пусть не мнит.

Бес

Копнёшь – и расшевелится,
расшебуршится прах,
как шушвальная швейница
в лохматых лоскутах,

проклянчится, проклюнется
да и пойдёт в разлёт:

то в небеса расплюнется,
то землю облюёт,

то в смраженье прокрадется
на людные стези,
чтоб вширь и вшмяк разгадиться
и расцвести в грязи.

Учтивость

Такси с коврами, впихнутыми в пасть
багажника, – иранцы! – мчится мимо,
чтобы, вписавшись в поворот, пропасть.
Совсем пропасть? Совсем. Невозвратимо.

Японец на почтамт несёт письмо.
Над ним, в тяжелой грации движений,
два облака, как два борца сумо,
плывут на юг, толстея от сравнений.

Щепотка мексиканских женщин ждёт
автобуса, который на подлёте
и скоро подчистую их склюёт.
Совсем склюёт? Совсем. Прощайте, тёти.

Прощайте, люди. Временная жизнь
почти прошла, – сужаясь, как воронка,
она меня сверлила: ужаснись!
Но я безмолствовал и улыбался тонко.

Путём ума

Был скуден ум, бредя своим путём,
потёмками... Но думая, что зряч он.
И зря. Несовершенен и невзрачен,
он стал умом сравнительно потом.

Он протирался изнутри до дыр,
он тыкался во все углы и двери,
покуда не прозрел: резвились звери
и рвали пёструю игрушку – мир.

Тогда он сиганул к зверям в окно, –
роскошный сад соцветий и соитий
кипел и засыпал к утру в пресыте.
Как празднично со всеми заодно!

Он просыпался с пеньем пьяных птиц,
опившихся росой, там не трезвели, –

отбросив букву трезвости, резвели, –
и ликовал цветущий сад убийц.

Узорами решётки окружён,
ум жил под стать желанию-погодку,
пока не оценил вполне решётку
и не утёк по междупрутью вон.

Уразумев, что он трухляв и вял,
а бодростью, что жалкий гроб, поваплен,
он, семеня и дрыгаясь, как Чаплин,
за полы сюртука себя хватал, –

одёргивал, чтоб истиннее шлось.
И впрямь, по ходу времени прямилось
всё более, и вдруг, как Божья милость,
в нём медленное веденье зажглось.

Он загляделся на попутный куст
(так чудно в потаённости расцветший!)
и в дальней дали, никуда не ведшей,
освобождающе лишился чувств.

Потом и вовсе жить забыл, потом
не стало мыслей и воспоминаний,
а с ними – ярких наименований
вещей, и блудный ум вернулся в дом.

Смотрю в окно

Только белки пушные рывки
вдоль по древу –
точно в сердце подтянут колки –
опора напеву.
Ведь давно нет мертвей на земле
инструмента,
что на жизнь отзывался во мне.
Важность момента.

Природа и мы

В светловальне дня прояснены
все детали. Тих прозрачный скит.
Дерево подробной желтизны
в полноправном трепете стоит.

Или вдруг бестрепетно замрёт,
и не то что вскользь по сторонам, –
ни назад не смотрит, ни вперёд.
Горе, моя радость, горе нам.

Событие жизни

Жарким полднем в Феодосии,
по пути на море или с моря –
в ослепительном оно разбросе
и в замедленном теперь повторе, –
в магазине «Канцелярские товары» –
глобусы, карандаши, тетради, –
иоселиани волн пасёт отары,
обессмыслив на секунду, ради
вспышки световой, повествованье, –
тишина, какая-нибудь муха,
всё оцепененье мира на свиданье
с детством зрения и слуха, –
тёмные очки, открытки, ласты,
перочинные ножи, игральные
карты, зонтики, зубные пасты, –
блики мореснoвиденья дальние,
из боспорского родясь и царского
полдня, чуть прикроешь веки, –
там вонзился запах канцелярского
ужаса вещей в меня навеки.

Себя б

Не видя ни смысла, ни прока,
я по теневой стороне
брёл в мыслях: зачем нас глубоко
зароют? Зачем это мне?

Никто ничего не ответил.
И если бы я не упал,
споткнувшись, себя б не заметил
и тут же себе б не сказал:

бессмыслица – жизни прореха
и смерти тупое клеймо,
когда б не дрожало от смеха
«бессмыслица», слово само.

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

Свинцовый дирижабль «Иерихон 86-89»

Роман

Часть первая
Since I've been loving you

Глава 1

О-о, какой невероятной мукой было взять дрожащими руками два листа бумаги, проложить копиркой, совместить края и закрутить в машинку. Покрытый белесой сеткой отпечатков, валик ворчливо провернулся, вобрал бумагу, замер. Выпущенные из руки страницы провисли, и из-под верхней выглянула черной глянцевой поверхностью копирка. Гадство, не той стороной положил! Достал из верхнего ящика стола банку с рассолом, сделал несколько мучительных глотков, закрыл глаза. Подождал, открыл глаза. Пол поехал в сторону. Выкрутил бумагу, перевернул копирку на правильную сторону, снова совместил края, закрутил. Главное было не останавливаться. Остановка тут же вызывала круговорот вещей в природе вместе с природой. Прижав указательным пальцем левой руки клавишу для заглавных букв, настучал указательным правой заголовок: «Сталепрокатный дает новый металл. Музыкальный». Отпустил клавишу. Бумага, естественно, тут же поехала в сторону. Закрыл глаза. Темнота тоже двигалась. Открыл глаза и, собравшись с силами, перечитал: «Сталерпопакный дае ноый металл. Мущыкалный».

Посмотрел на часы. До летучки оставалось 20 минут. Сделал еще пару глотков рассола, который с каждым разом становился все гаже. Слава Богу, эти судорожные попытки вернуться к жизни предпринимались без свидетелей. По понедельникам мои кабинетные сожительницы – завотделом пионерской жизни Лена и корреспондент, как и я – отдела писем, Наташа приходили прямо на летучку. А я явно сглупил. Надо было позвонить нашей секретарше Римме и доложить чистую правду: умираю, работать не могу, а если, как говорила мама – через не могу, так умру. Сдохну, как пограничная собака на боевом посту.

Интересно, послужила бы моя безвременная кончина поводом для некролога о моей короткой, но, ясное дело, многообещавшей журналистской биографии для читателей и тихой молвы о нездоровом пристрастии к спиртному среди своих? Интересно, кто бы написал некролог? Главред, скорей всего, не снизошел бы в связи с ничтожностью покойника. Но кто-то из товарищей мог бы и накатать строчек 100 в номер. Скажем, Наташа. По душевной доброте сказала бы что-то типа:

– А что, он хороший был парень. Никому ничего плохого не делал.

Интересно, хоть про себя, отметила бы теплое чувство покойного к себе? Я уже не говорю о каком-нибудь там ощущении пустоты в сердце или где там оно обычно возникает в таких случаях.

– Анекдоты рассказывал, – добавил бы усатый Алик Охотников, из отдела спорта.

– Так и напиши: ушел из жизни отличный рассказчик анекдотов, – заключила бы Лена.

И может быть все они засмеялись бы, что в общем было бы не самым плохим способом помянуть покойника. Нет, это меня слишком далеко занесло. При всей плачевности моего состояния, я не должен был терять веру в скрытые силы своего относительно молодого организма. Нет! Жизнь не могла кончиться в 30 лет! Во всяком случае, от тяжелого похмелья.

Особенная тяжесть данного конкретного утра была вызвана тем, что все то время, которое обычно уходило у меня на возвращение в себя под холодным душем, на этот раз ушло на то, чтобы выпроводить из дому мою ночную гостью. То ли Линой ее звали, то ли Олей. Убей, вспомнить не мог, потому что даже попытка пошевелить извилинами вызывала тошноту. Даже одна мысль о попытке. Чего бы мне ее надо было выпроваживать, спросите вы. Объясняю. Я снимал комнату в коммунальной квартире на улице Клары Цеткин, которую мой приятель Миша Климовецкий называл Кларой Целкин. Хотя

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ родился в 1958 году в Одессе. Работал в одесских газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации прозы: «Октябрь», «Парус», «Столица», «Время и мы», «22», «Слово/Word», «Крещатик» и др. Автор трех книг прозы и очерков. Постоянный автор журнала «Волга».

я ему пытался втолковать, что он с женой отмечает 8-е марта именно потому, что в этот день Карл Либкнехт в сильном революционном порыве лишил Клару политической невинности. Таким образом, грубое прозвище не соответствовало факту ее революционной жизни. Да, так вот, за 40 рублей в месяц я имел в своем распоряжении просторную комнату с балконом, светом, газом, телефоном и туалетом общественного пользования в коридоре.

Привел я эту то ли Лину, то ли Олю после концерта «Бастиона», где нас с ней свело. Согласно уставу ответственного квартиросъемщика, я был обязан выдворять ночевавших сразу же после окончания ночевки. Нельзя было допускать, чтобы они вступали в контакт с соседями. Коварные негодяи могли пойти в ЖЭК и стукнуть, что владелец комнаты сам живет на другой квартире, а из этой устроил притон, в то время как другие жильцы имеют право на расширение. Я не уверен, что они стремились расширяться. Единственная соседка, с которой я поддерживал отношения, была Анна Николаевна Цепенюк. Она овдовела незадолго до моего появления и была рада моей живой душе, с которой могла когда-никогда перекинуться словом. Еще был пенсионер-невидимка Григорий Иванович Каховский, который давал знать о себе шарканьем тапочек и кашлем, время от времени доносившимся из-за дверей его комнаты. Я видел его один или два раза, глубокой ночью, оба раза приняв за полупрозрачное привидение в полосатой пижаме. Он тихо проплыл мимо с чайником в руках, не обратив на меня ни малейшего внимания. И последней жилицей этой квартиры была морячка Валя, которая появлялась в доме незадолго до возвращения мужа из рейса, а проводив его, возвращалась к любовнику. Но неделю-две, пока моряк был дома, в квартире гремела музыка, через которую время от времени пробивался грубый хохот и звон посуды.

Владелец занимаемой мной комнаты был тоже моряком, но военным – он был подводником дальнего плавания. Один раз он явился за квартплатой при полном параде: фуражка с крабом и звездой, кремовая рубаха, черный галстук, черный габардиновый костюм, два ряда золотых пуговиц, золотые погоны и красные лампасы. Страшное зрелище. Вероятно, у парадной его ждал катер. Он желал получить 80 рублей за два месяца, поскольку собирался в дальний заплыв к вражеским берегам. Вероятно, хотел подстраховаться. В случае чего, оставить вдове пару копеек на достойные поминки.

Эта жена, с квартирой на Черемушках, была его новой. Старая, от которой у него осталась комната в коммуне, видно, померла от тоски по редко всплывавшему из-под воды мужу. Теперь он свою старую хату использовал как источник дополнительной наживы, строго наказав мне вести себя ниже воды тише травы и говорить соседям (если спросят), что я его племянник из села. А не спросят, молчать как рыба. Кухню посещать рано утром, сортир – поздно ночью. Это было просто. Тяжело было соблюдать тишину, если ночные гостьи оказывались слишком эмоциональными.

Что было вчера, я помнил, как говорится, смутно. Перед концертом лидер «Бастиона» Игорь Ганькевич пригласил меня за кулисы. Вероятно, из всей своей бригады лабухов в синих камзолах с эполетами и галунами он один понимал, что концерт состоялся с моей помощью, и хотел отблагодарить. Возможность помочь возникла у меня неожиданно. Один из моих внештатников – Вадик Мукомолец – работал в многотиражке сталепрокатного завода и выпивал с секретарем комитета комсомола и профоргом. Эта спайка (или спойка) помогла им получить у заводского начальства разрешение на проведение концерта. Помогло и то, что группа числилась в городском рок-клубе, входившем в состав Объединения молодежных клубов – ОМК. Это была хозрасчетная контора, владельцы которой успешно зарабатывали на местной молодежи под видом культурной организации ее досуга. Если поэтические вечера приносили им заработок от продажи пирожных и кофе интеллигентным юношам и девушкам под предводительством плешеватого мэтра из местного отделения Союза Совписов, то рок-клуб давал им заработок от продажи билетов на шабаши, которые привлекали пьяных и обкуренных пэтэушников. Комсомольцы, кажется, рады были курировать это брожение, поскольку строительство коммунизма, в авангарде которого они должны были стоять с винтовками и лопатами, явно лишилось своего былого содержания. Но вот культурный фронт давал оперативный простор для демонстрации своей руководящей роли.

До концерта мы выпили на шестерых бутылку «Белого аиста» за успех предприятия. Ганькевич был симпатичный, улыбчивый парень с Мясоедовской, в котором было слишком много лирики и иронии для рокера, каким он представлял себя. И на этом выступлении самым ярким номером были его новые одесские куплеты: «Мимо Дюка я давно не хожу, со второго люка на него не гляжу...» Публика в засаленных джинсах, кожаных жилетах и цепях стала нестройно подпевать ему и прихлопывать в ладоши, хотя им больше полагалось выть волками и рвать на себе майки и волосы.

После концерта зрители разошлись, не оставив за собой ни поломанных кресел, ни облеванных туалетов. Заглянувший в зал начальник ОМК Петр Михайлович Гончаров был счастлив. Когда я его спросил, доволен ли он сбором, он многозначительно ответил:

«Довольны мы будем, когда запустим их на всесоюзные гастроли. А пока пусть обкатываются».

Это – точно, «Бастион» мог бы легко стать одесским вариантом «Черного кофе». Те поют про деревянные церкви Руси, а эти – про свою Молдаванку. Те – с удручающе серьезным надрывом, а эти с

одесскими хохмочками. И прав был Гончаров, говоря про обкатку. Впечатление такое, что «Бастион» играл вполсилы, как если бы это была генеральная репетиция, а не концерт. Это выступление было не сравнить с их представлением на нашем последнем рок-свистивале, как его случайно назвал ведущий. Там Ганины архаровцы были в ударе, и когда исполняли свой хит про конфликт старого рокера с поклонником попсни, аудитория просто ревела от восторга.

Я старый, старый, старый добрый рокер,
Мой прадед был в “Гамбринусе” тапер
А ты дешевый трюк смазливый попер,
Все смотришь вдаль, все смотришь за бугор!

Поэт-песенник Ганя был аж никакой. Слова у него просто вываливались из строк. Где не хватало слогов, он вставлял как подпорки всякий вспомогательный словесный хлам, но выходило все это у него очень здорово и живо.

По Дерибасовской родной гуляю я степенно,
Смотрю я в лица и грущу, признаюсь, откровенно.
Зачем, скажите, нам нужны Ямайки и Гавайи,
Когда у нас в Одессе есть не хуже попугаи!

Эти попугаи добили толпу окончательно. Свист и рев в зале заглушил на минуту музыкантов. Сейчас все было очень, как сказал автор песни, степенно. Музыканты берегли силы. После концерта техник «Бастиона» извлек из сумки бутылку кальвадоса, и тут же на нее, как на волшебную палочку, в подсобку вломилась группа поклонников со своей бутылкой меришора, двумя бутылками бецмана и двумя подружками. Одна была крашеной блондинкой с фиолетовыми фурункулами и хмельными глазами на пухлой физиономии. Недостаток обаяния заменяли короткая кожаная юбка и красный свитер, которые чуть не трещали по швам. Впечатление было такое, что сзади и спереди она вложила под них по паре дынь. Пару сзади и пару спереди. Трудно даже сказать, что можно было делать с этим овощным ларьком. Вторая девушка была ее антиподом – худенькая, смуглая, с тонкими чертами лица, гладкими черными волосами и пронзительно голубыми глазами, словно обведенными тонкой черной линией. Она ими просто просвечивала. Как рентгеном. На ней были очень классного индигового цвета джинсы «Борман» и оранжевая футболка. Скоро сыроватый воздух подсобки наполнился запахом мокрой травы. Пущенный по кругу косяк произвел на собравшихся, включая меня, совершенно разрушительный эффект. Как этот рентген-аппарат с веснушками и очень нежными губами оказался у меня на коленях, я не скажу. Видимо, она услышала волшебную мелодию моей флейты и пошла на нее, как маленький Моцарт на папин рояль. Моя флейта транслировала эту мелодию в эфир совершенно беззвучно, но у нее оказался очень чуткий локатор. Наш контакт был стремительным, как короткое замыкание. Ба-бах – и вот мы уже у меня дома в том замечательном состоянии опьянения, которое растворяет в себе время, необходимость в отборе подходящих слов (подходят все, но не нужны никакие) и чувство ответственности. Когда я помогал ей раздеваться, ее майка зацепилась за какие-то шпильки-заколки, и я стал целовать ее грудь с маленькими коричневыми сосками, не дожидаясь, когда она выпутается из своего тряпочного плена. На этом мои воспоминания о встрече прерывались, что обидно невероятно.

Не могу сказать, что выпито было особенно много на такую компанию, но смесь вышла адской: коньяк, кальвадос, меришор, бецман, план. Я снял пробу со всего. Она, видимо, тоже, потому что утром не могла вспомнить, где живет. То есть может она и помнила, но отказывалась сообщить. Была не в состоянии. Одевал ее я. Правильно: раздел, теперь одень! Не маму же звать. В другой ситуации это было бы очень эротично. Такой голый ванька-встанька, или лучше сказать машка-ляжк-ка, с очень изящными ножками и упругими грудками, как у Дианы-охотницы. Где-то я видел такую скульптуру, только не помню где. Она шла с луком, оглядываясь на зрителя через левое плечо. Что я помню отчетливо, так это борьбу чувств, вызванную желанием еще разок поцеловать ее и одновременным опасением за то, что поцелуй может вызвать рвоту.

Короче, я ее все-таки одел, при этом почти не потревожив ее сон. Потом позвонил Мукомольцу, надеясь, что он знает, где она живет. Тот даже не понял, о ком идет речь.

– Та хоть какая она? – спрашивал он, тоже с большим трудом приводя в действие речевой аппарат.

– Худ-денькая такая, в джинсах и в майке т-такой рж-жавой, – объяснял я, как мог.

Согласные звуки спотыкались один о другой.

– Ржавой? Она у нее что, железная?

– Да не ржавой, а оранжевой.

– А-а....

– Черненькая такая, с глазами такими, не помнишь?

– Черненькая с глазами? Старичок, ну ты даешь, тут полгорода таких! А хоть зовут-то ее как?
– Б-блин, не помню я, Вадик. Лина, что ли...
– Лена? Не знаю, старичок.
– Н-не Лена, а Л-лина. Черт, что же делать?
– Та ты ее отведи куда-то в парк и кинь на скамейку. Она очухается и сама доползет, куда ей надо.
– А вдруг она не местная?
– Она, когда на концерт пришла, у нее чемодан с собой был?
– Вроде нет.
– Ну, тогда местная.

Чувствуя себя преступником, я обнял ее за хрупкие плечики и повел в сторону Соборки, как слегка контуженный ведет с передовой тяжело раненного. Она телепалась рядом, уткнув в меня лохматую голову и не открывая глаз. Волосы у нее все еще пахли планом. В аллее напротив 121-й школы я усадил ее на скамейку.

– Але, ты жива?

Качнула головой в сторону. Понимай как «нет».

– Где ты живешь, ты можешь сказать?

От моих слов она просто как от ветра повалилась на скамейку, поджала ноги в сандалиях и спрятала лицо в ладошки. Типа все, исчезни, никого нет дома. Пальцы на ногах у нее были совершенно миниатюрные. Я зачем-то пересчитал их. Все было в порядке – по пять штук на каждой конечности. Потом потрогал. Они были мягкие и прохладные.

– Слушай, я приду сюда через пару часов, ладно? – сказал я этому живому трупу. – А то мне на работу надо.

Ноль эмоций. Надо – иди.

Я осмотрелся. В аллее никого не было. Утро стояло такое тихое-претихое. Свежая травка лезла к утреннему солнышку из черных комьев земли. Свет такой рассеянный тек сквозь прозрачную листву. На Советской Армии перезванивались трамваи. Перекинув через плечо ремень от сумки, я пошел в Первый гастроном на Дерибасовской. Здесь купил банку болгарских огурцов, срывающимся голосом попросил продавщицу открыть. Та, буркнув себе под нос «сутрапораньше», взяла из-под прилавка ключ, ловко сняла крышку, подвинула банку ко мне. Вытерев руки о фартук, села. С веселым презрением стала глядеть, как я, бедный и больной, взял трясущимися руками тару, поднес к губам и, громко стуча зубами о стекло, сделал несколько спасительных глотков.

– Спасибо, тетя, – сказал я и выпустил наружу немного вошедшего в меня с рассолом воздуха.
– Оч-чень красиво, дядя, – ответила продавщица.

Переведя дух, я прикрыл банку помятой на краях крышкой и, нежно прижимая к себе, пошел на трамвайную остановку. Теперь жизнь должна была начать налаживаться.

Глава 2

В свои 45 лет мой шеф – Юрий Иванович Кашеваров – должен был видеть в себе умного, полного сил и нравящегося бабам мужика, облеченного доверием начальства, которое постепенно готовило его к еще большей и еще более значимой должности, чем та, которую он занимал сейчас, – редактора областной комсомольской газеты. Хотя была только середина мая, лицо его было покрыто густым загаром. Он только что вернулся из средиземноморского круиза, в который высокое начальство отрядило его присматривать за группой донецких шахтеров. Представляю, как эти работники подземного царства выглядели на фоне солнца, моря и пальм! Как инопланетяне, насмерть перепуганные дикой картиной чужой планеты, задыхающиеся в перенасыщенной кислородом атмосфере.

Юрий Иванович был человеком другой, руководящей породы, которой полагалась другая жизнь. Он это хорошо понимал, ценил и не стеснялся давать понять другим. В смысле – тем, кому повезло не так, как ему.

Сейчас на нем были легкие серые брюки с защипами на поясе, синий двубортный пиджак с золотыми пуговицами и белый гольф. Он был худощав, и весь этот гардеробчик сидел на нем просто прекрасно. Редакционные дамы так и ели его глазами, хотя знали, что он женат. Что с того, что женат? Ночные фантазии неуправляемы.

– Ну, что, все собрались, наконец? – в тоне Юрия Ивановича звучала нотка усталости и недовольства. Он как бы торопился заняться другими, более важными делами. Неясно только какими. Давил, наверное, из последних сил стремление распустить счастливую улыбку от уха до уха и спросить: «Ну, что пацаны, клево я устроился, правда?!»

– Да, будем начинать, – сказал его зам Коля Бычко. Этот представлял другую породу начальников. Одевался он неброско: костюм невнятных серо-коричневых тонов, серо-голубая рубашка, темно-синий галстук не то в полоску, не то в клетку. Говорил Коля негромко и коротко, подчеркивая этим, что

понимать его следует с полуслова, а команды выполнять молча и быстро, чтобы не привлекать внимание людей, которые могут причинить неприятности. В редакции знали, что с этими людьми Коля по долгу службы общается постоянно.

– Значит так, – начал Юрий Иванович. – Есть история, которая тянет на квартальную премию.

Он сделал выразительную паузу, чтобы аудитория оценила возможность заработать лишние 25 рублей.

– Поступила информация об одном парне. Кононов Владимир, 1955 года рождения. Увлекся буддизмом, оторвался от коллектива, зашел в тупик, короче, покончил с собой. Прид-дурок.

Последнее слово Юрий Иванович уронил вполголоса. Он как бы понимал, что по должности ему такие реплики отпускать не полагается, но сорвалось, поскольку он человек эмоциональный, каким и должен быть настоящий газетчик. В то же время реплика должна была создать правильный настрой. На этом его роль начальника кончилась. Эстафету принял Коля. Он негромко кашлянул в большой крестьянский кулак и глуховатым, с сильным украинским «г», голосом, начал ставить задачу:

– Время, значит, либеральное. Молодежь ищет что-то, непонятно что, и кидается на все новое. В том числе идеологически опасное. *Как правило* идеологически опасное. Поэтому действовать надо аккуратно. Без лобовых лозунгов. Кто-то слышал про такого Кононова?

Коля обвел взглядом из-под тяжелых бровей собравшихся.

– А где он хоть жил, учился, работал? – спросила Лена по пионерам.

– Он не учился и не работал. А жил он... – Коля посмотрел в раскрытый блокнот и сказал:

– Карла Либкнехта, 15.

– Я знал его, – сказал я, еще не вполне трезвый идиот, потому что умный и трезвый сперва слушает, а потом решает, стоит ли ему подключаться к очередной затее начальства.

– Откуда? – взгляд у Коли был тяжелый, как мешок картошки.

– Он жил в одной коммуналке с моим школьным товарищем.

– Ну, я вам говорю, Одесса – большая деревня! – усмехнулся Юрий Иванович. – Все знают всех.

– И что он из себя представлял? – вернул разговор в серьезное русло Коля.

– Я его видел всего несколько раз. Никогда даже не говорил с ним.

– А фамилию откуда знаешь?

– Там под звонком табличка висела. Кононов В.В.

Широко расставив ноги и согнувшись в поясе возле дворовой колонки, бритоголовый Кононов в солдатских галифе и сандалиях на босу ногу набирал в сложенные ковшом огромные ладони воду и бросал ее на мощную грудь и плечи. Мышцы перекатывались под неприступно белой кожей. Выпрямившись, он близоруко щурился, брал с колонки очки в уродливой черной оправе, надевал и, на ходу обтираясь вафельным полотенцем, шел к парадной. Пропустив его со скрипом, хлопала за ним щербатая дверь.

– Отрекаешься от порочащих связей? – ядовито поинтересовался Юрий Иванович.

– Мне не от чего отрекаться. Я его видел, но мы не были знакомы.

– А что твой приятель говорил о нем? – спросил Коля.

– Ничего существенного. Мамаша его могла сказать, мол, дегенерат снова оставил свет в туалете. Обычные коммунальные дела. Я в их отношения не вникал.

– Сейчас придется вникнуть, – сказал Коля.

– Извините, товарищи, – подала голос редакционный профорг Жанна Боровик, и голос ее задрожал от волнения, вызванного ответственностью момента. – Я согласна с Николаем Карповичем в том плане, что время либеральное, но позицию комсомольской газеты нам, слава-бо, пока никто не давал указивку менять.

Она любила украшать речь украинскими словами вроде этой «указивки». Это был жаргон национальных кадров, с которого они, однако, никогда не переходили на украинский целиком, хоть он и был для них родным. Родной, да не официальный.

– Поэтому, – продолжала волноваться Жанна, – тут очень важно не удариться в лирику. А Дмитрий, как раз, склонен к этому. И это прекрасное качество для его очерков, а такой острый, критический материал я бы дала подготовить Саше.

Саша Плинтус был восходящей звездой отечественной журналистики. О том, что его очередной материал опубликовал «Собеседник» или «Комсомолка», говорили больше, чем собственно о материалах. Признание центральной прессы придавало его писанине такой вес, что обсуждение ее было равносильно проявлению злобной зависти.

– Ну, лирику мы отожмем, – заметил Юрий Иванович, профессиональный, в первую очередь, редактор. – Итак, Митрий Михалыч, – это тоже был их жаргон – по отчеству и на ты. – Я думаю, что за это дело возьмешься именно ты, и я объясню почему. Речь идет о самоубийстве. Соседи в этом случае – главный источник информации. Если придет незнакомый человек, здрасьте я из газеты, ответ будет – «выбачайте, ничого не чулы». Поэтому нужен кто-то, кого они знают. Это – ты. И надо еще

будет связаться с одним нашим товарищем из комитета. Николай Карпович даст тебе необходимые детали. Лады?

Взгляд у Плинтуса, до сих пор щипавшего свои реденькие усики, погас. Он поднялся, а за ним и остальные стали отодвигаться от стола.

Я прошел за Колей в его кабинет. Коля сел за стол, я – напротив него.

– Так я не понял, ты мне дашь телефон этого товарища или... Как я его найду?

Коля не стал торопиться с ответом. Он демонстрировал мне, что он начальник, а я – подчиненный. И, стало быть, должен ждать. Устроив руки на столе, он внимательно смотрел на меня, словно раздумывая над тем, как ответить лучше. Потом взял за края лежавший перед ним блокнот и подвинул чуть вперед. На сантиметр. А потом на полсантиметра назад. От этой претенциозности меня снова чуть-чуть стало укачивать. Он же, добившись своего, снова сложил руки вместе. Интересно, его кто-то научил этому трюку или сам придумал? Начальники, которым не хрен делать на работе, любят придумывать всякие штуки, чтобы действовать на нервы подчиненным и заодно изображать сосредоточенность и занятость. Наконец он сделал движение головой вперед, видимо, чтобы подтолкнуть к выходу долго назревавший ответ:

– Они тебя найдут.

– Как?

– Главное, не волнуйся.

– А я не волнуюсь.

– Не волнуешься?

– А должен?

– Тебе видней.

– Нет, я не волнуюсь.

– Так в чем дело?

– Просто, хочется знать, с чего начать.

– С чего начать? – не отрывая от меня взгляда, он снова поправил блокнот. – Я должен учить тебя азам журналистской профессии?

В наступившей тишине я ощущал, как силы покидают меня. Как они просто стекают по ножкам стула на пол, просачиваются в трещины между половицами, пропитывают перекрытия и набегают тяжелыми каплями на лампы, под которыми сидят этажом ниже мои коллеги из «Знамени».

– Ты что, перебрал? – неожиданно голос у Коли потеплел.

– Кто, я?! Я же не пью, ты что, не знаешь?

– Я так и понял. По запаху. Короче, начинать надо со сбора материала. Поговори с людьми, сделай записи. Это понятно?

– Все?

– Все. Сам встанешь, или помочь?

– Спасибо, я сам.

Глава 3

После летучки я допил остаток рассола, съел под сочувствующими взорами сожительниц два огурца и отбыл на сбор материала.

– Давай пропесочь этого паразита, хорошо, – напутствовала меня Лена.

– Он, между прочим, покойник, – заметил я. – А о покойниках либо ничего, либо ничего плохого.

– Это в древней Греции ничего плохого, – ответила Лена. – А у нас только про покойников и можно.

– А вдруг у него какая-то личная драма была? – предположила Наташа. – А буддизм, это так. Мало ли, чем люди увлекаются?

– Иди выясни и потом все расскажешь, – закончила разговор Лена.

Первым делом я сел на «десятку» и вернулся на Соборку, где обнаружил, что моя ночная подруга исчезла. Тоже, наверное, стекла со скамейки на землю и впиталась в нее. Теперь на ее месте сидела бабушка с внуком и с выражением читала ему большую красочную книжку:

– Инда в тридевятом царстве, в тридевятом государстве жил-был добрый царь Дадон. Смолоду был грозен он.

Внук, закинув голову, смотрел в небо, из края открытого ротика текла слюна.

– Бабуля, кто это тлиделятый?

– Что ты говоришь, золотко мое? Я не понимаю.

– Ида тлиделятый, это кто, а?

Я еще побродил по парку в поисках пропажи, а потом направился выполнять задание. Работенка выпала мне грязная – заклеймить как идеологического врага человека, которого я не знал. Это было из области – не читал, но осуждаю. Что я сам знал о буддизме, который должен был стать главным

объектом критики в истории о вверенном мне антисоциальном, хотя уже и покойном, элементе? Медитация, нирвана, вегетарианство, отказ от насилия, проявляющийся в нежелании убить комара даже тогда, когда он сосет твою кровь. Все. Эти отрывочные сведения можно было почерпнуть из коротких статей об увлекавшихся восточными религиями битлах, роллингах, Цеппелине и Сантане. У всех у них были свои гуру, и имя одного даже осталось в памяти – Шри Чинмой. На обложке двойного диска Сантаны Moonflower было написано его высказывание, что-то типа «Настрой меня на жизнь, Творец». В смысле, настрой как музыкальный инструмент. Чтоб играть в одной с жизнью тональности. Типа «Слышишь, время летит – БАМ! По просторам страны – Бам!», но на буддистский манер, с полным отрывом от проблем народного хозяйства.

Коридор коммунальной квартиры, которую Климовецкие делили с Кононовым, шел вдоль стены кинотеатра, вход в который был с улицы Ленина. В конце коридора были три двери. Одна в туалет, вторая – в комнаты Климовецких, третья – в комнату оказавшегося буддистом Кононова. О том, что Кононов – буддист, Климовецкие никогда не говорили. Подозреваю, что слова «буддизм» в их вокабуляре просто не было. Характеристика «дегенерат» исчерпывала их представление о нем. Миша работал приемщиком стеклотары, а его мать и жена работали в Первом гастрономе на Дерибасовской и Советской Армии. Мать – тетя Ира – заведующей отдела, а жена Света – продавщицей. Она намеревалась поступить в торговый техникум и перейти на более чистую и менее изнурительную работу товароведа. С Мишей меня связывали две вещи. Первая – когда-то он был моим одноклассником, вторая – по воскресеньям мы вместе ходили на сходняк в парк Шевченко. Там мы меняли пластинки с той самой музыкой, которую мое комсомольско-кагэбешное начальство считало идеологически вредной. В рабочем столе у меня лежал список западных групп и исполнителей, слушание которых грозило подорвать устои советской власти. Составитель, некая Пряжинская, поработала над списком плохо. Я бы сгруппировал исполнителей в соответствии с их антисоветской специализацией, а у нее все шло вперемешку. А может, она просто нервничала. Скажем, Nazareth и Black Sabbath совместно пропагандировали насилие, садизм и религиозное мракобесие, но находились в разных концах списка. Pink Floyd, извращавший внешнюю политику СССР, отстоял на большом расстоянии от антисоветского Dschinghis Khan, который, в свою очередь, был оторван от насаждавших миф о советской военной угрозе Talking Heads. 10CC, которые, на мой взгляд, грешили только тем, что сильно смахивали на Beatles, оказались, ни много ни мало, неофашистами. Объяснимым было только соседство уличенного в эротизме Рода Стюарта с Тиной Тернер и Донной Саммер, которые просто занимались сексом. Внаглую. От имени гомосексуалистов выступали Canned Heat. Согласно этому списку, секс приравнивался к неофашизму и антикоммунизму. Короче говоря, все представленные в нем, и особенно группа Canned Heat, были редкими в своем роде пидарасами. Как сказал бы один наш бывший генсек.

Если бы эта Пряжинская не привлекала своим исследованием внимание общественности к этим группам, никаких означенных в них пороков никто бы и не заметил. Лучшей, и при этом совершенно естественной, защитой от этой неофашистской секс-чумы было тотальное незнание нашей молодежью английского языка. Слушали ритм, мелодию, голос. О содержании судили по редким понятным словам, по интонации. Но кому это было объяснять? Этой Пряжинской? Я бы, кстати, мог. Я бы мог порекомендовать этой дубине из красного дерева взять словарик и перевести первую песню Whole Lotta Love со второго Цеппелина.

Way, way down inside,
I'm gonna give you my love,
I'm gonna give you every inch of my love!

Поняла бы она с первого раза и без подсказки, о каких любовных дюймах шла речь? В Lemon Song тоже были неплохие строки:

Squeeze me baby, till the juice runs down my leg.
The way you squeeze my lemon, I'm gonna fall right out of bed.

Если бы она попросила помочь ей с переводом, я бы ей это сделал в стихах. Для большей доступности:

Дави сильней, подруга, пока не брызнет по ногам!
Когда ты давишь мой лимон, могу упасть я под диван!

Или – за диван. И лучше не лимон, а банан. Тогда бы лучше рифмовалось – не дави на банан, упаду за диван! Иногда я думал: что спасло Цеппелин или, скажем, Перпл, от этих гонений? Самым простым объяснением было то, что за этими кампаниями идеологической бдительности стояли люди, которые

не знали предмета. Получив команду: «Взять!», они вцепились в то, что оказалось на виду. Но я также допускал, что где-то в глубине наших идеологических органов мог сидеть какой-то Вася, который лично любил Цеппелин и уберег его от удара.

Квартиры Климовецких и Кононова когда-то были киношными подсобками, но в эпоху острого дефицита жилплощади обжили и их. Из кинозала в коридор постоянно просачивались глухие голоса, крики, визг тормозов, стрельба, музыка. Свыкшиеся с этими звуками жильцы перестали обращать на них внимание, как перестают обращать внимание на тиканье будильника или шипение радиатора парового отопления.

У Климовецких было две крохотные комнатки. В первой, сразу возле двери, лежала на продавленной кушетке тетя Ира. Закинув правую руку за крутое бедро, левой она доставала семечки из стоявшей перед ней синей эмалированной миски. С губ свисала шелуха. Не переставая грызть семечки, она пристально смотрела на вошедшего, пока тот не осознавал, что смотрит она не на него, а на экран телевизора, стоявшего на холодильнике у двери. В центре комнаты находился круглый стол, сжатый с боков сервантом, платяным шкафом и воткнутыми между ними стульями – не гостиная, а миниатюрный склад мебели. Вторая комната отделялась от первой слегка вогнутой фанерной стеной с проемом, завешенным ситцевой занавеской.

Эта комната была еще меньше первой, и в ней помещались только диван и еще один платяной шкаф, на котором громоздились до потолка чемоданы. Между чемоданами были втиснуты колонки. Крохотный промежуток между шкафом и стеной был забит всевозможным барахлом, прикрытым точно такой же ситцевой тряпкой, из какой соорудили занавеску. Между диваном и шкафом стояла тумбочка, на которой громоздилось главное Мишино достояние – японские усилитель Marantz и кассетник Akai, похожие на приборы с космического корабля, и вертушка «Вега». На полу возле тумбы стояла картонная коробка с дисками.

Я узнал, что Кононов покончил с собой, за неделю до того, как об этом сказали в редакции. Труп обнаружили в воскресенье, когда запах разложения выбрался в коридор. Тетя Ира несколько дней шморгавшая носом в поисках объяснения сладковатой мути в воздухе, встала, наконец, со своего диванчика, прошла к двери соседа и приложилась на секунду к замочной скважине. Пошморгав еще немного, она пошла на улицу, чтобы из телефона-автомата вызвать милицию. Своего телефона у Климовецких не было.

Мы с Мишей возвращались со сходняка и разминулись с Кононовым в подъезде. Его вынесли на носилках, накрытых зеленым ватным одеялом с прогоревшим от утюга черно-коричневым пятном на углу. Из-под одеяла торчали края простыни, которой сначала прикрыли труп.

– О-па, жмурика понесли, – сказал Миша. – Интересно, откуда он у нас тут взялся?

Мы поднялись по узкой деревянной лестнице на второй этаж и в коридоре столкнулись с милиционером.

– По какому делу? – спросил мент, доставая из кармана брюк желтую пачку «Сальве».

– Живу я тут, – сказал Миша, направляя плечо в промежуток между ментом и стеной.

– Стоять! – заслонил дорогу мент. – Не слышишь, что спрашивают?

– А че спрашивают? – Окрик заставил моего дружбана притормозить. – Ты спросил, я ответил. Живу тут.

– Фамилия как?

– Ну, Климовецкий.

– Ничего подозрительного у соседа не замечал в последнее время?

– У какого соседа?

– У тебя здесь сколько соседей?

– Э-э... – посчитал в уме Миша. – Ну, один. Вовик. Это что, его вынесли?!

– Вот я тебя и спрашиваю, ты за своим Вовиком ничего подозрительного не замечал?

– Да я его вообще видел раз в месяц. А что случилось-то?

– Кончил с собой твой Вовик.

Мент выпустил струю дыма и повернулся ко мне.

– А ты кто?

– Я товарищ его.

– Кого его?

– Климовецкого.

Мент молча пропустил нас и потопал к выходу.

Когда мы вошли в квартиру Климовецких, тетя Ира продолжала начатый с невесткой разговор:

– Что ты хочешь? В такую жару он просто потек.

– Фу, мерзость, – ответила Света и, повернулась к Мише. – Представляешь, наш дегенерат перерезал себе вены!

– Жить надоело, что ли? – удивился Миша.

– Следователь говорит, что он уже где-то неделю тут вонял. Я все время слышала запах, только не могла понять, откуда он. Завтра пойдешь в ЖЭК, скажешь, что мы въезжаем в эту комнату.

– А на каком таком основании?

– Скажешь, жена беременна.

– Я не понял! Ты что, беременная?

– А ты что, против?

– Что значит против? Я знать хочу!

– Нет, я не беременна, но мама говорит, что может пойти к своей врачихе и та даст справку. За десяточку. Да, мама?

– Ага, – подтвердила тетя Ира, сплевывая шелуху.

– Ну и что ты будешь делать с этой справкой?

– Что?! У нас на троих две комнаты общей площадью 15 метров, а на человека полагается четыре метра. Если нас будет четверо, то нам не будет хватать одного метра до нормы. Понял?

– Большое дело – один метр! Это по 25 сантиметров на нос.

– Да, а то ты их не знаешь? Им надо будет кого-то сюда вселить, они миллиметры считать будут.

Откинув занавеску, Миша вошел в свою комнату и, присев на корточки, включил аппаратуру.

– Димон, иди сюда.

Я прошел к нему и сел на краю незастеленного с ночи дивана.

– Мама, а можно взять справку, что у меня двойня? – не успокоилась Света.

– Светуня, я же тебе говорю, нам и одного хватит, – ответила тетя Ира.

– Нет, ну просто, чтобы уже наверняка. А врач вообще может установить на четвертом месяце, что у тебя двойня?

– Дадим врачихе четвертак, она тебе пятерых установит, – ответила свекровь.

– Правильно, а когда тебя спросят, где весь этот выводок, что ты им тогда сажешь? – подал голос Миша. – Цыгане украли? Или мы их в ведре утопили, чтобы не вякали по ночам?

Света, между тем, повернулась боком к зеркалу в двери шкафа и выкатила живот. Она была худая, как глиста. Глистоватость, видимо, была тем качеством, которое позволило тете Ире принять невестку на свою крохотную жилплощадь. С такой можно было жить в тесноте и не в обиде. Места она не занимала. Взяв висевшее на ручке холодильника кухонное полотенце, Света скрутила его и сунула под халат. Снова выкатила живот. Получилась беременная глиста.

– Миша, надо будет позвать дворничку, чтобы она там убрала, и сразу начнем ремонт. Дашь ей десяточку.

¬– Десяточку дворничке, четвертачок врачихе, – недовольно заметил Миша. – А сами вы хоть что-то можете сделать?

– Ты хочешь, чтобы я своими руками убирала этот гной, да? – спросила Света. – А потом бралась за тебя?

– Помоешь с мылом и возьмешься.

В этот момент мои друзья походили на кладбищенских вурдалаков, делящих богатый склеп. До его прежнего обитателя дела им не было.

– А чего он покончил с собой? – спросил я.

– А хрен его знает, – пожал плечами Миша. – Дегенерат – он и в Африке дегенерат.

– Может, любовь несчастная, – предположила Света. – К нему тут ходила одна.

– Ага! Любовь! – подала голос тетя Ира. – Я ее знаю. Проститутка валютная.

– Откуда у него деньги на валютных? – усомнился Миша.

– Может она ему по любви давала, – предположила Света. – Меня лично одно возмущает. Ты хочешь покончить с собой, пойди и утопись в море! Чтобы потом никто не возился с твоим вонючим трупом!

– Так трупешник же потом все равно всплывет, – сказал Миша.

– Ну и что?

– А то, что все равно кому-то надо будет с ним возиться.

– Положи кирпич в трусы и не всплывешь! – нашлась Света. – А главное, напиши объяснительную записку, чтобы людям из-за тебя не морочили голову.

– Так, все, – сказал Миша. – Дай послушать музыку.

– Опять музыка, – недовольно сказала Света. – Как ребенок со своей музыкой. А что ты наменял?

Миша протянул ей обложку Sheffild Steel Джо Кокера, за который отдал Infatuation Рода Стюарта. С идеологической точки зрения это был очень хороший обмен. Стюарт был списочным эротоманом, а Кокер нет. Судя по фотографиям на дисках, он был алкашом, но наши культуртрегеры с этим готовы были смириться. У нас своих было хоть отбавляй. Света уселась рядом со мной на диван, сложила ноги по-турецки и стала рассматривать обложку.

– Последний?

Этот вопрос меня раньше сильно доставал, поскольку для большинства слово «последний» отражало качество диска. Прошлогодний альбом, альбом десятилетней давности в сравнении с последним всегда проигрывал. Потом до меня дошло, что в своей привязанности к року 70-х я сильно отстал от жизни. Музыка менялась, и это особенно остро ощущали те, кто не слушал ее, а танцевал под нее. Их не интересовало ничего, кроме ритма, ну и еще характера звука. 80-е были веком электроники. Даже барабаны стали электронными. Чем и объяснялась популярность Modern Talking или C.C. Catch, которую Миша называл, с присущим ему стремлением к простоте жизни, «Соси квэч».

– Ну! – с гордостью ответил добытчик Миша крохотной хозяйке маленького дома.

Звукосниматель опустился на черную массу, в динамиках послышался хруст выскользающей из-под иглы пластмассы, затем размеренно и звонко застучал барабан, начал вить упругое кружево бас. Кокер запел:

I don't need no one to make my bed
I don't need no one to rub my head
I don't need no one to do me wrong
I don't need no one to sing my song

– Ништяк, а? – сказал Миша, счастливо улыбаясь. – Там одна царапина была, если она сейчас стукнет, я его в следующий раз убью на хрен.

Угроза относилась к бывшему владельцу диска, который утверждал, что царапина – поверхностная.

When you left me it was for the first time
When you left me I was in a bad state of mind
I couldn't think, I couldn't drink, I couldn't eat
It's been four whole days, I haven't had no sleep

Света отложила обложку и, прикрыв блаженно глаза, ударяла ладонями по бедрам в такт музыке.

Baby, baby look what you done – Тч!
Baby, baby look – Тч! – what you done – Тч!

– Убью гада, – сказал Миша темнея лицом. – Убью на хрен, я же знал! Я ему идеального Стюарта отдал, идеального, блин!

– Дай побольше давление на иглу, может она проскочит, – предложил я, но у Миши было такое лицо, словно он уже готов был бежать назад в парк, чтобы вернуть своего Стюарта.

Глава 4

Соседка Анна Николаевна, постучав в дверь, сказала из коридора:

– Митя, вас к телефону! – и, когда я вышел из комнаты, добавила доверительно:

– Какой-то мужчина.

– Здравствуйте, Дмитрий Михайлович, – сказал мужчина.

– Кто это?

– Вам должен был говорить обо мне Николай Карпович.

– Кто?

– Ну, напрягите память...

Я напряг. Николай Карпович стал замредом Колей.

– Ах, это... Вы должны были мне передать документы о...

– Я вас ни от чего не отрываю?

– Подождите буквально минуту, мне надо закрыть дверь, я только вошел.

Я пошел на кухню, чтобы перевести дух, взял стакан, налил воды из чайника, отпил глоток. Вернулся к телефону.

– Але? Я вас слушаю.

В трубке играла музыка.

– Але!

– Да-да, закрыли дверь? Ну, хорошо. Я думаю, что нам хорошо бы встретиться, познакомиться, составить план действий.

– Вы хотите, чтобы я зашел к вам, или вам удобней в редакции?

– Нет, ну зачем же так официально? Встретимся завтра в 11 часов утра возле Памятника жертвам революции на Куликовом поле. Буду ждать вас на скамейке. Знаете, где это?

– Да.

– Тогда до встречи.

На следующий день после летучки я подошел к Коле и сообщил о предстоящей встрече.

– Странновато, нет? На скамейке, на Куликовом поле.

– А что странного? – вылупился Коля, всем видом показывая, что такие встречи на скамейках – давно установленная норма.

– Ну, что мы, разведчики какие-то? Почему не в его кабинете?

– А ты хочешь, чтобы кто-то видел, как ты ходишь на Бебеля?

Коля двусмысленно усмехнулся.

– Я же туда по редакционному заданию иду. Пусть увидят.

– Это ты знаешь, что по редакционному заданию, а что люди подумают?

Я даже не знал, что ему ответить, и он, наконец, освободил меня:

– Слушай, тебе сказали, иди.

Найдя нужную скамейку, я сел, развернул газету и стал просматривать заголовки. Наша газета обладала уникальным свойством. Практически все, написанное в ней, никого не волновало, кроме корректоров. Не исключено, что они были последними, кто читал производимую нами белиберду. На летучках неоднократно говорили, что тираж падает, от подписки отказываются. Требовали писать боевые, современные материалы, но список тем не менялся: подготовка к отчетам и выборам, очерки о молодых специалистах и портреты современников, большая часть жизни которых, как правило, оставалась за рамками написанного. Благо, в последнее время разрешили писать о музыке. И поскольку я ей увлекался, тему отдали мне. Она считалась до такой степени несерьезной, что конкурентов у меня не было. Но по той же самой причине ее несерьезности, я должен был дописывать положенный объем портретами современников и молодыми специалистами.

Через минуту-другую после того, как я устроился на скамейке, ко мне подсел мой связной. То, что он мой, я понял по его невыразительному гардеробчику: серый костюм, голубая рубашка, розовато-коричневатый галстук, русая голова, стеклянные глаза, узкие губы – неброский типчик, замаскированный под городской ландшафт. Разведчик-профессионал. Серый клещ-кровосос.

– Приятно познакомиться, Дмитрий Михайлович, – обратился он в воздух перед собой. – Всегда с интересом читаю ваши статьи. У вас хороший, образный язык, ударные концовки. Такие, как вы, только начинают в комсомольской прессе, а продолжают в центральных изданиях.

Замолчал, ожидая, как я отреагирую на комплименты. Интересно, про эти ударные концовки он сам придумал или кто-то ему подсказал? Например, Юрий Иванович. Коля бы мне такой комплимент не отпустил. Он не любил баловать.

– Спасибо, – сказал я. – Я, честно говоря, не ожидал, что мы встретимся на улице. Я так понял, что вы ознакомите меня с какими-то материалами...

– То есть вы ожидали, что мы вам дадим данные агентурной работы, протоколы допросов свидетелей, адреса и имена, я вас правильно понял? – перебил он меня с наигранной иронией, сразу давая понять, что он может перебивать, а мое дело слушать и слушаться.

– Я не знал, что именно вы мне собираетесь предоставить, но я предполагаю, что для написания статьи о Кононове мне нужно с чего-то начать. Какие-то... – я едва удержался, чтобы не сказать слово «инструкции», которое окончательно лишило бы меня независимости, и добавил после секундного колебания:

– Материалы.

– А никаких материалов нет! У нас были простые собеседования с Володей, как сейчас с вами. За ними стояло чувство гражданского долга людей, осознающих сложность ситуации, в которой он оказался.

Клещ достал из бокового кармана пиджака пачку сигарет, коробок спичек и стал закуривать. Спички не зажигались. Видно, головки были сыроваты. Он испортил несколько, прежде чем одна с шипением занялась. Он был явно не красноречив и осознавал это. Поэтому ему требовалась передышка, которую он заполнил зажиганием сигареты. Выдув струю дыма в небо, он продолжил:

– Буквально в двух словах и без бумажек. Родился Володя Кононов в Казахстане. Мать привезла его в Одессу пацаном. Кто-то у нее тут был, брат-сват, неважно. Короче, зацепилась-прописалась. Потом взяла и умерла, а он рос одиночкой. Поступил на исторический, связался там с какими-то умниками. Стал вступать в дискуссии с педагогами. Короче, на третьем курсе бросил учебу. Работал, как и полагается таким, как он, спинозам, кочегаром. Нашел теплое место в роддоме в парке Шевченко. Сутки через трое. Не светился. Потом мы взяли тут одну группу самодеятельных революционеров. Они библиотеку держали: Солженицын, Зиновьев и прочее отребье, – клещ поморщился. – Не знакомы – Библиотечное дело?

– Нет, а что, об этом где-то писали?

– Ну, у нас много чего не пишут, а народ, что ему полагается, знает.

– Я не знаю.

– А вы поспрашивайте. Может быть, расширите кругозор. А наши революционеры чем отличались? Они, так сказать, никакой конспирации не соблюдали. Напротив, даже спорить норовили на собеседованиях, дискутировать. Особенно один. Некто Игрунов. Тоже не слыхали?

Я покачал головой.

– А еще журналист! – пожурил он меня.

Время комплиментов явно прошло. Теперь он показывал, что при такой очевидной моей бестолковости без его руководящей роли я не обойдусь.

– Короче, взяли их за жабры, милых, и посадили за антисоветскую агитацию и пропаганду. И библиотеку их тоже нашли. Но есть мнение, что нашли только часть библиотеки. Большую, но часть. Потому что кто-то все равно книжечки по рукам пускает, распространяет отраву эту. Кононов тоже распространял. У тех свой круг был, у этого – свой. Те в политику ударились, а этот в буддизм. Но зараза одна и та же. Противопоставление себя обществу, деградация и в результате – самоубийство. Вот с вашей помощью мы бы и хотели установить круг знакомств этого Кононова. Сам-то он вывернулся, а круг остался. Не мог не остаться, понимаете меня?

– Вы хотите, чтобы я установил круг знакомств Кононова?

– А почему нет? Как советский гражданин, вы должны нам помочь. И, поверьте, это будет учтено.

– Но как?! В мою задачу входило написать статью. Это все, что я умею.

– А мы и не просим вас о большем. Пишите статью. Но чтобы написать ее, вам надо собрать материал о Володе. Как он стал таким. Кто его сделал таким. Кто толкнул его к роковому шагу. Как вы знаете, само по себе ничего не случается. Солнце светит – трава растет. Холодает – листья желтеют и опадают. Правильно? Он был хорошим в принципе парнем, но дураком, которого окончательно сбили с пути. И вот те, кто сбил, должны ответить за его смерть.

Голос его затвердел. Кулак сжался так, что костяшки побелели.

– Мы с вами не имеем морального права допускать повторения таких трагедий. В этом – ваша задача, как советского журналиста. А мы будем рядом. Ваш телефон у меня есть.

– Вы мне оставите свой?

– Пока нет.

– А как вас, хоть, зовут?

– Меня зовут Иван Иванович Майоров.

Он достал из внутреннего кармана пиджака красную книжечку и ловко раскрыл прямо возле моего лица. За те несколько мгновений, которые книжка была передо мной, я не смог ни рассмотреть фотографию, ни прочесть фамилию владельца. Движение явно было наработанным и предполагало произвести именно такой эффект. Показать, но не дать прочесть. Соблюсти видимость законности. Мотнув рукой, Майоров захлопнул удостоверение и спрятал его.

– Удовлетворены?

Глава 5

По дороге в редакцию, а затем домой меня не покидало ощущение, что за мной следят. Это, видимо, было нормальной реакцией на встречу с комитетчиком. Отрезав кусок хлеба и намазав его вареньем, я устроился с книгой на диване – это был роскошный детектив «День шакала» Фредерика Форсайта, подаренный мне одним моряком, у которого я брал интервью. Книжка была о том, как один наемный убийца должен был кокнуть Де Голля. Но я был так возбужден, что не мог сосредоточиться. Бросив книгу, я поставил первую пластинку из пачки на подоконнике. Это был альбом Fleetwood Mac – Rumors. Но музыка раздражала. Мне показалось, что Стиви Никс просто воет, а не поет. Стой эта наркоманюга передо мной, я бы, пожалуй, треснул ее чем-то по башке. Типа подушки. Когда она с коллективом завела Go your own way, мне показалось, что через меня пропускают ток. Из кончиков ушей даже посыпались зелено-голубые искры. Последним, героическим усилием я остановил вертушку и выключил усилитель. Наступила спасительная тишина.

Хорошо, конечно, было бы владеть техникой медитации, чтобы отвлечься от всего этого бреда, расслабиться, как это наверное делал Кононов. Интересно, от чего он отвлекался? Что его беспокоило? Впрочем, судя по всему, медитация ему не помогла. Я сбросил туфли, уселся на диване в позу лотоса, закрыл глаза и, за незнанием буддистских мантр, сделал глубокий вдох-выдох и прочел «Отче наш» раз десять. Потом, устроившись поудобней, задремал. Дух мой выбрался из меня и встал на посту у изножья, наблюдая за спящим. Когда проснулся, на часах была половина десятого вечера. Я умылся и вышел из дому. Пройдя до Комсомольской, сел на 15-й трамвай. В вагоне, залитом мутноватым серо-желтым светом, было всего два пассажира. У переборки, отделявшей кабину водителя от салона,

дергалась из стороны в сторону старуха с кошелкой. У окна дремал мужик, прижав к черному стеклу скособоченную кепку, со спрятанным под ней радаром для чтения преступных мыслей на расстоянии. Я остался на задней площадке. На следующей остановке я придержал дверь ногой и, когда трамвай тронулся и начал набирать скорость, соскочил на мостовую. Мостовая побежала-побежала назад, и я ее еле догнал, замахав на прощанье кепке с радаром. Оглянулся. Франца Меринга была пустынна. У подъездов горели одинокие лампочки. На потолках квартир мотались телевизионные тени.

На Дерибасовской еще было многолюдно и светло от огромных витрин. Я нырнул в пропитанный запахом подгнивающих овощей мрак Гаванной и, миновав пустынную Ласточкина, прошел узким проходом под аркой в Палерояль. В его центре обнаженные Амур и Психея обнимались под серовато-голубым светом луны и звезд. Занимались, можно сказать, эротикой. А в безлунные ночи возможно даже и сексом. Надо было бы поинтересоваться у соседей, не крутят ли у них тут во дворе Донну Саммер. Или Тину Тернер. И потом пропесочить как эксгибиционистов. Оставив справа черную громаду Оперного, спустился по ступеням в переулок Чайковского. Задержавшись в глубокой тени деревьев, снова осмотрелся. Никого. Перелетев через мостовую, нырнул в спасительный мрак подъезда и, пробив его, свернул налево. Высокое окно, выходившее во двор, было освещено теплым желтым светом торшера. Привстав на цыпочки, я постучал костяшками пальцев по краю карниза. Наташино лицо появилось за стеклом, и она приветственно махнула рукой.

– Хочешь чаю? – спросила она, пропуская меня в квартиру.

– Очень, – я устроился на диване, а она ушла на кухню. Оттуда доносилось позвякивание посуды, шумела, ударяясь в отлив, вода, потом я услышал, как ее мать, Надежда Григорьевна, сказала со вздохом:

– Хороший парень, чего ты ищешь?

– Мама, – очень тихо попросила Наташа.

– Все чего-то ищут, – продолжила моя добровольная союзница, как бы ни к кому не обращаясь. – Если счастье, так только за горами.

Наташа вернулась с чашкой.

– Слушай, у меня тут такое случилось, – сказал я, принимая чай. – Даже не знаю, с чего начать.

– Влюбился?

– Ну, это допустим уже и не новость. Тут другая история... При этом с таким простым сюжетом, что как бы ты не подумала, что я чего-то недоговариваю.

Слова Коли о том, что подумают люди, завидев меня на Бебеля, вошли в меня как отрава. Действительно, человек, так или иначе связанный с комитетом, становился опасным, даже если его связь была невольной, вынужденной. Кто знал, о чем он говорил со своими попечителями за закрытыми дверьми? Доносил на кого-то, спасая себя, или благородно молчал и отнекивался, что грозило ему самому большими неприятностями вплоть до потери свободы?

– Ты начни, а если у меня возникнут вопросы, я тебе скажу, ладно?

Я рассказал ей о своей встрече с комитетчиком. Действительно, сюжет оказался короче некуда.

– Тебя губит твоя добросовестность, – сказала она улыбаясь и, как всегда, в ее улыбке была то ли тень вины, то ли сожаления. – Ты относишься к этому делу так, как будто это твой долг – выяснять связи этого человека. Это не твой долг. Когда этот Майоров назначит тебе следующую встречу, скажи, что ты поговорил со своим Мишей, что ты поговорил с дворником и выяснил, что никто и ничего о нем знает. Ничего такого, из чего можно было бы сделать статью. И все. Ты же помнишь, как у Солженицына – не играть с ними в кошки-мышки, не давать им конец ниточки, за который они потянут и раскрутят весь клубок. Да и клубка тут никакого нет. Он читал какую-то литературу. Все что-то читают. Все рассказывают анекдоты. У него же не нашли дома подпольную типографию? Или, я не знаю, склад оружия! Если им не за что будет зацепиться, они от тебя отстанут. На нет суда нет. Или ты хочешь, чтобы они помогли тебе устроиться в «Известия»?

– Нет, конечно же, я не хочу, чтобы в «Известия» помогли мне устроиться они. Но вот ты сама говоришь, что надо хотя бы для приличия показаться этому дворнику.

– Покажись для приличия, и продолжай делать то, что ты делал всегда. И не бойся их. Сейчас не 37-й год. Посмотри, что происходит в стране. Их самих не сегодня-завтра разгонят.

– А если это инициативный дворник? Что, если он уже десять раз ходил с жалобами на этого Кононова к начальнику ЖЭКа, а тот от него только отмахивался? И вот все его жалобы оказались обоснованными, и в довершение всего появился сотрудник газеты. Тут-то он выложит столько, что хоть книгу пиши. Что тогда?

Помолчав, она сказала:

– Ну, хорошо, пусть это будет инициативный дворник. Но, подумай, что он может сказать при всей своей инициативности? Что этот Кононов вербовал его в буддисты? Обещал познакомить с Махатмой Ганди?

От этой Махатмы Ганди мы стали хохотать, как сумасшедшие. Страх, напряжение, все прошло. Мне так захотелось обнять ее и прижать к себе, что в штанах у меня начался микро-приступ гипертонии. Я сел поудобней.

– Что ты хочешь от меня услышать? – наконец сказала она. – Чтобы я порекомендовала тебе бросить работу в газете? Но ты же любишь ее, правильно?

– Слушай, я всегда знал, что есть неприятные задания, но для них есть псевдонимы. Я знал, что раз в году надо отписать муру про отчеты и выборы. Но тут выходит, что ничего другого и не надо. Что все, что я пишу, или почти все, это... не журналистика. Конторский официоз, полуправдивые очерки и теперь еще это разведдонесение.

Она вздохнула.

– Это не так. Ты делаешь прекрасные очерки, у тебя есть другие замечательные материалы. Не бывает работы без каких-то неприятных обязательств. Я тебе советую, Митя: не гони картину. Сейчас все уперлось в этого дворника. Встреться с ним, а потом увидишь, что делать дальше. Ну, подумай, что он тебе может рассказать? Ну, напился, ну привел к себе кого-то, мешал соседям, ну, что еще? Наша газета про пьяниц и дебоширов не пишет.

Она зевнула, похлопала ладошкой по губам. В комнате у мамы телевизор бодро сообщил, что в Москве 26 академиков подали в отставку, освободив место свежим кадрам. Процесс перестройки шел полным ходом.

– Ты права, наверное, – сказал я. – Я всегда начинаю волноваться заранее, хотя причин для этого может быть и нет. И всегда к тебе прихожу со своими проблемами. Расскажи лучше, как ты поживаешь?

Она отпила чай из моей чашки, пожала плечами.

– Как всегда. Ничего особенного. Нет, знаешь, вот вчера я смотрела по телеку какой-то фильм, не помню уже как называется, и вот там влюбленные после долгой разлуки встретились. И, как полагается, обнялись. И стали целоваться.

– Невероятно!

– Не перебивай. И вот, когда я смотрела на них, у меня вдруг сердце захолонуло. Мне на минуту, но очень отчетливо, так что я физически это ощутила, показалось, что они могут задохнуться. В этом было что-то очень символическое – любовь лишала их способности дышать, жить, ты понимаешь?

– Поэтому мы целоваться не будем.

– Конечно, не будем! Я же тебе толкую – это опасно для жизни! Мы так сидим хорошо, говорим, понимаем друг друга. Стоит начать, и все это умрет. Я же вижу, как это происходит у наших друзей. Они женятся, а через год из их отношений уходит все то, что мы так ценим в наших. И эти разговоры, и эта постоянная тяга друг к другу. А потом проходит еще два-три года и они разводятся. Мы должны сохранить все, как есть. И нам этого хватит на всю жизнь, ты понимаешь меня?

– Ты с доктором не консультировалась?

Я взял ее руку с очень изящной кистью и длинными пальцами, и приник к ней губами, а она стала гладить свободной рукой мой затылок.

– По какому вопросу мне надо с ним консультироваться?

– По вопросу мазохистских наклонностей.

Она отняла руку.

– Ну, где ты такое слово выучил, Митя?! Иди домой!

Глава 6

Я возвращался к себе по самым освещенным местам ночных улиц. Я бросал вызов скрывавшимся в тени шпионам с рациями и парабеллумами. Я их всех имел в виду крупным планом. Действительно, что я мог принести этому Ивану Ивановичу Майорову? Этому серому клещу? Высказывания Мишиной жены о том, что их сосед дегенерат? Что мог рассказать мне дворник? Что гнусный буддист оставлял после мытья лужи у дворовой колонки? Нет, все не так плохо, как сначала казалось. Наташа права. Все, что надо, это не рваться в бой, не рыть землю без надобности, не проявлять ту самую идиотскую инициативу, благодаря которой мне доверили важное идеологическое задание. И уходить от контакта с ними тоже не надо, чтобы не обозлять понапрасну. Они и отстанут. Действительно, не 37-й год на дворе.

Дома я достал из холодильника початую бутылку алиготе, наполнил стакан и вернулся в комнату. Было около полуночи, но спать не хотелось. Из приоткрытой балконной двери тянуло острой ночной прохладой, и от движения воздуха занавес покачивало. Как будто кто-то стоял за ним. Я подошел к балкону, откинул пыльную на ощупь ткань и высунул голову наружу. В черном колодце двора свет горел только в нескольких окнах. Прикрыв балконную дверь, я задернул занавес и прошел к подоконнику, где у меня стояла аппаратура и пачка дисков. Отпив с полстакана, я стал перебирать их. Некоторые я не слушал уже несколько лет, но когда брал их в руки, мог ощутить то же, что и тогда, когда они впервые попали ко мне. Я тогда учился в десятом классе. В параллельном классе училась девочка Ира, чей папаша работал на таможне. Тогда я не связывал его место работы с ее коллекцией дисков. Позже до меня дошло, что он их попросту отбирал у наших моряков загранплавания, после чего они оказывались у

него дома. Как сказал Жванецкий: «что охраняем, то имеем». Благодаря тому, что доставались они ей даром, Ира не видела в них особой ценности и легко давала переписывать. В этом был занятный парадокс: перед ее папашей стояла задача – не дать прохода буржуазной культуре, но в действительности он активно распространял ее через дочь.

Один раз она мне дала сразу штук десять дисков. Среди них были Led Zeppelin III, Deep Purple – Fireball и Rolling Stones – Sticky Fingers. Она, не таясь, передала их мне в школьном коридоре, а я, пугливо оглядываясь, стал засовывать их в портфель, оказавшийся недостаточно вместительным для такой ноши. Потом, так же пугливо оглядываясь, я потрусил домой, держа так и не закрывшийся портфель под мышкой. Какие-нибудь хулиганы могли отобрать их. Город просто кишел ими. Я двигался короткими перебежками от одного добропорядочного на вид гражданина до другого, вжимая голову и ощущая спиной раскаленное дыхание незримых преследователей.

Первым я поставил Цеппелин. Сначала раздались пять или шесть повторившихся через равные промежутки времени щелчков, какой-то может быть студийный отсчет, после которого ритм гитар и ударных просто оглушил меня, и над этим ритмом Плант завыл, что твоя нечистая сила:

– А-ага-га-а-а-а-а-а!

У каждого альбома была своя ценность, помимо музыкальной. В перпловском Fireball это был звук уехавшей вниз кабины лифта. Звук заработавших моторов был таким же захватывающим, как и скорость, с которой Ян Пейс стучал по барабанам и тарелкам. А чего стоила обложка Sticky Fingers! В сфотографированные на нее «Левиса» была вставлена самая настоящая змейка! Расстегнув ее, можно было отогнуть край обложки, за которым оказывалась новая фотография – белых трусов. За ними был черно-белый вкладыш, на котором пятеро роллингов стояли у какой-то обшарпанной стены. На Джагере и Ричардсе были какие-то пестрые брючки. Самым аккуратным выглядел их новый гитарист Мик Тэйлор, сменивший утонувшего наркома Брайана Джонса. Казалось, что аккуратные джинсы и куртка – были прямым указанием на то, что он – новичок, который еще не позволял себе, как сказала бы моя мама, распоясываться. Каким он, должно быть, чувствовал себя счастливчиком! А как он играл! Ричардс брал свои размазанные, рваные аккорды, а Тэйлор солировал, вел тему. Но вдвоем они были совершенно бесподобны! Только Ричардс мог так по-роллинговски начать Sway – вам-вам-вам-ва-у-у! Но как бесподобно звучала гитара Тэйлора в Can't you here me knocking. А как их гитары перекликались в Syster Morphine? Ричард рвал струны на акустической, а Тэйлор вставлял сперва короткие, протяжные ноты, а потом вел соло, и звук у него был тяжелым и гибким.

Я менял пластинки, ставил одну и ту же дорожку по нескольку раз, был в совершенном умопомрачении. Когда родители ушли спать, я продолжал слушать тихо-тихо, едва слышно.

На следующий день, когда Ира увидела меня в коридоре, она в точности повторила вопль Планта:

– Ага-га-а-а-а-а!

От испуга сердце у меня замерло – в школе так орать не полагалось.

– Ну, понравилось? – спросила она, когда мы оказались рядом.

Встречаясь на переменах, я торопился к ней и, захлебываясь от восторга и благодарности, рассказывал, как хотел бы еще знать, о чем они поют.

– А у меня есть их тексты.

– Откуда?!

– А у меня есть один чешский журнал, и там есть текст Песни иммигрантов и еще какой-то.

На следующий день, замирая от восторга, я читал слова, которые пел Плант:

We come from the land of the ice and snow,
From the midnight sun, where the hot springs blow.
The hammer of the gods will drive our ships to new lands,
To fight the horde, singing and crying:
Valhalla, I am coming!

– А что такое Валхалла? – спрашивал я всех, кого мог.

Ответ дала учительница английского Валерия Анатольевна:

– Это – место, где жил главный бог древних норвегов – Один. Или Одэн. Кстати, в его честь названа среда – Wednesday. В старых текстах его звали Wodan. А название дня звучало как Wodan's Day.

Валерии Анатольевне было лет 25. Она закручивала светлые волосы в тугой узел с хвостиком на затылке и носила короткое кримпленовое платье с цветочным рисунком и туфли на платформе. Улыбаясь, она слушала мои восторги по поводу Цеппелина.

– Ты видишь, у тебя появился еще один стимул учить английский! – сказала она. – Хочешь, я тебе принесу битловские тексты?

– Нет, я лучше еще пару цеппелиновских попробую разобрать, а потом принесу вам на проверку, ладно?

– Если бы я их сама слышала, мне было бы легче тебе помочь.

– Так я вам запишу!

Когда она принесла мне чистую бобину пленки, у меня было ощущение, что мы стали сообщниками.

Диски мне были переданы на несколько дней. После выходных с таким же ужасом, спазмами в животе, на пустых ногах я принес их в школу, но Ира не пришла. Пытка транспортировки этого сокровища продолжилась. Я разозлился на нее за такую необязательность. Сказала приду – приходи, хоть не знаю что! Но она не появилась до выходных и после них тоже. Просто исчезла. От ее классного я узнал, что она заболела. Прошла зима, ее все не было. Я привык к тому, что диски теперь все время лежат на радиоле. Они стали почти моими. В самом начале марта, я помню, за окном кружил редкий серый снежок, на большой перемене классный попросил всех встать. По его лицу мы поняли: что-то случилось. Я подумал, что врезал дуба кто-то из начальников. Родители часто посмеивались над их возрастом. Застучали крышки парт, мы стали подниматься. Когда все уже стояли, он вздохнул глубоко и сказал: «Дети, я прошу вас минутой молчания почтить память нашей соученицы Иры. Она умерла».

Я не сразу понял, что речь идет о той самой Ире. Мне казалось совершенно невероятным, что может умереть моя сверстница. Умирать должны были люди дожившие ну хотя бы лет до 50.

– А чего это она? – поинтересовался Миша Климовецкий.

– У нее была лейкемия, – ответил классный.

Еще одно слово пополнило мой словарный запас. Через несколько недель, узнав в учительской ее адрес, я поехал на поселок Таирова, чтобы вернуть диски ее родителям. Я нервничал. Побаивался вида людей, понесших такую утрату. Они скорбят, а тут я со своей липовой физиономией. Еще я побаивался, что они станут предъявлять мне претензии, почему я так задержал пластинки, когда она могла, например, послушать их перед смертью, или еще, чего доброго, начнут проверять в каком состоянии я их возвращаю – обложки некоторых потерлись на сгибах.

Дверь открыл ее папаша. Тот самый таможенник. Он был в бежевых шортах и белой майке, крепко сколоченный, лысый. На моем лице было изображено горе, но он, казалось, был в хорошем настроении.

Я назвался. Он кивнул, чтобы я зашел. Прихожая была заставлена картонными коробками. Они как будто готовились к переезду. Я достал из сумки диски и подал ему. Он сел на ящик и, положив их на колени, стал рассматривать. Потом, постучав торцом пачки по коленям, выровнял ее и протянул обратно мне.

– Оставь себе. Считай, что это подарок от Иры.

Я поблагодарил его, не зная удобно ли спросить, где она похоронена. Я подумал, что он может подумать, что я хочу отнести цветы на могилу в благодарность за диски, и в его глазах, это будет выглядеть карикатурно. А без дисков, скажем, спросил бы? Как вы поняли, я с детских лет был мнительным мальчиком. Хоть бери меня и пиши работу по детской психологии.

– Как тебя зовут?

– Митя.

– Постой здесь, Митя.

Он ушел в комнату. Что-то там двигал. Потом вернулся и вручил мне еще пачку дисков.

– На память. Помни о ней.

Я так и не спросил, где ее похоронили. На лестничной площадке я всунул часть дисков в сумку, а часть мне пришлось везти в руках. Всю дорогу до автобусной остановки, а потом в автобусе, я со страхом посматривал по сторонам, панически боясь, что меня бомбанут. Я также панически боялся назвать себе сумму стоимости своего нового достояния. Наверное, тут было дисков на годовую отцовскую зарплату. Держа их между ног, я с трепетом угадывал в темно-коричневом торце двойник Jesus Christ Superstar. Домой я ввалился, мокрый от пота, кровь тяжело била в висках. Мама, стоявшая у кухонной плиты, спросила:

– За тобой что, бандиты гнались?

Я часто пытался вспомнить эту Иру, но цельный ее образ ускользал от меня. У нее были длинные, вьющиеся крупными кольцами блестящие черные волосы и очень веселые карие глаза. Я помнил ее заразительный смех и ту щедрость, с которой она всем делилась, как если бы знала, что ТУДА с собой ничего не унести. Но тогда, в девятом классе я, проявлял интерес не к ней, а к ее дискам. Теперь они служили своеобразным напоминанием о моей туповатой подростковой жадности. Если правда, что ничего просто так не случается, как мне объяснил недавно товарищ Майоров, то этот подарок наверняка должен был поспособствовать моему культурному развитию. Музыка, которая не признавалась властью, считалась второсортной и даже вредной, научила меня прислушиваться к тому, что не хвалили. Что я дал взамен этой Ире? Ничего. Может быть и дал бы, да не успел.

В отличие от музыки многих других групп, первые диски Цеппелина не старели. Ужасно помпезно стал звучать Uroah Heep, первые диски Deep Purple, казалось, ничего не связывало с их шедевром Machine Head, однообразно звучали Free и Bad Company, T-Rex, первые роллинги и битлы казались

совсем допотопными. Да, были и на них по одной-две хороших песни, но в целом эта музыка принадлежала другому времени. Старый цеппелиновский блюз не терял своей мощи и напряжения, хотя был записан хороших 15 лет назад. Перешли бы они на какую-нибудь популярную муру, как Yes? Не знаю. Джон Бонэм избавил их от решения этого вопроса, отбросив по пьяному делу свои барабанные палочки.

Цеппелин был моей первой любовью, заменившей настоящую любовь. Я приходил со школы, когда родители еще не вернулись с работы. Темнело рано, я ставил свой любимую песню Since I've Been Loving You и всякий раз замирал, когда звучали первые ноты пейджевской гитары – та-Та-та-та-Та-а, за которыми вступал барабан – чак, чак-чак! Музыка наполняла меня, как наркотик. Когда Плант пел: It kinda makes my life a drag, drag, drag, и последнее слово срывалось у него на протяжный вопль, сердце у меня останавливалась. Я вспоминал Иру и думал, что вероятно, мог бы любить ее, как любил свою подругу Плант. И если бы я успел полюбить ее до того, как она умерла, то теперь этот блюз передавал бы мое ощущение потери. Я очень грустил по поводу того, что жизнь моя сложилась так, что я не успел полюбить ее вовремя. Занятно, что слова этого блюза, расшифрованные позже с помощью Валерии Анатольевны, совершенно не согласовывались с ходом моих макабральных фантазий. Ни я, ни покойница на роли героев цеппелиновской трагедии не годились. В песне героиня изменяла герою, а того мучила сильная ревность. Чего в нашем случае не было даже рядом. Особенно Плант страдал, когда приходил к ней после работы и слышал, как хлопала дверь черного хода, через которую смывался ее другой любовник. Из этой трагедии я вычленил только одну пригодную для себя фразу – life is a drag. Сначала я думал, что речь идет о наркотиках, но Валерия Анатольевна объяснила, что слова life a drag означает, что у человека не жизнь, а какая-то мутная тягомотина. Точно в такую тягомотину превращалась и моя жизнь, как только я отходил от своего проигрывателя больше, чем на три метра.

Спросите меня: разве в те годы не было нашей, русской музыки, которая трогала бы меня? Я помню трех соучениц в коричневых школьных формах у пианино, за которым сидит школьный педагог музыки.

Белый аист летит,
Над белёсым Полесьем летит,
Белорусский мотив
В песне вереска, в песне ракит.
Всё земля приняла
И заботу, и ласку, и пламя,
Полыхал над зёмлей
Небосвод, как багровое знамя.

Девушки выводят слова нежными голосами, поводя плечами согласно течению мелодии.

Молодость моя,
Белоруссия.
Песня партизан,
Сосны да туман.
Песня партизан,
Алая заря.
Молодость моя,
Белоруссия.

Я не могу сказать, что мне безразлична история моей страны, ее жертвы. Мой отец воевал, был командиром взвода гвардейских минометов – катюш, и у него полная коробка медалей и знак «Гвардия», которым он особенно гордится. Но в моем сердце – длинноволосые викинги, рев гитар и победный вопль Планта: «Валхалла, я иду к тебе!»

Со школы эта музыка, какой бы энергичной она ни была, стала ассоциироваться у меня с сумерками, холодом и одиночеством – это было неизбежным следствием того, что я узнал ее и наслаждался ей в одиночестве. Прочитав в те же годы «Над пропастью во ржи», я обнаружил, что это же состояние одиночества переживал Холден Колфилд в зимнем Нью-Йорке. Учительница географии Жанна Бенционовна вставила страницы напечатанной в «Иностранке» повести Сэлинджера в скоросшиватель и давала читать нам. Она потом исчезла, и по школе прошелестел шепоток, что Жанна свалила в Израиловку. Сейчас ту самодеятельную кампанию просвещения школьников мой новый знакомый клещ мог бы вполне квалифицировать как идеологическую диверсию. Поразительно, но при всем богатстве русской литературы, в 16 лет я не мог бы назвать более близкого себе духовно литературного героя, чем этот американский паренек. Холден Колфилд был героем моего времени, а не Онегин и не Печорин. Какое я,

сын техникумовского преподавателя физкультуры и домохозяйки, имел отношение к вековой давности переживаниям провинциальной аристократии? Какое отношение они имели ко мне? Мне нужно было время, много времени, прежде чем я оценил Пушкина и Лермонтова. Кажется, уже после университета я открыл томик стихов Лермонтова и прочел первое попавшееся:

«Выхожу один я на дорогу; Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, И звезда с звездою говорит».

Я помню, как у меня встали дыбом волосы на руках, и по всему тела прошла волна дрожи, на глаза навернулись слезы. Я закрыл книгу. Не знаю, такие ли моменты называют моментами истины, но для меня это был именно такой момент – мне открылась истина – Бог есть и между Ним и человеком существует связь. Эта связь не имела никакого отношения к аристократическому или простонародному происхождению, сплину пресыщенных отпрысков благородных семей, джинсам, Цеппелину, эта связь существовала надо всем этим. Это было мое открытие. В школе мне этого не объясняли.

Начав работать, я иногда покупал новые диски, но в основном менял, оставляя неприкосновенными только те, которые получил от Иры. С годами мне даже стало казаться, что память о ней, веселой девочке с густыми черными волосами и карими глазами, стала причиной моей тяги к брюнеткам. Может быть, я думал, что с ними смогу досмеяться и договорить обо всем, о чем не договорил с ней.

Отпивая вино, я перебирал диски: Uriah Heep – Very ‘eavy Very ‘umble, с покрытым паутиной лицом кричащего человека; Yes – Close to the Edge – с воздушным китайским рисунком залитых туманом гор на развороте; Genesis – Selling England by the Pound – со спящим на скамейке носатым типчиком; Jethro Tull – Aqualang с нищим, показывающим непристойный жест; Led Zeppelin III – с обложкой в отверстиях и вставленным в обложку колесом с рисунками, которые попеременно возникали в отверстиях при вращении; Deep Purple – Machine Head, где размытые, но все еще узнаваемые лица участников группы находились словно за поплывшим от жары стеклом, с выплавленным названием альбома. У меня в голове не укладывались имена деятелей и даты событий, которые мы проходили по истории или литературе, но я знал наизусть имена участников всех групп, на каких инструментах они играли.

В 80-х музыка стала мягче, ритм – проще, звучание – слаще, ее стали называть попсой. Даже новый рок стал попсовым. Миша Климовецкий, с которым мы балдели от Deep Purple и Led Zeppelin, теперь чуть не плакал от шлягеров Scorpions. Мой политически неподкованный приятель даже не подозревал, что они проповедовали насилье и еще какую-то гадость, о чем у меня был соответствующий документ.

Нет, я не был безразличен к новой музыке. Впервые услышав Шадэ, я просто влюбился в нее. Наверное, такими же голосами пели сирены, соблазнившие Одиссея и его товарищей. Когда я увидел ее снимок на обложке пластинки, она, черноволосая и кареглазая, ясное дело, показалась мне натуральной сиреной. Редкая дискотека тогда обходилась без ее хита Smooth Operator.

Наконец я достал из пакета диск Genesis и поставил его на вертушку.

Can you tell me where your country lies? – запел Питер Гейбриел.
The path is clear
Though no eyes can see
The course laid down long before
And so with gods and men
The sheep remain inside their pen,
Though many times they’ve seen the way to leave.

Я допил вино и лег. Текст неожиданно совпал с моим настроением. Овцы это мы. Текст Гейбриела показался мне обращенным прямо ко мне. Где была моя страна? Где была та страна, в которой я мог бы заниматься любимым делом, а не выполнять поручения идиотов, преследующих свои идиотские цели? В то время, как пресса и телевидение только и трубили об обновлении общества, клещ из комитета поручил мне очернить покойника на том основании, что при жизни тот был буддистом. Чем этому козлу и его начальникам мог мешать этот безмолвно медитирующий отшельник? Я понимаю, он мог мешать своим соседям Климовецким, забывая тушить свет в сортире или просто занимая комнату, которой им так не хватало для полного счастья, но какие к нему претензии могли быть у комитета? Почему этот дикий принцип – кто не с нами, тот против нас – распространялся даже на того, кто никого и ничего не трогал, а просто жил в стороне? Пусть даже я мог отделаться от этого задания, но сколько таких же мерзких могло возникнуть на моем пути в настоящую, московскую прессу? Переход в центральные издания был мечтой многих моих коллег. Мой предшественник из отдела писем Витя Конев перешел на работу в журнал «Огонек». Известный фельетонист из «Вечерки» Сева Лапшин получил место в «Известиях». Все, представлявшие что-либо в профессиональном плане, рано или поздно покидали этот прославленный в песнях, анекдотах и двух веселых романах провинциальный город и перебирались в Москву, на самый худой конец, в Киев. Но что они для этого сделали? Хватило ли им одного их таланта, или требовались дополнительные усилия? Точнее, покладистость. И проявили ли они ее?

Глава 7

Винодел колхоза Карла Либкнехта Георгий Христофорович Левуа, сидя на крыльце колхозной конторы, рассказывал удивительные истории. Я делал записи в блокноте, не веря своим ушам. Своей неординарной для колхозника фамилией Георгий Христофорович был обязан происхождению. Он был швейцарцем, хотя родился в Одесской области в селе Шабо, чье название напоминало о его первых жителях – швабах. Деды и бабки Георгия Христофоровича приехали в эти края еще до революции, продолжив семейную традицию виноградарства на степной земле Малороссии. После революции масса колонистов вернулась на родину, но многие остались, пожалев приручeнную землю с виноградниками, в которые были вложены десятилетия кропотливой работы. Пережив еще две войны, последние колонисты, так и не дождавшись наступления лучших времен, репатриировались. Левуа, женатый на украинке с большой местной родней, остался. Жена его – Любовь Матвеевна – работала в конторе колхоза им. Карла Либкнехта бухгалтером.

– У нас тут багацько иностранцев робыло, – рассказывал украинский швейцарец. – Колы супутнык запустылы, у 58 чи в 57 роци, так з Бразылии пароход прыбув з тымы, що до вийны збиглы закордону. Воны соби гадають: якщо там вже на Луну литають, так яке ж в ных на земли життя, га? – от смеха пронизанный красно-синими жилками нос Георгия Христофоровича стал фиолетовым. Прокашлявшись, он продолжал:

– Прыйиздять, а тут ни цвяха, ни хлиба, ни ковбасы. От так вляпалыся! А супутнык е, супутнык литае! Але ж за якым тоби хрэном той супутнык, колы жраты ничого?! Воны за чемоданы та й гэть до своейи Бразылии, щоб воно усэ горэло! Одын залышывся, Виктор, столяр.

– Он и сейчас в колхозе работает?

– Да, тут у майстерни робэ.

– Ему понравилось, значит?

– А хто його зна, що у нього в голови? Я нэ пытав, нэ моя справа.

С разговоров о биографии перешли на вино.

– Та хиба ж то выно? – махнул рукой Григорий Христофорович. – Воны беруть спырт що подошевше, варенье старэ зи складив, що не продалося, воно перебродить, ось тоби и червонэ мицнэ. Отрава з градусом. Якщо хочешь выпыты, то кращ за все билэ. Йому зашкодыты важко. Сусло збродило, в бочку його злив, чи в бак, через пивроку розлывай та й пый. Воно зрозумило, що паршыве, але ж не отрава. Що в нас вмиють робыты, так це горилку. Якщо очистка добра, то пыты можно.

– А улучшить процесс изготовления вина можно?

– Можно, але ж воно никому не потрибно. Йим поскориш, та щоб побильше було. А поскориш тильки коты на даху гуляють! Часу теж ни в кого нема. Треба коммунизм будуваты.

Григорий Христофорович снова засмеялся.

– А вы сами не хотите сделать что-то настоящее, хорошего качества?

– Колы молодой був як ты, хотив, а потим пэрэхотив. А зараз мени цией головной боли нэ потрибно. Що скажуть, я им зроблю. Мени на пэнсию через пивторы рокы, а доты, як йим завбажыця.

– А на пенсии свой виноградник не хотите?

– Свий виноградныk? Ни, я мабуть у Швейцарию пойиду. В мене сестра там. Давно вже клыче, а куды я пойиду, якщо мовы нэ знаю. Як працюваты без мовы? А на пэнсию може и прыйиду.

– А вы же там не работали, как вам пенсию дадут?

– Я сам дывуюсь, що то за крайина – ты йий ничого, а вона тоби всэ. Алэ ж сэстра говорыть, що якщо швэйцарэць, то пэнсию дадуть. Нэвысоку, алэ ж прожити можно. А можэ й брешуть, то й выйдэ як з тымы бразыльцямы. Алэ ж, я у наступному роци сам пойиду туды, вона мени вызов гостевой прыслала, подывлюся, що там правда, а що брехня.

Слушая старика, я подумал, что сделать из этого Григория Христофоровича антисоветчика куда проще, чем из Кононова. Сложней было бы опубликовать очерк, в котором мой герой предстал бы реальным человеком, силой обстоятельств превращенным в халтурщика и намеревающимся бросить все, созданное несколькими поколениями его предков. Но портрет реального человека мог стать поводом для встречи с товарищем Майоровым и новой задачи. Поэтому я снова перевел разговор на производство белого вина.

– Пишлы до цэху.

Григорий Христофорович, хрустнув коленями, встал и повел меня в цех – обычный амбар, где стояли высокие баки из нержавейки и чуть поодаль – бочки из потемневшего дерева. В цеху пахло сырой землей и виноградным суслом. Стоя посреди амбара, мой проводник рассказал, что в этом году они установили еще один бак, потому что их «Лидию» стали заказывать из Киева. Виноград простой, не требует особого ухода, если бы это был шардоне или совиньон-блан, загубили бы давно, а этот выдерживает все.

– Ростэ назло усим! – заключил он, посмеиваясь.

Сфотографировав его напоследок, я пожелал ему всего найлучшего.

Материал я написал за несколько часов, обойдя, ясное дело, историю о сестре в Швейцарии, бразильских репатриантах, способе изготовления крепленого вина из старого варенья и спирта, полной незаинтересованности делать качественный товар и намерении моего героя через полтора года нарезать на историческую родину. Рассказал только о цехе с баками из нержавейки в тени старых акаций, запахе горячей земли на виноградниках, о том, как Григорий Христофорович брал увесистые гронки лидии, словно взвешивая их на ладони, как когда-то взвешивал их его отец, а до отца дед. Еще написал, каким спросом пользуется белое столовое, как оно освежает и как, наверняка, оценят это вино те, кто сядет в жаркий летний день за стол, чтобы провести культурно время за содержательным разговором. Не написал, что наши самые содержательные разговоры являлись обсуждениями «Архипелага», «Николая Николаевича» или «Собачьего сердца». И поэтому выходило, что с таким замечательным виноделом наше вино и вообще вся наша жизнь становились день ото дня лучше. Что было чистой воды ложью. И меня совсем не утешало то, что я был не одним создателем этой фата-морганы, а принадлежал к цеху. Что было еще мерзее.

Я выкрутил лист бумаги из машинки, перечитал текст и, внеся правку, отложил до утра в стол, чтобы назавтра перечитать еще раз на свежую голову.

Глава 8

Я направился к Мише, еще плохо представляя, о чем буду говорить с ним. Для Миши, как и для всей его семьи, моя работа была такой же абстракцией, как полеты в космос. Газет это семейство не читало. Оно вообще не читало. Мой покойный папаша всегда делил дома своих знакомых на дома с книгами и без книг. Если он говорил о ком-то, «у них нет книг», это значило, что речь шла о людях второго сорта. В доме Климовецких не было даже старого школьного учебника, на который можно было бы поставить горячий чайник или который можно было бы подсунуть под раму открытого окна, чтобы ее не закрывало ветром. Поэтому если бы меня взяли на работу в «Вечерку», или даже в «Известия», значительность этого эпохального для меня события они бы не оценили. В лучшем случае поинтересовались бы, какую мне дали зарплату.

Я тоже не очень интересовался подробностями работы Миши или тети Иры. Собственно интересоваться было нечем. Все было ясно, как день. О прибыльности работы приемщика посуды можно было судить по тому, как одевались Миша и Света. Что до тети Иры, то к ней вполне можно было отнести фразу, которую я раз прочел на странице юмора в «Вечерке»: «Инспектор ОБХСС посмотрел на продавщицу Сидорову и подумал, что ей можно дать ровно столько лет, на сколько она выглядит».

Помимо десяти проведенных в одном классе лет, да давней любви приблизительно к одной и той же музыке, у меня с Мишей ничего общего не было. И с годами даже в этой сфере наши вкусы стали расходиться. Я не мог слушать его Scorpions. Он не мог слушать моего Маклафлина. Как ни стыдно, но я должен признать: я продолжал ходить с ним на сходку, потому что он был парнем крупным и до известной степени служил защитой от хулиганов, время от времени поджидавших на подступах к сходняку одиноких дискоболов. С ним я чувствовал себя уверенней. Занятно, что хотя и он, и я в глазах наших начальников выглядели одинаково ущербными личностями, у него с ними было много больше общего, чем у меня. Ни от них, ни от него, я не слышал ничего об их досуге, кроме того, как они погудели, сколько бутылок водки ебнули и какие с ними были телки. Ну вот, я и проговорился! Да, Миша давал левака. Но не злонамеренно. Назовите это издержкой профессии. Его пункт приема стеклотары входил в маршрут одного Эдика, который пару раз в неделю сажал в свои «Жигули» дежурную девушку специального назначения и объезжал с ней все известные ему будки индпошива, ремонта обуви, бытовой техники и прочего в том же духе. Появляясь на очередной точке, Эдик говорил: «Мальчики, есть свеженькая соска, быстро все скинулись по пятерочке». Потом он возвращался к машине и открыв дверцу, говорил: «Танюша, пошли, мальчики уже ждут».

Завершив маршрут, я думаю, он дербанил деньги со своей Танюшей, обменивался впечатлениями по поводу козлов, с которыми им довелось сегодня познакомиться, просил не брать, фигурально, конечно, выражаясь, в голову неприятности, беречь себя, договаривался о следующем выезде и, тепло попрощавшись, шел домой к жене. Нет, последнее я придумал. Может быть, у Эдика и не было жены. Зачем жена при такой работе? Что до остального, то все было. Откуда я знаю?! Даже не спрашивайте, это к делу не относится. Речь о другом. Миша подворовывал на приеме стеклотары, чтобы было что давать сверху за финские туфли или венгерские батники. Я сильно подозреваю, что большинство наших комсомольских вожаков выбрали свою руководящую стезю именно потому, что она открывала им беспрепятственный доступ к тем же самым благам, за которые Мише приходилось сильно переплачивать. В отличие от Миши, они хотели оставаться честными. Они презирали воров. Но у них был общий интерес к одному и тому же дефицитному товару, который они получали через одно и то же заднее крыльцо. И даже музыку они любили одну и ту же. Благодаря этому по телеку теперь показывали всю

сан-ремовскую агитбригаду с Альбано и Роминой Пауэр во главе. Они были такими воспитанными и причесанными, на них были такие красивые очки, что не выпустить эту феличиту на эстраду мог только последний неофашист. И поэтому наши вожаки выпустили приемщику тары Мише, его псевдобеременной жене Свете, их маме Ире на продавленном диване, а главное – самим себе этих красивых и культурных иностранных исполнителей. С таких можно было даже кое в чем брать пример. Хотя очкарика для этой дрымбы можно было бы подыскать и повыше.

А теперь меня направили к Мише в качестве разведчика. Хуже того – диверсанта – ведь подготовка материала, даже имитация подготовки, могла помешать его вселению на освободившуюся площадь. В то время, как Климовецкие спали и видели, как они улучшат жилищные условия, кто-то в ЖЭКе, обнаружив, что делом интересуется газета и милиция, мог затормозить решение вопроса, который в другом случае мигом решился бы рублей за сто.

У входа во двор Климовецких стояла молодая женщина и пожилой человек. Приближаясь к ним, я увидел, что они не сводят с меня взглядов. Я видел обоих в «Вечерке» на встрече творческой молодежи, где выступала бригада эпигонов Жванецкого, читавших свои произведения, написанные со 100% соблюдением интонации своего кумира:

Она была красивая, хотя умная.

Я ей сказал:

Беллочка, а вы можете просто закрыть глаза и представить себе, что это не я, а тот же самый Омар Шериф.

– А если таки нет?

– Таки вы не можете закрыть глаза или вы таки не можете себе представить?

– Допустим я могу и то и другое, но я просто не знаю, какая нужна нечеловеческая фантазия, чтобы из только что стоявшего передо мной вас вышел Омар Шериф!

–Хорошо, пусть это будет не Омар Шериф, но я вам гарантирую что-то свежее в сфере чувств!

– Вы знаете, мне постоянно обещают что-то свежее, а получаются одни разочарования!

– За свежесть я вам ручаюсь, позавчера у нас пустили на 15 минут воду! Я еле успел!

История отношений Беллочки и влюбленного в нее автора, который хотел быть похожим на Омара Шерифа, превратились в бесконечный обмен репликами, не предполагавшими никакого развития. За столами скоро начались разговоры, слившиеся в гул, в котором неожиданно раздался очень громкий женский смех. Этот смех был наполнен таким безоглядным весельем, что все примолкли и стали оглядываться, чтобы увидеть смеющуюся. Это была официантка – плотная блондинка с короткой стрижкой, лет 35, в черной юбке и белой блузке. Она стояла у стола, за которым сидел высокий пожилой человек с костистым лицом, крючковатым носом и растрепанными седыми волосами. Я тут же назвал его Кащеем.

– Ну, вот снова вы все испортили, милочка, – осклабившись, он взял ее за локоть и заглянул в глаза. – К молодому таланту надо относиться бережно, а вы?

– Если бы мне только не надо было слушать эти таланты каждый вечер! – ответила та, совсем не стараясь говорить тихо.

Собрав на поднос пустые бокалы, она направилась к бару и, когда она проходила мимо меня, я узнал в ней женщину, которую раз видел в коридоре у Климовецких. Вернувшись со сходняка, мы с Мишей только вошли в темный коридор, а она, чуть наклоняясь вперед, стремительно шла нам навстречу. Каблуки ее туфель гулко били в дощатый пол. Проходя мимо, она обдала меня сладкой волной духов. И сейчас я ощутил тот же сладкий, тревожный их аромат.

Смех официантки положил конец выступлению юмориста. Повсюду шумели отодвигаемые стулья, кто-то позвал знакомого, кто-то поднялся, чтобы выйти покурить на улицу, заговорили уже громко, у сцены раздались жидкие аплодисменты друзей и родственников артиста. Тот, сделав несколько спазматических поклонов, исчез.

На улице я столкнулся с Кащеем. Он оглядывался, словно разыскивая кого-то, потом, повернувшись ко мне, спросил нет ли сигаретки.

– Я не курю.

– Хотите уйти из жизни здоровым? Это – похвально!

С этими словами он вытащил из кармана пачку «Мальборо» и, вытряхнув сигарету, повесив ее на губу.

– Забыл, – объяснил он, чиркая зажигалкой. – Очень интересное выступление, не правда ли? Нынешняя молодежь так свободно себя чувствует, вам не кажется? Вы тоже юморист?

– Нет.

– Слава Богу. Какое убожество, подумать страшно! Но кадры есть, кадры есть.

Ничуть не таясь, он пристально рассматривал стоявших вокруг нас.

– Кого вы имеете в виду? – спросил я, хотя догадывался, что речь идет не о выступавших.

– Ну, смотрите, – он кивнул на худенькую девушку с начесанными вверх волосами и нарисованными синими тенями вокруг глаз. Она курила, обняв себя правой рукой за левое плечо и поеживаясь на вечернем ветерке.

– А-а? Как вам?

Не дожидаясь ответа, он продолжил:

– Такой бы ручки привязать к спинке кровати и надругаться по полной программе, нет?

Я опешил. Кащей поспешил переменить тему:

– Хотел бы я знать, кто придумал эту категорию заведений – «молодежные кафе»? А людям, скажем, моего возраста, где собираться? На кладбище?

– В городе есть другие рестораны.

– Но их же нам пока не начали подавать как кафе для ветеранов труда или как кафе для валютных проституток и иностранных моряков. Верно?

Поглядев вбок, он как бы ни к кому не обращаясь, добавил:

– Хотя мы все знаем, где они находятся. А вы учитесь или работаете?

– Работаю. В «Комсомолке».

– О-о, прэс-са! Романтическая профессия! В каждом журналисте женщина, умеющая читать, видит молодого Хемингуэя. А не умеющие читать видят человека с красной книжечкой, перед которой открываются все двери, верно? А как ваша фамилия, кстати?

Я назвался.

– Звучит знакомо.

– А вы чем занимаетесь?

– Я – радиоинженер. Константин Константинович. Можно просто Костя.

Для Кости он был немного староват. Даже, скорей, сильно староват. А называть его Константином Константиновичем язык не поворачивался.

Он протянул мне большую костлявую руку.

– Работаю на телефонной станции. А в свободное время аппаратурку кой-какую собираю. Усилители, колонки. Музыкой интересуетесь?

– Немного.

– Будет желание, заходите в мастерскую. – Он назвал адрес. – Запомните?

– Да, это недалеко от моего дома. Приятно было познакомиться.

Он вернулся в кафе, а я отправился домой.

Глава 9

Сейчас под глазами у нее были темные круги, она выглядела так, словно пришла сюда после бессонной ночи.

– Старые знакомые, – сказал Кащей. – Живете здесь?

– Нет, к товарищу иду.

– Знакомьтесь, это – Лиза.

– Здравствуйте, – сказала она. – Мы, кажется, встречались. Как и все в нашей большой деревне. Вы идете к соседям Володи Кононова, верно?

Я кивнул.

– У меня к вам просьба. В его комнате остались кое-какие мои вещи. Я бы хотела их забрать, но проблема в том, что его дверь опечатана.

– Как же я могу вам помочь?

– Его окно выходит на тот же балкон, куда выходят окна ваших друзей. С этого балкона можно забраться в его комнату.

– Но окно, наверное, закрыто.

– Оно открыто. Его оставили открытым, чтобы там проветривалось. Если бы вы попросили своих друзей, чтобы они позволили мне выбраться на балкон... Вы можете?

– Давайте попробуем. Главное только, чтобы у них кто-то был дома.

– Ну, все, оставайся здесь, – сказала она Кащею, и в голосе ее уже не было дружелюбия, а одна только усталость. – Я постараюсь быстро.

Дверь открыла Света.

– Привет, – сказала она, – а Мишки нет.

Когда я ей изложил суть дела, ее явно охватил азарт:

– Ну, давайте!

Она ступила на диван и, с треском освободив рамы от склеивавших их бумажных лент, открыла одну створку.

– Пролезете? Только разуйся, – сказала она мне, хотя требование относилось к нам обоим.

Я снял туфли, взяв их в руки, встал на диван, оттуда переступил на подоконник и спрыгнул на балкон. Надел туфли снова. За балюстрадой стояла, едва покачивая пятинистой листвой, прозрачная стена платанов. Лиза уже была на подконнике.

– Помогите даме, пожалуйста, – она протянула мне руку.

Балкон был заставлен всяким хламом, словно вывалившимся сюда из тесных квартир: напрочь проржавевшим велосипедом, фанерными почтовыми ящиками с расползшимися, сделанными химическим карандашом, адресами, чемоданами с протертыми углами, погнутой и тоже ржавой птичьей клеткой, сундуком с облезшей кожей. Окно квартиры Кононова было распахнуто настежь, прорванный в нескольких местах занавес вздувался парусом и снова опадал. Одну створку окна придерживал утюг, вторую – чайник.

– Ну, вы – первая.

– Нет, вы первый и подадите мне руку.

В комнате пахло хлоркой. Ведро с раствором стояло посреди комнаты. У одной стены был диван, у другой – допотопный шкаф с зеркалом, у окна – этажерка, книги были сложены на ней кое-как, часть лежала на полу. Эта комната была больше двух комнат Климовецких вместе взятых. Нетрудно было представить, как им всем не спалось от мыслей о предстоящем расширении.

Я обернулся, Лиза стояла коленями на подоконнике, в вырезе рубашки тяжело качнулась грудь. Перехватив мой взгляд, но ничуть не смутившись, она сказала:

– Ведите себя скромно, мужчина!

Она протянула мне руку и я помог ей спуститься в комнату. Подойдя к дивану, она взялась одной рукой за его спинку, другой уперлась в стену и отодвинула его от стены. Присела на корточки, юбка туго обтянула бедра, подняла идущую вдоль стены половицу, потом другую. Из темного отверстия извлекла увесистый бумажный пакет от фотобумаги, положив его на колени, вернула половицы на место. Все было, как в шпионском фильме. Я, на всякий случай, поправил свой маузер.

Когда она поднялась, я подвинул диван обратно к стене. Она же прошла к платяному шкафу, распахнула дверцу, достала несколько висевших на вешалке рубашек. Отставив руку и повернувшись к свету, она рассматривала их одну за другой, словно выбирая нужную. И в этот момент мы услышали, как кто-то вставляет ключ в замок. Она в испуге повернулась ко мне. Мы замерли, слушая как ключ елозит в замке. Потом из-за двери донесся приглушенный голос:

– Попробуй желтый.

– Товарищи, а вы вообще кто? – голос Светы прозвучал неестественно громко.

– Из ЖЭКа.

– Очень хорошо, что вы из ЖЭКа, потому что у нас заявление на вселение. Нас тут трое живет на 15 метрах, а у меня скоро двойня будет. Так вы, пожалуйста, никаких планов не стройте.

– Заявление подадите в установленном порядке. А кричать не надо.

Этого диалога в коридоре хватило как раз на то, чтобы мы перебрались через подоконник на балкон. Занавес, подхваченный сквозняком от открытой двери, взмыл в воздухе и опустился у нас над головами.

– Только внимательно, – послышалось из комнаты. – Участковые наверное кроме бабок ни хера не искали.

– А что здесь искать? Я говорил с соседями. Характеризуют его как полного идиота. Никто к нему не приходил, кроме его телки.

– Ищи, – повторил первый, и я узнал голос Майорова.

– Товарищ капитан, помогите шкаф отодвинуть, – сказал голос помоложе.

Шкаф, мелко задрожав, отодвинулся от стены.

– Ни хера.

Чиркнула спичка. Потянуло табачным дымком.

– Я же говорю, ни хера.

– А это вон что?

– Трусы какие-то. Бабские.

– А ты говоришь – идиот.

– Ну, чтоб трусы с бабы снять, много ума не надо.

В комнате засмеялись.

– А ты остряк, я вижу.

– Да че там, обычный я, товарищ капитан.

Мы сидели прямо под окном, и я подумал, что если курящий захочет стряхивать пепел за карниз, то непременно увидит нас. Сдерживая дыхание, мы переползли за сундук, я сел, прижавшись спиной к его деревянному боку, а Лиза села передо мной. Чтобы занимать меньше места, я развдинул ноги и прижал ее к себе, уткнувшись лицом в ее волосы. На шее, покрытой светлым пушком, была тонкая золотая цепочка. Розовые уши просвечивались на солнце.

Она взяла мои руки и с груди переместила на живот. Я слышал, как тяжело ударяет ее сердце. Или это было мое сердце. За этими ударами я перестал слышать, что происходило в квартире Кононова. Я снова обнял ее за грудь и осторожно прижал губы к ее шее. Я ощутил, как она расслабилась и со вздохом навалилась на меня. Рука моя сама забралась к ней под юбку, но она прошептала мне в ухо «только не здесь» и сжала мою руку бедрами. Мы сидели так, пока из окна Климовецких не показалась голова Миши. Улыбаясь, он сказал:

– Все, можете вылезать.

Выйдя на улицу, мы увидели появившегося из подъезда дома напротив Кащея. Лицо его, казалось, было сведено судорогой, рот с фиолетовыми губами перекошен.

– Успела?

– Успела.

– Где?

– У него в сумке, – сказав это, Лиза ни движением головы ни взглядом не обнаружила, где пакет. Перед тем, как выходить из квартиры Климовецких, она попросила положить его в мою сумку и накрыла сверху скомканной рубашкой, которую достала из шкафа.

– Шпионские страсти какие-то! – сказал Кащей, нервно оглядываясь и поправляя ворот рубашки. – Еще не хватало на старости лет сесть. Так, давайте быстро отсюда, а по дороге решим, что делать.

Мы двинулись вниз к Пушкинской.

– Какой план?

– Я иду домой, – сказала Лиза. – Я могу хоть пару часов поспать перед работой? Проведешь меня?

Она повернулась ко мне.

– Я могу. А что в пакете?

– Личные вещи.

– Если нас остановят, я могу сказать что это твои личные вещи, или лучше сказать, что нашел на улице?

– Только каркать не надо! – резко бросил Кащей. – Все, Лиза, под твою ответственность, я исчезаю.

Сказав это, Кащей стремительно свернул на Пушкинскую и, сунув руки в карманы брюк, стал удаляться в направлении бульвара. Пиджак его был распахнут, штанины трепетали от встречного ветерка. Следуя за Лизой, я подумал: могли ли в этот момент следить за мной? Ведь Майоров был в квартире, а, покинув ее, мог наблюдать за ней сам или оставить наблюдать кого-то из своих подчиненных. Правда, они не могли знать, что я был в комнате Кононова. Напротив, если они наблюдали за квартирой, то должны были убедиться в том, что я выполнил их поручение, побеседовав с соседями самоубийцы. Я с трудом сдерживался, чтобы не обернуться. Я, конечно, нервничал. Обняв Лизу за плечи, я снова спросил:

– Слушай, а если нас сейчас остановят, то...

– То что?

– Ну, что-что? – я сделал попытку говорить шутливым тоном. – Поедешь за мной в Сибирь? Как подруга декабриста, а?

– А-а... Как подруга декабриста...

Она освободилась от моей руки. Мы молча поднялись до Маразлиевской, прошли еще несколько кварталов в сторону пароходства, миновав приземистый подъезд, вошли в крохотный двор с колонкой посредине. Каменные плиты, как волны моря. Деревянные, крашенные зеленой краской ступени, ведущие в ее парадную. Солнечный свет, проникая сквозь пыльное стекло над дверью, лежал белыми прямоугольниками на деревянных ступенях. Ключ под половиком у зеленой двери с медной ручкой в виде прогнувшейся русалки с закинутыми за голову руками. Коридор, с входами в две крохотные комнаты. Она тяжело села на постель.

– Давай, разгружайся.

Я подал ей рубашку. Поднеся ее к лицу, она быстро вдохнула и тут же отбросила ее на пол.

– Ужасно. Пакет давай.

Я подал ей пакет.

– А что мы прятали-то?

– Семейный архив.

Она развернула пакет, запустила в него руку и достала несколько черных бумажных роликов, в каких хранят фотопленку. Она бросила их внутрь, закрыла пакет и, положив на пол, сильно толкнула под кровать. Пакет, проехав по полу, стукнулся о стену и замер там в темноте. Лиза вышла в коридор и скоро вернулась с начатой бутылкой водки, двумя граненными стаканами и разрезанным пополам зеленым яблоком.

– Это для сброса напряжения.

Она вручила мне один стакан, половинку яблока и налила.

– За неожиданное знакомство!

Чокнулись. Опрокинули. Захрустели яблоками. Кислые яблоки удачно нейтрализовали горечь водки.

– Так чем же ты занимаешься?

– Участвую в заговорах, бегаю от милиции, достаю из тайников коробки с микрофильмами.

– А Костя говорил, ты работаешь в какой-то газете.

– Ну, это только в свободное от конспиративной деятельности время.

– А о чем ты пишешь?

– Послушай, о чем я пишу, это не очень интересно. Ты мне другое скажи: ты знала Кононова? Я видел тебя один раз в коридоре в той квартире.

– Я тоже тебя помню.

– Вы были близки?

– Да, ближе, можно сказать, некуда.

– А почему он покончил с собой?

– Почему он покончил с собой? – она отбросила волосы с лица. – Почему он покончил с собой? Костя считает, что из Володи хотели сделать стукача, а он не хотел. Вот и все.

– Ничего себе! Такие страсти в наше время.

– А его травить начали не в наше время. А потом уже травили по инерции. Он у них там на учете был, вот они его и вели. Пока не довели.

– А когда его начали травить? Он же ненамного старше нас был?

– У него родители были ссыльными. Сперва отсидели, потом жили в Казахстане. Он вернулся, поступил в университет, потом смотрит, там все одна ложь. Он бросил учебу, ну и тут на него насели. С исторического так просто не уходят. Знаешь, городок наш маленький, а им работа нужна.

– А я думал, его преследовали за то, что он буддизмом увлекался.

– Ну, увлекался. Кто-то христианством увлекается, кто-то иудазимом. Через него много книг передавали. Он с Вячеком был связан. Не слышал про такого?

– Нет.

– Про Библиотечное дело не слышал?

– Нет.

– Вячек был одним из держателей этой библиотеки. Его посадили. Еще пару человек посадили. Скоро выпустят, говорят. Вот, а Володю тогда не взяли. Вообще многие думали, что посадят больше. Тогда встал вопрос: они что, не знают всех? Это невозможно. Значит, оставили часть на потом, чтобы работа была. Володю комитет пас все время, просто не за что было ухватиться. Тягали на допросы постоянно: как книги попадают сюда, кто везет, кто переснимает, кто хранит? В конечном итоге они ему сказали, что если он никого не сдаст, они ему подбросят что-то при обыске и все равно посадят.

– После чего он и покончил с собой.

Она откинулась на постель, устроила удобней подушку за спиной, поставила пустой стакан на живот.

– Да, но, ты понимаешь, он свои проблемы решил, а мне мои еще надо решать.

– Какие у тебя проблемы?

– Он постоянно приходит ко мне. Каждую ночь.

– То есть?!

– Каждую ночь он приходит и садится на край кровати, вот где ты сейчас сидишь. Я уже не выдерживаю этого. Посмотри, как я выгляжу.

Я посмотрел. Она неплохо выглядела, хотя и уставшей, или действительно невыспавшейся – под глазами лежали тени. Но я думал о другом: мой поиск должен был ограничиться беседой с дворником и с Климовецкими, после чего я собирался сообщить начальству, что писать не о чем. Меньше чем за два часа я узнал, что Кононов занимался распространением антисоветской литературы, что в преступной цепи, которая тянулась из комнаты в бывшей подсобке кинотеатра, если не первым звеном, то одним из звеньев были Лиза и Кащей. Один из концов этой цепи – ибо она, вероятно, была большой, как паутина, и охватывала весь город – была книга «Зияющие высоты» Александра Зиновьева, распечатанная на фотокарточках размером 9х12 сантиметров и лежащая сейчас у меня дома, во втором ящике письменного стола, на дне коробки с другими фотокарточками. Я получил ее от Наташи, которая, вероятно, получила ее от своей подруги Лены. Откуда получила карточки та, я не спрашивал. Это было неприятно. Дали почитать, и все. Кто? Конь в пальто. Толкни меня сейчас нечистая на тот путь, который помог бы мне устроить журналистскую карьеру, из свидетелей обвинения мне бы в конечном итоге пришлось бы стать одним из обвиняемых. В этом крохотном городе все были связаны.

– А знаешь, я могу тебе помочь, – сказал я.

– Как?

– Я писал недавно про одного передовика производства со сталепрокатного завода. Он на Пересыпи расположен. Там места такие дивные. Пустыри, заброшенные цеха, железнодорожные линии, трава по пояс, домики рабочих. Глушь страшная, как у Платонова. Я договорился с ним о встрече по телефону,

приезжаю, а мне говорят, что он прихворнул. Ну, думаю, не ехать же еще раз сюда, пойду к нему. Взял адрес, прихожу. А у него что-то с ногами. Артрит, что ли. Или подагра, не помню. Ну, так слово за слово, разговорились, и он мне говорит, что, мол, лечит его только одна бабка. Какая-то местная цыганка Марина. Травами. И он тогда мимоходом так сказал, что она вообще от всего лечит: от заговоров, наговоров, каких-то заклинаний, короче, снимает сглаз и отгоняет нечистую силу. Он для порядка с иронией об этом говорил, ему явно неловко было, что он – передовик, а лечится у какой-то бабки, но...

– Ты сказал, ее зовут Марина?

– Да, именно Марина. Я запомнил, потому что мою маму так зовут.

– Мне про нее говорили, но не знали адреса. Сказали только, что на Пересыпи. Так ты можешь помочь найти ее?

Она сжала мою руку.

– Я могу связаться с ним, а он скажет.

– Свяжись поскорей, ладно?

Глава 10

Войдя утром в лифт, я столкнулся с Юрием Ивановичем.

– Ну, как там наше спецзадание? – поинтересовался он. – Виделся с кем-то?

Он вскинул руку и посмотрел на свой роскошный «Ориент» в золотом корпусе с зелено-оливковым циферблатом и светлой паутинкой столетнего календаря.

– Тянуть резину только не надо, – добавил он, не дожидаясь застрявшего у меня в зобу ответа. – Они там этого не любят.

Он поморщился, словно давая понять, что ему самому не по душе давление сверху.

– В парадной кроме моих знакомых никаких других соседей нет. С ними я уже говорил.

– Так что, там во всем дворе людей больше нет?

– Это не обычный двор, это задний двор кинотеатра. Там есть еще какой-то палисадник. Ну, я постучал в дверь, никто не ответил.

– Так поедь вечером, когда люди с работы приходят. Или ты журналист только с девяти до пяти, а?

Перед дверьми в приемную Юрий Иванович притормозил.

– Да, вот еще. В обкоме сегодня встреча по поводу вредной музыки, так ты позвони, спроси во сколько и сходи.

Встречу организовывал секретарь обкома Николай Кузнецов. Его секретарша Ира сообщила, что приглашены специалисты по современной музыке, местные диск-жокеи, кто-то из консерватории и из ОМК. Начало в 11 часов.

Большое современное строение в форме куба, где помещался обком, называли Белым домом. Внутри он был сплошь красным и полированным за исключением огромной белой головы Ленина в фойе.

В приемной Кузнецов уже были:

– глава ОМК Петр Михайлович Гончаров. 38 лет, черный костюм, белая рубашка, узкий черный галстук, черные дуги бровей, черная лакированная шевелюра, орлиный нос;

– редактор молодежных программ ОМК Олежек Онуфриев. Выпуклый лоб, прозрачные глаза-пуговицы, тонкие губы, узкая рубашечка, чуть коротковатые брючки;

– устроитель дискотек из Водного института Сергей Драгомощенко. Коренастый парень с лицом, слепленным из бугров, шишек и редких, но крупных зубов;

– корреспондент «Вечерки» Лена Коломиец. Высокая, плоская, широкоплечая, в стильных очках с толстыми линзами;

– незнакомая сухопарая седая дама лет 50;

– секретарша Ира с кривоватой физиономией, но очень стройными ногами, которые ей полагались по должности, так же, как и значок вэлкэсэмэ на умеренно, в смысле не очень вызывающе, развитом бюсте.

Я поздоровался. По амплитуде ответных кивков собравшихся можно было определить их социально-политический статус. Олежек кивнул энергичней всех. На днях он записал мне диск Джо Сэмпла Carmel, за что получил три рубля.

Не успел я решить, с кем из этой компании завести для убийства времени и соблюдения приличий разговор, как у Иры зазвонил телефон. Подняв трубку, она послушала ее и сказала:

– Впускаю.

Потом поднялась, покачиваясь на фешенебельных ногах, прошла к обитой дерматином двери кабинета босса и открыла ее перед нами:

– Прошу вас, товарищи.

Кузнецов в белой рубашке с закатанными рукавами и чуть ослабленным узлом узкого черного галстука поднялся и указал, чтобы мы устраивались за столом. Сложив перед собой руки, он свел пальцы и постучав этой корявой звездой по полировке, начал:

– Товарищи, мы собрали здесь вас, потому что обстановка с распространением западной музыки вредного, разлагающего влияния, зачастую антисоветского содержания, стала широко распространенной проблемой. – Он замолк и обвел аудиторию взглядом, чтобы удостовериться, что все осознают важность высказанной им мысли. – Не обращать внимания на эту проблему мы не можем. К сожалению, каналов поступления так называемой рок-музыки в страну много. Какие конкретно диски вредные, а какие нет, установить сразу невозможно. Поэтому мы не всегда можем своевременно остановить их. Какие это каналы?

Кузнецов подвинул к себе лежавший перед ним на столе блокнот, посмотрел на сделанную в нем запись.

– Часть дисков и кассет, как вы знаете, привозят моряки загранплавания. Проверить все ни пограничники, ни таможня не в состоянии. В машинном отделении они захотят, так маму с папой провезут. Часть дисков приходит от родственников из-за границы.

Он оторвал глаза от блокнота и криво усмехнулся.

– Есть у нас такие тоже, не будем говорить кто. Много дисков попадает к нам через иностранных студентов из стран народной демократии, с которыми мы должны вести себя осторожно.

Он снова криво усмехнулся. Враги теснили его со всех сторон, но он отвечал им презрением.

– Мы собрали вас как людей, держащих, как говорится, руку на пульсе молодежной жизни. Мы хотели бы выслушать ваше мнение и поделиться своими планами. Собственно, план у нас один. Практически все диски, которые попадают в наш город, рано или поздно оказываются на черном рынке. Или как его называют – сходке. Эта сходка совершенно открыто собирается в парке Шевченко. И вот этим мы намерены заняться, потому что, как говорится, все пути идут в эту точку. Если кто-то хочет высказываться, пожалуйста.

Первым слово взял Гончаров:

– У нас, как вы знаете, Николай Иванович, работают очень грамотные ребята. Они редактируют колоссальный объем записей, читают практически все публикации в центральной прессе по этому вопросу. Читают даже западную прессу. Короче, держат, так сказать, руку на пульсе. Вот один из наших редакторов – Олег Онуфриев, – он кивнул на Олежека. – Он, я хотел сказать – они, составили список дисков идеологически вредного содержания. Их немного на общем фоне популярной музыки, но они есть, и, как говорится, этот тот случай, когда ложка дегтя может испортить бочку меда. Поэтому что мы видим свою задачу в том, чтобы этот деготь отфильтровать и оставить нашей молодежи идеологически проверенные и эстетически добротные произведения.

Гончаров бросил взгляд на Драгомощенко и продолжил:.

– Наша редакторская группа выявила, что идеологически вредный материал главным образом скрывается в жанре так называемого хэви-металла. Практически каждая песня содержит призыв к насилью, поклонению всякой нечисти, разбою, свержению устоев.

– Свержению каких устоев? – ожил Драгомощенко.

– Общественных, Сережа, – как о само собой разумеющемся сказал Гончаров.

– Так это же устои капитализма, – пожал плечами тот. – Почему мы должны за это переживать? Мы должны радоваться тому, что металлисты хотят их свергать. Они там типа революционеров. Нехай свергают!

Олежек, до сих пор стрелявший своими пуговицами то в Кузнецова, то в Гончарова, то в Драгомощенко, срывающимся голосом заговорил:

– А как насчет насилья? Как насчет похабщины, секса? Есть революция и есть сексуальная революция, которая ведет к полной вседозволенности. А как насчет группы Manowar, где герой одной композиции просто призывает к питью человеческой крови?! Как насчет разрывания куриц и питья крови на сцене Алесом Купером?

Ответом на эту сдобренную куриной кровью речь было молчание.

Нарушил тишину бородатый парень. Когда он заговорил, все посмотрели на него с удивлением. Мне сначала показалось, что он просто валяет дурака, вставляя куда ни попадя английский звук th.

– Я вхосу в сисло органисасоров сискосек в консервасории. Мы исусяли некосорые сексы популярных песен, и как нам касеся, не все сексы мосно осэнивать осноснасьно. Вы, например, я снаю, крусисе на своих сискосеках песню «Роксана» брисанской рок-группы «Полис».

– Эта песня была хитом номер один во всех музыкальных журналах мира, – со знанием дела подтвердил Олежек.

– Конесно, – согласно кивнул парень с бородой, – Но, как вы снаесе из секса, герой песни приснаеся в любви просисуске. Роксана, косорой посвясена песня – просисуска. Как бысь в эсом слусяе? Эсо се са самая всесосволеннось.

В этом кабинете слово «проститутка», пусть даже в сильно искаженном виде, прозвучало ошеломляюще грязно.

– Не все понимают текст! – от охватившего его напряжения голова у Олежека мелко тряслась.

– Если не все понимаюс секс, со какой смысл в осборе вредных сисков? Или посему из всех вредных мы должны усраивась гонения солько на месалл? Я не являюсь поклонником эсого санра, поймисе меня правильно, но полусяеся, со вы высленяесе идеологисески вредную музыку по санрам. Саким обрасом вы сразу делигисимисируесе всех, кто слусаес месалл.

На слове «делигисимисируесе» Драгомощенко закрыл ладонями лицо и затрясся от беззвучного смеха.

– Нет, это не так! – подпрыгнул Олежек, которому было не до шуток. – Песню Криса де Бурга «Луна и водка» мы внесли в список запрещенных, хотя это чистая попсня!

– А осальные крусисе?

Чтобы не расхохотаться, я вцепился в ручку и записал в своем блокноте «kruthithe».

– Остальные крутим, потому что его «Женщина в красном» – всемирный хит.

– Как товарищ правильно вам указал, хотя не назвал это своим именем, в вашей работе нет принципа, – сказал Драгомощенко, отнимая ладони от лица, которое оказалось совершенно багровым и мокрым. – Вы творчество этого Де Бурга поделили на хорошее и на антисоветское. С этой стороны его можно слушать, а с этой нельзя. А антисоветчик – он со всех сторон антисоветчик. А я, то есть мы, на наших дискотеках крутим песни советских исполнителей или групп стран народной демократии. Потому что те же «Локомотив ГТ» или «Омега» ничем не хуже того же «Дипапл» или «Пинк Флойда». Но главное место мы отдаем в наших программах таким исполнителям, как «Машина времени», «Аллегро», Алла Пугачева. И если это металл, то это наша «Ария», даже наш «Черный кофе». Это наша музыка, это наши артисты и, как мы уже давно выяснили, людям нравится свое. То, что они понимают. А главная задача устроителя дискотеки – создать настроение на площадке, подготовить какие-то конкурсы, викторины, шутки, и тогда западная музыка отступает. А так, чтобы одну песню можно, а вторую – нельзя, это не принципиально. Если этот Де Бург – антисоветчик, то его вообще надо гнать метлой от нашей молодежи.

– Сережа, я уже говорил об этом миллион раз. Мы живем в такое время, когда ты не можешь ограничить программу только «Машиной времени» и Аллой Пугачевой, – Гончаров подался к сидевшему напротив него Драгомощенко. – У людей разные вкусы. Одни любят синий цвет, а другие зеленый. Твои организаторские таланты тут ни при чем. Да, мне нравится Алла Пугачева. Это – талантливейшая певица, хотя не все относятся к ней одинаково и, видимо, имеют для этого определенные основания. Но при всем уважении к ней, я не могу слушать ее 24 часа в сутки. И ты не заставишь слушать ее 15-летнего пацана, которого еще и не пропустят на твою дискотеку, просто потому что он несовершеннолетний! И потом, посмотри «Утреннюю почту», посмотри трансляции из Сан-Ремо. Идет отфильтровка лучшего! А не тотальный отказ от всего западного!

Кузнецов, явно не знающий названий групп и исполнителей, чувствовал себя неуютно среди участников начатого им разговора. Мой взгляд в этот момент встретился с его и он, приподняв руку над столом, спросил:

– Что скажет пресса?

В последнюю секунду он перевел взгляд с меня на Лену, предоставляя слово сотруднику старшей по рангу газеты.

– Я не знаю, – начала Лена, поправляя очки. – Действительно, этих музыкантов показывают по телевизору. Из чего следует, что они проходят определенную редактуру. Важно выработать принцип. Мы либо редактируем по исполнителям, либо по репертуару. Я хочу напомнить Сергею, что в отношении крупных западных писателей у нас применяется именно этот подход. Одни их романы переводят, другие – нет.

Пока Лена говорила Гончаров усиленно кивал головой, демонстрируя свое полное согласие с докладчиком и, как только Лена окончила, подхватил:

– Это – единственно правильный подход! Строжайшая редактура, Николай Иванович. И мы эту редактуру можем обеспечить.

– Что ты скажешь? – Кузнецов кивнул мне.

– Редакторы в ОМК или в институтских дискотеках могут не включать в свои программы какого-то исполнителя или песню, но дискотеки не являются единственным источником новой музыки. Главное, что на эти дискотеки попасть трудно. Их посещает относительно немного молодых людей, не у всех есть на это деньги. А магнитофон сейчас есть практически в каждом доме. Я переписал диск у Васи, Вася переписал у Коли, Витя переписал у меня. Что тут можно редактировать?

Я случайно посмотрел на Олежека – пуговицы его были широко раскрыты, губы сжаты так, что рот походил на тоненькую прорезь, в которую и копейку не протолкнешь. Бедный! Он принимал в этом процессе перезаписи самую активную роль! При этом, выполняя частные заказы в студии ОМК, он ничего не редактировал. Принцип его работы был предельно простой – целый диск – трендель, сборник – пятерочка. Знал ли об этом Гончаров? Думаю, да. Но либо закрывал глаза на левый доход своего редактора, которому платил несчастные рублей 80 в месяц, либо же тот просто что-то откидывал ему

от своего левого промысла. Стоило прислать комсомольцам своего тихаря в их подвал и разместить правильный заказ, как вся эта болтовня про идеологическую редактуру накрылась бы веником. Разве что тихарю тоже бы стали записывать мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Бесплатно, естественно.

– Позвольте вмешаться, – подала голос седая дама. – Меня не все знают, я – инструктор отдела пропаганды горкома партии Мухина Татьяна Федоровна. Я хотела бы снова вернуться к той идее, которая была высказана в начале нашей встречи товарищем Кузнецовым. Мы должны найти корень проблемы. Корень этой проблемы в нашем городе – черный рынок пластинок. Как бы они ни попадали в страну, в конечном итоге они оказываются на этом черном рынке.

– Допустим, вы разгоните его, люди будут собираться в другом месте, – сказал я, хотя, прерывая руководящего товарища, нарушал все нормы приличия. Чувствуя, что моей репутации уже нанесен невосполнимый ущерб, я дал себе волю:

– Чтобы распространять записи, сходка вообще не нужна. Записи передаются через друзей и знакомых. Этот процесс неконтролируемый.

– Мы не просто разгоним, – раздраженно оборвал меня Кузнецов. – Мы не просто разгоним! Мы конфискуем идеологически вредные пластинки. Соберутся в другом месте, снова погоним! И снова конфискуем!

– На сходняк ходит, ну пусть, сто человек, а эту музыку слушают все, – я ощутил, что меня тоже стала бить дрожь. – Вы же не будете ходить к каждому человеку домой и проверять, что у него записано?!

– Ко всем – нет, но к кому надо, мы придем, – отрезал Кузнецов.

Мой напор вызвал у него рефлекторное стремление подавить его своим авторитетом. Соображать он был не в состоянии.

Я только покачал головой.

– Вы можете объяснить свой скептицизм? – спросила Мухина.

– Ну, смотрите, у вас, допустим, дома магнитофон есть?

Она молчала, видимо, считая, что если она ответит на мой вопрос, то мы поменяемся ролями. Начальнику не полагалось отвечать на вопросы нижестоящего товарища. А может быть, она боялась открыть свой имущественный статус. Ну, конечно, магнитофон же не был предметом первой необходимости! А настоящий партиец должен был быть аскетом. Ладно, подумал, я, сгорел забор, гори и хата.

– У вас дома есть магнитофон? – обратился я к Кузнецову.

– Ну, дальше?

– Записи Высоцкого у вас есть? Скажем про летчика-истребителя, про боксера, про альпинистов, про горы?

– Допустим, есть.

– И у всех есть. При этом наша фирма «Мелодия», кроме «Алисы в стране чудес» и еще пары-другой его песен из кинофильмов не выпускала. А у людей дома многочасовые записи. Французские альбомы, американские, какие-то концерты на заводах, в НИИ. Люди переписывают их друг у друга и даже не знают, что эта сходка существует. Вы же сами не на сходку за этими записями ходили, правильно? Точно так же, как Высоцкого, люди переписывают все остальное. Кого что интересует. Одних интересует Высоцкий, других Крис Де Бург, третьих Битлы, четвертых Луис Армстронг. Вы же не можете прекратить продавать магнитофоны?!

Все подавленно молчали. Гончаров смотрел в потолок. Олежек – в стол перед собой. Драгомощенко, сложив руки на груди, – в окно. Бородатый парень из консерватории сбивал щелчками пылинки с рукава пиджака. Наконец инспектор взяла инициативу в свои руки.

– Мы все – работники идеологического фронта. Мы не можем сидеть сложа руки. Современная популярная музыка – это не просто музыка. За ее созданием стоят западные пропагандистские центры. Их главная задача – разложение сознания советской молодежи, привитие молодым людям не просто дурного вкуса, но взглядов, которые противоречат коммунистической морали. И это именно то, что мы называем холодной войной. Мы прекрасно понимаем, что воевать на одном направлении нельзя. Мы должны использовать все средства. Нам близка позиция Сергея Драгомощенко, нам ясен ход мысли Лены Коломиец, но мы также понимаем, что есть каналы, через которые западная культура, точнее, западная идеология под видом культуры, поступает к нам. Значит, нашей задачей должно стать перекрытие этих каналов.

Гончаров, кашлянув в кулак, сказал:

– Я совершенно согласен с Татьяной Федоровной. Работа должна вестись в нескольких направлениях. У нас успешно действует джазовый клуб, сейчас начал работать рок-клуб, пришло время подумать о создании альтернативы для этой сходки. Почему, например, не дать людям возможность культурно собираться и обмениваться пластинками в одном из наших кафе? Опять же, под нашим контролем. Ты хочешь войти, предъяви свои диски. Если есть вредные, извини, у нас тебе не место.

Драгомощенко усмехнулся:

– В вашем кафе! С продажей пирожных, кофе и напитков! А что будут делать те, которые не хотят покупать ваши пирожные? Или которым у вас нет места? Вы вообще эту публику видели? Им нужны не пирожные с кофе, а водка с огурцами! Козе понятно, что они снова пойдут в парк! И в первую очередь те, кого вы отсеете!

– В парк больше никто ходить не будет, за это я вам отвечаю, – Кузнецов хлопнул ладонью по столу.

– Когда вы планируете... – я замешкался, подыскивая слова. – Разгон сходки?

– Это надо согласовать с РАЙВД, дружинников собрать. Писать только об этом не надо, – он усмехнулся.

– Николай Иванович, я бы начал с создания какой-то альтернативы, – сказал Гончаров, для дискотек которого сходка была важным источником новой музыки. – Я думаю, что мы должны обсудить этот вопрос отдельно. Разогнать легче всего. Надо дать какую-то альтернативу тем, кто хочет слушать лучшие образцы западной и отечественной музыкальной культуры в культурной и спокойной обстановке.

– Ладно, обсудим отдельно, – Кузнецов поднялся, давая понять, что обмен мнениями завершен.

Вечером я закрыл дверь в свою комнату на ключ, задернул занавеси на окнах и только собрался доставать из тайника в столе коробку с Зиновьевым, как в коридоре затрезвонил телефон. Сердце мое екнуло, как у татя в ночи. Я закрыл стол и пошел к телефону.

– Слушаю вас.

– Митя, милый, это ты?

Ах, какой у нее был голос! Какой домашний! Если бы она жила со мной, в смысле, если бы она стала моей женой и у нас была бы своя квартира, и если бы в ней был телефон, я бы просто так вот звонил домой каждые пять минут, чтобы только слышать в трубке этот голос. Я бы лечился им от всех своих скорбей и нервотрепок.

– Да, Наташа, это – я. Кто еще тут может быть?

– Слушай, Митюша, меня пригласила моя сестра Таня, ты ее знаешь, на день рождения. Не хотел бы составить мне компанию?

– С удовольствием, а когда это?

– В эту субботу. Они устраивают у себя на даче, на Десятой Фонтана. Тебе удобно в субботу?

– С тобой мне удобно всегда. Вот ночью позвони и спроси меня, тебе сейчас удобно прийти ко мне, и я тебе отвечу: именно сейчас удобно, как никогда!

– Нет, ночью я тебе звонить не буду, – она засмеялась. – А в субботу зайду часа в три, и от тебя поедем, хорошо?

– Очень хорошо.

Сестра у Наташи была сводная по папаше. Когда-то он жил с Надеждой Григорьевной не расписываясь, а потом женился на другой тетке. Перспективной. Но заботиться о внебрачной дочери продолжал. В частности, помог получить квартиру. С помощью новой жены, чей папа был каким-то большим начальником, он сам стал большой шишкой, занимал высокий пост в обкоме и знал простые решения задач, которые для простого народа были все равно, что теорема Ферма. Честно говоря, я не знаю, что это за теорема, просто слышал, что кроме самого Ферма ее никто не решал. И даже у него с ней что-то не выходило. В нашем случае задачей, равносильной решению теоремы Ферма, было получение квартиры, и Наташин папан ее решил. Наташа с мамой в то время жили на Молдаванке в собачьей конуре укрупненного типа со всеми удобствами во дворе. Я так предполагаю, что эти жилищные условия были не последним обстоятельством, которое заставило его отправиться на поиск более подходящей для жизни подруги. Сам он был то ли из Тирасполя, то ли из Бендер, и домой – на малую родину – ему возвращаться не хотелось. Что же сделал влиятельный папан для брошенной сожительницы с родным дитем? По своим каналам он нашел квартиру, за которую не платили лет десять. Она находилась не на каких-нибудь выселках, а в переулке Чайковского прямо напротив Оперного театра. В ней жила одна супружеская чета, чей небольшой доход от сдачи опустошенной ими же посуды квартплату не покрывал. Ну, может, и покрывал, просто у них были расходы поважней. Он предложил алкашам на выбор – либо быть выселенными через суд за неуплату, либо с небольшой доплатой переехать в конуру укрупненного типа на Молдаванку. После того, как их пару раз навестил участковый, они с радостью ухватились за возможность поправить свое материальное благосостояние. А Наташа с мамашей перебрались в переулок Чайковского. Наташа рассказывала, что через пару недель после переезда алкаши вернулись в старую квартиру, забыв, что живут теперь в другом месте.

– Ободранные такие, жалкие, – рассказывала она. – Стали открывать дверь, а замок уже другой. Пытаются вставить ключ в скважину и не могут. Тетка говорит: «Витя, Витя, ну что у тебя всегда не получается?» А он: «Та щас, Муся, щас получится, потерпи».

– Ну и чем дело кончилось? – спросил я.

– Мама вышла к ним и объяснила, что они теперь живут в другом месте. Дала им два рубля на такси. Они наверное за всю жизнь на такси не ездили.

– Поменялась бы с ними назад? – спросил я.

Она покачала головой отрицательно, не отрывая при этом от меня взгляда, словно не желая пропустить моей реакции на свой ответ. Такая искренность предполагала осуждение. Но как я мог ее осуждать? Всем хотелось жить лучше, но лучше получалось только за чужой счет. Всего было так мало, что на что бы ты ни претендовал, ты должен был кого-то лишить того же. Если это была квартира, то квартиры, если кусок мяса, то куска мяса. Отказ от борьбы или отказ от плодов чьей-то борьбы в твою пользу мог быть истолкован как проявление идиотизма. Или святости. Но на пути к святости стоял обычный инстинкт самосохранения. Кого можно было осуждать за проявления этого инстинкта в моей стране?

Глава 11

Михаил Михайлович Жукевич был мужчиной крупным, с выдающимися чертами лица и роскошными седыми волосами. Он зачесывал свою шевелюру назад, благодаря чему выглядел, как впередсмотрящий на мостике корабля, несущегося на всех парах в светлое будущее. И поседел он именно от сознания ответственности своей исторической миссии и тревожного предчувствия возможных препятствий со стороны недремлющего врага, которые надо будет успешно устранить. Пусть даже с риском для жизни. Пусть даже не одной, а, скажем, пары десятков миллионов. Светлое будущее того стоило.

Каждая черточка внешности Михаил Михайловича говорила: я – начальник! Такой просто не имел морального права махать киркой или, например, толкать тачку на строительстве светлого будущего. Даже если бы его построение зависело от последнего физического усилия одного-единственного человека и у партии больше не осталось ни одного верного ей сына, кроме Михаила Михайловича, то все равно целесообразней было бы дать кому-то поневзрачней двойную нагрузку, но Михаила Михайловича поберечь для командной роли.

Михал Михайлович встретил нас у калитки и, с ходу заключив Наташу в объятия, оторвал от земли и так – навесу – расцеловал в обе щеки.

– Доця моя, ну, что ты не позвонишь папке хоть когда-никогда?

Какие нежности е-мае!

– Так, тебя же все равно никогда нет, – ответила та, болтая в воздухе своими чудесными ногами.

– Ах, какая взрослая ты у меня стала! Уже пора замуж выдавать.

Не отпуская ее, он протянул мне пять.

– Как успехи?

– Нормально, Михал Михалыч, – отчитался я, поскольку перед таким человеком надо было только отчитываться и только за успехи. В чем? В такие мелкие мелочи ему вдаваться было недосуг.

– Ну, проходите. У нас тут уже гулянье в разгаре.

Мы прошли по асфальтовой дорожке между двух рядов аккуратно подрезанных и подвязанных виноградных кустов. Сквозь еще молодую, некрупную листву были видны головы танцевавших гостей на площадке перед домом. Магнитофон орал голосом Макаревича: «Мы себе давали слово, не сходить с пути прямого, но, так уж суждено! И уж если откровенно, всех пугают перемены, но, тут уж все равно! И вот, новый поворот! И мотор ревет! Что он нам несет?»

Меня от этой песни тошнило. Еще сильней меня тошнило от самого Макаревича, от его напускного вида усталого гения, поскольку этот гений играл, как играли 20 лет назад группы типа Creedence. Хотя, нет, что я говорю! У тех что ни песня, то хорошая мелодия, взять одну только Who'll Stop the Rain, а у «Машины» что ни песня, то фига, и даже не в кармане, а возле него, чтобы начальству видней было. И начальство в своем перестроечном порыве мимо этой фиги не прошло. И вот пожалуйста – мотор ревет и новый поворот! И такой он, всем на радость, заводной, перестроечный, оптимистичный и снова с фигой, поскольку содержит щекочущий начальственные нервы вопрос: «Что он нам, все-таки, несет – пропасть или взлет?» Между тем, вопрос чисто риторический, потому что новый поворот несет Макаревичу с его бригадой в красивых разноцветных пиджаках взлет, а всем остальным – не несет ни хрена! Ну, если не считать, конечно, бодрости духа, особенно необходимого в очереди за колбасой.

– Привет, сеструха! – Таня расцеловала Наташу в обе щеки и, схватив за руку, потянула к танцующим, а цветы с невысказанными поздравлениями остались у меня. Я двинулся к столу. У меня есть золотое правило – оказываешься в обществе незнакомых людей, тут же опрокинь грамм сто для преодоления первых минут неловкости.

– Присаживайтесь, Митя! Вас Митя зовут? – спасла меня Танина маман, приняв букет на себя. Роскошная брюнетка с сигаретой в уголке полных, вишневых губ, она, конечно, была несравнимо лучшей парой Михал Михайлычу, чем его первая любовь. Она и моложе была Надежды Григорьевны лет на десять.

– Да, Митя. А вас?

– Нина Ефремовна. Можно просто Нина. Угощайтесь, холодец, салаты, отбивные, водка. Шампанское поберегите для дам.

Я начал с холодца, добавив к нему соленый огурчик. Холодец на свежем воздухе начал таять, но не потерял от этого своей стратегической важности. Он был идеальной смазкой желудка перед приемом алкоголя. Роль огурчика была чисто эстетстическая – ликвидация водочного духа во рту после ее приема на грудь. Проглотив кусочек холодца, я налил водку в толстенькую хрустальную стопку, опрокинул ее и закусил огурчиком. Все сработало на пять с плюсом.

– Вы, я вижу, знаете свое дело, – отметила Нина Ефремовна, щурясь от сигаретного дыма.

– Годы тренировки, – согласился я.

– Снимите пробу с осетрины.

– Непременно, – заверил я ее, и налил себе еще полстопки, взглядом разыскивая среди тарелок названное блюдо. Вы будете смеяться, но я осетрину в своей жизни не видел. Много слышал, но видеть не довелось. Я также не видел трюфелей и не пил бенедиктин.

Нина Ефимовна смотрела теперь на танцующих.

– За па-а-ва-аро том-но-вый-па-ва-рот! – не унимался Макаревич. – И-ма-тор-ре-вет!

– Так как успехи? – папан сел рядом и устроил тяжеленную руку на моем плече. Потом, видимо, осознав, что я долго такой нагрузки не выдержу, убрал. Воспользовавшись полученной свободой, я сдобрил очередную порцию холодца хреном и еще раз смазал желудок. Он же продолжил:

– Над чем работаете? Какие-то острые темы? Время сейчас требует остроты. Критического взгляда. Смелости.

Интересно, видел ли он во мне потенциального жениха для своей повзрослевшей доци? Я, конечно, был для него и его жены чистой воды дворнягой. Но поскольку я прибился к их двору не сам, а был приведен, им приходилось проявлять вежливость. На всякий случай.

– Я в основном пишу очерки, – сказал я. – У людей столько историй.

– Вы хорошо начинаете. В комсомолке начинали многие мои знакомые. Витя Конев вон в Москву прыгнул. Умнейший парень. Умнейший. А как вам дается работа?

– Нормально.

– Коллектив хороший?

– Очень хороший.

– Это приятно слышать. Творческие люди – народ сложный. Тяжело, так сказать, притирающийся друг к другу. Индивидуальность не терпит чужого мнения. Но при правильном руководстве работа именно такого коллектива дает отличный результат. Такую газету всегда ждешь. Читаешь ее с интересом. В такой газете всегда находишь неординарный взгляд на вещи, свежие мысли. А у вас какая должность сейчас?

– Корреспондент.

– Корреспондент, это – хорошее начало. Репортер. Всегда в гуще событий, всегда на передовой. С лейкой и блокнотом!

– Или с пулеметом! – добавил я, тут же обратив на себя внимание его жены.

Мы с ней засмеялись. Глазами. Не знаю, над чем смеялась она, но я смеялся над собой, поскольку едва удержался от того, чтобы не спросить его, когда он последний раз читал нашу газету и какая мысль в ней показалась ему неординарной?

– Ну, хорошо, не буду вас отвлекать от еды, – он снова, но уже осторожней, чтобы не зашибить ненароком, похлопал меня по плечу. – Если нужна какая-то поддержка, совет, всегда пожалуйста. Ната знает, как меня найти. И обязательно попробуйте осетринку. Я, пожалуй, и сам возьму ломтик под рюмочку.

Он привстал, протянул руку с вилкой и подцепил из тарелки в центре стола ломтик белой, сильно вспотевшей рыбы. Он опустил его мне в тарелку, я помог ножом освободить ему вилку, потом он взял второй, но поскольку его тарелки рядом не оказалось, так и остался с рыбой в руке.

– Нина, будь добра, подай мне мою рюмку.

Та взяла свою рюмку и протянула ему. На хрустальном ободке был виден полукруглый след вишен. Интересно, он оценил это как пикантность или нарушение элементарных правил санитарии и гигиены? Если – второе, то я был готов махнуться с ним посудой.

– Ну, наливайте, товарищ корреспондент.

Он, кажется, забыл как меня зовут. Что ничуть не помешало мне аккуратно разлить водку в наши рюмки. Мы чокнулись.

– За именинницу, Михал-Халыч, – сказал я и выпил.

Вернув стопку на стол, я обнаружил, что мой собутыльник вступил в ожесточенную схватку со своей хваленой рыбой. Краснея от усердия, он яростно шевелил губами и зубами, пытаясь перекусить белый ломтик пополам, но что-то, может быть какая-то прожилка, мешала ему. Устав от борьбы, он, продолжая держать часть рыбы во рту, снял неподдающийся край с вилки пальцами, но вместо того, чтобы отправить его ими же в рот, стал подхватывать край кончиком языка. Скользкая рыба легко уходила от него и тогда, рассвирепев, он просто втянул ее в себя, издав при этом совершенно душеразди-

рающий звук, в котором смешались клекот, шипение и свист. Он явно дошел до той степени отчаяния, когда было не до приличий. Усилие было таким мощным, что весь кусок улетел в дыхательное горло, вызвав взрыв кашля. Вцепившись огромными пальцами в край стола, он стал кашлять ритмично и оглушительно, иногда даже перекрывая рев мотора Макаревича и встреченные им повороты, взлеты и пролеты, которым просто не было никакого конца и края. Что мне понравилось больше всего, так это, что подруга личной жизни Михаила Михайловича в продолжении всего этого драматического эпизода с возможным летальным исходом, не шелохнувшись, продолжала смотреть на танцующих. Это было ужасно. Тут тебе была и демонстрация полного бесчувствия к страданиям ближнего, и совершенно безжалостный перевод дефицитного товара, которым надо было наслаждаться, а не давиться.

Я, конечно, мог постучать ему по спинке ладошкой, но для его спинки лучше подошла бы рельса. Или шпала. Как я уже говорил, он был мужчина крупный от природы и льгот профессии.

Михаил Михайлович, наконец, затих, перевел дыхание, утер салфеткой пот с побагровевшего лба и, заметив, что он тут чуть лыжи не откинул, ушел в дом. Слава те Господи, оставив меня наедине с моей тарелкой, холодец в которой превратился в густой бульон. Натюрморт был оживлен хреном, который пустил малиновый корешок через студенистую серую массу и проник в рыбу. Я взял еще один огурчик и налил еще одну стопочку. Я был на подходе к тем самым ста граммам, которые делали меня своим в любой компании. Когда я собирался уже опрокинуть ее, хозяйка сказала:

– Митя, налейте мне тоже, если не сложно.

Я исправно выполнил просьбу.

– Не страшно, что я вас Митей называю? – спросила она. – Такое имя милое, старомодное. Дмитрий мне кажется официальным.

– Совершенно не страшно.

Мы чокнулись и выпили. Вместо закуски она на секунду приложила изящный нос к черному кожаному ремешку золотых часиков и коротко, едва заметно, потянула воздух. Типа закусила. Я бы с удовольствием тоже понюхал ее запястье, но довольствовался огурчиком, который теперь показался мне теплым и вялым. Осетрину есть не хотелось. Точнее говоря, было страшно.

Музыка тем временем сменилась на почти человеческую. Это был Supermax, который воспринимался лучше Макаревича, невзирая на десятилетнюю давность.

I'm a love machine it town
The best you can get
Fifty miles around!

– Ты чего, лопать сюда пришел?!

Подошедшая к столу Татьяна взяла меня за руку и потащила к танцующим. Оказавшись среди них, я отпрыгал подальше от взгляда хозяйки дачи и, пристроившись в тылу пестрого хореографического коллектива, отдался, как говорится, ритму. Все мое танцевальное мастерство сводится к тому, что я часто и высоко подпрыгиваю, стараясь по возможности попадать в ритм и иногда вращаясь в воздухе наподобие дервиша. Рукам я даю полную свободу и мышцам лица тоже, из-за чего человек, незнакомый с моей исполнительской техникой, может заподозрить меня в идиотии. Но предусмотрительно принятые на грудь сто грамм позволяют мне не обижаться на критиков. Главное, следить, чтобы в танце я держался подальше от мебели, бытовой техники, ваз и других хрупких предметов интерьера. На этот раз, как, впрочем, и обычно, я пил и потом танцевал легко и с удовольствием, ощущая благодаря водке и музыке ту свободу, в которой мой организм так нуждался в последние недели.

И так я пропрыгал всю песню про Love Machine in Town, а затем стал прыгать под песню про наркомана, в смысле растамана, Камилло, курящего косяк на своей Ямайке. По ходу дела я наблюдал за другими танцующими. Среди них было штуки три парня. Один сразу привлекал внимание интенсивным загаром и такой короткой стрижкой, словно он только что вышел из парикмахерской. Он был в ослепительно белой рубашке с подкатанными рукавами, очень облегающих голубых левисах и желтых остроносых туфлях из сертификатного. Он все время держался возле фигуристой девушки, которая танцевала босиком, на цыпочках, очень плавно и сдержанно двигая узкими бедрами и держа руки высоко поднятыми, что помогало ей демонстрировать изумительную грудь с проступающими из-под красной майки ее остриями. На майке было написано блестками I'm all your's. В мягкий дачный воздух Малороссии пер танком грубый немецкий голос:

Rastaman Camillo
Life make him feel low.
So he sits, and he starts to smoke
Says that life is not a joke.
Ого-го-ого-го!
Ай-яй, ай-яй!

Глаза у нее были закрыты сиреневыми веками с блестками. Парень в белой рубашке, широко расставив ноги и полуприсев, двигал широкими плечами, словно хотел принять бедра танцовщицы в свои объятия. Я бы тоже принял их в свои объятия. Тем более она, судя по надписи, не возражала бы. Бог мой, сколько я хотел принять народу в свои объятия, даже подумать страшно!

Насмотревшись на замечательную грудь, я вернулся к столу, за которым теперь сидели Наташа и небольшая блондинка в военной рубашке из очень тонкого хлопка. Она была, кажется, соученицей Наташиной сестры. Загорелый тоже подсел к столу, устроившись рядом с Ниной Ефремовной. Сделал он это довольно уверенно, и я еще подумал, что он, наверное, по отчеству ее не зовет. В отвороте белой ткани видна была увесистая золотая цепь.

Напротив девушек сидел Михаил Михайлович.

– Нет, я этого не понимаю, как ты, советский человек, – он обращался к блондиночке, – можешь носить рубашку с американскими флагами?

– А что тут плохого, Михал Михайлович?

– Как что?! Американцы – наши враги!

– Чего это они наши враги? – блондиночка пожимала плечами. – Мы же с ними не воюем. Мой папа в Америку плавал. Судно их в Нью-Йорке стояло. И другие наши заходят. Круизы там делают по Карибскому морю. А эту рубашку он, кстати, в Турции купил. Она и не американская вовсе. И она вообще не настоящая военная.

– Да какая разница, где он ее купил?! – кипятился Михаил Михайлович. – Если на ней написано ю-са арми?

– Так сейчас модно, Михал Михайлыч, – под его натиском девушка порозовела. – Вон полная толкучка таких рубашек. Полгорода в них ходит. Это модно.

– Модно! Вот то-то и оно! – Михаил Михайлович сменил возмущение в голосе на тон доброго наставника. – Ты что думаешь, мода вот так вот ниоткуда берется? Ее разрабатывают. Для таких вот как ты, молодых и наивных. И направляют в нужном направлении.

Интересно, подумал я, это он под газом или искренне в роль вошел? Танина маман, словно не вникая в суть разговора, коснулась кончиками пальцев военной ткани, заметив негромко, но с одобрением:

– Материал – просто воздушный.

– Ну, так пусть наши тоже заведут таких людей и пусть создают что-то модное! Кто же против? – блондиночка бросила благодарный взгляд на хозяйку дачи. – А так выходит, сами не можем, а чужое не разрешаем. Просто противно!

– У меня один приятель сейчас из рейса пришел из Италии, – подключилась к разговору Таня. – Говорит, там сейчас самые модные джинсы разорваны на колене или прямо под жопой. И чтобы бахрома белая висела.

Поставив колено на стул, она потянулась к бутылке с шампанским, налила в бокал, потом выгребла рукой лед из ведерка и тоже бросила в бокал.

– Вопрос о том, что мы можем и что не можем – в данном случае второстепенный, – продолжал Михаил Михайлович, бросив раздосадованный взгляд на дочь, которая так бесцеремонно сорвала его лекцию. – Это вопрос патриотизма. Ваша родина здесь. А вы носите рубашку с армейскими знаками другой страны. Для вас вообще смысл слова патриотизм понятен?

– Как сейчас помню, было время, когда ношение джинсов считалось непатриотичным, – вдруг вставил загорелый парень. – Я как-то пришел в школу в джинсах. Дешевенькие такие джинсики «Сузуки». И меня прямо с урока отправили домой переодеваться. Учительница тоже что-то про патриотизм лепила.

– И правильно поступила! – одобрил Михаил Михайлович. – Потому что в школу следует ходить в форме.

– Я не против формы, но это было в классе девятом, где форму уже никто не носил. Просто считалось, что джинсы разлагают наши неокрепшие умы. Когда это было? В 1973 году что ли. Ну да, я школу окончил в 1974, значит в 73-м. Ну и что добились этой акцией? Эти запреты только способствовали популярности джинсов. Покажите мне хоть одного молодого человека в этой стране, у которого бы не было джинсов или который не хотел бы их иметь! Стоило ли отправлять меня тогда домой?

– Я сейчас про джинсы не говорю, я говорю про рубашку с американской военной символикой. Значит, по-вашему, ее следует разрешить?

– По-моему, на нее просто не надо обращать внимания. Ну, поносят годик, выбросят и забудут. А запреты превращают обычную тряпку в объект постоянного вожделения. Завалите этими рубашками магазины, их завтра будут покупать так же часто, как наши гимнастерки. Если бы за этим столом в таких рубашках сидел не один человек, а два, то один из них в следующий раз бы ее уже не надел. Одну и ту же одежду носят только в армии.

– Вы... – Михаил Михайлович замялся. – Я, извините, вижу вас впервые, чем вы вообще занимаетесь, что позволяет вам говорить об этом так... уверенно?

– Нас не представили. Меня зовут Анатолий. Я занимаюсь разработкой логических формул поведения в заданных ситуациях в Новосибирском университете.

– Младший научный сотрудник? – спросил Михаил Михайлович с довольно побитым видом, но все еще с надеждой ущемить не в меру умного гостя хоть в чем-то.

– Руководитель группы.

Жена Михаила Михайловича поднялась и слегка неверной походкой направилась в дом.

– Натаха, мне кроссовки подарили, а они на размер меньше, – сказала Таня. – А тебе как раз будут. «Пума». Синие, такие типа замшевых с тремя белыми полосками, хочешь примерить?

– Конечно!

Сестры поднялись. Михаил Михайлович, которому явно добавить к разговору было нечего, осталось только проявить заботу о жене.

– Нин, ты в порядке? – крикнул он в ее роскошную спину

Поскольку ответа не последовало, он пробормотал извинение, и поднявшись, последовал за супругой.

Я взял бутылку водки и спросил Анатолия:

– Вам налить?

– Нет, спасибо, у меня сегодня на вечер намечен ряд мероприятий, которые требуют исключительной трезвости. А вы чем занимаетесь?

– В газете работаю.

– Идеологический фронт.

– Он самый.

– А-а, фронт-не фронт, – он закинул руки за голову и зевнул. – Это уже потеряло значение. Система явно восстанавливает баланс. Ну, ладно, налейте половинку.

Я налил.

– Какую систему вы имеете в виду?

– Ну, смотрите, есть вещи, которыми государство заниматься не должно и не может. Раньше у нас со всем чужеродным бились не на жизнь, а на смерть, а сейчас так, несут по привычке старую ахинею, но в целом махнули на все рукой. Под видом перестройки. Вы что, сами не видите?

– Это вас в Новосибирском университете научили про баланс системы?

– Университет тут ни при чем, – он усмехнулся. – Просто на них это действует, как заклинание. Их сраной философии на борьбу с математикой не хватает.

Он бросил на меня быстрый взгляд, словно проверяя мою реакцию и, подняв рюмку, чокнулся с моей.

– Ну, а если бы он соображал в математике? – поинтересовался я. – У вас вообще образование какое?

– Физмат.

– А-а, тогда конечно. А чем занимаетесь?

– Кооператив. Джинсы, юбки, куртки.

– Еще по половинке за процветание бизнеса?

– В другой раз. Приятно было познакомиться.

Он поднялся и ушел, а я остался смотреть кино про современные танцы на пленере. Уже стемнело, на небо высыпали звезды, вечер был теплый, как компот. Supermax сменил Secret Service, а тех – неизбежный, как крушение старого мира, Modern Talking. Под него я танцевал в обнимку с Наташей, потом прыгал, толкаясь задом об упругую попку Тани, потом решился, наконец, и станцевал медленный танец с девушкой в красной майке под стинговскую «Роксану», хотя она была проституткой, я имею в виду Роксану. А эта была просто страстной. В танце она положила руки мне на плечи и придерживала меня на таком расстоянии, чтобы очень аккуратно касаться моей груди своими очень упругими сосками. Делала она это невероятно умело – левый-правый, левый-правый, не забывая проверять, какой это производит эффект. Это было, что называется, испытанием на прочность. Трудно даже передать, чего мне стоило не спросить у нее номер телефона. Спасло меня от этой пытки начало новой песни и страстное желание освободиться от части скопившейся во мне влаги. Поэтому я извинился и откланялся.

Где на этой даче был туалет, я не знал. С учетом того, что дача принадлежала большому начальнику, туалет мог быть установлен прямо в доме. С другой стороны, дачному туалету полагалось быть где-то на отшибе участка и иметь вид простой будки типа отхожего места. То есть места, к которому надо было отойти. Метров так на двадцать.

Дверь на веранду была открыта, и мне был виден край дивана, на котором сидел Михаил Михайлович. Он смотрел телевизор. Сполохи света то вырывали его из темноты, то возвращали его ей. Чтобы не беспокоить побитого хозяина, я пошел на обследование участка. В принципе, мне не нужен был туалет. Мне бы подошел любой раскидистый куст крыжовника, способный скрыть меня от празднующих.

Я шагнул в темный сад, двигаясь наугад и стремясь лишь отойти подальше от дома. О том, насколько далеко я отошел от него, можно было судить по тому, что музыка здесь звучала тише. Участок

был очень большой. Выбрав дерево пошире, я расстегнул джинсы и пустил струю на белую от извести кору. Ох, какое облегчение! Выпуская наружу мучительную влагу, ваш корреспондент услышал звуки, показавшиеся ему плачем.

Справа темнели ряды винограда. Сто процентов, какая-то упившаяся девушка плачет о потерянной молодости, подумал я, и пошел спасать ее. Не найдя просвета в винограде, я пошел в обход ряда. Он оканчивался у забора, и мне пришлось протиснуться между штакетником и столбом, к которому была привязана проволока, поддерживавшая виноградные лозы. В ряду никого не было. Плач здесь, однако, слышался отчетливей, только это был не плач. Я преодолел еще один промежуток между столбом и забором и оказался во втором ряду, где увидел две фигуры. Женщина, сидела верхом на лежавшем на земле мужчине, делая движения, природа которых была очевидна. Я остолбенел. Женщина сидела ко мне спиной, и ни она, ни ее партнер не могли меня видеть. Я отступил в тень. Скоро женщина застонала еще громче и, опустилась на руки. Зад ее показался мне ослепительно белым в свете луны. И почти таким же большим. Через минуту она стала подниматься и поднималась тяжело, на ходу опуская платье. Парень встал следом за ней. Это был предусмотрительно сохранивший трезвость научный сотрудник тире кооперативщик. А женщиной была Нина, я извиняюсь, Ефремовна, жена партийного начальника и отца моей возлюбленной. Поднявшись, они прильнули друг к другу и так стояли покачиваясь на вечернем ветерке, а я, уподобясь беззвучному ночному татю, дважды просочился между столбами и забором и вернулся к столу с натанцевавшимися гостями. Публика у стола болтала о своем, и Наташа, выглядевшая заскучавшей, с радостью встретила меня.

– Может быть, пойдем? Поздно уже.

– С удовольствием, – ответил я. – Только сначала выпьем на посошок.

Я налил себе рюмку и, ни к кому не обращаясь, произнес:

– За патриотизм!

Опрокинув рюмку, я обнаружил, что девушка с грудью смотрит на меня, как на полного идиота. Она была совершенно великолепна в этот момент со своими сиреневыми веками и розовыми губками, но я был с другой и она была с другим. Виноват, ее другой был с другой, а она даже об этом не подозревала. Мне стало так жалко ее, что даже захотелось обнять, после чего я уже точно попросил бы ее номер телефона. Эта мысль заставила меня засмеяться совершенно идиотским, ясное дело, смехом.

Глава 12

В субботу вечером ко мне зашел Миша с сумкой пластов и попросил захватить их на сходняк. В воскресенье они со Светой собирались на толчок, с которого он еще рассчитывал успеть в парк Шевченко. Он не хотел даже заходить за дисками домой. Я хотел было сказать, что комсомольцы с ментами готовятся разогнать сходняк, но подумал, что все равно те не сделают этого на этот раз, поскольку у них еще ничего не было договорено с милицией и дружинниками. Во-вторых, не хотел, чтобы он подумал, что я боюсь нести его диски.

В воскресенье, направляясь в парк Шевченко, я еще подумал, что в институтах сейчас летняя сессия, поэтому вряд ли соберут и дружинников. Скорей, сделают это после экзаменов, в конце июня, в начале июля. Дойдя до памятника Шевченко, который с решительно наклоненной головой направлялся куда-то вниз к Свердлова, я увидел в конце аллеи в прозрачной утренней дымке темную группу людей – сходку. Когда я только подходил к ней, мне навстречу вышел из толпы один из моих пластиночных знакомых – Вовик, потрясая в воздухе диском Робина Трауэра Bridge of Sighs.

– Димон, специально для тебя, по многочисленным заявкам, лучший образец белого блюза, редчайшая в своем роде вещь!

Вовик жил со своей бабкой в однокомнатной квартире на улице Гоголя. В комнате стояли их две постели, платяной шкаф и его аппаратура. Бабка была глухая, что позволяло Вовику наслаждаться музыкой на полную катушку. Любимой его группой, начиная с 1972 года, была Slade. Каждое утро Вовик будил двор воплями ее певца Ноди Холдера.

– Look at last night! Look at last night! – драл тот свою луженую глотку, словно призывая бедных соседей Вовика отчитаться за все, что с ними произошло за истекшую ночь.

Если бы в один прекрасный день Ноди Холдер не исполнил свою арию будильника, это могло означать только одно – Вовик умер. Если бы откинула лыжи его бабка, Холдер бы выходного не получил.

Я поставил между ног свою и Мишину сумки, взяв у Вовика альбом, вытащил из бумажного пакета пластинку. Диск был совершенно матовый, с белыми следами иглы на дорожках.

– На, – я сунул диск в пакет и вернул Вовику, но тот, отказываясь принять его, тараторил:

– Димон, поверь мне. Ну, есть есть песочек, но умеренный. Диск громкий, тяжелый, там такой бас, что я тебе отвечаю. А музон, ну чисто смертоносный! Чисто улет! Чувак, давай 25 рублей или что-то интересное на обмен. Что там у тебя есть?

– Ты его сам слушал?

– Димон, это же не моя музыка, ты же знаешь, что я слушаю. Но чувак мамой клялся, что он нормально звучит, а я сам чисто по журналам сужу. У тех, кто секет в блюзе, это один из самых бомбовых альбомов. Типа чего-то среднего между Хендриксом и Цеппелином.

– Да-а, конечно! – я все пытался вернуть ему диск, но Вовик хотел, чтобы он подольше побыл у меня в руках, словно рассчитывая на то, что я привыкну к нему и полюблю. Наконец, я опустил руки и сказал:

– Вовик, этот диск – тупиковый. Я его в таком состоянии никому потом не отдам. Забери его!

Он вздохнул и взял диск обратно. И в этот момент кто-то крикнул: «Менты!» И тут же кто-то другой очень высоким голосом завопил: «Шу-ухе-ер!» Стоявшие по краям толпы рванулись в стороны, на ходу вкладывая диски в сумки. С десяток человек табунком понеслись в сторону Маразлиевской, но, увидев замелькавший между деревьями синий ментовский автобус, рассыпались. Менты выбрасывали дружинников по два – по три вдоль паркового парапета, отрезая выход из парка.

От ударившей в голову крови изображение поплыло вбок и вниз. Кто-то уронил пачку дисков, и они, как брошенные на стол карты, разъехались по асфальту, тут же оказавшись под ногами бегущих. Молча, как бычье стадо, сходняк начал разворачиваться в поисках пути для отступления. На аллее, ведущей от памятника Шевченко, уже видны были двигавшие легкой трусцой дружинники, за которыми шли несколько ментов в серой форме. Стадо, набирая ходу, понеслось между деревьями, сквозь кусты в сторону стадиона. Это, видимо, был единственный выход, но поскольку по нему двигались все, я оказался в хвосте. Я побежал в сторону главной конторы пароходства. Тяжелые сумки оттягивали руку, и я подхватил их подмышки. Рядом бежало еще человека три.

Мельканье деревьев, топот ног, вскрики, тяжелое дыхание бегущих рядом. Один на бегу снял очки и бросил в разрез рубашки. Боковым зрением я видел бежавших налегке преследователей, слышал приближающийся топот ног.

Первым схватили парня, спрятавшего очки под рубаху, он, отмахнувшись от кого-то, потерял равновесие и упал, повалив на землю двоих.

– Витя, давай! – долетело. – Этого! («Меня?» – успел подумать я). – Мы – того!

Из-за суматохи вокруг упавшего мне удалось немного оторваться. Автобуса не было видно, десант, видимо, уже весь был в парке. Я спрыгнул с парапета на тротуар Маразлиевской и через мгновенье услышал, как хлопнули о землю подошвы преследователя.

– Стой, бля!

Я оглянулся – крепкий парень настигал меня, щеки горели, глаза от злости сузились.

– Я-ть! Бля!

Выпрямляя после приземления ноги, он потерял равновесие и, ощутив это, выбросил руки вперед, видимо, надеясь еще настигнуть меня в полете и повалить.

Он уже летел, когда я, также движимый инерцией бега, дал сумкам описать дугу в воздухе и встретиться с головой дружинника. Удар оказался настолько сильным, что парень изменил направление полета. Он упал на разбитый асфальт лицом, тут же свернувшись в крендель и прикрыв руками голову, словно предполагал, что теперь его будут бить ногами или чем-то еще тяжелым, и бить безжалостно.

Я оглянулся – никого. У меня еще мелькнула мысль помочь раненому, но инстинкт преследуемого взял свое. Я перелетел на другую сторону улицы. До ворот Лизы оставалось два десятка метров. С парапета парка соскочило сразу три дружинника. Двое тут же кинулись к своему, а третий припустил за мной. Двор был пустой, проскакав по каменным волнам плит, я взлетел по ступенькам крыльца. За спиной хлопнула входная дверь. На втором этаже, прижавшись к знакомой двери, зазвонил. Прижал ухо, но сердце так билось, что я ничего не слышал. Снова коротко прижал кнопку звонка.

Во дворе послышались голоса.

– Зесь-здесь! Не уйдет!

Звонить больше было нельзя. В крохотном дворе любой звук был слышен. За дверью, кажется, кто-то заговорил, кашлянул.

– Давай Витька к крану, – донеслось со двора.

– Компресс холодный надо.

– Рубашку пусть снимет, намочим.

Кран захрипел, закашлял, плюнул, еще раз плюнул, потек.

– Руку смотри как разодрал.

– Хрен с рукой, смотри что с рожей.

– Убью блядюку.

В квартире снова все затихло. Я отступил от двери. Лестница поднималась на третий этаж. Можно было рискнуть и подняться туда. Может быть, там был выход на чердак, а оттуда на крышу. А дальше?

– Давай, все по парадным.

Я тихонько похлопал ладонью по двери. Внизу застучали тяжело ногами о металлические ступени крыльца. И в тот момент, когда я собрался подниматься на третий этаж, дверь, у которой я простоял

столько мучительных минут, бесшумно распахнулась. В черном проеме стоял голый по пояс Кащей. Мощная грудь поросла седым волосом. Молча он кивнул мне и я ступил в спасительную темноту. Дверь за мной закрылась, но в последнюю долю секунды я заметил в сужающейся щели проема фигуру на площадке, где лестница между первым и вторым этажом ломалась надвое.

– Отдышись, отдышись, – тихо сказал Кащей, отступая в глубину коридора.

Он прошел к входу в комнату и, остановившись здесь, тихо сказал:

– Это – Дмитрий.

– Кто? – раздалось из комнаты.

– Митя. Журналист.

– А-а.

Скрипнули пружины. Какой знакомый звук!

От звонка в дверь сердце сжалось.

Кащей снова пошел к двери, бесшумно ступая по половицам босыми ногами. Снова меня обдало знакомым запахом ее духов. Неужели она трахается с ним? С ним тоже! Шепотом Кащей бросил:

– Скройтесь!

Когда я вошел в комнату, Лиза поправляла покрывало на постели. На ней была одна рубашка. Рубашка Кащея. Конечно – первое, что попалось под руку, когда он впускал меня в квартиру! Не сводя с меня глаз, она поправила ее, на секунду полы разошлись, открыв тяжелую грудь, и стала застегивать, словно бросая вызов: «Да! Ну и что?» Щеки у нее горели.

– Кто там? – громко спросил Кащей в коридое.

– Из милиции, – раздалось глуховато из-за дверей.

– Секунду.

Лязгнул замок.

– Да, я вас слушаю, – очень уверенно и с чувством.

– К вам сейчас никто не заходил?

– А в чем, собственно, дело? – голос у Кащея стал деловито-озабоченным.

– Мы разыскиваем одного человека. Мы думаем, что он вошел в вашу квартиру.

– Что за человек-то? У него имя есть, фамилия? – снова очень по-деловому, демонстрируя готовность принять участие в ответственном деле.

– Мы не знаем его фамилии.

– Не понял. Фамилии не знаете, а кого же ищите? – В интонации появилась ирония.

– Он напал на нашего товарища, он – спекулянт.

– И вы видели, что он вошел в эту квартиру?

– Я видел, что сюда кто-то зашел, но я не видел, кто именно.

– С минуту назад я сам открывал двери, потому что мне показалось, что кто-то топчется под дверью, но...

– А можно зайти к вам?

– То есть, как это зайти? – теперь к Кащееву яду добавилась нотка возмущения. – Я вообще всегда рад помочь органам. Но есть какой-то порядок, законность. Ордер на обыск у вас есть?

– Нет, но мы бы хотели зайти.

– Извините, что значит вы бы хотели? – Теперь уже Кащей не сдерживал возмущения. – Мы живем в правовом государстве. Если это – обыск, то наверное надо начать с предъявления документов. У вас удостоверение есть, гражданин милиционер?

– Нет у меня удостоверения, – стух дружинник. – Мы вообще не из милиции, мы из народной дружины. Но мы работаем с милицией.

– Ах, так у вас и удостоверения нет? – в возмущение снова заплыл яд иронии. – Так, знаете, любой может зайти и сказать, я из милиции, пустите меня. У нас тут недавно ограбили женщину, не хочу говорить даже, что еще сделали.

– Вы не волнуйтесь, я удостоверение в участке оставил. В куртке.

– Ну, сходите в участок, молодой человек, возьмите куртку и приходите. И не забудьте спросить у старших товарищей, нужен ли в таких ситуациях ордер на обыск, и можно ли так вот попроситься впустить и дело с концом. Всех благ!

Хлопнула дверь.

– Вы не думайте, я вернусь, – донеслось глухо с лестничной площадки. – С удостоверением.

– Будем ждать с волнением.

Вернувшись в комнату, Кащей спросил:

– Так это вы – спекулянт, напавший на юного помощника милиционера?

Я кивнул.

– Они кого-то там умывают у колонки, – сказала Лиза, глядя в окно.

– Идем посмотрим, – предложил Кащей. – А вы тут сидите.

Они вышли на балкон и, облокотившись о перила, наблюдали за происходящим под ними. Я поднялся с постели и смотрел во двор через занавес.

Пострадавший сидел на земле у колонки. Товарищ, свернув в комок его рубашку, намочил ее и прикладывал к разбитому лицу.

Незадачливый дружинник, гулко стуча о железные ступени, спустился во двор.

– Ну что? – спросил сидевший на корточках возле раненого.

– Да говорят, что нет. А я точно знаю, что есть. Я когда поднимался, кто-то зашел в их дверь. Я видел.

Он упер руки в бока и повернув голову вверх, увидел стоявших на балконе Кащея с Лизой.

Кащей спросил:

– Это на этого напали?

– Да. А кто-то его прячет, между прочим...

– А чем это его так, а?

– Не знаем еще, но мы разберемся.

– Да, это так оставлять нельзя, – согласился Кащей. – Натуральный бандитизм.

Из дворового туалета вышел еще один дружинник, видимо, искавший меня там. Что-то негромко сказал товарищам, ему так же негромко ответили.

– Это вы кого жидом назвали, молодой человек? – вдруг спросил Кащей. – Или это мне показалось?

Снова стало слышно, как вода барабанит мелкой дробью в металлическую коробку слива.

– Наверное, все-таки показалось. Советские дружинники не могут позволять себе антисемитские выпады.

Группа у колонки больше не поворачивалась к балкону. Взяв раненого под руки, его увели со двора. Снова стало тихо. Легкий ветерок колебал листья винограда, тянущего по растянутой над двором сетке свои сухие суставчатые пальцы, где-то негромко злилась сковорода. Из отрытого окна в квартире первого этажа старушка-невидимка сказала сокрушенно:

– Снова беспогядки. Где конная милиция, я не знаю.

– Ну, так что же вы такого натворили? – спросил Кащей, возвращаясь в комнату.

– Да собственно ничего. Только пришел на сходняк и даже не успел ничего вынуть из сумки, как погнали.

– А что с тем поцем случилось? Общее впечатление, что ему вмазали по физиономии кирпичом.

– Он упал. То есть я его ударил... Случайно. А он упал.

– И мордом об асфальт?

– Именно.

– А что за музыка? – он кивнул на сумки.

– Джаз, рок, попсня разная...

– Подумать только, ничего не меняется! – ухмыльнулся Кащей. – 50 лет борются с музыкой толстых и не могут ее победить. Немцев победили, а джаз не могут. От же, кретины!

Он сунул руки в карманы и, как бы ни к кому не обращаясь, пробормотал:

– Не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. А вы, значит, тоже этим увлекаетесь? – он кивнул на сумку.

– Да.

– Вы же работник идеологического фронта. Вас это не смущает?

– Затеем идеологическую дискуссию?

– Боже упаси! Но вы только представьте, как этих хлопчиков накрутили, если они за вами бегают, как за уголовными преступниками. Интересно, как они привлекут тех, кого поймают? Спекуляцию могут пришить, конечно, хотя скорей просто морду надрят в участке, а потом пришьют хулиганство. Кстати, в вашем случае обвинение в хулиганском нападении на дружинника может оказаться совершенно обоснованным. Это годика два химии. Так что смотрите, не попадайтесь им на глаза. Этот пострадавший с приятелями точно вас пасти будет. Причем не по комсомольской линии, а по личной, так сказать.

– Да-а, эти такие, – подтвердила Лиза. – Явно из какого-то ПТУ. Такие накостыляют...

– Оно, может, только и лучше, – сказал после паузы Кащей. – В смысле по мордам получить лучше, чем сесть. Потому что потом жизнь пойдет такая, особенно с вашей интеллигентной внешностью, что мордобой покажется маминым поцелуем. А вас вообще в лицо сколько человек видели?

– Я думаю, только один. Тот раненый.

– Тем не менее, что бы я посоветовал. Поскольку за руку вас не поймали, отнекивайтесь от всего. Не я – и все. Это – первое. Второе – измените прическу. Я говорю это совершенно серьезно. Лиза, ты можешь его постричь?

– Могу.

– Давай прямо сейчас. Все равно ему тут желательно посидеть часик-другой. Еще бы хорошо какую-то другую рубашку надеть. Или футболку. У тебя найдется что-то?

– Наверное.

Она прошла через комнату. Рубашка едва прикрывала ягодицы. Ноги у нее были полноватые, но очень фигуристые, с выраженными икрами, очень изящными щиколотками и узкими ступнями.

– Иди сюда, намочим голову.

Кухня располагалась прямо в коридоре.

– Наклонись.

Я устроил лоб на краю отлива, разглядывая, какой у нее аккуратный педикюр. Потом вдруг ощутил, как она прижалась ко мне животом и навалилась грудью на спину.

– Удобно?

– Очень.

Холодная вода полилась на затылок. Уверенная рука провела по волосам.

Кащей, между тем, поставил на середину комнаты стул для меня, а сам устроился на постели.

– Лучше всего было бы его побрить, как Владимира.

– Опять? – она отстранилась от меня.

– Пардон.

Она усадила меня на приготовленный стул, принеся с кухни клеенку, обернула меня. Над ухом защелкали ножницы. Понаблюдав немного за тем, как идет стрижка, Кащей поднялся.

– Знаете, вы тут стригитесь, а я прогуляюсь вокруг дома. Интересно, оставили ли дозорного наши юные друзья чекистов. И не открывайте никому, на всякий случай. Лиза, э-э... мне нужна будет рубаха.

Стрижка прервалась. Она вернулась в футболке.

– Хороша, шельмовка, до чего хороша, – пробормотал Кащей, застегивая пуговицы и заправляя рубаху в брюки.

Нам слышно было, как мягко клацнул язычок замка входной двери, как Кащей спустился во двор и его шаги под сводами подъезда. Она отошла от меня, за спиной ножницы стукнули о металл отлива. Я обернулся и увидел, что она снимает через голову футболку. Я стащил с себя клеенку. Отрезанные волосы съехали на пол. Мы поцеловались так жадно, как будто ждали друг друга вечность. Она так сильно прижалась ко мне, что я на секунду задохнулся. Оторвавшись от меня, она стала расстегивать мне брюки, шепча: «Ну, где ты шлялся, подлец?» Давление у меня поднялось с такой скоростью и силой, что я невольно загордился собой. Она так жадно накинулась на меня, на него, я имею в виду, что мне стало не по себе. Но я так хотел забраться в нее, что мне пришлось буквально оторвать ее от себя. От него, я имею в виду. Когда я вошел в нее, она была горячая и мокрая и, двигаясь в ней, я подумал, что к моему, так сказать, визиту, она, видимо, была подготовлена Кащеем. Просто своим внезапным появлением я не дал им довести дело до конца. Беспокоило ли это меня? Я так хотел ее, что просто отбросил эту мысль.

Когда Кащей вернулся, она подметала пол, собирая мои волосы в зеленый металлический совок. Не знаю, понял ли он по нашему виду, что произошло. На улице было уже темно, и Лиза зажгла маленькую лампу под оранжевым абажуром. И я, и она были за пределами светового круга.

– Ну-ну, чем занимаемся? – спросил Кащей, встав в дверном проеме. – Подстриглись?

– Да, – ответила Лиза.

– Как я и подозревал, мальчики еще только учатся, – сказал он. – Готов поспорить на червончик, что сейчас дуют пиво у себя в общежитии. При этом, тут я готов поспорить даже на четвертачок, включили какой-нибудь раздолбанный «Днепр» и крутят ту же самую музыку, которую сегодня искореняли по заданию партии и правительства. А пластинки я бы оставил пока здесь. На всякий случай. Ну, как вам понравилась наша парикмахер?

– Очень, – ответил я не без вызова.

– Всем нравится, – улыбнулся тот. – И вам идет. Что-то такое в вас шалопайское появилось.

В коридоре, открывая мне дверь, она шепнула:

– Ты про Марину помнишь?

– Да, – шепнул я в нежный изгиб ее шеи, вдыхая аромат кожи, словно на память. – Я собираюсь на днях на завод и все там узнаю.

Я ощутил ее руку на своем причинном месте.

– Я буду ждать.

Дверь бесшумно закрылась. Я спустился во двор, миновал подъезд. Улица была пустынна. Я направился домой. На этот раз у меня были все основания, чтобы посматривать через плечо – не идет ли кто за мной.

Глава 13

«Мост вздохов» оказался у меня в руках меньше чем через неделю. Он лежал в пачке дисков в подвальной студии Олежека на Проспекте Мира, куда попал вместе с другими отобранными дисками то ли из милиции, то ли из обкома. Пачка была довольно увесистой – не меньше полусотни альбомов.

– Ну и что с ними теперь будут делать?

– А хрен его знает, – Олежека пожал плечами. – Пока принесли сюда. Решили использовать для составления наших программ. А тут не из чего составлять. Вон один есть танцевальный диск Franky Goes to Hollywood, так он у нас уже давно был. Это Зорика был диск. Он на краю конверта всегда свои инициалы ставит. Видишь?

Олежек показал конверт, на уголке которого я увидел выдавленное пустой шариковой ручкой Z.

Зорик работал диск-жокеем в «Ретро» на Карла-Маркса. Ничего, кроме телок, его не интересовало, и попсня была средством для их снятия. Самая хорошая музыка для него была «последняя». Если бы девочки шли на трель милицейского свистка, он был купил последний свисток и свистел в него, насколько хватило половых сил.

– А если Зорик зайдет и увидит свой диск?

– Это что, я у него его забирал?!

– Я не понял, диски забрали у десятков людей, а сюда попало только это старье?

– А ты думаешь, они там в обкоме ушами по щекам хлопают? У меня в это воскресенье на сходняке был один знакомый – Витек из Водного, у него была запечатанная флойдовская «Стена» и последняя Шадэ, тоже запечатанная. Где они? Мне их сюда не приносили.

В этот момент в студии появился Гончаров.

– Олег, может быть все-таки не надо здесь эту выставку устраивать, а? Тебе нужны эти разговоры? Спрячь это куда-то!

– А что, вы не собираетесь это отдавать владельцам? – спросил я.

– Мы ничего и ни у кого не отбирали, – строго сказал Гончаров. – Поэтому мы ничего не отдаем. Нам эти диски передали на экспертизу.

– А кто эксперт? Олег?

Олежек тут же выпучил глаза. Как же, я поставил под сомнение его квалификацию!

– Дмитрий, – сказал Гончаров. – Чего ты добиваешься?

– Чего я добиваюсь? Я добиваюсь того, чтобы этот маразм кончился! – Я с досадой ощутил, что голос у меня дрогнул. – Я хочу, чтобы мне кто-то объяснил, почему вот этот вот диск, – я взял со стола «Мост вздохов» и потряс им в воздухе, – забрали у его владельца? Что он сделал? Какую идеологию он подорвал? Вы можете мне это объяснить? Вы со своими экспертами?!

– Олег, спрячь все это немедленно, а ты зайди ко мне в кабинет!

Гончаров вышел в коридор, я пошел следом. Даже в подвале, где размещалось ОМК, Гончаров обставил свой кабинет, как настоящий начальник. Дверь была обита черным дерматином. В комнате с низким потолком и выходящими в неприглядный двор окнами стоял типовой полированный стол, примыкавший торцом к столу начальника. Один стол для начальника, второй – для подчиненных. Король Артур сидел со своими рыцарями за одним круглым столом, символизирующим их братство. Но король Артур был рыцарем, а у нас самый ничтожный начальник, окопавшийся в полуподвальном кабинете с видом на дворовый мусорник, демонстрировал свою причастность к руководящему классу.

– Садись.

Я сел.

– Ответь мне: что я, или Олег, или еще кто-то, может сделать в данной ситуации? Ты что, вчера родился? Ты понимаешь, с каким трудом мы построили эти кафе, эти дискотеки, где молодежь может слушать хоть что-то приличное?

– Вы имеете в виду Modern Talking?

Гончаров закатил глаза.

– Как ты знаешь, под «Дипапл» сейчас никто не танцует.

– «Дип Перпл».

– Что?

– Не «Дипапл», а «Дип Перпл». Это два слова – темно-фиолетовый.

– Не понял, что темно-фиолетовый?

– «Дип Перпл» в переводе означает «темно-фиолетовый».

– Я не понял, ты мне что, урок английского даешь? Это – одновалентно, Дмитрий – темно-фиолетовый или светло-фиолетовый. Молодежь хочет модную музыку. Тяжелый рок – это вчерашний день! И слава богу, что вчерашний!

– Почему? – не понял я.

– Ну, потому что музыка меняется!

– Это я понимаю. Я не понимаю, почему слава богу, что вчерашний?

– Ну, потому что им надо что-то запрещать. Они без этого не могут. Поэтому пусть они запрещают то, что уже потеряло актуальность. Ты же неглупый парень, ты что, не понимаешь?

Обращение ко мне как к неглупому парню предполагало, что какую бы ахинею ни понес теперь Гончаров, я должен был отнестись к ней как к проявлению его ума. Как бизнесмен он, конечно, был прав. Ему нужно было привлекать к себе в кафе молодежь, и для этого ему с головой хватало «Модерн токинга» и аналогичного барахла.

– А что делать тем, кто увлекается роком? Или джазом?

– Да твой джаз сейчас никого не волнует! Посмотри на программу филармонии: «Аллегро», «Арсенал», трио Ганелина, вон Пол Уинтер приезжал, американец, между прочим. И знаешь, почему он их не волнует?

– Почему?

– Потому что там слов нет. А на дудках своих пусть пиликают что хотят. А посмотри на свой рок: секс, наркотики, «Пинк флойду» видите ли, не нравится, что мы в Афганистан вошли! Больше тем нет! Про любовь, блядь, пойте!

– Когда их музыканты протестовали против войны во Вьетнаме, это было нормально, а когда им не нравится то, что мы вошли в Афганистан, это – плохо. Они – пацифисты. Они против любой войны в принципе. Они – за мир.

– Митя, ну ты вообще соображаешь, что ты говоришь?

Помолчали. Потом я сказал:

– Петр Михайлович, все эти рассуждения о войне и мире не снимают главного вопроса: люди, которые менялись дисками, будут продолжать ими меняться. В обкоме считают, что если они конфискуют у людей все диски, проблема будет исчерпана. Это – бред. На сходняк носят то, что хотят поменять или продать, а остальное у людей лежит дома.

– Я понимаю. И мы будем думать об этом. Но у нас сейчас другая проблема.

– Какая же?

– Ты понимаешь, эти рокеры сейчас полезли изо всех дыр, как тараканы, блядь. Деньги есть, купил гитару. Денег нет – замастырил сам из доски, воткнул в радиоприемник и корчит из себя Джимми Хендрикса. Находят какие-то клубы, какие-то пионерлагеря, какие-то танцплощадки джутовой фабрики. И, как бы хреново они ни играли, за ними ходит стая охламонов в ошейниках. Ты же не можешь закрыть на это глаза! С этим тоже надо что-то делать!

– Петр Михаилович, мы начали про пластинки, давайте закончим пластинками. Вы что, не понимаете, что этот погром в парке Шевченко – чистой воды беззаконие? Ваши дружинники просто взяли и ограбили сходняк.

Откинувшись на высокую спинку кресла, он молча смотрел на меня, постукивая пальцами по полировке.

– Митя, не делай меня ответственным за чужие решения. Понятно? Ты прекрасно знаешь, кто дал команду бомбить сходку. Если у тебя есть вопросы, ты знаешь, кому их надо задавать. ОМК к этому не имеет отношения. Я его создал из ничего, и я сделаю все, чтобы оно жило и процветало. Это понятно?

Это было очень понятно. Гончаров защищал свою кормушку.

– Я тебя больше не задерживаю.

С Проспекта Мира я пошел на Соборку. После исчезновения моей безымянной подруги меня туда тянуло, как преступника тянет на место преступления. Я направился к той самой скамеечке, на которой она заснула. Я даже присел на нее в надежде, что она материализуется из ниоткуда и я смогу выяснить, все ли с ней в порядке, и заодно – как ее зовут. Я вспоминал, как обнимал ее и какой крохотной она была. У нее была узенькая талия, едва намеченный животик и округлые бедра. У нее была теплая и сухая кожа, и я вдруг очень отчетливо вспомнил, как она отвечала на мои поцелуи – очень аккуратно и старательно. У нее было прекрасное смуглое лицо с россыпью едва заметных веснушек на скулах, изумительно голубые глаза и черные волосы. Меня вдруг потянуло к ней, потянуло, как к человеку, который, слава богу, не был вовлечен в мои проблемы, рядом с которым я мог о них забыть. Но она не материализовалась. У меня за спиной на детской площадке шумела детвора. На соседней скамейке перекуривали две подружки. Обе были в очень коротких кожаных юбках и туфельках на каблуках, которые они надели на белые носочки с оборочками. Сделав затяжку, тут же прятали руку с сигаретой под скамейку. Они постоянно стреляли глазами в мою сторону. Я, однако, продолжал оставаться верным памяти своей брошенной подруги. Потом в конце аллеи возник Кащей. Когда он был уже близко, я увидел, что он не сводит глаз с подруг. Они тоже бросали быстрые взгляды на него, не отрываясь от своего обмена короткими репликами со смешками, а главное – от ожидания нового поворота жизни. Впечатление было такое, что они готовы попробовать что-то новое даже со стариком. Находясь уже рядом с ними, Кащей на полсекунды притормозил, как если бы хотел остановиться и завести с ними разговор, но в последний момент передумал и пошел дальше. Наверное осознал разницу в возрасте и взял себя

в руки. Задушил внутреннего змея. Завязал его, гада такого, на узел, но и удаляясь от соблазна, шел слегка подпрыгивая, словно демонстрируя подружкам, что он еще вполне бодр и энергичен. И если они сейчас кинутся за ним вдогонку, то тогда уже, гори оно все огнем, он не станет сопротивляться.

– Берите меня, дьволицы! – скажет он им и порвет рубаху на поросшей седым волосом груди. – Пейте мои соки! Рвите меня на части своими белыми зубками! Я ваш, мои ласковые и нежные прошмандовки!

Развернувшаяся перед моими глазами картина так увлекла меня, что я с опозданием подумал, что неплохо было бы окликнуть его и напомнить о приглашении послушать его аппаратуру. Я испытывал к этому двойной интерес. Если бы он оказался действительно интересным инженером, то мог бы стать героем очередного очерка.

Я уже собрался было подняться и догнать его, как рядом со мной села Наташа. Я даже вздронул от неожиданности. Она именно материализовалась из воздуха, как это должна была сделать та моя одноразовая подружка.

– Я так рада тебя видеть! – сказала она и, наклонившись, поцеловала меня в щеку. Я потер место, на котором остался прохладный отпечаток ее губ.

– Ты знаешь, что я вдруг подумала?

– Нет.

– Я подумала, что хочу пройти пешком от дома до монастыря на Шестнадцатой станции.

– Ничего себе прогулочка! А зачем это?

– Я недавно была на Плитах, а когда возвращалась, то пошла не на трамвай в Аркадию, а просто вдоль берега и, знаешь, так хорошо было. Вечер тихий. Покой такой во всем. Безлюдье. И я тогда подумала, что ничего мне больше не надо. Что у меня все есть. И это небо, и это море, и этот покой у меня никто не отберет. Это – мое. Ты понимаешь?

– Ну, в принципе понимаю. Если тебе ничего больше не надо...

– А что тебе надо?

– Что мне надо? Да ничего особенного! Мне надо быть с женщиной, которую я люблю. Это – раз.

Я загнул палец.

– Потом мне нужна работа, которая будет мне нравиться и на которой я буду зарабатывать достаточно, чтобы прокормить себя и эту женщину.

Я загнул второй палец.

– Потом мне нужна квартира, где мы сможем растить наших детей. Я бы хотел двух: мальчика и девочку. Извини, конечно, за банальность. Вот, пожалуй, и все.

Я загнул третий палец.

– Как, кстати, давно ты была в Италии?

– Я?! – брови ее изумленно взлетели. – Я не была в Италии!

– А почему? Почему итальянцы могут приехать и любоваться нашим Оперным театром, а мы не можем поехать и посмотреть на их Ла Скалу? Почему? Их театр – лучший в мире. Их, а не наш. Ты это знаешь?

– Может быть, но ты можешь так настроиться, что...

– Что – что?

– Что тебе не нужна будет их Ла Скала. Здесь достаточно всего. Неужели ты не понимаешь?

Я покачал головой.

– Ты никогда не видела, как лошадям надевают на глаза такие черные штучки, они шорами называются? И они могут смотреть только перед собой. Все, что по бокам, для них не существует. Они тогда едут, куда им скажут и их ничего не отвлекает от дороги.

Помолчали.

– В детстве я, бывало, простужусь, и вот лежу неделю дома, в такой муторной полудреме, знаешь? И вот лежу и читаю книгу за книгой: Майн Рида, Луи Буссенара, Хаггарда. И, знаешь, я всегда представлял себя рядом с их героями. Где-то в африканских джунглях или на плоту в океане, или в прериях с индейцами. А когда я вырос, я обнаружил, что Африка для меня закрыта. А почему? Если у человека есть дом, жена, дети, работа, то он никуда не сбежит. Покатается и вернется. А у меня нет, я извиняюсь, ни хрена, кроме мечты об Африке или об Италии. Они и боятся нас отпускать, потому что знают, что многих тут ничего не держит. Я, может, и там ничего не найду, но в мечте всегда есть надежда на то, что в новой жизни как-то, все же, можно устроиться. А здесь я даже не знаю, как я могу устроится. Ты понимаешь меня?

Я снова завелся.

– Впрочем, выход есть. Ты меня, наконец, полюбишь, твоя мама согласится взять меня в свой дом, а твой папа поможет мне сделать карьеру! Дело осталось за немногим, а именно – за тобой! Мое спасение – в выгодном браке, и поэтому я говорю: я твой, бери меня!

Ее лицо залилось краской. Она взяла меня за руку.

– Митя, на мне что, свет клином сошелся? Я что – одна в этом городе?

Я накрыл своей ладонью ее руку.

– Извини. Мы – друзья, мы – коллеги, и мы должны сохранять то, что у нас есть. Это стихотворение я уже выучил. И, естественно, я не ищу выгодную невесту. Особенно в твоем лице.

Мы так еще посидели с минуту, потом она забрала руку и сказала:

– Давай в следующее воскресенье пойдем в монастырь на 16-ю. На литургию. Она начинается в девять. Только не говори, что я сошла с ума. Просто встанем очень-очень рано. И пойдем пешком. Как ходили когда-то давно, до трамваев и такси.

– Ты знаешь, сколько туда идти?!

– Ну, часа два, может быть.

– Отсюда до вокзала – минут сорок и от вокзала, наверное, еще часа три. Итого четыре.

– Это именно то, что я хочу. Встанем рано-рано. В пять. Не будем завтракать. Или только чаю попьем.

Она выглядела как блаженная, ни о чем не ведающая за пределами своих фантазий, чьи желания надо выполнять, поскольку обида может ее покалечить.

– Ну, давай пойдем. От тебя или от меня?

У меня просто талант говорить двусмысленности. Но эта двусмысленность, кажется, отрезвила ее.

– Ты понимаешь, что мы пойдем в церковь?! – она легонько хлопнула меня ладошкой по затылку. – Как можно идти в церковь с такими мыслями? Ну почему ты такой?

Я не успел ответить, обнаружив приближающегося к нам Костю Швуима. Как я слышал, он только что создал новую рок-группу – «Ассоциацию пролетарских музыкантов». Костя раньше ходил в загранку, но недавно сошел на берег. Или его сошли. Ему было лет 40, и в местном рок-движении он, кажется, нашел способ продлить молодость.

– Здравствуйте, писатель и его дама, – сказал седовласый и грустный Костя. – Вы знаете, что у нас завтра концерт?

– Где?!

– В портклубе. Твоя фамилия будет в кассе, получишь билет.

– Два.

– Я извиняюсь, конечно два!

– А почему так внезапно, безо всяких объявлений?

– Ты понимаешь, у них же все делается, как у революционеров-подпольщиков. Сперва они не знают, где есть свободный зал. Когда они находят зал, наш вокалист не может петь. Он случайно перепил. Потом ему становится лучше, но, как назло, наши песни не прошли через их худсовет.

Костя улыбнулся, обнажив темные от табака и кофе зубы.

– А кто будет петь?

– Петь! Девушка, этот рок-критик еще не выучил, что поют в опере, – обратился Костя к Наташе. – У нас не поют. У нас другой жанр. Нам нужен дебил, который может закатить часовую истерику с пусканьем пены изо рта. И я такого нашел. Алик Проскуров. Это – самородок. Приходите, не пожалеете.

– Пойдем? – спросил я Наташу.

– Ну... пошли.

Хотела в церковь, а попадет на шабаш, подумал я.

Глава 14

У входа в Портклуб толпилась мрачного вида молодежь в джинсах и черных кожаных жилетах, у некоторых на голое тело, с серьгами, в клепанных-переклепанных браслетах и поясах, некоторые в колючих ошейниках. Часть была побрита наголо, другие, напротив, отпустили волосы до плечей – стилистический коктейль хиппи, панков и металлистов, возможный только на глухой периферии. Собравшиеся сосредоточенно курили, переговаривались вполголоса, как члены тайной секты. Рядом стояли или висли на них подруги с панковскими прическами «дикообразами», в кожаных и джинсовых мини-юбках, в чулках-сетках, в полусапожках. Рукописная афиша гласила: «Рок-клуб ОМК представляет «Ассоциацию профессиональных музыкантов»». «Пролетариев» сменили на «профессионалов». Естественно! В попытке связать эту музыку с пролетарской культурой могли усмотреть насмешку. Хотя музыка была чисто пролетарской. Интеллигенты в очках такое не слушали. Трудовое крестьянство тоже интереса к ней не проявляло. Оставалась рабочая молодежь. Просто те, кто внес поправку в название АПМ, знали только одну рабочую молодежь – с агитплакатов «Вперед к победе коммунизма!».

У дверей Гончаров говорил с двумя инструкторами, которых прислали понаблюдать и доложить. Он их учил жизни, водя перед их физиономиями сигаретой, а те кивали, время от времени бросая на окружавшую их публику взгляды, в которых презрение мешалось с испугом. На своих отчетно-выборных собраниях и дискотеках с утвержденным репертуаром они таких уродов не видели.

В переполненном, гудящем многими голосами зале мы нашли места только в предпоследнем ряду. В последнем сидела уже пьяная компания. Когда мы проходили мимо, кто-то уронил бутылку, и она громко покатилась по полу. Компания заржала. Наташа с испугом посмотрела на меня, словно спрашивая – не подыскать ли место поспокойней.

На сцене техники пробовали гитары. Слышно было электрическое гудение усилителей. Один техник с бас-гитарой бегло сыграл гамму, и, откликнувшись на упругий звук басовых струн, несколько человек, вскочив с мест, закричали: «Металл давай!»

«Раз, раз, раз», – стали пробовать микрофон. Снова загудел, забился гулким ритмом бас и оборвался. Эти звуки были своеобразным ритуалом приготовления к концерту, подогревом и без того возбужденного зала, обещанием грядущего веселья.

– Металл давай, с-сука! – крикнули за спиной.

Наташа снова испуганно посмотрела на меня, и я тогда обнял ее за плечи и привлек к себе.

– Не бойся, все будет хорошо.

В четверть девятого, когда воздух в зале сгустился и повлажнел, свет погас, и на сцену в белом круге света выбежал легкой трусцой ведущий. Я видел его несколько раз в ОМК. Он таскался за какой-то из рок-групп, придумав себе роль ведущего рок-концертов. Вел он себя при этом, как конферансье на студенческих капустниках. Говорил много и развязно, подменяя многозначительной интонацией отсутствие юмора. Редкие длинные волосы он зачесывал назад и завязывал в хвостик на затылке. Сейчас он вышел на сцену в самопальных джинсах, сплошь облепленных карманами со змейками, и в жилете на голое тело. Руки у него были как очень светло-сиреневые черви.

– Добрый вечер, друзья! – крикнул он в микрофон, тут же отшатнувшись от него, словно не ожидал, что выйдет так громко. – Добрый вечер, друзья металлисты, друзья наших металлистов и друзья всей черной металлургии нашей родины!

В зале засвистели, затопали.

– Металл давай, падла!

– Сегодня весь вечер на манеже – единственная и непав-втарим-мая «Асс-социация праф-фессиональных муз-зыкантов»! Мы просим всех соблюдать спокойствие, насколько это будет возможным!

– Ме-талл! Ме-талл! – стали скандировать в зале. – Ме-талл!

– На клавишах – лидер группы Константин Швуим!

– МЕ-ТАЛЛ! МЕ-ТАЛЛ!

– На гитаре – Анатолий Таржинский!

Крик «металл» утонул в реве гитары. Белый овал света вырвал из мрака Таржинского. Обнаружив себя в центре внимания, худощавый высокий парень с аккуратной прической раскрутил в воздухе руку, как это делал Пит Таунсенд, а затем легко взял три первых аккорда Smoke on the Water. Звук гитары смешался с ревом толпы.

– а-а-а-анах-анах-анах, –

– МЕ-ТАЛЛ! МЕ-ТАЛЛ!

– ... Акопов! – пробился голос ведущего.

Рев и вой. Рев и вой.

– ... ас-и-таре...

– МЕ-ТАЛЛ! МЕ-ТАЛЛ!

– ... алерий Прессман!

Рев и вой. Рев и вой.

– И наконец – голос «Ассоциации» – Алик Праскуров!

– Клавиши в мониторе... Ничего не слышу! – голос Швуима.

Слова «клавиши» и «монитор» прозвучали как колдовское заклятье, внезапно заставившее зал стихнуть.

Акопов попробовал звонким ударом тарелку, потом ухнул и забился бас Прессмана. Низкий и упругий звук отдался в животе, сердце тревожно замерло. Первый шквал звука вызвал ощущение полной глухоты. От последовавшего грохота зал стал ритмично содрогаться. Словно кто-то огромной подушкой бил по крыше здания. В-вах! В-вах! В-вах! Потом в новом белом овале возник Голос АПМ. На щупленьком Проскурове был то ли плащ, то ли черный ситцевый халат, какие носят уборщицы. На голове – кепка. Держась за полы халата, он стал кружится по сцене, иногда останавливаясь, чтобы, слегка согнув ноги в коленях, изобразить руками, что это он играет – то на гитаре, то на барабанах. Когда он начинал кружится, полы халата разлетались, открывая его голые ноги. Он был то ли в трусах, то ли в очень коротких шортах. И вдруг наступила совершенно оглушительная тишина. Я поймал себя на том, что судорожно пытаюсь сделать вдох и выбить пробки из ушей. Наташа закрыла уши ладонями, как наушниками.

А Проскуров неожиданно низким и сиплым голосом завыл:

– Пра-а-а-а-ащай ка-афейная-а-а-а с-стра-а-на-а-а-а!

Это было вступлением к новому шквалу звука.

Проскуров, между тем, сорвал с головы кепку – лысина засияла под прожекторами – и стал выбрасывать руку с ней перед собой в такт тексту.

Слышны под землею железные стуки,
Рушится в небе торжественный храм!
Смерть! Костлявые руки тянет к нам!
Смерть!

Легкими пальцами Таржинский посылал в зал пулеметные очереди сигналов, которые разрывали черное пространство на куски, валящиеся на публику горной лавиной.

Рвутся на части слепые заветы!
Небо читает свой приговор!
Смерть! Костлявые руки тянет смерть!

Проскуров был в ударе. Швуим имел все основания гордиться своим открытием. Но это открытие грозило неприятностями. Аналогия певца с вождем мировой революции была очевидна всем, кто еще был способен соображать. Я оглянулся. Оба инструктора стояли у двери. Лица, совершенно белые в сполохах прожекторов, казались перекошенными ужасом масками. Я легко представлял, что они переживали в этот момент. У себя в кабинетах они привыкли слышать слова типа «рок-движение», «рок-клуб», «молодежная музыка», и они были готовы курировать, утверждать, направлять все эти слова в правильное, рекомендованное свыше, русло. Здесь же они столкнулись не с безвредными словами, а с вырвавшимся на волю чудовищем, которое явно не подлежало курированию и направлению в правильное русло. Такое начнешь направлять, оно тебе в этом же русле выроет могилу.

Я захохотал. У меня вообще есть такое свойство – смеяться, когда я слышу хорошую музыку. В рамках своего жанра эта музыка была бесподобной. На западе «Ассоциация» могла бы спокойно выступать на больших аренах. Если Ингви Малмстин или Девид Мустэйн были самородками, то Таржинский был профессионалом, наработавшим блестящую технику многолетней практикой. Толик, я знал, окончил школу Столярского, потом консерваторию и играл на виолончели в филармонии. Акопов, кажется, тоже учился в консерватории. Ходивший в загранку Костя много лет исполнял для интуристов только западные шлягеры. Но смеялся я не из-за этого. Я представил, что в этот самый момент должен был чувствовать Гончаров. Мой хохот, неслышный в урагане звука, со стороны, наверное, походил на припадок. Я чувствовал, что Наташа схватила меня за руку и трясет меня, что она испугана, не понимая, что происходит со мной, и от этого я хохотал еще больше, чувствуя, как слезы заливают лицо.

– *Смерть простирает костлявые руки!* – выл Проскуров. – *Смерть!*

И вдруг в зале загорелся свет, и в этом свете музыканты и зрители внезапно лишились того пугающего содержания, которым были наполнены минуту назад. На сцену, выкрикивая что-то в направлении Проскурова, поднимался один из инструкторов. В оглохшем зале слов слышно не было. Отвечая на его жестикуляцию, Проскуров протянул ему микрофон. Инструктор выхватил его и стал кричать в него, но микрофон уже был выключен. Видно было только, как он беззвучно раскрывает рот и очень оживленно машет свободной рукой. Потом сквозь воздушную вату стали долетать слова, склеивающиеся в отрывистые фразы и, наконец, проступил смысл: концерт окончен, все должны покинуть зал.

Часть аудитории, поднявшись, потянулась к выходу, но кто-то в зале вырикнул:

– Та я те щас пасть порву, прид-дурок!

– Кому это ты пасть порвешь? – крикнул в ответ инструктор, и с неожиданной прытью слетел со сцены.

Стали толкаться. Черное кожаное море смыкалось вокруг инстурктора, но тот упорно выплывал наружу.

– А ну порви ему очко на фашистский знак! – крикнули откуда-то сбоку.

– Кто сказал фашист?! – инструктор рвался к свету, но толпа отторгала его, гасила порыв.

– Только толкаться не надо, ладно?!

– Та я тебя!

– Менты! – крикнул кто-то, и снова погас свет. В темноте засвистели, затопали, свет снова включился.

– Механика на мыло!

Начинался хаос. Два милиционера, встав у входа, выталкивали зрителей наружу. В их планы явно не входило никого задерживать. Мы вышли из зала в числе последних. Перед клубом стоял Кузнецов. Сунув руки в карманы брюк и склонив голову набок, он слушал одного из инструкторов.

– Видел? – спросил он меня.

Я кивнул.

– Ну, что скажешь?

– А что я могу сказать? Это же не выступление камерного оркестра.

– Сегодня не камерного, а завтра, глядишь и камерного, – он зло ухмыльнулся, потом снова повернулся к инструктору:

– Завтра Гончарова ко мне. Прямо с утра. Раком будет у меня стоять.

Из этой реплики следовало, что Гончарову удалось скрыться с места преступления.

Инструктор послушно кивал, утирая всей пятерней мокрый от пережитого лоб.

– Будешь писать? – снова обратился ко мне Кузнецов.

– О том, как вы прекратили концерт?

Он бросил на меня злобный взгляд и отвернулся к подошедшему милиционеру. Это означало, что я свободен. Обняв Наташу за плечи, я повел ее к лестнице. Когда мы поднялись на Ласточкина, она сказала:

– Я такое видела первый раз в жизни. Это было какое-то безумие.

– Ничего, товарищи из комсомола будут его лечить.

– Как?

– Как всегда. Стращать и не пущать.

– А что же еще делать?

– Я не знаю. Я знаю только, что это уже есть, и я не представляю, чтобы это можно было запретить. Ты никогда не слышала про такую группу – «Черный кофе»?

– Нет.

– Это московская рок-группа. У них есть даже пластинка на «Мелодии». Они должны приехать к нам этим летом. Будут выступать во Дворце спорта. Они играют попроще, чем АПМ, но в целом это та же самая музыка.

– А знаешь, я их понимаю. Я имею в виду Кузнецова. Это – страшно. Какой-то массовый психоз. Кого-то в этой толпе могут задавить.

– А футбол это не массовый психоз? Ты слышала, как вопят на трибунах, когда наш «Черноморец» забивает гол? И там тоже бывает кого-то давят. А потом толпа пьяных фанатов ходит по городу и горланит песни. И при этом кто-то может получить в глаз.

– То – спорт, а это...

– Искусство?

– Ну, да, – в ее голосе слышалась неуверенность.

– А если это назвать спортом, тогда все будет нормально? Получается, что все дело в терминологии. Как назовешь, так и будут относится. А тут назвали мероприятие концертом и народ ждет, что на сцену выйдут музыканты во фраках и исполнят Моцарта. А публика будет чинно так сидеть и слушать, а потом так же чинно хлопать. А это другой жанр.

– Получается, что рок-музыка и не музыка вовсе, – заключила она.

– Когда я был еще в школе, мне казалось, что это – единственное искусство. Но тогда музыка была другая. Мы слушали Yes, Genesis, Led Zeppelin. Именно слушали. Для меня это была настоящая музыка. Рок-музыка. Прошло десять лет, и все стало другим, хотя и эту музыку тоже называют роком. Может быть, это просто этап такой. Им надо переболеть, и все. Тем более, паралелльно все равно есть что-то еще. Ска. Новая волна. Джаз-рок. Под одну музыку танцуют, другую слушают, но металл предполагает другую реакцию.

– А почему же все помешались на этом металле?

– Да в том-то и дело, что не все! У нас вон есть «Провинция». Лирический такой вокально-инструментальный ансамбль. Есть «Бастион» со своими одесскими куплетами. Есть «Кратер», который играет хард-рок. Они все разные. Это наши начальники, которые ни в чем ни хрена не смыслят, видят в этом одно и то же. Им бы дать волю, они бы всех разогнали из брандспойта.

Я был так возбужден, что, прощаясь, не сделал обычной попытки поцеловать ее. Уже в подъезде я вспомнил об этом и, обернувшись, увидел, как ее фигурка мелькнула в дверном проеме и исчезла. А возбужден я был потому, что уже представлял, как мне дадут очередное задание – написать про дебош в портклубе. Я не знал только, в какой форме мои начальники захотят увидеть выполненный заказ: в виде подробного репортажа или в виде статьи из обтекаемых фраз о враждебной культуре и недремлющих врагах, которые растлевают нашу невинную молодежь.

– Не думай об этом, – сказал я сам себе, и пошел домой, думая, ясное дело, только об этом.

Глава 15

Первым сталепрокатное производство мне показал Вадик Мукомолец. Мы познакомились с ним на конференции, устроенной для молодых газетчиков Союзом журналистов. Вадик был эталоном прагматичности. Он легко заводил полезные знакомства, пил с правильными товарищами и без колебаний выполнял их поручения. Он делал это безо всякого душевного надрыва, просто зная, что жить надо именно так, если хочешь чего-то добиться. Узнав, что я работаю в «Комсомолке», он тут же предложил писать о своем заводе. Я согласился, поскольку мне нужны были авторские материалы, в том числе очерки о молодых специалистах. Когда я получил от него первый, то удивился, как шаблонно правиль-

но он написан. Кем работает герой, кто наставник, что герою нравится в наставнике, как он перенимает его опыт, какое обязательство взял, как выполняет его. Показатели производительности. Второй очерк отличался от первого только именами героев. Это была именно та мертвечина, которую наша газета готова была поглощать в любых количествах, невзирая на объявленное стремление соответствовать требованиям нашего горячего перестроечного времени. Но хотя лозунги звучали по-новому, работа делалась по-старому. Все в жизни было четко поделено на то, о чем можно писать и что никого не волновало, и на то, о чем лучше не писать вообще, чтобы не врать. Для моего собкора Вадика производимая им мура была средством заработка. Читал ли ее кто-либо, кроме меня и корректора, его не волновало. Он заранее выяснял, сколько нужно строк, и исправно выдавал требующийся объем штампов. Беспокоило его только одно – чтобы при разметке ответсек не забыл внести его имя в платежную ведомость. Это был настоящий профессионализм. Таким же профессиональным было его решение начать свою карьеру с заводской многотиражки, где он собирался поступить в партию, что обеспечило бы ему дальнейшее продвижение по службе. Он говорил об этом открыто, как говорят о том, что зимой, если не хочешь простудиться, надо теплей одеваться. Я не исключал, что в один прекрасный день он мог стать моим начальником, и воспринял бы это легко, как само собой разумеющееся развитие событий. И объяснял бы мне, что можно писать, а что нельзя. Но пока он водил меня по цехам, как важного гостя. Еще бы не важного! С моей помощью он увеличивал свой заработок рублей на 30 в месяц!

– Это вот канатная машина, – он показывал рукой в середину цеха, где крутилось с ровным гулом огромное стальное колесо с зеленой окантовкой. – Да, вот эта, с большим валом. Ее еще бельгийцы установили. В 1916 году. Прикидываешь?! Сноса ей нет никакого. Все стоят, а она работает.

– А почему все стоят?

– Да, наши машины постоянно ломаются. Автоматика слабая. Программирование несовершенное. А у этой ломаться нечему. Их раньше было больше, но выкинули, потому что министерство выделило фонды, сделали закупку, короче, считали, что так лучше будет.

Мукомолец сам был такой вот простой машиной, без сложной автоматики. Он не был при этом циничным или лишенным поэзии. За пределами требований своей работы он был нормальным парнем. Не блещущим особой культурой, но вполне открытым к ней. Это он показал мне заброшенные участки старого литейного производства за Пересыпским мостом.

Старое производство, казалось, было отделено от нового чисто психологическим барьером ненадобности. Туда не ходили, потому что там нечего было делать. Путь туда лежал через ремонтные цеха. За самым дальним следовал старый, превратившийся из цеха в склад. За этим складом следовал другой, в котором хранились машины или станки, уже давно списанные и забытые. Дальше стояла коробка здания с зияющими дырами окон, в которых росла трава, крыша была сорвана. Из него рыжая узкоколейка вела к другой полуразрушенной коробке здания, а из него – на пустырь, заросший высокой, по колено, травой с гнущими ее к земле тяжелыми колосьями. Там и сям были разбросаны ржавые остовы машин, краны. Край пустыря поднимался гребнем и, достигнув пика, срывался к канаве, по дну которой бежала черная вода с радужными пятнами слитого в нее масла. Дальше за стеной непроходимого кустарника и грунтовой дорогой была разбросана дюжина-другая хибарок, где, видимо, жили заводские рабочие, а может, какой-то другой потерянный народ. Поселок казался безлюдным. Такой земля могла выглядеть после разрушительной войны или мора. По словам Вадика, места пришли в запустение еще до войны, когда огромное производство по каким-то причинам остановилось, а новое начало строиться на новом месте, поскольку сносить старье казалось напрасной тратой времени и средств. На новом производстве любимым цехом у Вадика был литейный. Он здесь часто бывал, объясняя тем, что зимой здесь теплей, чем в других простывших на сквозняках цехах, тем более на улице. Его здесь хорошо знали. В грохоте и гуле машин ему кричали что-то приветственное, он, улыбаясь, поднимал руку в ответ. Здесь я увидел мастеров, которые выдергивали из машин железными клещами раскаленные добела ленты металла и, ловко свернув в воздухе огненную петлю, снова вставляли ее конец в машину, где она, змеясь, превращалась из желтой в красную, потом в нежно-розовую и угасала между валиками, вытягиваясь в проволоку.

Здесь работал Осип Федорович Кириченко, герой моего очерка, знавший, как найти цыганку Марину. Мне нужно было только выяснить, на какой он смене. Я позвонил Вадику. В редакции ответили, что его отправили в Херсон по каким-то заводским делам. Я решил тогда поехать на прокатный сам, побродить по старому производству, пофотографировать его. На снимках, особенно если их вирировать, эти места приобретали настоящую живописность. Я уехал на Пересыпь сразу после летучки, на протяжении которой все ждал, что мне зададут вопрос о том, как идет работа над материалом о Кононове, но, славу богу, не спросили.

Я доехал до Пересыпского моста на трамваях и оттуда пошел пешком. Через полчаса я был в цеху, узнав, что Кириченко на прошлой неделе похоронили. Несчастный случай на производстве. Мастер, сидевший за заваленными бумагами столом в цеховой конторе, ответил на мой вопрос о том, что случилось, вопросом:

– Тебе это как, для газеты?

– Да нет, я его знал. Мне чисто по-человечески.

Мастер снял очки, протер их краем спецовки, снова надел.

– Его петлей резануло. Поскользнулся – и все. Кранты.

Из конторы я пошел в цеховой буфет, надеясь поговорить о случившемся с буфетчицей. Когда Вадик привел меня в цех впервые, мы зашли к ней и она предложила нам по килограмму творога. Я отказался, понимая, насколько это глупо. Буфетчица тут же подтвердила это: «Матери скажешь, она тебя дураком назовет!»

Сейчас я надеялся, что она меня помнит, и я смогу узнать подробности случившегося. Направляясь в буфет, я прошел мимо участка, где рабочие по-прежнему жонглировали в воздухе раскаленным металлом. Буфетчица оказалась на месте.

– А-а, редактор, проходи! За творогом вернулся? Сегодня нет! – она засмеялась, показав редкие пятнистые зубы.

Почему-то весь рабочий люд воспринимал журналистов как редакторов.

Я попросил у нее стакан сметаны и булку, после чего спросил о Кириченко.

– Та что-то у него с костями было последнее время, – ответила она. – Все жаловался, мол, крутит-тянет, хотя, может, и выпил перед сменой. А у него возраст. Другой бы уже дома сидел, а он все на квартиру ишачил. Доишачился. И ни себе ни детям. Его стаж им, сказали, не засчитают.

– Он ходил к какой-то знахарке местной. Говорил мне, что она ему помогала.

– К Марине?

– Вы знаете ее?

– Та хто ж ее тут не знает?

– Так она ему не помогла?

– Может и помогла, а толку-то?

– Она где-то недалеко живет?

– А тут в слободе. Если от нас идти, то второй дом с конца. Улица Метизная. А тебе-то она зачем? Писать что ли про нее хочешь? Она знахарка известная! Травами лечит, наговорами разными, сглаз снимает. Толковая женщина. А у тебя что, болит чего?

Метизная улица оказалась единственной за той самой канавой с бегущей по ее дну черной водой. Улица была продолжением разбитой грунтовой дороги, вдоль которой какой-то странник-гигант обронил горсть кривобоких коробок. К ушедшим в землю каменным домикам с крошечными окнами и серыми цементными заплатами тулились кривобокие пристройки из досок и листов кровельного железа, сдерживавших от расползания собранный в них хлам. Единственными видимыми обитателями этих мест были собаки. Пока я шел по ухабам, несколько дворняг, стоя у заборов, молча провожали меня погасшими взглядами, воспринимая как безвредное привидение из своей бесконечной собачьей дремы. Дом знахарки был окружен высоким забором. Я постучал. Первой откликнулась опять же собака – загремела цепью, гавкнула несколько раз. Когда дверь отворилась, заготовленный вопрос «Здравствуйте, можно ли видеть Марину», замер у меня на губах. Передо мной стояла ночная незнакомка, брошенная мной на скамейке в парке. Или ее сестра-двойняшка. Только эта была не в джинсах и свитере, а в длинной ситцевой юбке и короткой серой кофте. Худенькая, босая, волосы повязаны косынкой. Я поздоровался.

– Здрасьте, – она молча разглядывала меня, ожидая что я сообщу ей о цели визита. Потом что-то в ее взгляде изменилось, словно вид моей физиономии начал сходиться с сидящим где-то в глубине памяти мутноватым образом.

– Мне Марину, – выдавил я, наконец.

– Проходите. Молчать, Вовчок! – крикнула она черной овчарке, но та еще, отрабатывая хозяйские харчи, пару раз рванула цепь, пытаясь дотянуться до меня, а затем пошла, приседая на задние лапы, в будку. Этот дом был явно богаче соседских. Он был больше размером, дверь на большую застекленную веранду была открыта.

– Туда идите, – она указала на дверь.

Я вошел. Почти все помещение занимал огромный стол с разложенными на нем пучками трав, наполнявших воздух своим тяжелым и теплым духом. За столом сидела сухонькая пожилая женщина с очень светлым и морщинистым личиком. Она как-будто состарилась, сохранив свежесть молодости. Справа от нее лежал ворох травы, слева – небольшие аккуратные пучки. Не здороваясь, она смотрела на меня, ловко увязывая траву в очередной пучок. От катушки в рот тянулась нитка, край которой свисал с губы.

– Говорите, зачем пришли, – услышал я за спиной.

– Помощь нужна не мне, – начал я. – У меня есть знакомая.

– Полюбовница.

– Ну, нельзя так прямо сказать, что любовница...

– Чего это нельзя? – буркнула Марина. – Ты вон весь в ней, я ж сюда слышу. У нее много мужиков, но ты ей сейчас милей других.

Я опешил. После чего мне только осталось рассказать короткий вариант истории про приходящего к Лизе самоубийцу Кононова.

Марина слушала не перебивая. Она немного косила, и я все не мог понять, куда она смотрит. Иногда на меня, иногда как будто на кого-то надо мной, вызывая желание оглянуться. Когда я закончил, она сказала:

– На него грех повесили, вот он и мается. Его отпеть надо.

Она перестала вязать траву.

– У тебя деньги есть?

– Есть что-то.

– Пятерку дай.

Я извлек из кармана джинсов смятые рубчики, отсчитал пять и, распрямив, положил на стол. У меня оставалось еще три рубля, а жить до получки предстояло с неделю. Рубли тут же исчезли, а на их место прямо из рук Марины начали выпадать карты. Она разметала их перед собой, окинув взглядом, поправила несколько карт и снова собрала в колоду, скользнувшую к ней в рукав.

– Хлопот у тебя полон рот, милый, – сказала она. – Девок вокруг тебя две, одна червовая, другая пиковая. Обеих бросай пока не поздно, жизни тебе с ними не будет, одна беда. В казенном доме хлопот много. Два короля тебя в голове держат, один бубновый, один трефовый, трефовового берегись, но бубновый тебя спасет. Руку давай.

Я протянул руку. Марина взглянув на ладонь, поставила последний диагноз:

– Жить долго будешь, тем и утешься. Иди.

– Так что мне сказать моей... э-э..., ну подруге моей, про того ее парня, а?

– Отпоет пусть.

Я все стоял, и она тогда добавила:

– Поля, проводи его.

Поля! Полина! Это, конечно же, была она. Подведя меня к калитке, она вдруг сказала:

– Так это ты?

Сгорая от стыда, я сказал:

– Я искал тебя потом.

Помолчали. Она рассматривала меня с нескрываемым интересом.

– Это твоя бабушка? – спросил я.

– Так это я у тебя спала тогда? – проигнорировала она мой вопрос.

– Не помню, – соврал я. – Ну, в смысле помню, что в одной постели, а больше не помню.

Она сунула руки в карманы кофты.

– А я помню.

– Да ничего не было, наверное. Я такой пьяный был...

– Все было.

Собака, гремя цепью, пошла в нашем направлении и остановилась, поводя ушами и поглядывая на хозяйку, не требуется ли подмога.

– А где ты бываешь? – спросил я.

Она пожала плечами.

– Везде бываю.

– Так как же тебя найти?

– Да не надо меня искать, – улыбаясь, она смотрела на меня.

– Не надо?

– Не-а.

– Так мы больше не увидимся?

– Чего, увидимся еще. Не волнуйся.

– Как?

Она стала потихоньку закрывать калитку, вытесняя меня на улицу Метизную, очутившись на которой, я подумал: какая мне разница, где она бывает? Я что, хочу встречаться с ней? И потом провожать ее в это хреново-коленово? Тем более сейчас, когда я мог прямым ходом направиться к моей роскошной Лизе, отчитаться о проделанной работе и тут же получить по заслугам?

Когда я только вспомнил о Лизе, у меня начался приступ микро-гипертонии. В штанах, я имею в виду. Я даже остановился. Какая она была страстная, какая ненасытная, какой заразительной была ее жадность! Оглянувшись по сторонам, я запустил руку в штаны и поправил свое хозяйство – стволом вверх – иначе идти было просто невозможно. Я хотел ее, она явно хотела меня. Я имею в виду Лизу. По отношению к Полине я не испытывал ничего, кроме чувства вины. Вины по поводу совершеннейшего недоразумения. Нет, всякое в моей жизни было, но чтобы бросить человека в парке после проведен-

ной вместе ночи?! Это было смешно, но вспомнив, как она свернулась на скамейке, я испытал чувство жалости, какое испытывают к ребенку. Конечно! Как она могла мне объяснить, где она живет?! И, тем не менее, я бросил ее, бросил, как последняя сволочь! Ну, не пошел бы я в тот день на работу, что бы случилось? Сказал бы, что отравился, что было чистой правдой, что возьму день за свой счет, что отработаю потом, ну что бы было? Ничего! Еще бы и провел день с ней. И тут меня посетила мысль, которая меня заставила даже остановиться. Главное, что было бы: меня не послали бы выяснять круг знакомств Кононова и я бы не встретил Лизу. Первое следствие было негативным. Зато второе – вполне неплохим. Полина была в этой истории случайным человеком, и как случайного человека ее просто надо было вычеркнуть из списка части.

Глава 16

Соборная площадь точно была особенным местом. Недаром собор построили здесь. Его, говорят, было видно далеко с моря. Потом его взорвали, поскольку религия являлась одной из форм опиума, вызывающего привыкание и сильную зависимость. Взрыв собора стал последним эпизодом войны между двумя мафиями, одна из которых проталкивала на рынок опиум, а вторая – кокаин. Кокаинисты победили, найдя поддержку у чекистов и тут же присадив их на свой товар. После чего те начали прочесывать страну в поисках японских шпионов, марсиан-гипнотизеров, инженеров-вредителей, крестьян-отравителей, масонов и представителей формального искусства. Кровь потекла рекой. Из-под земли были слышны круглосуточные вопли истязуемых, прерываемые тарахтеньем пулемета, подводившего четкую пунктирную черту под очередным приговором самого обдолбанного кокаином суда в мире.

Странное дело – куда бы я ни шел, непременно оказывался на Соборной площади. Она была главным перекрестком города. И сейчас я снова оказался в сквере возле школы, которую когда-то окончил. Школы, которую построили из камней того самого взорванного собора, из-за чего, говорят, над зданием этим висело проклятье. Это было, конечно, натуральное суеверие, тем не менее, здание постоянно давало трещины. Его камни как будто были недовольны нынешним местоположением и стремились порвать навязанные им связи, чтобы вернуться на свои старые места Когда я учился во втором или в третьем классе, стена, на которой висела доска, треснула. Это произошло во время урока. В возникшее отверстие можно было засунуть кулак. Наша учительница Нина Андреевна, сильно побледнев, велела всем построиться и взяться за руки. Она вывела нас из класса, а потом из школы строем по два, подгоняя, чтобы мы быстрей спускались по лестнице. И потом также подгоняла, когда мы перебегали через дорогу в сквер. Было прохладно, потому что была уже поздняя осень и пронизывающий ветерок мел по асфальту желто-коричневую листву. Велев не расходиться, Нина Андреевна вернулась в здание и скоро из него начали бегом выходить другие школьники. Скоро весь наш край сквера заполнился коричневыми и синими формами, как это бывало на праздники. И я услышал, как кто-то из старшеклассников крикнул, что школа сейчас наебнется. Я не мог вникнуть в смысл слова, пока стоявший рядом со мной хулиганистый соученик Валерик Черный громко повторил: «Наебнетца!», и расхохотался. И я расхохотался вслед за ним, хотя точно значения этого слова не понимал. Мой детский организм таким образом разрядился от напряжения. Потом несколько учителей стали заходить в здание и выносить охапками нашу одежду. Через несколько недель трещины заштукатурили, но появились новые, и часть классов все время ремонтировали. Из них выходили рабочие в твердых от пятен извести и краски брюках и куртках, оставляя на надраенном красной пахучей мастикой паркете белые следы подошв.

Выйдя из трамвая, привезшего меня с Пересыпи, я постоял у входа в аллею, которая вела к школе, и поймал себя на мысли, что смотрю на ту самую скамейку, где оставил Полю. Я виделся с ней, живой и невредимой, час назад, говорил с ней, но снова пришел на то место, где оставил ее. Бред какой-то. Хотя, в этом бреду появилась одна реальная деталь – брошенную звали Полей. И я нашел ее. Но больше не планировал видеть.

– Молодой человек, купите цветочки, – услышал я.

У низкой чугунной ограды парка сидело несколько бабок с ведрами, в которых стояли цветы. Я подошел к позвавшей меня. Ведро было полно гладиолусов. Я не любил гладиолусы. Гладиолусы были хороши только для того, чтобы класть их по диагонали на могильные плиты военных моряков на Аллее Славы в парке Шевченко. Я достал оставшуюся трешку, которой мне хватило ровно на одну розу. С бархатными листьми, почти черными на кромках темно-красных лепестков.

Тетка достала из кармана мятого пиджака кусачки, аккуратно срезала со ствола шипы и завернула розу в кусок газеты. Она протянула розу мне, но потом, видно, совесть взяла свое.

– Нет, подожди, это не дело.

Она отбросила газету, вернула розу в ведро, достала еще веточку похожей на укроп зелени, отмотала кусок прозрачной пленки и завернула все, как полагается.

Соседка похвалила:

– Ну, правильно. Он може студент, так что ж ему не полагается? Пусть тоже красиво девушке своей сделает.

Я принял розу и пошел делать красиво своей девушке. Только войдя во двор, я увидел, что в окнах у Лизы темно. Я все же поднялся, позвонил в дверь, прислушался. Ни звука. Я вставил розу в петлю дверной ручки. Страстная встреча отменялась. Что было делать? Домой мне идти не хотелось, и я решил наведаться к Кащею. Найти его было легко. Входишь во вдор, справа подвал. Спускаешься вниз, звонок на двери.

Подвал я увидел сразу. Перед окнами был широкий «окоп» – метра полтора пространства. Вниз вела лестница. Спустившись к двери, я стал разыскивать в полумраке звонок, и в это время услышал странные звуки, которые доносились из приоткрытой в ближнем ко мне окне форточки. Как будто шлепали что-то, и эти шлепки чередовались с мычаньем каким-то или стонами. И кто-то посмеивался еще. То, что эти звуки могли сопровождать сексуальный акт (почему эта мысль всегда появляется первой?), я даже не мог представить. Я поднялся из подвала, чтобы заглянуть в окна сверху, но обнаружил, что занавеси задернуты, лишь на самом верху одного они расходились, открывая часть стены с книжными полками. В этот момент мне показалось, как женщина выкрикнула негромко и задыхаясь: «С-скотина, т-такая!» И снова что-то сочно шлепнуло: раз, два, три! Я был заинтригован донельзя. Полутораметровой ширины простенок между двором и стеной дома пересекала перемотанная серой теплоизоляцией труба. Я подумал, что если встану на нее и пройду ближе к стене, то увижу происходящее в подвале. Я оглянулся, во дворе никого не было. Я перебрался через перила, встал на трубу и, сделав два коротких шага, оказался у стены. Придерживаясь за нее, опустился на корточки.

В просторной комнате подо мной я увидел Кащея в синих шелковых трусах до колена и боксерских перчатках. Он очень ловко и легко, как настоящий боксер, передвигался вокруг женщины, на которой не было ничего, кроме таких же боксерских перчаток, как у него. Женщина стояла в этот момент спиной ко мне, но по фигуре, по стрижке, по полноватым ногам я понял, что это Лиза. Она нападала на него, а он легко отводил ее удары левой рукой, иногда легонько ударяя ее в лоб или в плечо правой, посмеиваясь при этом, а она снова шла на него. Судя по ее движениям, это был не первый их поединок. Ей, может быть, не хватало ловкости или скорости, но двигалась она довольно уверенно, по-настоящему прикрывая грудь и лицо, и по-настящему идя в атаку. Иногда она перчаткой отводила с потного лба мокрую прядь волос. Это было совершенно невероятно. Сколько продолжалось это сражение, я не знаю. Я увидел, что Лиза стала выдыхаться, после чего Кащей нанес ей два удара – в живот, от которого она согнулась пополам, и потом в макушку, от которого она очень громко упала навзничь на мат. Она так и лежала, разбросав руки и ноги, грудь ее высоко поднималась, а Кащей, стащив с себя перчатки, опустился на колени и опустил голову к основанию ее живота, как собака. Я поднялся, забыв, что стою на трубе и тут же, потеряв равновесие, полетел в подвал. При приземлении я так ударился копчиком, что задохнулся от боли. Я сидел, опираясь спиной о стену, не в состоянии шевельнуться. Боль парализовала меня. Вероятно, падая, я произвел какой-то шум. Дверь открылась и надо мной появился Кащей. Он был в халате.

– Почему сидим в таком неудобном месте, позвольте поинтересоваться?

Я сделал шумный вдох, но говорить не смог.

– Упали?

Я сделал еще один шумный вдох.

– Встать можете?

Я покачал головой.

– Сидите здесь. Я сейчас приду.

Он скрылся за дверью, плотно притворив ее за собой. Через несколько минут вернулся. Взяв меня под руки, легко поднял. Я громко охнул, поскольку разогнуться не мог, и так согнутым он втащил меня к себе. Я оказался в большой комнате. Лизы не было. У одной стены стоял стеллаж с книгами и какими-то папками, который я видел в окно. У другой, там, где были два окна – длинный, во всю длину комнаты, стол с усилителями, радиоприемниками, магнитофонами. Как ни был я тяжело ранен – в копчик и в сердце, я не мог не обратить внимания на то, что большая часть аппаратуры была импортной.

Он усадил меня на диван и встал передо мной.

– Так как это вас угораздило?

Я, не зная, что отвечать, помотал головой, показав неопределенно на спину, а он, сунув руки в карманы халата, продолжал стоять надо мной. Я, между тем, осматривал его владения. Дверь слева от меня вела либо в другую комнату, либо в туалет, где сейчас должна была быть Лиза. На полу лежал черный дерматиновый мат с еще видными на нем следами пота. Поймав мой взгляд, он ступил на мат.

– Это я тут физкультурой занимаюсь. Штанга, йога, вам тоже не мешало бы заняться. Комплекция у вас, надо заметить, хлипковатая. А в жизни всякое случается. Например, возникает острая необходимость дать кому-то в глаз, а сумки с пластинками под рукой нет.

Он глухо засмеялся.

– Ну как, отходит?

Я снова кивнул. Я чувствовал, что могу говорить, но говорить мне с ним было не о чем.

– Хотели музыку послушать?

– Очень.

– Сегодня, к сожалению, не получится. Мне тут новый звукосниматель обещали занести для вертушки и не занесли. Заходите завтра. Можете, кстати, прихватить, какой-то свой диск. Послушаете, как он звучит на человеческой аппаратуре. А?

Он отошел к стене, у которой стояли колонки.

– «Тандберга» слышали? – он похлопал одну. – Нет? Большая редкость. Ну, ладно, Митя, я вижу с вами толком и поговорить сегодня нельзя. Как вы? Ходить можете?

Я уже стоял. Подняв руку, я помахал ей в воздухе и поковылял к дверям.

– Ну, давайте, выздоравливайте, – сказал он мне в спину.

Я потащился домой. Не успел лечь, как услышал звонок в коридоре, входная дверь открылась, Анна Николаевна с кем-то заговорила, потом гулко застучали каблуки по полу и потом коротко и быстро – костяшки пальцев в мою дверь.

– Входите, – крикнул я, лежа на диване. – Открыто.

В комнату вошла Лиза. Признаться, в глубине души я надеялся, что она появится.

– Привет, дорогой мой, – сказала она и, присев на край дивана, поцеловала в губы. – Что с тобой случилось, а?

Лицо у нее было в красных пятнах, возможно от быстрой ходьбы, возможно от чего-то другого.

– Упал.

– Это я знаю.

– Откуда?

– Я Костю встретила, он мне сказал, что ты с его лестницы скатился.

– А-а, Костю встретила...

– У тебя может быть перелом. Ты к врачу завтра сходи. Может быть, рентген нужен. Ты с этим не шути. Так как это случилось-то, ты можешь сказать?

Не знаю, что стояло за ее интересом к обстоятельствам моего падения – предположение, что я видел, чем они занимались в этом подвале или живое участие. Живое участие женщины, которая сейчас любит меня больше, чем того другого, с которым приятно проводит время. Глядя на нее, я конечно, снова хотел ее. Несмотря ни на что.

– Там, знаешь, в подвале труба такая есть, – сказал я. – Между окнами.

– Ну?

– Ну вот с нее я и упал.

Она прыснула.

– А как ты на ней очутился?

– Как я на ней очутился?

Я все пытался поймать в ее взгляде тень понимания того, что я знаю, что там у них происходило. И все же не договаривал, потому что боялся, да-да, боялся, что, узнав от меня все, она повернется и уйдет. И больше я никогда не увижу ее. Ну, может быть, увижу. Но так, издалека.

– Я просто хотел зайти к нему. Потом я услышал эти звуки. Удары, стоны. Я не понял, что это такое. И я залез на эту трубу, чтобы посмотреть, что там происходит.

Она поднялась, прошла к окну и присела на подоконник. Между нами образовалось метра три пустого пространства, грозившего разрастись еще больше.

– Ну и что теперь? – спросила она.

Выражение лица у нее стало озабоченным.

Я пожал плечами.

– Ты знаешь, что он импотент?

– То есть?!

– То есть? У него не стоит! Выдаю тебе военную тайну. Да, он мой любовник, но у него не стоит!

– А-а, – сказал я. – Это в корне меняет дело.

– А что тебя волнует? Я тебя спрашиваю, с кем ты сейчас трахаешься? Я тебя вообще о чем-то спрашиваю? Я тебе что-то обещала? Хранить верность?

Я пожал плечами.

– Так я не поняла, ты ко мне имеешь какие-то претензии или что? Ты скажи! Чтобы я просто понимала, что мне дальше делать, а?

Она достала из сумки пачку сигарет, выбила одну и закурила. Из чего я сделал вывод, что уходить она не торопится. Это был момент, когда я в очередной раз убедился в том, насколько я, все же, циничная сволочь. Я не хотел, чтобы она уходила. Боль меня почти оставила, и очень хотелось проверить, не придется ли мне теперь тоже удовлетворять ее с помощью бокса.

– Какие я могу иметь претензии? – ответил я. – Просто я не люблю ничем делиться. Я противник колхозов и коллективного имущества.

Это была гнусная ложь. Я лично участвовал в оргии у Прессмана, которая была самым натуральным секс-колхозом. Но это был другой случай, где меня мало что связывало с другими участницами народного гулянья. Здесь все было иначе. У нас уже была своя история. И, глядя на Лизу, я уже ничего не хотел, кроме как обнять ее. Хотел, чтобы все это, как в анекдоте про лилипута и великаншу, было моим: грудь, губы, ноги, жопа, сладкий, мягкий, упругий, сладко стонущий кусок мяса. Я умирал, так хотел запустить пальцы в ее волосы. Взять ее за талию, прижать к себе так, чтобы ощутить ее грудь на своей груди, твердеющие от возбуждения соски. Гипертонические приступы у меня в этот день следовали просто один за другим.

Сделав две-три затяжки, она погасила сигарету. Точнее, тыкала ею в пепельницу, пока до меня не дошло, что она плачет, что было вполне предсказуемо. Я поднялся с дивана и, подковыляв к ней, начал воплощать желание в жизнь. Сперва взял ее за талию и привлек к себе. Как сладко смешался знакомый аромат ее духов с сигаретным дымком! Потом я взял ее мокрое лицо в ладони, и мои пальцы скользнули в ее волосы. Губы у нее были солеными от слез и, клянусь, ничего вкуснее этих соленых губ я не пробовал в своей жизни. Затем мы переместились в постель и, забегая очень недалеко вперед, докладываю, что травма не вызвала никаких негативных последствий, что принесло мне несказанное облегчение, а ей, предположу, чувство глубокого удовлетворения. Утром, когда я еще лежал в полудреме, я услышал, как она негромко ахнула и сказала:

– Слушай, у тебя здесь огромный синяк. Я бы все-таки сходила к доктору.

Этот совет навел меня на мысль, что судьба подкинула мне совершенно великолепную возможность отдохнуть от моих начальников и от их смежников из комитета. Все, что требовалось для этого, – пойти в поликлинику, показать свой раненный зад и получить больничный. Были, однако, вещи, которые меня волновали не меньше.

– Тебе понравилось со мной?

– Очень, – ответила она, укладывая голову мне на плечо.

– Ты будешь еще с ним боксировать?

Повисла пауза. Потом она ответила:

– Ты не представляешь, сколько меня с ним связывает. Он был моим первым мужчиной. Я тогда еще училась в школе. В десятом классе. И он уже тогда был импотентом. Что-то он мне объяснял, про какую-то травму, но, слушай, какая разница, по какой причине у тебя не поднимается? Не поднимается – и все. Я его тысячу раз пыталась потерять, но он не уходил. Я стала видеться с другими. Он ужасно ревновал, но всегда говорил, что это неизбежно, что он это знал, был готов и все в таком духе. Мы с ним могли подолгу не видеться, но знаешь, в нашем городе скрыться друг от друга невозможно. И он всегда появлялся именно тогда, когда я была одна, когда мне нужна была помощь, доброе слово, какие-то деньги. На него всегда можно было положиться. Я знала, что когда бы я ни пришла в его подвал, он нальет мне чашку чаю, уложит, накроет, согреет и не будет задавать никаких вопросов. Один раз я зашла к нему, и там был Володя. Костя тоже читал много самиздата, и они на этой почве пересеклись. Как мне потом показалось, он меня просто подтолкнул к нему. Может быть, увидел в нем человека, который мог быть со мной. Во всяком случае, он очень поощрял это. Хотел, чтобы мы с Володей уехали в Штаты, обещал помочь, но Володя даже слышать не хотел об отъезде.

– Ты любила его?

– Кононова? Он был очень цельным человеком, четко знал, чего хочет от жизни. Это редко встречается.

– А почему он не хотел уезжать?

– Почему? Один раз он сказал, зло так: «Хочу дожить до того дня, когда эти подонки поставят памятник моему отцу за свой счет». Его отец умер в лагере. Он никогда не говорил «лагерь», всегда «концлагерь». Говорил, что это все ненадолго. В смысле весь Совок ненадолго. Он как-то сказал, что если бы Рейгана избрали на третий срок, то Союз бы этого не пережил. А я уверена, что это навсегда. Так и будем жить в этом болоте.

Я снова подумал, как легко получаю материал о Кононове и какая замечательная история могла бы выйти из этого материала. Одно «но» – моим начальникам она бы сильно не понравилась.

– Ты не ответила: ты любила его?

– Я не знаю, мой дорогой. Он был очень хорошим любовником, и мне было интересно с ним. Но знаешь, он был таким человеком, с которым никуда нельзя было пойти. Для него было только два типа людей: сволочи и идиоты.

– Но ты же не входила в эту категорию?

– Я не знаю, куда я входила. Может быть, ему просто баба нужна была, и тут ему Костя подсунул меня. Он знаешь, как любил говорить? Простые решения – самые верные. Ему нужна была баба, я была его бабой. Вот он и приходит теперь ко мне по ночам.

– Я совсем забыл сказать тебе – я нашел твою Марину.

– Да ты что?! – она села. – Что же ты ничего не говоришь?!

– Я был у нее вчера, и потом все это...

– Ты был у нее?! Ну, так говори же быстрей!

– Она сказала, что его просто нужно отпеть. Просто пойти в церковь и заказать панихиду.

– Я думала об этом. Представляешь, я почти знала, и в то же время как-то колебалась. Пойдешь со мной?

– Конечно, – сказав это, я уткнулся лицом в подушку, чтобы она не увидела мою улыбку. Я подумал, что в последнее время меня, грешного, стали часто приглашать в церковь.

Глава 17

Когда Лиза ушла, я позвонил в редакцию. Трубку взяла наша секретарша Римма.

– Здорово, – сказал я. – В общем, доложишь начальству, что корреспондент Санин на работу не выйдет в связи с травмой.

– А травмой чего? – поинтересовалась Римма.

– Нижней части позвоночника.

– Неужели молния в задницу ударила? – поинтересовалась она.

– Как ты определила?

– Слышу запах жареного.

– Неужели?

– А тебя тут на летучке как-то слишком активно спрашивали. Так что без хорошей справки даже не приходи. А еще лучше с гипсом.

– Задницы? – не удержался я.

Она засмеялась.

– Так что случилось-то?

– Да... поскользнулся на какой-то дряни и грохнулся прямо копчиком об асфальт. Еле до дому дополз.

– Дела-а, ну давай, выздоравливай. Я тебе, если что, позвоню.

Мне повезло. В этот день в поликлинике принимал травматолог. В полутемном коридоре у его кабинета сидел один толстый мужик с загипсованной ногой. Через минут 20 я был у медика. Он велел мне снять штаны и обследовал холодными пальцами пострадавшую часть. «Тут болит? – спросил. – А тут? А тут?» Везде болело. Наконец, велел надеть штаны и вернулся к столу.

– Это у вас самый обычный ушиб. Вы чем занимаетесь?

– Журналист, – название своей профессии я по-прежнему произносил со сдержанной гордостью. Она перла из меня по инерции, потому что реальных причин для нее не было. По крайней мере на данном этапе моей биографии.

Он перебросил страницы моей истории болезни и, прочитав фамилию, сказал:

– Да, фамилия знакомая. Вы в «Вечерке»?

– В «Комсомолке».

– А-а, – сказал он тоном, который предполагал, что о существовании такой газеты он мог и не знать. – Хотите полежать недельку?

– Очень. Мне вообще по работе много ходить приходится...

– Да? А я от одного старого журналиста слышал, что профессионалы все по телефону делают.

Тему можно было развивать, но я не стал. Его консультант явно был из мастеров репортажей с отчетно-выборных партийных конференций, типа нашей Жанны.

– Покой, грелочка на травмированное место, если будет сильно болеть, принимайте анальгин, – сказал доктор, делая запись в историю болезни. – Через недельку зайдете за больничным. Всех благ.

Я поблагодарил его и отбыл домой.

Неделю я провел, как в раю, хотя первые день-два двигаться было тяжело. Это, однако, почти не сказалось на активности моей возродившейся половой жизни. К счастью для меня, ее режим был щадящим. К шести Лиза уходила на работу и ночевала у себя, ссылаясь на то, что после полуночи мечтает только о том, чтобы лечь и заснуть. Всеми силами я старался верить в то, что она действительно ночует у себя. И когда она появлялась у меня днем, свежая и веселая, мне казалось, что она любит меня. Только меня.

Время без работы потянулось, как прилипшая к подошве жевательная резинка. Вставал я поздно, жарил яичницу и варил кофе, потом читал и слушал музыку. Лиза заходила около пяти до работы или уже после полуночи. Первые несколько дней я изображал больного, но в среду боль почти отпустила меня, и я даже присел пару раз, чтобы проверить степень выздоровления. Выздоровление шло хорошо. На улице было жарко, а в квартире – душно. В такую погоду хорошо было бы поехать на пляж, но я боялся встретить кого-нибудь из сотрудников. В нашем городе это могло случиться запросто. Я снова валился в постель, читал, спал. Потом у меня на пороге появился Кащей.

– Чем могу? – начал было я очень официально, но он, отмахнувшись, сказал:

– Митя, бросьте, вы же взрослый мальчик, давайте лучше выпьем.

Подмышкой у него был сверток. В комнате он развернул газету и поставил на стол бутылку молдавского коньяка. Разливая первую порцию по стопкам, он начал:

– Вы должны с пониманием относится к сложностям жизни. Я извиняюсь, но какой я вам соперник? Я и к вам, и к ней испытываю совершенно отеческие чувства.

– Это, кажется, называется инцест, нет? – заметил я.

Он засмеялся и поднял стопку.

– Вы не обманываете моих представлений о себе. За вас!

После первой рюмки я сходил на кухню и принес все, что нашел в холодильнике и в шкафу: две помидоры, соль и подсохший хлеб. Должен отметить, что коньяк отлично примирил меня с незваным гостем. К полубутылке я испытывал теплоту, блаженство – и совершенно товарищеские чувства к человеку, проявлявшему обо мне такую заботу.

Он внимательно рассматривал мои пластинки, слушал объяснения и посетовал на то, что я не интересуюсь традиционным джазом.

– В свинге было столько чувства, – сказал он. – Столько эротизма.

Произнося это слово, он поднял собранные в пядь пальцы и раскрыл их перед губами, как цветок, словно выпуская этот эротизм наружу. После этого он неожиданно стал напевать с сильным акцентом, но на вполне узнаваемом английском:

Before the feedlers had left
Before they ask us to pay the bill
And while we still have the chance
Let's face the music and dance.

– Вы по-английски понимаете?

– Немного.

– Тогда вы не можете не оценить. Сколько двусмысленности, сколько игры, а?! И вот это то, что ушло. Лет так пятнадцать назад, Бог мой, как время-то летит, я грешным делом увлекся Битлами. Было-было. Знаете, такой был сочный примитив, столько в нем было глупой щенячьей радости, солнца. Но больше ничего! Ни-че-го! Может, пацанве ничего другого и не надо, конечно, но жизнь – она посложней, нет?

Он выразительно посмотрел на меня, чтобы удостовериться, что я правильно его понял.

– Так это увлечение и прошло, – продолжил он. – Даю гарантию, что еще пройдет лет двадцать, и если от этих Битлов хоть десяток песен останется, то это будет большой удачей. Надеюсь, я вас не обидел?

– Нет, я тоже не большой поклонник Битлов. Хотя у них есть песенки, которые мне нравились: Something, Eleonor Rigby, Across the Universe.

– На один хороший диск наберется?

– Возможно. Из этой плеяды я больше люблю Роллингов.

– Это я совсем не знаю. А песенку, которую я тут напевал, я даже раз попытался перевести. Что-то там такое получалось:

Пока еще не ушли скрипачи,
Пока еще не предъявлен нам счет,
Пойдем, нас танец зовет,
Расплата позже придет.

Неплохо, да? Надо найти эту бумажку. Что-то у меня там не получалось, не хватило языка. Может быть вы помогли бы?

– Можно.

– Вы, кстати, знаете, что автор – наш человек. Изя Бейлин из Могилева. Родители увезли его еще до революции, осели в Нью-Йорке. И вот-те-нате – у мальчика прорезался талант. Он потом, правда, поменял фамилию. Ирвинг Берлин, не слышали?

Я покачал головой.

– Фамилию, может быть, не слышали, но его песни слышали наверняка. Он, говорят, написал полторы тысячи песен, представляете? Битлам, чтобы его догнать, надо будет еще по десять жизней прожить. А Гершвина слышали, нет? Тоже наш хлопчик. Жорик Гершович из Питера. И тоже неплохо устроился. Там у них дивно питательная среда для талантов.

– А Джона Маклафлина вы слушали?

– Как?

– Это такой гитарист. Джон Маклафлин.

– У вас есть?

– Сейчас поставлю. Такой, знаете, поток энергии и бешенная техника.

– Как у Колтрейна? Вот кого я не переношу, так это этого гения. Какая-то не то истерика, не то галлюцинация. И все через силу, мучительно так.

– Я тоже его не переношу. У Маклафлина другое. Там, если так можно выразиться, очень организованная галлюцинация.

– Ну, поставьте.

Я поставил четвертую дорожку с Inner Mounting Flame. Мы устроились на диване. Я наблюдал, как он отреагирует на музыку. Вы никогда не замечали, насколько то, как слышит музыку находящийся рядом с вами человек, влияет на ваше собственное отношение к ней? Бывает, по его реакции вы можете понять, что музыка – барахло. Или что человек барахло. Маклафлина я вообще никому не ставил. Как правило, он народ просто пугал. Особенно девушек. Для них у меня был Лючо Далла. Он был чем-то вроде музыкальной таблетки, которая принималась перед отправкой в койку. Если у Жванецкого это было «стакан вина налил, на трамвае прокатил – твоя», то у меня это было «Даллу включил – твоя». Та же категория слушательниц хорошо реагировала на Джанни Беллу, Баттисти и Бальоне. Девушки попроще шли на Челентано, Кутуньо, Матиа Базар и Друппи. Любительницы Альбано и Рамины Пауэр, Пупо, Modern Talking, Secret Service и Thompson's Tweens должны были носить музыку с собой. Во всяком случае, если рассчитывали устроить с ее (и моей) помощью личную жизнь.

Кащей прикрыл глаза и, пока композиция не кончилась, у него на лице ничего не шевельнулось. Можно было подумать, что он дремлет. Но я видел, как он иногда постукивает пальцем по остававшейся у него руках стопке.

Когда дорожка кончилась, я поднял тонарм. Кащей открыл глаза.

– Это интересно. Но знаете, я же на все смотрю, как радиоинженер. Меня еще и звук интересует.

– И что звук?

– Вы должны перейти на лампы. На ламповый усилитель. Хотя, я думаю, с этой музыкой вы не ощутите большой разницы.

– Почему?

Он замялся.

– Понимаете, этот ваш Маклафлин играет с такой скоростью, что там не остается места для развития звуковой волны. Это – стрельба из пулемета. Звук должен течь, плыть по воздуху, вибрировать. Как голос у одессита: «Ви-зна-а-ети-и-и...» Только так можно прочувствовать душу инструмента. Точнее, исполнителя. Слышали выражение – струны души? Вот это оно самое. Вы можете понять душу, только вникнув в мельчайшие детали ее переживаний. А детали возникают только на продолжительных отрезках времени. Возьмите поезд. Чем медленней он едет, тем больше деталей вы видите в пейзаже. При быстрой езде все сливается. Но музыка интересная. А у него есть, что-то э.... не такое агрессивное?

Я поставил другую дорожку, но Кащей, не дослушав ее, сказал:

– Знаете что, возьмите пару своих любимых пластинок и пойдем ко мне. Послушаем на моей аппаратуре. Только бутылку не забудьте.

Взяв остаток коньяка, мы отправились к Кащею. На Соборной я спросил Кащея, нравится ли ему здесь? Он посмотрел на меня с удивлением, потом огляделся по сторонам.

– Что вы имеете в виду?

– Да, ничего особенного. Я просто недавно обнаружил, что куда ни иду, иду через это место.

– Какая-то магия в нем есть, да? Здесь раньше собор стоял, вы знаете?

– Мне говорили.

Подвал встретил нас темнотой и запахом сырости.

– Сейчас пока аппаратура прогреется, я рюмки достану. Устраивайтесь.

Включив аппаратуру, засветившуюся оранжевыми огоньками старомодных ламп, он открыл форточки во всех трех окнах и ушел в другую комнату. Вернулся он оттуда с хлебом и банкой сайры.

– Ну-с, продолжим банкет.

Он вывалил серебристо-коричневое содержимое банки в тарелку и, разделив своими паучьими пальцами хлеб пополам, сказал:

– Макайте прямо в масло, сытней будет. Говорят, в приличном обществе коньяк заедают лимончиком. Или шоколадом. Одно из двух. А может, и тем и другим.

– А у нас ни того ни другого.

– Не страшно, мы – привычные.

Выпив рюмку, он пошел ставить пластинку.

– Какую хотите?

– Ставьте Deep Purple – In Rock. Четвертую дорожку.

Это был диск, который я давно перестал слушать, но в котором одна песня была записана просто замечательно – Child in Time. Особенно начало, где Пэйс и Лорд играли тему – там, та-ра-ри-ра, татам! Там-там-там! В школе, когда я услышал ее впервые, мне казалось, что красивей этой мелодии нет. Сейчас мне больше нравился текст: «Слепой стреляет в мир, пригибайся не пригибайся – все равно попадет, не прямо, так рикошетом». Но в целом я к этой песне сильно остыл. Она вся была слеплена из блэкморовских клише, как детский конструктор из кубиков, только ради того, чтобы она вышла подлинней и помногозначительней. Это было чистой воды данью времени: Stairway to Heaven, Grand Hotel, The Gates of Delirium, Papa was a Rolling Stone. Переплюнул всех Jethro Tull со своим Thick as a Brick – один диск – одна песня. Они все претендовали на причастность к «большой» музыке с оркестрами и сложными композициями, но, к счастью, надолго их не хватило.

Короче, когда я услышал Child in Time на аппаратуре Кащея, у меня просто встали дыбом волосы, и кожа, как сказала бы моя мама, пошла гусем. Клянусь! Орган звучал так сочно, что звук, казалось, просто течет по воздуху, а тарелки звенели так, словно установка Пэйса стояла прямо передо мной. Дзынь-нь-нь-нь....

Минуте на третьей все смешалось в хаосе, и Кащей сделал чуть-чуть потише, но когда пошла вторая часть с той же темой, которую Лорд вел на своем «Хаммонде», Кащей вернул прежний уровень громкости и снова сделал потише, когда Гиллан начал охать и стонать в бурном финале.

– Ну, как? – спросил он, когда песня затихла.

– Пиздец! – сказал я.

– То есть именно так, как и должно быть. Правильный усилитель и колонки должны донести до вас звук безо всяких отклонений от оригинала. А у нас идет борьба за ватты. В вашем «Бриге» сколько ватт? Сто? А в этом – два канала ватт по пятнадцать. И знаете что самое интересное в этом усилителе?

– Что же?

– Он слеплен вот этими двумя руками, – он пошевелил в воздухе своими щупальцами. – Вид – страшноватый, но по звуку бьет любой грюндик.

– А такое можно поставить на массовое производство?

– Боже упаси! Это – штучный товар. Здесь на отбор каждой детали, на ее прогонку уходит столько времени, что никакой радиозавод за это не возьмется. Тут нужна маленькая кустарная мастерская. Пара-тройка людей, соображающих в этом деле. И потом представьте – дорогущий усилитель, который выглядит как тубус-кварц. Кто бы их покупал?

– Японские тоже дорогущие.

– Бросьте, Митя. Люди любят цацки, а это для них – старая рухлядь.

Этот вечер нас окончательно примирил. В наших отношениях появилось новое содержание. Одна святая, как пела наша единственная официальная мегазвезда, к музыке любовь. Кащей вытащил на середину комнаты картонную коробку от болгарского вина, в которой оказались допотопные пластинки на 78 оборотов. Они лежали в пакетах из пожелтевшей и высохшей от времени бумаги с дырками в центре. Из них выглядывали малиновые, темно-зеленые и синие «яблочки» с полустертыми золотыми надписями – названиями песен и исполнителей. Он произносил их имена с трепетом, как имена святых: Фред Астэр, Томми Дорси, Милдред Бейли, Джек Тигарден. Я никого не знал. И они мне страшно нравились. Страшно. Пластинки были, конечно, с песочком, но голоса и инструменты звучали как живые.

– Вы что думаете, они стали писать музыку на 33 оборота, чтобы улучшить звук? Нет, им просто нужно было втиснуть на одну сторону побольше песен! Так что сделали эти еврейские головы? Они замедлили скорость записи, вы понимаете?! Но, чтобы сказать, что звук от этого выиграл, так этого мы сделать не можем!

Кащей, найдя во мне благодарного слушателя, завелся. Он меня посвящал в тайны своей религии, видя, на какую благодатную почву падают зерна его проповеди. При прощании мы только что не расцеловались.

Глава 18

В пятницу утром я проснулся от стука в дверь. Анна Николаевна снова вызывала меня к телефону. Я посмотрел на часы. Было девять тридцать. Утро было светлым и тихим, как в счастливом сне. Солнце лежало на сером паркете белыми прямоугольниками, в косых столбах света кружили белые пылинки, занавес покачивался от дыхания воздуха, входившего в приоткрытую балконную дверь.

– Дима, вы меня слышите?

– Да-да, я иду.

Я опустил ноги на пол. Сегодня у меня был последний свободный день, на который я наметил генеральную уборку комнаты. Я поднялся, надел джинсы, майку и пошлепал в коридор.

– Слушаю вас?

– Поздно спите, молодой человек, – сказал голос в трубке.

– Кто это?

– Неужели забыли?

Я вспомнил сразу всем организмом, от головного мозга до сжавшегося в ужасе места неподалеку от копчика.

– Почему на работу перестали ходить, а? Бойкотируете задание редакции?

– У меня травма. Я был у врача.

– Ранение в заднем проходе, – сказал Майоров, саркастической интонацией подчеркнув недоверие. – Неужели тоже ведете асоциальный образ жизни?

Я молчал.

– И, конечно, запаслись больничным.

– Я обратился к врачу и получил больничный.

Я себя ненавидел за необходимость объясняться перед ним.

– Ну, а как наше дело? Что-то узнали?

– Нет, я ничего не узнал, потому что я в течение недели нахожусь дома. Мне тяжело ходить.

– А-а, ну конечно. Ну, выздоравливайте. Продолжим разговор, когда вы поправитесь. До скорого!

Он повесил трубку, не дожидаясь ответа. Речевой аппарат в этот момент у меня переживал что-то типа паралича. Я весь переживал что-то вроде паралича. Этот кровосос просто отказывался отцепиться от меня. Не успел я начать отвыкать от него, как он тут же напомнил о себе новой порцией яда.

– Митя, дорогой, на вас лица нет. – Анна Николаевна вопросительно смотрела на меня, держа в руках большую кастрюлю. – Что-то случилось?

– Так на работе...

– Из-за работы убиваться нельзя, – сказала она. – В случае чего новую найдете.

– Конечно, – вздохнул я. – Конечно, найду.

Действительно, новую работу я мог найти легко. Например, на стройке. Вопрос в том, хотел ли я работать на стройке? Хотел ли я вернуться на стройку, где я уже раз был и которая начисто отшибла у меня всякую трудовую романтику. В университете я учился на вечернем отделении, а днем работал маляром-штукатуром. Эта работа длилась три года, и только когда я перешел на четвертый курс, смог устроиться учетчиком писем в газету. Это была стартовая должность для многих, кто приходил в газету с улицы. После получения диплома меня перевели с нее на корреспондентскую.

Все наши ходоки в народ обычно ходили туда в качестве учителей политграмоты уже после университета. Я пошел вынужденно, поскольку идти было больше некуда. Тяжелая и грязная работа, а главное – необходимость общения с нашим пролетариатом пришлись мне не по душе. Сильно не по душе. Рабочие были сплошь беглым людом из сел. В надежде остаться в городе, они принимали заводскую каторгу и комнату в общежитии как непременное условие переселения. Когда мои товарищи по бригаде заскорузлыми, неразгибающимися пальцами раскладывали на газете вареную колбасу, лук, открывали коробки рыбных консервов, ломали хлеб, разливали по стаканам водку, без которой обед был не обедом, садились, не снимая пыльных ватников, к столу, громко и неряшливо ели, отпускали шутки по поводу общежитейского быта, где супруги делили одну комнату в двумя-тремя детьми, я понимал, что мой союз с ними временный. Не могу сказать, что я не любил свой народ. Это не совсем так. Слова «свой народ» или «мой народ» были до известной степени поэтическим преувеличением. Мы жили с этим народом в одних и тех же границах и говорили приблизительно на одном языке. И тем не менее, они меня воспринимали точно так же, как я их – как чужого. То, что я ел с ними за одним столом одну и ту же кильку в томате и раз в неделю, когда приходила моя очередь, покупал водку, ничего не меняло. У меня за спиной они называли меня «наш» или «он». В кино они меня должны были бы называть «профессор», зная, что по вечерам я хожу на занятия. Но в жизни они обходились одними местоимениями. И я даже понимаю почему. В кино иронически-доброжелательное отношение рабочего человека к интеллигенту предполагало, что рабочий человек хотя и выше профессора по социальной значимости, но он, все же, понимает, что и профессор выполняет отведенную ему функцию. Пусть бы даже, в контексте данного кинофильма, клоунскую. Но реальному пролетарию профессор был не нужен ни в каком виде. В его социальной иерархии существовал только он сам и прораб, дававший работу и плативший за нее. Мои достоинства они в упор не видели, мои недостатки были непереносимы. Один раз поздней осенью я зашел в вагончик, они уже сидели за столом, и оббил на пороге грязь с сапог. Это вызвало взрыв возмущения штукатура Вити Марченко, который до тех пор упорно не замечал меня:

– Где грязь сбиваешь, раздолбай! – крикнул он, повернув ко мне голову, но при этом глядя в сторону, и добавил как бы сам себе:

– Все не как у людей!

Он был прав. Грязь я должен был счистить с сапог, как все они, нормальные люди, у входа в вагончик, на земле. Но я, из-за отсутствия такого опыта, осознал это с опозданием. В смысле, после замечания. У них были не только свои представления о порядке, но и свой опыт жизни в незнакомых

мне условиях. Как по мне, так в вагончике, где мы переодевались, обедали, а после работы оставляли инструмент и рабочую одежду, было не намного чище, чем на улице. Выходило, что они более точно дифференцировали степень чистоты различных секторов среды своего обитания. В их глазах я был особью другой людской породы с более низкой ступени эволюции. Недоразвитым, одним словом.

Когда меня брали на работу в газету, тетка из отдела кадров, открыв мою трудовую книжку, сказала с чувством, что, мол, моя трехлетняя работа на стройке, в гуще рабочего люда, она так и сказала «рабочего люда», обогатила меня опытом, который поможет мне на журналистском поприще. Она могла в этом даже не сомневаться! Этот опыт можно было назвать прививкой от повторного общения с этим людом.

Свое отношение к рабочему люду и постоянно пополнявшему его трудовому крестьянству я продолжал формировать и на газетной работе, когда меня стали посылать в командировки по селам, точнее, по колхозам, куда я уже приезжал «редактором из района».

Словом «корреспондент» сельские не пользовались. Редактор исчерпывал весь спектр журналистских профессий. А главное, что слово редактор поднимало меня в звании и указывало на то, что я – важная птица, состоящая в близких отношениях с самым высоким начальством. Передо мной расступались, говорили мне «вы», отчитывались за достигнутое. При этом я мог бы поручиться, что моих статей они не читали. Объективно им не за что меня было уважать. Каковы были мои полномочия? Что я мог проверить, как, в случае чего, наказать? Я ни хрена не знал в их деле и не обладал никакими полномочиями. Они это прекрасно знали, и их уважение ко всем нам, «редакторам из района», было деланным. Между тем, даже это совершенно фальшивое отношение питало амбиции многих моих коллег. Они так себя и воспринимали – глазами тех, кто их встречал в селах или на заводах. И поскольку каждому воздается по вере его, рано или поздно наш Юрий Иванович, Коля или Жанна могли бы стать реальными начальниками этого народа. Керувать им. Давать с серьезным лицом указивки, которые, в свою очередь, получали бы сверху, что гарантировало бы веру исполнителей в их силу. Народ же следовал традиции – изображал послушание, поскольку ослушание грозило наказанием. Но послушание не включало ожидания положительных результатов приложенных усилий. Что и усилия делало не столько даже усилиями, сколько их инсценировкой. Шутка «они делают вид, что платят, а мы делаем вид, что работаем» была не совсем шуткой. То есть совсем не шуткой. Именно поэтому в магазинах было хоть шаром покати. Все наше сельское хозяйство было одной грандиозной театрализованной постановкой.

Первое, с чем я столкнулся в армии, была не боевая или строевая подготовка, а отправка на покрытые снегом поля для сбора несобранного такими вот колхозниками урожая. Был ноябрь месяц. Уже выпал первый снег. Нас отвезли в поле, на черно-белых волнах которого темнела тут и там удаленная из земли свекла. Мы стояли у груды брошенных на землю вил, притопывали леденеющими ногами, ежились от лезущего под ватники холода. Рядом стоял, притопывая и дыша в поднятый воротник шинели, доставивший нас сюда прапорщик. С другого края поля в нашем направлении двигался аккуратно и неторопливо колхозник в высоких валенках и ватнике.

Колхозник знал прапорщика. Пожав ему руку, он сказал:

– Та пиздно вже. Воно ж помэрзло усэ. Транспорта тэж нэма.

– Так что мне теперь, морозить их здесь? – Прапор кивнул на нас. – Привез, пусть греются.

– Ну, як знаеш, – приподнял и опустил плечи ватника колхозник.

Прапор, приставив руки рупором ко рту, крикнул:

– Вилы в руки взять! Свеклу собирать и складывать в кучи! Первая куча возле меня. Вторая двадцать метров слева! Третья 20 метров справа! Работу на-чи-най!

Артель «Напрасный труд», выпуская пар, начала работу от того места, где стоял прапорщик, и работала до сумерек. Вышло где-то два часа и три аккуратных кучи загубленной и никому не нужной свеклы.

Глава 19

Очередной разговор с комитетчиком выбил из колеи, спутал все планы. Несколько раз я ставил пластинки и снимал, музыка раздражала. Пытался читать, не мог сосредоточиться. Часов в шесть меня снова вызвали к телефону. С несказанным облегчением я услышал в трубке голос Кащея.

– Привет, вчера хорошо посидели, а?

– Да, неплохо.

– Приходите сегодня. Мне тут занесли на ремонт кассетную «соньку», я ее уже привел в порядок, так что можно послушать. Есть настроение?

– Конечно!

Я прихватил с собой кассету с записью, которую мне дал Ганькевич. Когда я вошел в подвал, у Кащея пел Хулио Иглесиас. Серебристая «сонька» с бегающими зелено-красным пунктиром индикаторами уровня сигнала стояла в центре стола. Звучала она сказочно. Иглесиас заливался, как курский соловей. И все вокруг него звенело и переливалось изумрудами и бриллиантами.

– Вполне неплохо, да? – сказал Кащей. – Это на металле записано. Уровень шума довольно низкий, поэтому можно без долби писать. Какой долби-еб придумал это долби, я не знаю.

– Вам не нравится?

– Как это может нравиться? Следует стремиться к тому, чтобы убрать все лишнее между источником звука и динамиком, а не наворачивать туда новую и новую херню.

– Так пленка же шипит, – возразил я.

– Плохая шипит.

– Где же взять хорошую?

– Где? Представляете, Митя, на этой планете есть отдельные места, где купить хорошую кассету так же просто, как у нас – пачку «Беломора».

Когда Иглесиас допел, я попросил его поставить кассету «Бастиона».

– Это одна из самых популярных групп в нашем рок-клубе, – объяснил я.

– Рок-клуб? – брови у Кащея поднялись.

– Да, рок-клуб, но под чутким комсомольским руководством.

– И редактурой.

– Да какая там редактура, так, пытаются управлять неуправляемым процессом.

Запись оказалась домашней. Слышно было даже, как вначале стукнул микрофон, когда его поставили на твердую поверхность. Сперва зазвучали две акустические гитары, потом к ним подключился аккордеон, начал позвякивать бубен. Кто играл на аккордеоне, я не знал. Игорь запел сперва неуверенно, голос его подрагивал:

Мимо Дюка я давно не хожу,
Со второго люка на него не гляжу.
Кто-то спросит и ему я скажу,
Здесь я вырос и здесь я живу...

Кащей внезапно оживился.

– А вот это – здорово! И это вы называете роком?

– Ну, тут нет электроинструментов и усиления. Это же – домашняя запись. А вообще они играют это на своих концертах.

– А это не имеет никакого значения – электроинструменты это или нет! Выключите электричество и вы увидите, как проявится истинная природа музыки. Вы вообще знаете, что в музыке самое сильное?

– В наши дни – ритм, – предположил я.

– Ни хрена! Национальность! Музыка – самое шовинистическое явление в мире. Я вам даю гарантию, если у нас взять и отменить цензуру, ну вот пусть нам всем такой страшный сон приснится, что на неделю отменили цензуру, знаете, что народ будет исполнять?

– Что?

– Что? Поверьте мне, что не вашего, как его... Маклафлина! И даже не битлов. Будут частушки блатные петь, только вместо обычной гармошки электрическую используют. И все! Ручаюсь! Вот эта песня про Дюка, она популярная у молодежи?

– Встретили ее очень хорошо.

– Я вам гарантирую, что это у них будет шлягер на долгие годы! Его только надо аранжировать и записать по-человечески. Хотите, я сделаю один прогноз, и вы потом проверите, прав ли был ваш старый друг Костя.

– Что за прогноз?

– Если наши комсомольцы, как вы говорите, взялись управлять этим неуправляемым процессом, в смысле самодеятельностью этих хлопчиков, то они непременно начнут отбирать лучших. На свой вкус, конечно, но начнут. И тогда мы станем свидетелями совершеннейшего цирка – когда наши обкомовские и горкомовские тузы в пиджаках будут вручать этим битлакам свои грамоты и премии! Я вам это гарантирую! Запишите, чтобы не забыть!

Он захохотал и потер руки, предвкушая потеху.

– А вы знаете, вы – правы. У них есть песня про старого рокера и в ней такие слова: «Я старый, старый, добрый рокер, мой прадед был в «Гамбринусе» тапер, а ты дешевый трюк, смазливый попер, все смотришь вдаль, все смотришь за бугор!» Звучит очень патриотично. Просто форма подачи непривычная.

– Я же вам говорю, – он присел к ящику с пластинками и стал рыться в нем. – На Дерибасовской открылася пивная, в ней собиралася компания блатная...

Найдя нужную пластинку, он поднялся, осторожно выпустил ее из желтого бумажного пакета на большую ладонь, поставил на проигрыватель. Игла хрустнула, встретив старую пластмассу, раздалось ровное шипение.

– Это – Фред Астэр, вам понравится! И послушайте только, какие с ним люди играют. Сто процентов есть русские! Послушайте рояль, только русские так играют. Это джазовый стандарт, который даже не звучит как джаз!

Действительно, рояль звучал очень романтично, совсем не по-джазовому. А как легко пел Астэр, каким искренним и взволнованным был у него голос!

There may be trouble ahead
But while there's music and moonlight
and love and romance
Let's face the music and dance

Before the feedlers have fled
Before they ask us to pay the bill
And while we still have the chance
Let's face the music and dance.

Пока еще не ушли скрипачи, пока еще не предъявлен нам счет, вставай, нас танец зовет, расплата позже придет! Как здорово Кащей перевел это выражение – to face the music – выслушать обвинения. Назвал это расплатой за танец тайных любовников. Да, но какие изначально замечательные строки! Как органично они вписаны в музыку! Такую музыку я был готов слушать сам, но только не мог представить, где взять ее. Она существовала только на этих старых пластинках, бережно хранимых в подвале Кащея. Настоящее утерянное сокровище!

Я попросил его поставить пластинку еще раз, и он с удовольствием выполнил мою просьбу. И когда я попросил ручку и листик бумаги, он подал их, многозначительно подняв брови, вспомнив о просьбе помочь ему с переводом. Русские слова укладывались в мелодию так же легко, как и английские:

Возможно позже и грянет беда
Но пока музыка льется и светит луна.
Любовь свой романс нам поет,
Вставай, нас танец зовет!

Ах, скоро-скоро не будет луны,
Совсем другую песню услышим мы!
И может даже всплакнем,
Но это будет – потом!

А пока музыка льется, светит луна,
И любовь свой романс нам поет,
Вставай, нас танец зовет!

– Прекрасно! – воскликнул Кащей, получив листик. – Это что, точно по тексту?

– Приблизительно, – ответил я. – Точно переводил только Самуил Яковлевич Маршак. В нашем нынешнем состоянии нам главное сохранить тему и идею.

– Прекрасно!

К окончанию бутылки в подвале появились двое молодых очкариков, видом напоминавшие двух лохматых птичек. Еще у входа они вместо здрасьте достали свою бутылку, в которой я по коричневой этикетке опознал кофейный ликер. Это оказались сотрудники Кащея, которые, подсев к столу, тут же завели разговор про какие-то децибелы и пикофарады, сделав меня посторонним на их радио-празднике. Кащей им что-то объяснял, а они кивали своими растрепанными головками, как два китайских болванчика, иногда вставляя радостное «А!» или понимающее «да-да, да-да». Два китайских болвана. Пришли и все наломали. С таким же успехом они могли прийти и заговорить на венгерском языке. Я тихонько взял ликер и стащил с него жестяной козырек. Кащей, заметив это, вернулся ко мне.

– Господа, минутку, у меня есть кока-кола. Представляете, я вчера шел по улице и смотрю – торгуют кока-колой! Я просто опешил. Думаю, неужели в порту высадилась американская пехота и нас ждет оккупация и процветание?

Птички быстро переглянулись и, как по команде, засмеялись.

Кащей скрылся за дверью и скоро вернулся с двумя узкими запотевшими от холода бутылочками с красно-голубыми этикетками и еще двумя стаканами. Это была пепси-кола, что не меняло сути дела.

– Одна знакомая работница городского общепита научила меня чудесному коктейлю, – продолжал он. – Немножко коньячку, немножко кофейного ликера и остаток – кока-кола.

Он упорно называл пепси-колу кока-колой. Слушая его, гости продолжали кивать своими китайскими боловками. Они явно болели одной специальной болезнью. Сперва мама думала, что они не держат головку, а годика в три выяснилось, что все значительно серьезней. В конце череды доцентов, профессоров и народных целителей оказался заезжий немецкий специалист, обслуживавший только звезд эстрады и театра. Заявив, что медицина на данном этапе своего развития бессильна, он научил братьев технике кивания головой. Это помогло замаскировать врожденный дефект. Два инвалида, освобожденные от воинской службы, но мечтающие о своей семье, обрели вид умных и послушных детей, готовых внимать учителям, начальникам, родителям, будущим женам и тещам. При этом они по-прежнему ни хрена не соображали. Головы у них были пустые, как коробки от обуви.

Поставив четыре стакана в ряд, Кащей разлил остаток коньяка, так что в каждом оказалось где-то по сантиметру, потом влил еще по два сантиметра густого, как машинное масло, ликера и, наконец, наполнил стаканы до краев пузырящейся пепси-колей. Пупсик Оля, приподнявшись над бортиками тары, покачивала от волнения пористым бюстом.

– Ну, снимем пробу. Мой консультант еще ни разу не ошибался.

Кащей бросил взгляд на меня, как бы проверяя мою реакцию на упоминание консультанта. Я взял свой стакан и сделал глоток. Напиток был настолько лучше предыдущего, что не передать словами. Было даже удивительно, как из трех дрянных продуктов можно было соорудить такую амброзию.

– А знаете, вообще как придумали коктейли? – спросил хозяин.

– Как?! – какнули хором радиопопугайчики.

– В Америке во время Сухого закона изысканной публике ничего не осталось пить, как простонародный самогон. Но поскольку вкус у него был отвратный, они его наловчились смешивать со всякими сладкими наливками и соками.

– Потряса-а-ающе! – заболтались головные боловки.

Я допил свой стакан и, поскольку коньяк скоропостижно кончился, снова наполнил стакан на четыре сантиметра ликером и на шесть пепси-колой.

– За консультанта! – сказал я и стал жадно лакать.

– Гук-гук-гук! – заговорило мое жадное горло.

– Эк! – ответили легкие, которым совсем не надо было столько воздуха.

– Ништяк! – подвел итог я.

Птички с испугом смотрели на меня, потом повернулись к Кащею и снова защебетали про свои пикофарады. Я не существовал для этих бесчувственных децибелов.

– Мне пора, – я поднялся, обнаружив, что пол дал сильный крен, как палуба взбирающегося на волну корабля. Мне, бывалому моряку, это ничуть не помешало добраться до двери, где Кащей негромко извинился за то, что не смог уделить мне внимание, поскольку на работе горел какой-то проект и... и так далее.

На улице было темно и свежо. На небе большие звезды водили плавный хоровод. В желтых окнах сидели вперившиеся в телевизоры манекены. Я расправил крылья и полетел к себе. Когда я открыл дверь, под ноги упала сложенная вдвое салфетка с красным отпечатком губ. Я их очень нежно поцеловал, сунул в задний карман джинсов и потащился в «Вечерку». Дружинники на дверях меня не впустили по причине нетрезвости, которую с головой выдавала моя неторопливая дикция. У них был очередной закрытый вечер, а в просвете между их крутыми плечами я не увидел никого из знакомых, которые помогли бы мне проникнуть в этот очаг молодежной культуры. Наконец один из вышибал согласился позвать менеджера и тот, узнав меня, сказал, что Лиза сегодня не работает.

Из последних сил я поплелся на Маразлиевскую. Окна ее квартиры были темны. Я испытал невероятно болезненный приступ ревности. Такой болезненный, какой ощущаешь только в нетрезвом состоянии. В жутких муках я снова направился к Кащею, но свет в его окнах теперь тоже был погашен. Жизнь на глазах становилась невыносимой. Все от меня просто попрятались, как тараканы от света. Я был один посреди неторопливо вращавшегося вокруг меня города, его светящихся витрин, черных, пропахших мочой и запахом борща парадных, похожих на старинные гаубицы урн, ящиков с гниющими овощами, дребезжащих трамваев, теней прохожих. Я сосредоточился и навелся на резкость – передо мной снова была Соборка. Моего усилия едва хватило для определения своего географического местоположения. Окна в домах, видных в просветах деревьев, притормозив на секунду, снова поплыли своей дорогой. Это движение было настолько непереносимым, что я сел на асфальт.

– Меня все бросили, – сообщил я незримой аудитории. – Прошу считать меня круглым сиротой.

И сказав это, я разрыдался. Как ребенок. Слезы просто хлынули из меня. Мне было так жалко себя, самоубийцу Кононова, нашу общую и непонятно где шляющуюся в эту ночь любовницу, отказывающую мне в любви и ласке Наташу, живущую в какой-то непостижимой глухомани девочку Полину, и вообще всю мою страну, наполненную уставшим и безразличным ко всему народом с тупым и наглым начальством над ним. Поплакав, я испытал очень сильное облегчение, а затем такую сладкую расслабленность, что лег на асфальт, прямо где сидел, закрыл глаза и временно прекратил свое существование. Разбудил меня довольно-таки сильный пинок в плечо.

– Ну, что за свинья, – раздался голос с неба. – Хоть бы на газоне устроился, нет, он прямо посреди дороги лег.

Другой небожитель поддержал разговор:

– А мог бы и на мостовой лечь. На Дерибасовской – угол Советской Армии. Вот бы смеху было!

Это могли быть мои ангелы-хранители. Строгие, но не лишенные иронического отношения к подопечному грешнику. Я открыл глаза и тут же закрыл их. В лицо бил свет. Это были не ангелы. Это были космические пришельцы, светившие на меня фарой своего НЛО.

– Сам встанешь, или поднять? – сказал один инопланетянин.

– Сам, – ответил я и начал по мере сил подниматься, преодолевая страшную ломоту в спине.

Глава 20

Менты поставили меня между собой и прогулочным шагом привели в отделение на Карла Либкнехта. В большой комнате, залитой мутным казенным светом, стояли два стола. Один пустовал, за другим дежурный писал что-то в блокноте.

– Алкаш? – бросил он коллегам.

– Так точно.

Со стороны я должен был напоминать героя картины «Опять двойка».

– В клетку хочешь? – Дежурный кивнул на решетчатую дверь в дальнем конце комнаты. За дверью стоял небритый мужик с пятнистой и неровной от припухлостей рожей. Толстыми и пятнистыми, как загнившие сосиски, пальцами он держался за железные прутья. На нем была салатовая майка с огромными, чуть не до пояса, проймами, полосатые кальсоны и тапочки на босу ногу. Нижняя губа с запекшейся на ней черной кровью была страшно вывернута наружу. Глаза едва проглядывали из-под опухших, фиолетовых век.

– Курить дайте, бесы, – сказал он и, не дождавшись ответа, сильно затряс прутья.

– Документы есть? – спросил дежурный.

– Нет, – ответил я.

– Где работаешь?

Я едва удержался, чтобы не сказать, что уже нигде. Я даже увидел, как Юрий Иванович со своей насмешливой улыбкой говорит, что трудовую книжку я могу взять у Риммы. То, что у нас народ выпивал и нередко являлся на летучку в сильно ослабленном состоянии организма, было делом вполне ординарным. Но так пить, чтобы попадать в милицию... Интеллигентный человек должен был либо соблюдать меру, либо не попадаться.

– В газете.

– Кем?

– Корреспондентом.

– Начальник, курить дай! – продолжил добиваться своего мужик в клетке.

– Кем работаешь, не понял?

– Корреспондентом.

– Как фамилия?

– Кириллов.

– Какая газета?

– «Комсомолка».

– Что ж ты так насвинячился, космомолец ты хренов, а?

– Случайно.

– Сядь, – он кивнул на табурет у окна.

Я сел. За двери зашумели, и в комнату ввалились сразу человек шесть-семь. Среди всех выделялись парень с девушкой. Оба были в джинсах и белых рубашках. Им было немногим больше двадцати. У парня из носа текла кровь, и он обеими руками пытался промакивать ее, хотя часть попала на рубашку. Девушка была возмущена. За ними коренастый милиционер лет пятидесяти втолкнул в комнату двух парней. Оба были пьяны.

– Драка? – спросил дежурный.

– Да вот полезли на нормальных людей на Гаванной. Говорят, сидели и пили кофе, и тут – эти. Искатели приключений. А ну, с-сюда!

– Куда, сюда?

Парни стояли припав друг к другу плечом, как два дерева, всем видом показывая, что им плевать на то, что их задержали, плевать на милиционеров и плевать на то место, где они оказались. Один из них был покрепче и повыше. Оба были в грязных джинсах, на одном была очень нечистая светлая футболка, на другом – коричневая нейлоновая рубашка с закатанными рукавами. Руки у него были большие, мускулистые.

– Да, именно напали. Жлобы! – выкрикнула девушка. – Сбросили чашку со стола, ударили человека, ни за что ни про что!

– Та кто его трогал... твоего человека, – протянул парень в майке.

– К столу, сказал! – рявкнул пожилой.

Парни не двинулись с места. Тогда пожилой шагнул к ним и, схватив того, что был поменьше, легко подтащил к клетке. Другой милиционер, уже поджидавший его там, ловко открыл перед ним дверь и парня втолкнули в камеру. Между тем двое других милиционеров приблизились к парню в светлой футболке, намереваясь подтолкнуть его к столу. Но тот отступил в сторону, и в секунду руки парня и одного из милиционеров сплелись с сырым звуком шлепающих друг о друга кусков мяса и расплелись. Парень отскочил на середину комнаты и, согнув ноги в коленях и раскинув руки, стоял в ожидании нападения. Сердце у меня ушло в пятки и, думаю, у пары в белых рубашках тоже. Я ни минуты не сомневался, что сейчас парня просто повалят на пол и изобьют до крови, до потери сознания, до смерти. В комнате было, я сосчитал, шесть ментов. Двое – у входа в комнату. Третий сидел на подоконнике. Четвертый стоял у двери в клетку. Еще был дежурный и плотный пожилой мент, который доставил сюда пару. Еще несколько ментов могли стоять в коридоре, хотя со своего места я их не видел. Смертоубийства не произошло.

– А ну, дай им волю! – крикнул дежурный. – Волю дай!

Мент с парнем снова походили по кругу, разбросав руки и тяжело дыша, потом бросились друг на друга. Они били друг друга короткими ударами, обнимались, потом упали на пол и катались по нему, покраснев от усилий и громко сопя, потом вскочили и ходили по маленькому кругу, сверля друг друга ненавидящими взглядами.

– Взял, блядь? Взял? – спросил парень, спровоцировав противника на новое нападение. Они снова со страшным грохотом повалились на пол.

Я не верил своим глазам, и я не понимал, почему менты не помогают товарищу. То ли остерегаясь получить от хулигана, то ли используя того как тренировочное средство.

Поединок остановила девушка.

– Прекратите это немедленно! – в ее голосе звучал ужас. – Что здесь происходит?!

Крик привел всех в чувство.

– Давай его в клетку, – скомандовал пожилой.

Он первым шагнул к сплетенным телам на полу и, взяв парня за руку, стал отрывать от коллеги. Еще несколько ментов склонились над ними и их отодрали друг от друга, после чего парня втащили в клетку и с грохотом закрыли за ним дверь. Он тут же оказался у прутьев, оттолкнув фиолетового мужика и крикнул:

– Всех вас, козлов, ебал! Всех до последнего, пидарасов!

– Это какой-то кошмар, просто какой-то кошмар, – девушка взялась руками за голову и качала ей, словно отказывалась верить в происходящее.

Ее кавалер, одной рукой придерживал салфетку у носа, второй обнимал ее. Лицо у него было довольно жалкое. Не хотел бы я оказаться на его месте. Бедолаге явно предстояло сживаться с позором собственного бессилия. Мне даже показалось, что этот вечер мог стать последним для них совместным.

– Протокол будешь составлять? – спросил пожилой дежурного.

Тот не ответил, и тогда пожилой скомандовал стоявшим в стороне ментам:

– Перцев, Овчинников, Желудков со мной. В парк Шевченко прокатимся.

Они вышли из комнаты, где теперь остались только дежурный, еще один куривший на подоконнике мент, парень с девушкой и я.

Дежурный повернулся ко мне.

– В вытрезвитель поедешь, корреспондент?

– Да я уже трезвый.

– Как твоя фамилия, ты сказал?

– Кириллов.

– А газета твоя?

– «Комсомолка».

– Витек, – повернулся дежурный к молодому менту на подоконнике. – Пойди на второй этаж в красный уголок, поищи там «Комсомолку». Пару номеров найди.

Витек соскользнул с подоконника и вразвалочку вышел из комнаты. Дежурный повернулся к молодой паре.

– Ну, что делать будем, ребятки?

– Вы нас спрашиваете, что делать?! – возмутилась девушка. – Вам же сказали – протокол составляйте!

– Я-то понимаю, что протокол. Я спрашиваю, что писать в нем?

– Как что? – наконец подал голос пострадавший. – Мы сидели в кафе. Никого не трогали. Подошли эти двое. Сбросили со стола мою чашку. Напали.

– Так что мне теперь из-за чашки их за решетку отправлять? – почти отечески сказал дежурный.

– Начальник, я сказал, курево!

– Эй вы, лохи, дайте человеку курево!

– Нет, их, конечно, не надо отправлять за решетку. Они же только чашку со стола сбросили! – ядовито сказала девушка. – Отправите, когда они кого-то зарежут!

– Ну, прямо-таки зарежут, – усомнился дежурный.

– Вы посмотрите на них, вы же для них не власть! Вы только послушайте, как они вас называют? У вас вообще профессиональная гордость есть?

– Наша гордость сейчас не главное. У вас свидетели нападения есть?

– Там люди сидят еще наверное, – неуверенно сказал пострадавший. – Пошлите кого-то. У вас что, каких-то сыщиков нет? Следователей каких-то.

Произнося слово «сыщик» парень, кажется, ощутил несоответствие произнесенного слова с реальностью этого участка. Вообще реальной жизни. И стух еще больше.

– Ну, да, – заметил дежурный. – Следователей по разбитым чашкам и носам. Есть один, но он сейчас в отпуске. В Крым поехал с семьей.

– Так вы хотите это просто так оставить?

– А вы хотите передать дело в суд?

– Но как-то наказывать вы их собираетесь?

– Непременно.

– Вот и напишите – хулиганское нападение, и пусть они отвечают за него.

В комнате появился молодой мент с ворохом газет, которые он положил на стол перед дежурным. Тот взял одну и развернул.

– Это же «Знамя коммунизма», а я тебя просил «Комсомолку».

– А я знаю, какая там «Комсомолка»? – пожав плечами, тот снова устроился на подоконнике. – Я все взял, чтоб без ошибки.

– А вы говорите, следователя вам дать, – негромко сказал дежурный. – Вот они, наши следователи.

Перебрав несколько свернутых газет, он, наконец, извлек из пачки «Комсомолку».

– Так, ищем Кириллова. На первой нет. На второй, – он захрустел страницами, разворачивая их, – тоже нет.

Я помнил этот номер с большим фото входящего в порт парусного брига «Товарищ».

– Посмотрите на четвертой странице, материал называется «Вино с 10-й станции».

– Хм, действительно. Так это вы прямо с репортажа в парк зашли передохнуть?

В конце туннеля возник свет.

– Как, на всякий случай, зовут вашего героя?

– Григорий Христофорович.

Дежурный проверил.

– Действительно, старый винодел Григорий Христофорович... Ладно, поверим товарищу корреспонденту.

Он сложил газету и бросил ее на стол.

– А вы в газете работаете? – Вдруг обратилась ко мне девушка. – Неплохо было бы осветить, что у них тут происходит. Как они тут развлекаются, при этом не могут написать обычный рапорт.

– Я вас о чем-то спрашивал, уважаемая? Посидите две минуты тихо.

– Мне нечего стесняться, я преступлений не совершала! Я просто обращаю внимание представителя прессы на то, что у вас тут происходит!

– Спасибо за помощь, гражданка, но пока не надо. Значит так, – дежурный повернулся ко мне. – Вот тебе карандашик и бумажка. Пишешь фамилию, имя, отчество. Дату рождения. Место работы и должность. Домашний адрес. Понял? Оставляешь здесь и тихо идешь домой. Не шатаясь и не привлекая к себе лишнего внимания, понятно?

Я подвинул к себе лист бумаги и написал документ, который менты могли теперь считать своим страховым полисом. Самочувствие у меня в этот момент было приблизительно такое же, как у сидевшего по другую сторону стола парня с разбитым носом. Что я мог написать обо всем этом как представитель прессы? Ничего. Но одно дело, когда не мог, а другое, когда еще и сказали «не моги» до того, как я даже осознал, что об этом можно было бы написать.

Я подвинул лист дежурному и, не глядя ни на кого, пошел к выходу. Ощущение у меня было такое, словно рубашка у меня на спине сейчас вспыхнет от взгляда девушки.

Глава 21

Я, конечно, мог пойти к врачу и продлить больничный, но подумал, что начальство расценит это как демонстративное дезертирство. В понедельник я вышел на работу. На летучке зава спортивного отдела Алика Охотникова хвалили за футбольную статью о нашем «Черноморце». Команда в очередной раз продула, но проявила то мужество и стойкость, которые обещали Алику квартальную премию. Плинтус стучал карандашом по зубам, деля на ритмичные порции струившийся из его души поток зависти. Алик улыбался в пышные усы и изредка бросал из-под таких же пышных, как усы, бровей, огненные взоры на Лену и Наташу. Они были лучшими двумя третями женской половины редакции. Потом Юрий Иванович завел свою старую песню о повысившемся значении живого очерка о современнике, как способе приближения газеты к читателю. Мои сожительницы, обычно сигналившие глазами, как близко к сердцу они принимают директивы начальства, на этот раз избегали смотреть на меня. Как будто знали о чем-то, что сулило мне неприятности. Когда мы зашли в кабинет, Лена, тут же разложив перед собой блокноты, взяла карандаш и увязла в бесконечном телефонном разговоре. Наташа взяла со своего стола свежий номер газеты и, положив передо мной, вернулась на место.

Газета была открыта на верхней четверти третьей страницы, где был материал под названием «Гибельный тупик». Меня обдало жаром буквально после первых строк:

«Что побудило профессионального тунеядца Владимира Кононова, которому не исполнилось 35 лет, перерезать вены, отринув возможность учебы, продуктивной работы и создания здоровой семьи? Что предшествовало выносу из пропитанной запахом многолетнего разложения квартиры изуродованного гниением трупа? Что стояло за роковым росчерком бритвы? Хмельные кухонные дебаты о смысле жизни привели к его исключению из ВУЗа. Сокурсник Владимира, работающий преподавателем истории в одной из городских школ, помнит его как нелюдима, предпочитавшего обществу товарищей по учебе общество таких же отщепенцев как он.

«Я помню, как он смеялся над командой КВН нашего факультета, – рассказывает соученик Кононова, попросивший из деликатности ситуации не называть его фамилию. – Ему были абсолютно чужды наши интересы. Шутка, которая вызывала хохот в зале, у него вызывала гримасу отвращения, которое он даже не пытался скрыть. Он постоянно демонстрировал полное отчуждение от студенческого коллектива, от общества, в котором жил».

Соседи Михаил и Светлана Климовецкие, работающие в Центральном райпищеторге, добавляют новые штрихи к портрету асоциальной личности, позволяющие проследить процесс деградации – в частности увлечение восточной религией, скорей всего буддизмом. Оно проявлялось в слушанье заунывных восточных напевов, способных свести с ума нормального человека, имеющего законное право на отдых после тяжелого трудового дня. Казалось, что одна нота повторяется миллионы раз, вводя слушателя в транс. Этому состоянию способствовал аромат курений с душком конопли.

Оказавшись за стенами ВУЗа, Владимир не смог сделать волевого усилия, которое могло бы еще вернуть его к нормальной жизни. Мы знаем немало случаев, когда молодой человек, которому не удалось настроиться на учебу, делает остановку, чтобы найти ответы на свои вопросы на военной службе, в трудовом коллективе. Но Кононов выбрал другой путь. Все его последующие работы были временными и недолгосрочными. Работа сторожа в РСУ сменилась должностью вахтера в одном из городских музеев, а работа кочегара в одном из роддомов сменилась долгим перерывом на медитацию под отупляюще бренчанье восточных струн.

По мнению соседей, причиной самоубийства могла быть несчастная любовь к молодой женщине из тех, которые находят легкий, хотя и смертельно опасный заработок в компании иностранных моряков. Обычно его пассия приходила к нему заполночь, как правило подшофе. Начинались шумные выяснения отношений. Какое будущее ждало этих людей? Дальнейшая деградация и, как подсказывает простая логика, уголовная специализация для удовлетворения порочных наклонностей.

Что заставило его взяться за бритву? Наркотики или дурная болезнь, полученная от веселой подруги? Самым верным будет такой ответ – Кононова погубил выбор асоциальной жизни, отрыв от интересов общества, в котором он вырос.

Вадим Мукомолец».

Когда я прочел фамилию автора, я просто не поверил глазам. Тупо глядя на страницу, я перечитывал ее снова и снова: Вадим Мукомолец. Вадим Мукомолец. Я чувствовал, как горячая кровь ударила в голову, физиономия у меня, должно быть, стала красной, как если бы ее натерли буряком. Я даже не могу сказать, от чего именно я возбудился. От той чуши, которую сочинил мой корреспондент, или от того, что он, не спросясь моего разрешения, влез на территорию, которую я пытался оградить от других своим бездействием.

Наташа, по своему обыкновению, виновато улыбалась.

– Ну, а что он должен был делать? Тебя нет. А материал уже запланирован. Жанна ему позвонила, он же ей тоже писал. Он, конечно, согласился. Узнал, где учился Кононов, пошел в архив, нашел фамилии соучеников, потом поговорил с этими Климовецкими. Вот и все.

– Да, но откуда эти наркотики, эта восточная музыка, эта женщина легкого поведения? Откуда это все взялось? Зачем это сочинять?!

– А мы этот вопрос, между прочим, разбирали на летучке, – вступила Лена, повесившая к тому времени телефонную трубку. – Мы тут просто отвыкли называть вещи своими именами. У каждого из нас есть какой-то знакомый Вася-Петя-Коля, который так, промеждупрочим, покуривает планчик. Но поскольку мы его знаем с детства и он вроде бы свой парень, ни у кого не поворачивается язык назвать его наркоманом. А кто он, если не наркоман? Или надо, чтобы он валялся под забором весь обгаженный или кого-то прирезал за рубчик? Вот тогда он наркоман! А наркомания с чего начинается? С вот этого вот самого планчика и начинается!

– А кто сказал, что он курил этот план? Это же его догадка! Тут вообще про какие-то благовония написано, кто сказал, что это был план?

– Соседи, я так понимаю.

– А эта женщина легкого поведения, откуда она взялась?

– А я откуда знаю? – Лена пожала плечами. – Тоже, наверное, от соседей.

– А откуда они-то знают? На ней что, штамп стоял?!

– А может, это ему новые товарищи подсказали? – Наташа кивнула наверх.

– Слушай, ты хоть раз видел этих девушек, которые в баре «Красной» собираются? – спросила Лена. – На них не то что штамп стоит, на них штампы негде ставить! Там за километр видно, каким местом они на жизнь зарабатывают! У них, говорят, верховодит какая-то бандерша по кличке Соси Лорен. Не слышали?

– Так он же не про какую-то Соси Лорен писал! Он вообще непонятно о ком! Одна молодая женщина! Один соученик! И все это, чтобы вывалять в грязи человека, который уже ничего не ответит. Он из него сделал и наркомана и какую-то несчастную любовь к валютной проститутке ему приписал, и сифилис, и воспоминания какого-то безымянного соученика. Что это за херня?! Если есть валютная проститутка, то почему без имени? Он ее что, укрывает? У нас, между прочим, проституция и торговля валютой запрещены, ты не слышала? Ты что не понимаешь, что это...

От бешенства я просто задохнулся

– Что?

– Это – поклеп на мертвого человека. Это – низость!

– Слушай, этот Мукомолец твой воспитанник, между прочим, – заметила Лена. – Ты же его тут пригрел. Надо его было раньше своей морали и нравственности учить. А ты с него только строчки получал. Но ты напрасно так переживаешь. Кононов газет уже не читает...

– А кто эту газету вообще читает?

– Не волнуйся, кому надо, те читают.

– Правильно! Сами заказывают и сами читают! Они еще и писать должны научиться сами. На хрен мы им нужны? Чтобы красивей излагать?

Я вышел в коридор. Меня трясло. И я вдруг понял от чего. Нет, совсем не от того, что мой «воспитанник» оказался безнравственной сволочью, а от постоянно всплывавшей темы о валютной проститутке. О том, что она приходила к нему после 12. То есть, когда заканчивала работу в «Вечерке». Стараясь дышать глубоко и ровно, я прошелся до кабинета редактора, потом вернулся в наш конец коридора, присел на подоконник. Наташа неслышно подошла ко мне, положила руку на плечо.

– Бедный, я так тебя понимаю. Но послушай, ты ведь не хотел писать про эту историю, вот она и досталась Вадику. И все равно это никто читать не будет, ты же сам говоришь.

– Конечно, – согласился я. – Просто хотелось бы, чтобы журналистика не была второй древнейшей. Тебе заказали, ты написал...

– Митя.

– Что?

– Ты лучше подумай, что было бы, если бы ты не вышел на больничный? Это все пришлось бы писать тебе. Ну, может быть другими словами, но в целом то же самое. А что он должен был сделать? Ему тоже надо на жизнь зарабатывать.

– Бляди тоже зарабатывают на жизнь! – выпалил я, тут же пожалев о сказанном. Лицо у Наташи было такое, как если бы я ее ударил. Между тем, она была абсолютно права: если бы они на меня насели, то не могу сказать, как бы я поступил сам. Мое благородное негодование оказалось возможным исключительно благодаря тому, что по счастливому стечению обстоятельств меня не загнали в угол, не поставили перед необходимостью сделать выбор. По сути, Мукомолец избавил меня от грязной работы.

– Ты знаешь, что ты сейчас должен сделать? – прервала молчание Наташа.

– Что?

– Подготовить хороший очерк. Про какого-то интересного человека, что-то необычное, как ты умеешь. Показать им, что у тебя своя специализация. Что тебя есть за что ценить. С этим Кононовым не получилось, зато с другим получится отлично.

Я кивнул.

– У тебя есть кто-то на примете?

– Один молодой ученый из Новосибирска.

– Кто это?

– А мы его у твоей сестры на дне рождении встретили. Помнишь, в белой рубашке такой, с короткой стрижкой.

– А чем он занимается?

– Исследует разбалансировавшиеся системы.

– Какие системы?

– Типа той, в которой мы живем.

Она смотрела на меня и улыбалась своей виноватой улыбкой, пока дверь нашего кабинета не открылась и в коридор не выпала лохматая голова Лены:

– Митя, тебя к главному просят зайти.

– Иду.

Когда я встал с подоконника, мы оказались с Наташей почти лицом к лицу. С удивлением я увидел, как она, не отрывая от меня взгляда, аккуратно сложенными в щепоть пальцами прикоснулась сперва к тому месту, где у меня сходились ключицы, потом к тому, где было сердце, потом к правой стороне груди и потом к солнечному сплетению. Крест вышел приплюснутый, но ясно, что это был крест. Повернувшись, она ушла в кабинет, а я направился к редактору.

Юрий Иванович кивнул, чтобы я сел. Я устроился у края стола, длинного, как бабелевская дорога, с очень ухоженным Юрием Ивановичем на краю.

– Как ранение?

– Проходит.

– А как это тебя угораздило, вообще?

– Поскользнулся, упал.

– Очнулся – гипс, – добавил начальник.

– Закрытый перелом, – закончил я.

Помолчали.

– Ты Римме больничный сдал?

– Сдал.

– Над чем сейчас работаешь?

– Есть пару наметок на очерк о герое производства. Радиоинженере. Корифей в своей области. Ламповые усилители его производства звучат лучше японских транзисторных.

– Это как, из области научной фантастики?

– Я послушал, действительно лучше.

– Думаешь, этот ура-патриотизм тебе сейчас поможет?

– Вы не верите, что наше может быть лучше японского?

Эта фраза его вернула к действительности, хотя косая улыбочка до конца его физиономию так и не оставила.

– Ну пиши, почитаем...

– Я пишу.

– Только не упади еще раз. Смотри под ноги.

– Буду стараться.

– Да, зачем я тебя вызвал... Значит, временно, я подчеркиваю, временно, пойдешь на понижение. Получишь должность учетчика писем. Ставка на 20 рублей меньше, но я думаю, ты эту потерю переживешь. Накатаешь на две заметки больше, я попрошу ребят в «Вечерке» и в «Знамени», чтобы они тебя почаще пропускали. Осенью Плинтус уезжает в Москву, пойдешь на его место.

– А чем это все вызвано, если не секрет?

– Вадика Мукомольца знаешь?

– Ну, знаю.

– Он давно к нам рвется, но только у меня места для него не было, а тут еще за него походатайствовали.

– Ясно.

Помолчали.

– Так тему с Кононовым вести теперь будет он?

– Не знаю. Ты у своих знакомых спроси.

– Они мне телефон не оставили.

– Ну, тогда жди, когда позвонят.

Я не поверил своим глазам – Юрий Иванович беззвучно засмеялся, потом помахал в воздухе рукой, чтобы я очистил помещение. Когда я уже был у двери, он добавил:

– Митя, ты, главное, не принимай близко к сердцу. Работай спокойно, только помни: мы – партийный орган, а не свободная пресса. Нам ставят задачу, мы выполняем. Это понятно?

Когда я вернулся в кабинет, Наташа сказала:

– Тебе звонила какая-то Лиза, просила, чтобы ты ее срочно нашел.

– Что тебе главный сказал? – спросила Лена.

– Сказал, что переводит на должность учетчика писем. Временно.

– Ничего, Плинтус сейчас уедет в Москву, снова станешь корреспондентом.

Теперь стало ясно, почему мои сожительницы избегали смотреть в мою сторону на летучке.

– Меня другое интересует: я могу тут оставаться или мне какое-то другое место выделят? – спросил я. – Где-то поближе к параше.

– Мукомольца к Жанне посадят. У нее там стол пустой.

Мы еще посидели так молча, потом Наташа сказала:

– Впечатление такое, что тебе сейчас не до работы.

– Отчего же, творческие планы меня просто переполняют, – ответил я.

– Не хотела бы я, конечно, быть на твоем месте, – пожалела меня Лена.

– Напьешься – будешь, – ответил я.

– Ты только не пей сейчас, – сказала Наташа. – От алкоголя будет только хуже. Хочешь, чаю тебе сделаю?

На улице был чудесный день. Теплый, солнечный. Чай в такую погоду пить не хотелось. А выпить я как раз был бы не против.

– Ладно, девочки, – я встал из-за своего стола. – Пойду соберу впечатления для новых произведений.

Я сунул в сумку газету со статьей и пошел к Кащею. Хотелось обсудить эту публикацию с ним. И потом, я хотел действительно написать очерк о нем, о его ламповых усилителях.

Прочитав статью, Кащей стал мять всей пятерней лицо, наконец сказал:

– Вы понимаете, кого они теперь ищут?

– Догадываюсь.

– Этот ваш, как его – Рукомоец, поторопился выполнить задание, поэтому копать глубоко у него просто не было времени. А поскольку нашим неутомимым чекистам надо работать, то, скорей всего, они попросят его копать дальше. И в случае успеха, они найдут сами знаете кого, а потом всех остальных, включая вас.

– Что вы предлагаете?

– Во-первых, забудьте про меня. Никаких очерков о героях производства. У вас явный талант привлекать к себе внимание.

– Спасибо за комплимент.

– Знаете, что бы я сделал на вашем месте?

– Что?

– Я бы взял Лизу и уехал с ней в какой-нибудь Чернигов, в Умань, любой маленький городок, расписался бы с ней там, а оттуда мотанул в Америку. Что вы рот разинули?

– Жениться на ней, это я еще понимаю, но мотануть в Америку? Это как?

– Это очень просто, сейчас дверь снова открыли. Послушайте меня, еще год-два – и народ повалит отсюда валом.

– Насколько я понимаю, уезжают по вызову родственников. Это называется воссоединением семей.

– Ерунда! Половина вызовов липовая. Их там клепают в любой конторе за копейки. Получите вызов от какого-нибудь дяди Бени из Тель-Авива, подадите документы в ОВИР и через полгода будете в Штатах. Решайте быстро. Вызов все равно надо заказать, пройдет время. Может быть, два-три месяца.

– Что значит решайте быстро?

Ощущение у меня возникло такое, словно передо мной разошлась земля, и теперь надо было срочно решить прыгать или на другую сторону, или оставаться. Даже дух захватило.

– Я же вам объяснил, – раздраженно сказал Кащей.

– А зачем мне ехать куда-то? Все бросать, зачем?

– А что у вас есть? Усилитель «Бриг», вертушка «Техникс» и полсотни пластинок на окне чужой комнаты в коммунальной квартире? Или перспективная работа в комсомольской газете?

– Вы просто боитесь, что все это дойдет и до вас.

– Я, безусловно, боюсь, что это дойдет до меня. Причем, через вас. А вы ничего не боитесь?

– А чего мне бояться?

– Нечего, да?

– Я ничего не сделал такого.

– Только помогали укрывать архив с фотопленками, а так ничего. А что будет с Лизой, вам безразлично?

– Ну, пытать же они ее не станут. Скажет, что ничего не знает, и все. Чем бы ни занимался Кононов, она к его книжным делам не причастна.

– Если вы только не подскажете им, зачем лазили с ней в опечатанную комнату.

– А зачем мне это подсказывать им?

– Ну, я так понял, что вас из вашей редакции не сегодня-завтра просто выкинут. Что вы тогда будете делать? Кононов, тот мог лопатой махать, а вы на такого не похожи. Так что, если вы еще не расстались со своей мечтой сделать карьеру в журналистике, то самое время пойти к ним с повинной и полным отчетом обо всем, что вы видели и слышали.

– Ладно, пойду, – я встал и уже у дверей сообразил, что сказал двусмысленность. – В смысле домой.

– Я так и понял, – сказал он. – Всех благ.

Часть вторая
Immigrant Song

Глава 22

Вид у моей подруги был аховый. Она сидела на постели, скрестив по-турецки ноги, прижимая к лицу кухонное полотенце, в которое был завернут лед. С полотенца капало, поэтому футболка на ней была мокрой, из-под ткани рельефно выступал сосок.

– Что случилось?

В ответ она разрыдалась и повалилась на постель. Полотенце со льдом стукнуло об пол. Глаз ее был закрыт набрякшим, серо-фиолетовым веком.

– Что случилось, Лиза?

– После работы один араб меня вызвался подвезти, а потом... напал, разорвал бусы... ударил вот.

– Я его убью, – сказал я, ощущая как меня в очередной раз бросает в жар и руки начинают дрожать. Накопившаяся за день злоба требовала выхода.

– Не говори глупости, – она села со стоном, подняла с пола лед, снова приложила к лицу. – Бусы жалко. Он у меня их хотел отобрать. Нитка порвалась, часть упала на землю, а часть он сунул в карман и убежал.

Я только сейчас заметил на столике у ее постели с десяток красных бусин.

– Так он тебя еще и ограбил!

Она кивнула.

– Ты знаешь, откуда он?

– Из политеха.

– Его легко найти. Сколько их там учится? Ну, пусть сто человек, пусть двести. Как его зовут, ты знаешь?

– Карим.

– Ну, хорошо, сколько у них там этих Каримов на сто человек? Надо только пойти в милицию и составить протокол. Снять побои...

– Да я тебя прошу, что эта милиция сделает... Он же иностранец...

Я знал нашу милицию. Имел счастье познакомиться на днях. И вполне допускал, что они ни хрена делать не будут. На деканат у меня было больше надежды. Если бы они его нашли, это бы облегчило работу нашей милиции с ее рвущимися на выполнение задания следователями.

– Бусы так жалко, это мамины.

– Ну, хочешь их вернуть, надо идти в институт и попытаться найти его. У них там есть деканат по работе с иностранными студентами. Пойдем?

– Да.

Она со стоном поднялась, прошла на кухню, положила ткань со льдом на край умывальника, приблизила лицо к зеркалу над краном.

– Это совершенно ужасно, я несколько дней не смогу ходить на работу. Хорошенькое дело, так обслуживать людей.

Она сняла с себя мокрую футболку. От пережитого она словно увяла, ссутулилась, стала меньше. Собирая вещи, приводя себя в порядок у зеркала, она совершенно не обращала на меня внимания. В этом было то родственное доверие, которое, вероятно существует между мужем и женой. Я поднялся и обнял ее. Она прильнула ко мне на секунду, но тут же отстранилась. Снова заглянув в зеркало, сказала:

– У меня так болит кожа, что я даже не могу припудрить это место.

– Не пудри. Так будет ясней, что произошло. У тебя анальгин есть?

– Есть где-то.

Приняв несколько таблеток, она надела большие солнцезащитные очки и, повернувшись ко мне, сказала:

– Я готова. Не сильно видно?

Видно было сильно.

– Нормально. Идем.

Девушка в приемной деканата по работе с иностранными студентами при виде Лизы явно перепугалась. Через минуту она ввела нас в кабинет декана. Строгого вида мужчина поправил при нашем появлении очки в тонкой золотой оправе и предложил сесть. Мы заняли два стула перед его столом. Я начал с того, что я корреспондент областной комсомольской газеты и положил перед ним свою корочку. Пока он рассматривал ее, сказал, что моя знакомая подверглась нападению иностранного студента по имени Карим. Я попросил Лизу снять очки. Она сняла. Декан бросил взгляд на ее лицо и тут же перевел его на меня.

– Так я не понял, ваша знакомая вместо того, чтобы обратиться в милицию, обратилась в газету?

Декан подвинул ко мне удостоверение, снял очки, сунул в рот дужку.

– Она не обратилась в газету, она обратилась ко мне лично, потому что я – ее друг. В милицию мы обратимся сегодня же. Но вы же можете действовать без милиции, чтобы найти ее обидчика. Мы знаем, как его зовут. Мы знаем, что он занимается в политехе. Вы можете облегчить работу милиции.

– Откуда вы знаете, что он занимается в политехе?

– Он так сказал.

– Мало ли что он сказал? – декан пожал плечами. – Говорите тоже. Где это хоть произошло?

Я повернулся к Лизе.

– На улице Малиновского, возле общежития.

– А вы где живете?

– На Энгельса.

– Вы живете на Энгельса, а ваша ссора произошла на Малиновского. Как это случилось?

– Мы познакомились в «Вечерней Одессе» на Пушкинской. Я там работаю. Он предложил подвезти меня домой, но потом дал таксисту адрес общежития. Я же не могла выскакивать на ходу из такси, верно?

– А почему вдруг он сделал вам такое предложение? От Пушкинской до Энгельса идти три квартала, разве не так?

Я невольно подивился тому, как быстро соображал этот аспид.

– Я его обслуживала, он не уходил до закрытия, потом мы разговорились. А потом, когда мы вышли на улицу, он предложил подвезти меня.

– Вас часто так подвозят ваши... э-э, я хотел сказать посетители кафе?

– Послушайте, – прервал я декана. – Вы уводите разговор в сторону.

– Я не увожу разговор в сторону, – повысил он голос. – Я пытаюсь выяснить...

– Вам надо выяснить, есть ли среди ваших учащихся араб по имени Карим, и попросить его дать объяснения случившемуся. Вот что вам надо сделать! – перебил я его.

– Вы меня что, учите? Вы знаете, сколько у меня тут случаев, когда ко мне приходят иностранные студенты с историями о том, что девушка пришла в их комнату на чашку кофе, а потом у человека пропал магнитофон, часы или дорогой фотоаппарат? Вы знаете?

– Перед вами сидит женщина, у которой на лице написано, что она фотоаппарат ни у кого не крала.

Декан заткнулся. Переложил какие-то бумажки на столе.

– Вы понимаете, товарищ... корреспоспондент, что к нам приезжают на учебу лучшие молодые кадры из стран народной демократии. Одного из них вы обвиняете в хулиганском нападении на вашу подругу. У вас какие-то свидетели этого инцидента есть?

Я посмотрел на Лизу. Она молчала.

– Какое я имею моральное право будоражить студенческий коллектив расследованием, которое будет вестись на основании неподтвержденных очевидцами жалоб?

Он поднялся. Мы тоже встали и направились к выходу. Лиза вышла первой. Когда я уже переступал порог, он позвал меня:

– Товарищ корреспондент, задержитесь.

Я остановился и повернулся к нему.

– Зайдите и закройте дверь за собой.

Когда я закрыл дверь, он снова предложил мне сесть. Я остался стоять, он снова заговорил со мной тоном начальника, но теперь в этом тоне явно звучала новая нота. Он как бы просил понять его. Войти в его положение. Не сделать ничего такого, что могло бы как-то повредить ему.

– Я не знаю, что вы собираетесь делать дальше – идти куда-то или писать что-то. Я только хочу, чтобы вы знали, что возле иностранных студентов постоянно крутятся женщины известного поведения. Такие, которые за пару джинсов или набор косметики... Одним словом, вы меня понимаете... Не знаю, кто ваша знакомая, но я вас хочу предупредить, не занимайтесь самодеятельностью, потому что это может привести только к дополнительным осложнениям.

– К каким же?

– Вы – грамотный человек, вы должны понимать это сами.

– Я понимаю, что если сейчас мы снимем побои, а завтра я сам найду ее обидчика, то осложнения начнутся у вас. Потому что вы, видя перед собой избитую женщину, решили покрывать своих студентов. Вы даже не спросили, как ее зовут или как ее найти в случае, если вы найдете ее обидчика. Вас это не волнует. Вас волнует только собственный покой. Послушайте, – я подошел к нему поближе, – забудьте, что я из газеты. Забудьте, что мы сейчас пойдем в милицию. Ответьте мне: если бы на ее месте была ваша дочь, вы бы тоже рассказывали эту чушь про лучшие кадры из стран народной демократии?

Декан, не привыкший к такому напору, озадаченно молчал. Не дожилаясь его ответа, я вышел из кабинета, снова натолкнувшись на испуганный взгляд секретарши. Лиза ждала меня в коридоре. Мы молча дошли до Пироговской, где я не очень уверенно предложил ей зайти в милицию и снять побои.

– Я не хочу, – отрезала она.

– А что ты будешь делать?

Не отвечая, она шла дальше, словно стараясь оторваться от меня.

– Ты пойми, чтобы привлечь его к ответственности, нужен какой-то официальный документ, твое заявление в милицию, протокол. Пойдем вместе, я буду с ними говорить сам.

– Ой, я тебя умоляю, – раздраженно сказала она. – Не будь наивным. Ты что думаешь, что если ты говоришь, что ты из газеты, так перед тобой море расступится? Ты что, не видел, как на тебя отреагировал этот поц в очках? И что ты напишешь? Кому вообще нужна эта газета?

Мы еще шли некоторое время молча. Наконец, я выдавил из себя:

– Ты не сказала, что все это случилось... не возле твоего дома.

– Да, я не сказала!

– А зачем ты поехала к нему?

Она очень резко остановилась.

– Слушай, я, что – твоя жена? Что ты от меня постоянно требуешь?! Что ты постоянно лезешь ко мне со своими вопросами?!

– Нет, ты не моя жена.

– Ну вот и оставь меня в покое!

Глава 23

Я оставил ее в покое и, как только она исчезла из моего поля зрения, у меня возникло болезненное чувство потери, страх за то, что больше я ее не увижу, а если и увижу, она больше не подпустит меня к себе. Меня снова ждало одиночество, случайные встречи, никчемные связи, девушки из дальних пригородов. Наташа была не в счет. Она сделала все, чтобы мое чувство к ней лишилось всякого сексуального содержания. Она очень успешно превратила меня в своего товарища. Я перестал в ней видеть женщину. Женщиной была Лиза. Горячей, неутомимой, требовательной, с этим колдовским запахом, от которого у меня голова шла кругом. Я спрашивал себя, что еще она могла бы сделать, чтобы я, наконец, отделался от этого наваждения, и не находил ответа. Я едва удержался от того, чтобы снова не пойти к ней, не предпринять очередную попытку помириться. Проворочавшись полночи, я заснул только под утро. Забыв завести будильник, я проспал и, позвонив в редакцию, сказал, что еду с утра на интервью.

– С кем же? – поинтересовалась Римма.

– Римма, – сказал я. – Ты же такая умная, придумай что-то сама, ладно?

– Мне за это, между прочим, премии не дают.

– Мы будем искать другую форму благодарности, – пообещал я, мысленно отняв из своей недавно сократившейся зарплаты пятерку на конфеты.

Вечером я поехал на Малиновского. Общежитие располагалось в новой девятиэтажке. Над крыльцом висела красная вывеска. Я вошел в фойе. Лампы дневного света болезненно зудели и подрагивали. У вертушки проходной сидел за фанерной трибункой мужик с лицом старого бульдога. Я показал ему свое удостоверение и он, взяв его, стал самым пристальным образом изучать. Он щурился, наводясь на резкость, и я не уверен, что он хоть что-то разобрал в нем.

– У вас здесь вчера девушку избили перед общежитием, вы не в курсе?

– Я утром заступил. Не знаю.

Он вернул мне удостоверение.

– А у кого есть списки жильцов?

– Это все в деканате.

– А комендант есть в общежитии?

– Комендант до пяти часов работает.

В это время в фойе появились трое. Один негр и двое белых, говоривших между собой по-испански. Кубинцы, наверное.

– Отойдите, дайте людям пройти, – сказал вахтер, указывая, куда мне следовало отойти.

– Excuse me! – окрикнул я троих, и они оглянулись не без удивения.

Выяснив, говорят ли они по-английски – они закивали, я спросил, не слышали ли они о студенте по имени Карим.

Карим? Карим? Они заговорили между собой по-испански, потом черный, широко улыбаясь, сказал, что, кажется, один парень живет на третьем этаже, но они лично не знакомы.

– А откуда он, вы не знаете случайно?

– Кажется, из Марокко.

– Спасибо, – сказал я и махнул рукой. Они так же махнули мне и пошли к лифту.

– Здесь не полагается, – сказал вахтер, не скрывая своего недовольства моим присутствием на вверенной ему территории.

– Не полагается что? – спросил я.

– Посторонним не полагается. – Он встал из-за своей перегородки. – Вступать не полагается.

– Я – не посторонний. Я вам показал свой документ, я из газеты.

– Не знаю никакой газеты. Тебе нужен комендант, придешь завтра в рабочие часы. А сейчас выйди отсюда.

– То есть?!

– То есть, выйди на улицу и все!

Стоя у крыльца я видел, как вертухай выглядывает в окно, проверяя, удалился ли я, или остаюсь у границ его владений. Скоро появилась еще одна группа студентов, человек шесть. Эти были явно арабами. Я спросил, не знают ли они студента по имени Карим.

– А зачем тебе Карим? – спросил один.

Он подошел совсем близко и просто впился в меня карими глазами, обдавая запахом сигарет.

– Ты его знаешь?

– Я здесь всех знаю, – он просто обволакивал меня своим взглядом, просто пытался подчинить себе. – Зачем тебе Карим?

– Должен вернуть ему долг.

– Ты покупаешь аппаратуру? У меня есть отличный «Шарп». Недорогой. Хочешь?

– Мне не нужен «Шарп», мне нужен Карим. Ты можешь его вызвать сюда?

От злости меня снова обдало жаром, я ощутил как кожа стянулась вокруг черепа. Араб отступил на шаг, но продолжал улыбаться.

– Окей, я передам, что ты его ждешь. Если он есть. Как тебя зовут?

– Дмитрий, – сказал я. – Скажи, ждет Дмитрий.

Мой собеседник крикнул что-то своим товарищам у дверей и быстро взбежал по ступенькам наверх. Передаст ли этот тип Кариму, что его ждут, я не знал. Я был не в себе. Я жаждал крови, свернутых на сторону носов, выбитых зубов, заплывших глаз. Последствия меня перестали волновать.

Я отошел от входа в общежитие и стал осматривать местность в поисках какого-нибудь орудия возмездия: доски, палки, трубы, кирпича, камня. Потом я увидел, как в двух окнах на третьем этаже зажегся свет. Эти арабы, действительно, могли быть соседями. Я видел, как в желтых прямоугольниках двигались темные силуэты людей, которые могли не иметь к этому Кариму никакого отношения. Я ждал. Когда уже стемнело, из общежития вышел бородатый парень.

– Эй, привет, – позвал я.

Он обернулся. Этот тоже был арабом.

– Слушай, ты не помнишь случайно в какой комнате живет Карим? Я помню, что он на третьем этаже, но не помню номер, а вахтер не хочет его звать.

– Карим, – он растерянно улыбнулся, как будто вслушиваясь в мой английский язык, узнавая слова. Губы у него были полные, чувственные, – Какой Карим?

– Из Марокко.

– А, Карим! Нет, не помню, в каком номере.

– А ты его знаешь?

– Знаю, но мы не друзья, – по-английски он говорил слабо. – У них своя компания.

– Он один что ли здесь – Карим?

– Я другого не знаю.

Увидев кого-то за моей спиной, он обратился к нему:

– Салям алейкум Омар, – дальше его речь слилась в непроходимый арабский клекот: ха-ва-кха-вакха-аля-ля. Я обернулся – за мной стоял другой араб. Они несколько раз повторили имя Карим. Второй раз оно прозвучало как Карим аль Садр. Потом мой собеседник сказал:

– Он живет в 327 комнате.

– Спасибо!

В порыве благодарности я пожал ему руку. Он, растерянно улыбаясь, ответил на мое рукопожатие.

– А ты не можешь его позвать сюда, а то меня ваш вахтер не пускает.

Он растерянно оглянулся. Потом сказал:

– Нет, я не могу. Меня ждут.

Я снова остался один. Что было делать дальше? Я нашел по крайней мере одного Карима. Я знал его фамилию. Знал, где он живет. Я только не знал, как он выглядит. И я не знал тот ли это Карим, которому я бы так хотел проломить череп, выбить зубы, глаз, что-нибудь еще, причем так, чтобы память о нашей встрече осталась у него на всю жизнь. И вдруг я ощутил, что как только я дал названия всем тем увечьям, которые я хотел ему нанести, запал наносить их у меня прошел. Вечерний сырой холодок заполз под рубашку и остался там. Я стоял у вытоптанного газона, на котором окурков было больше, чем травы. Вокруг высились серые панельные пятиэтажки. Возле редких горящих фонарей моталась кругами ночная мошкара. Я мог простоять здесь вечность и не встретить того, кто мне был нужен. Апатия и усталость внезапно одолели меня, и я поплелся на автобусную остановку, с которой продолжал посматривать на здание общежитие. Никто не входил в него, никто не выходил. Оно казалось декорацией, опустевшей съемочной площадкой. Наконец подъехал со скрипом автобус, остановился, сделав тяжелый выдох, открыл двери. Устроившись на задней площадке, я поехал, подпрыгивая на ухабах, назад в город.

Глава 24

Я был измотан поездкой. Хотелось одного – забыть этого Карима, отвратительный разговор в деканате, требование Лизы оставить ее в покое, кровососа-кагэбешника, редакционные задания и последнюю кадровую перестановку. Дома, я знал, покоя я бы не нашел. Что меня ждало там? Четыре стены, пустая постель, выученная наизусть музыка, одиночество. Я пошел в «Вечерку». На что я рассчитывал, не знаю. Сказать Лизе, что нашел ее обидчика и теперь он от меня не уйдет? Вот если бы я принес ей окровавленный скальп этого Карима, тогда другое дело. Сел бы к столу, она бы подошла, стерла с темной поверхности кольца влаги от бокалов, а я бы бросил перед ней комок слипшихся волос. Она бы окаменела от ужаса. «Узнаешь? – спросил бы я. – Твой!» Нет, это меня снова занесло. Как хотелось просто подойти к ней и обнять, вдохнуть ее запах, прижаться губами к ее коже, забыть эту отвратительную размолвку.

Первый, с кем я столкнулся в «Вечерке», был Гончаров.

– Иди сюда, ты мне нужен, – взяв меня под локоть, он провел к столу, за которым сидел мой хороший знакомый из КГБ.

– Присаживайся.

– Вечер добрый, – весело сказал Клещ.

– Это Дмитрий Кириллов – корреспондент «Комсомольской искры», – представил меня ему Гончаров. – А это Виктор Петрович, наш новый куратор.

Виктор Петрович, сообщнически улыбаясь, протянул мне руку.

– Очень приятно.

– А что вы курируете? – поинтересовался я.

– Виктор Петрович теперь будет курировать работу ОМК, и я умышленно тебя знакомлю с ним, потому что это тот человек, с которым имеет смысл обсудить твою идею о создании клуба коллекционеров пластинок.

– Вы интересуетесь музыкой? – спросил я.

– У меня самые разносторонние интересы, – с энтузиазмом заверил меня Виктор Петрович. – Книги, музыка, все, что занимает нашу молодежь.

– Что ты будешь пить? – спросил Гончаров. – Какой-то коктейль?

– Коньяк.

– Ты?

Они уже были на ты.

– Водочки бы.

– Со льдом?

– Лучше с огурчиком.

– Ты что Витя, откуда здесь огурчики? Это же культурное место, молодежное кафе!

Гончаров обернулся в поисках официантки, и тут меня ждал второй сюрприз за вечер. Я увидел Лизу. Она стояла у столика, за которым сидел очень смуглый молодой парень с шапкой курчавых волос. Одной рукой она держала снизу поднос, второй придерживала стоящий на нем бокал, готовясь поставить его на стол. Парень, подавшись к ней и тыкая себя пальцами в грудь, говорил ей что-то. Она была в тех же темных очках, в которых я видел ее в последний раз.

– Лиза! – позвал Гончаров.

Она обернулась и, словно опомнившись, поставила бокал и подошла к нам.

– Лиза, значит так, одну водку и два коньяка. Тебе не темно в очках?

– Мне нормально, Петр Михайлович.

На меня она не смотрела. Синяк был аккуратно заштукатурен и почти не виден.

– Хорошая телка, – заметил Майоров, когда Лиза ушла за напитками.

– Других не держим, – не без гордости заметил Гончаров. – К нам тут очередь стоит на работу, так что отбор проводится строгий.

– Сосет хорошо?

Я окаменел.

– Слушай, что ты у меня спрашиваешь? – пожал плечами Гончаров. – Предположительно все, кто здесь работает... – он сделал многозначительную паузу, – морально устойчивые кадры.

Они засмеялись.

Лиза принесла бокалы с водкой и коньяком. Майоров, разбросав руки по спинке дивана, нахально рассматривал ее.

– Это... что, травма на производстве, или обидел кто? – он провел указательным пальцем у себя под глазом. – Если обидели, так мы и наказать можем.

Глаза у него сощурились и стали на редкость недобрыми. Этот имел полномочия, у него за наказанием бы дело не стало.

– Спасибо, пока не надо, – ответила Лиза и ушла.

– Короче, Дмитрий, ты должен четко подготовить предложение, каким ты видишь этот клуб. Писать ты умеешь, так что действуй. Потом сядем втроем и обмозгуем, как это все можно сделать, чтобы и волки были, как говорится, сыты и волки целы, ты меня понял?

Я кивнул, хотя не понял – он умышленно спутал волков с овцами или оговорился. Диск-жокей завел полисовскую Every Breath You Take, и площадка перед его пультом начала наполняться танцующими. В грохоте музыки наш разговор прервался.

Лиза еще раз принесла заказанное. Майоров разглядывал танцующих. Если во время нашей первой встречи он был эталоном неприметности, то сейчас у него в лице проявился характер: глаза стали масляные, углы губ зло кривились. Лицо его отражало презрение к танцующим и одновременно какое-то злобное веселье. Вторую порцию водки он выпил залпом.

– Кто-то хочет покурить?

Он проверил внутренний карман пиджака и поднялся. Гончаров поднялся следом и сделал Лизе знак, чтобы она принесла еще водки. Она была у стойки бара, а я смотрел на нее, не в силах оторвать взгляда от нее.

Oh, cant you see, – жаловался на жизнь Стинг, – You belong to me,

How my poor heart aches with every step you take.

Наваждение продолжалось. Я заставил себя отвернуться от нее и смотреть на танцплощадку. Среди танцующих выделялась высокая девушка в очень короткой кожаной юбке, белом коротком жакете и белых полусапожках. Эта была подруга научного сотрудника, только уже без сотрудника. В другой раз, я, скорей всего, подошел бы к ней, завязал разговор, но сейчас она казалась мне совершенно посторонним человеком, не имеющим никакого касательства к моей жизни.

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I'll be watching you, – продолжал изобретательный на жалобы Стинг.

Когда Лиза ставила заказ на стол, я просто вцепился в ее руку.

– Это твой Карим там сидит?

– Какая тебе разница?

– Я его щас убью на хуй, ты поняла? У меня в сумке труба лежит, ты поняла?

От испуга она побледнела. У меня не было ни сумки, ни трубы, у меня только была бешеная злоба на нее.

– О чем ты с ним разговариваешь? Что он тебе втирает? Чтобы ты не ходила в милицию, потому что его выгонят из его сраного института?

– Отпусти.

Я, возможно, продолжал бы держать ее, но в это время вернулись Гончаров со своим новым другом. Того пошатывало. В каждом его стаканчике было грамм по сто. Гончарова и его гостей бармен не обсчитывал. Я это чувствовал по крепости своего коктейля.

– Лиза, это – Виктор Петрович, наш новый куратор. Он хочет у тебя кое-что выяснить. Можешь пройти с ним в мой офис, чтобы музыка не мешала. Там открыто.

Теперь нас с ней бросило в краску вдвоем. Виктор Петрович пошел за ней в кабинет. Трудно передать, как мне не хватало в этот момент трубы. А еще лучше пулемета. Наклонившись ко мне, Гончаров сказал:

– Ты должен правильно оценить ситуацию. Я не могу подставлять жопу этим долбоебам из обкома, это – бизнес. Поэтому мне нужна крыша. Лучше комитета крыши нет. Они хотят ловить антисоветчиков, пусть ловят. Вот у меня есть клуб, курируйте его сами. Я вам его доверил, я продаю коктейли и кручу музыку, а вы теперь отвечаете за ловлю спекулянтов и шпионов с диверсантами. И если вы хотите раз в месяц получать за свою работу пару копеек, то позаботьтесь, чтобы у вас эта работа была. Ты меня понял?

– Я не понял, этот куратор пошел проверять, хорошо ли она сосет?

– Слушай, забудь про нее, сосет как все, я тебе говорю о важном. Мы сейчас загоним твой сходняк в наше кафе, скорей всего в «Ретро», и пусть они его там курируют. Если тебя это только интересует, мы тебя оформим руководителем. Ты меня понимаешь?

– Я понимаю, что... – я был совершенно не в состоянии собраться с мыслями. – Вы, то есть он, будет ловить антисоветчиков в моем клубе... Кого-то могут посадить... А мне потом скажут, что я собрал клуб, где людей сажают за пластинки...

– Ты не будь наивным, Митя. Никого не посадят. Потому что он знает, что если кого-то посадят, то в этот клуб никто больше не придет. А если в клуб больше никто не придет, то он получит не свои кураторские, а пойдет ловить антисоветчиков на одну ставку в свою контору на Бебеля, 12. Ты меня понял?

– А он что, тоже оформлен у вас?

– Чудак-человек, ты вообще понимаешь, в какое время ты живешь? Ну, ты же неглупый парень! Ты про хозрасчет что-то слышал?

– Ну, слышал.

– Ты что думаешь, я эту деятельность развиваю из любви к молодежной культуре, к этому року, к этой швали в ошейниках? Я может, кроме Чайковского, вообще ничего слушать не могу? Может, я вообще глухой, блядь! Ты меня понимаешь?

– Приблизительно.

– Ты умный парень, Митя, ты работаешь в газете, ты можешь нам помочь и ты об этом не пожалеешь, ты меня понимаешь?

Я не мог больше говорить с ним, вообще не мог больше говорить, в груди у меня стоял ком, и я думал только о том, что сейчас делает Лиза с этим ебаным куратором к офисе Гончарова. Я откинулся на спинку дивана. Пришел куратор. Мне было страшно на него смотреть.

– Ну, побеседовали? – поинтересовался Гончаров.

Я не слышал, что он ответил. Потом в зале появилась Лиза, взяла со стойки бара поднос и пошла по залу собирать пустые бокалы. Я поднялся. Гончаров посмотрел на меня вопросительно, а я, покрутив указательным пальцем в воздухе и поднеся кулак к щеке, показал, что, мол, позвоню. Он кивнул и наклонился к своему новому другу Вите. Наверное, чтобы выяснить, остался ли он доволен беседой. Что ни говори, а простой народ видел больше нас, сраных романтиков-интеллигентов. И права была тетя Света, назвавшая мою любовницу валютной проституткой. Единственная неточность была в том, что специализация у нее была более широкая. Она, видимо, выступала не только за валюту, но также и за простые рубли, и просто по требованию начальства, что, в то же время, не лишало ее способности к искренним порывам.

Глава 25

Мы сидели с Кащеем в его подвале. Перед нами стояла пустая бутылка «Белого аиста». После моего рассказа Кащей как-то разом стал старым, беспомощным, сгорбившимся. Костистые пальцы правой руки ползали по седой шевелюре, мяли лоб, подбородок, снова забирались в волосы.

– Митя, она – как тяжелая инфекционная болезнь, – говорил он. – Вы, я имею в виду – не именно вы, а вообще... Впрочем, какая разница – вы или я... Да, так вот, ты можешь знать про нее все. И ты готов просто взять ее и задушить. Подушкой, скажем, или даже голыми руками. Но она сидит в тебе, как отрава. Ты думаешь, все – забыл ее, отболела, прошла. Но проходит время, и ты снова хочешь ее. И вот она является. Несчастная, побитая, униженная. И ты смотришь на нее, слышишь ее запах, вспоминаешь этот ее вкус, такой кисловато-сладковатый что ли, и снова хочешь ее. И чтобы снова обнять ее, снова коснуться ее, ты прощаешь все. И это начинается снова.

– Это па-панятно, – отвечал я неторопливо. – Но зач-чем вы меня... н-ну, подталкивали к ней? Вы же, н-ну не могли н-не з-знать о наших отношениях...

– Конечно, знал. Когда она тогда стригла вас. На ваших лицах все было написано большими буквами. К тому же, вы так гордились своей победой.

– Так что, вам нужен был тав-варищ по несчастью? Чтобы было с кем поделиться впечатлениями, да? Па-аплакаться в жилетку, да?

– Только не это! – он отмахнулся. – Вы поймите, я – стар. Стар для нее. И чем дальше, тем эта разница ощутимей. А она хочет молодого. А что я? Я всегда хотел ей только добра. Да, добра. Такой вот парадокс, хочешь ее использовать, да, использовать, трахнуть, надышаться ей до одури, а потом отдать в хорошие руки, чтобы не спала с отребьем всяким, понимаете? Я думал, что с Кононовым она успокоится, но не получилось.

Он ударил кулаком в раскрытую ладонь.

– Хороший был парень, только много в нем злости было. Он и в буддизм ушел поэтому. Успокоиться хотел, отвлечься от всей этой дряни. Думал, медитация ему поможет. А она света хотела, пленять, флиртовать, трахаться. Она же баба. Простая баба. Сердце у нее золотое, а в одном месте такой зуд, что на глаза не видит. Другая за свое хозяйство стоит, как за Брестскую крепость, да. А эта за песню даст, за взгляд, за доброе слово. А сколько раз я от нее трипак подхватывал?

Он показал мне два пальца.

– И все равно, придет, обнимет, расскажет очередную сказку, и снова влюбит, снова будет единственной и неповторимой.

– Так это, выходит, Кононов из-за нее руки на себя наложил, да?

Кащей спрятал лицо в ладонях и вдруг очень громко разрыдался.

– Сука и блядь! Какая же она с-сука!

Он тяжело встал и ушел в ванную, где я слышал, как он включил кран и громко всхлипывал, стонал и сморкался.

Глава 26

– Есть дело на квартальную премию, – сказал мне Юрий Иванович, указывая, чтобы я сел.

Я сел.

– Пароходство построило поселок для молодых специалистов в Сызранском районе. Шикарные дома, все удобства, свет, газ, канализация, телефона пока нет, но со временем будет. Завтра там собирается все областное начальство, представители из пароходства, будут перерезать ленточку, а потом отмечать это дело. Значит, я могу послать туда кого угодно, но я посылаю тебя, потому что это возможность написать хороший материал с места. И его будут читать на всех уровнях, что тебе совсем не помешает.

Я кивнул.

– Поговори с людьми, найди пару новоселов, сделай живо, как ты это умеешь, лады?

Я снова кивнул.

– Завтра в семь утра от редакции туда идет автобус. Едут ребята из «Знамени», «Коммуны» и еще кто-то из Киева. Я договорился с Мишей Охотниковым, он сделает для нас пару снимков, так что согласуй все с ним. И еще: вас там, вероятно, будут принимать. Поэтому дружеский совет – держи себя в руках.

Поселок стоял в километре-полутора от старой деревеньки, словно спрятавшейся под стеной вековых тополей. Ветхие домики наполовину ушли в землю, крохотные оконца, камышовые крыши, покосившиеся и местами отсутствующие заборы, буколическое запустение. Новый поселок представлял собой десятка два типовых домов под серой штукатуркой, местами уже отвалившейся и открывавшей грязно-белый кирпич. Провожатый, помощник какого-то местного начальника, завел нас в один из домов, поразивший меня холодным неуютом. Здесь не было обоев, фотографий, занавесей, настольных ламп, книг, ковров, деталей привычного городского быта, примет обжитости, возникающих сразу после того, как открывается после переезда первый чемодан. В одной комнате стоял стол с несколькими стульями вокруг него. В другой – три узкие металлические койки с брошенными на них казенного вида полосатыми матрасами. На них лежали узлы и картонные коробки с мятыми, выпирающими боками. В третьей комнате поменьше я увидел еще две голые кровати с панцирными сетками. На кухне смуглокожая женщина, очень похожая на цыганку, с одним ребенком на руках и вторым, прижавшимся к ее ноге, опиралась бедром о плиту, словно искала в ней поддержки. На столе стояли тарелки с остатками еды. Хозяйка была смущена и растеряна.

– Ну, як тут – усэ добрэ? – спросил ее наш проводник.

– Так, добрэ, – едва слышно ответила она, с опаской поглядывая на нас.

Вид у нее было такой, словно ее в этом дом вселили насильно, перевезя вместе с ней первый попавшийся под руку скарб, и, как только это представление окончится, она вернется в свой настоящий дом.

Чувствуя себя незваным гостем, я поторопился выйти. Улица в новом поселке была одна. Дома стояли по обе ее стороны. Проезжая часть и узкие тротуары были покрыты асфальтом и, поскольку начинались и заканчивалась у двух крайних в поселке домов, были залиты грязью с колес заезжавших с грунтовки машин. Зелени не было никакой. Черная земля, серые дома и здание то ли клуба, то ли

столовой, куда нас повели после осмотра домов, поскольку смотреть больше было нечего. Делегацию, человек двадцать, среди которых я узнал двух корреспондентов «Знамени» и «Коммуны», рассадили за составленными у одной из стен столами. На них скоро появились водка и синие эмалированные миски с солеными огурцами, и миски побольше с отварной картошкой. В помещении было прохладно, и от картошки валил пар. Потом появилась третья эскадрилья мисок с искореженными кусками жареного мяса. Кто-то из местных начальников сказал речь, к счастью короткую, буквально в три слова, типа, спасибо за заботу и порадуемся чему, так сказать Бог, послал. «Так сказать Бог» – мне понравилось. Без Бога по-прежнему не получалось. От водки у меня с ходу загудело в голове. Это была не водка, а разлитый в бутылки от водки самогон. Мясо было таким жирным и жилистым, что пережевывание его походило на тяжелую работу, которую я скоро бросил. Потом ко мне наклонился незнакомый мужик в белой поварской куртке, изрядно грязной, и доверительно сообщил, что у него есть для меня сыр. Но только один килограмм, поскольку на всех не хватит, и я должен сказать ему, куда его положить, чтобы я не забыл.

– Да я и без сыра могу, – сказал я.

– Ты че, дурной? – удивился он. – Не говори ерунды!

Потом меня отвезли в Дом колхозника. Уже в машине я обнаружил на сиденье рядом с собой сверток из грубой серой бумаги, в котором оказался кусок сыра. Сил тащить его с собой на ночевку у меня не было. В Доме колхозника мне выделили место в комнате с тремя работягами, очень громко игравшими в домино. На меня они не обратили внимания. В номере стоял чудовищный смрад. Густой запах пота, табачного дыма, отравленного дурной пищей дыхания вызвал позыв рвоты. Я вышел из номера и, добравшись до ближайшего газона, стал мучительно рвать на землю родины взращенными на ней продуктами питания. Или отравления. Потом пил из-под торчавшей из стены ржавой трубы ледяную воду. Потом снова возвращал стране все съеденное. Мой организм всего этого не хотел. Потом лег на диване в фойе, который начал вращаться, сперва медленно, потом все быстрее, пока не утащил меня в спасительную черную воронку.

Утром, преодолевая страшную слабость, конечности у меня мелко дрожали, выбрался на улицу. Походив по ней, я скоро набрел на библиотеку. Полная дама в пуховом платке, читавшая за конторкой, узнав, кто я, предложила посидеть у нее до появления автобуса. Может быть потому, что я был для нее тоже важной птицей из области, она сготовила мне чаю, а потом, видя мое тяжелое состояние, ушла и скоро вернулась с тарелкой соленых огурцов. Придя немного в себя, я разговорился со спасительницей.

– Жизнь у нас тут не ахти какая интересная, – сказала она. – Но вам хорошо бы познакомиться с одной нашей учительницей. Она в соседнем селе – Володаровке – музей хочет открыть. Настоящая подвижница. Алина Павловна Капитонова.

– Музей? – удивился я. – Какой музей?

– Да там целая история, – ответила библиотекарша, не скрывая удовольствия от того, что смогла заинтересовать меня. – Там есть церковь, из которой шел подземный ход в барское поместье. Так она хочет музей в нем сделать.

– Музей чего?

– А-а, – библиотекарша замешкалась на секунду. – Ну-у, этого... Народного творчества. Здание крепкое. Во время войны в нем наши засели, а немцы в него из пушек стреляли, и – ничего, выстояло.

Автобус, подпрыгивая на ухабах грунтовой дороги, довез меня до Володаровки за час с небольшим. Церковь открылась неожиданно. Я ожидал увидеть ее издалека, но она все не показывалась, и только когда автобус, свернув в улицу, поехал вдоль высокой стены красного кирпича, я спросил у попутчика, где же церковь.

– Та ось вона, справа.

Я приблизил лицо вплотную к стеклу и увидел, что стена уходит высоко вверх и над ней виднеются пять башенок. Куполов на них не было.

Когда я вышел из автобуса, церковь открылась вся. Она была не очень большой, но очень изящной. Даже без куполов она доминировала над обступившим ее селом.

Напротив церкви был магазин. Дверь его была открыта, и я направился туда. В помещении было сыро и холодно. За прилавком продавщица в толстой, делавшей ее движения неуклюжими, брезентовой куртке, перекладывала на полках какие-то коробки. Ничто не указывало на то, чем этот магазин торгует – продуктами или промышленными товарами. Женщине помогал бритоголовый мужичок в байковой рубахе навыпуск, брюках-галифе и ботинках, на которые были надеты галоши.

Когда я поздоровался, они обернулись ко мне с недоумением, словно не поняли, на каком языке я говорю. Я представился и спросил, как найти учительницу Капитонову, которая собиралась устраивать из церкви музей.

– А вона ж нэ тут живэ. Колы школа робэ, то вона прийиздыть.

– А где она живет?

– У сусидньому сели.

– А как туда добраться?

– Хто його зна? Машина е, так пойидь.
– А кто-то из старожилов здесь есть?
– А нащо тоби?
Я объяснил.
– Так тут уси старожылы, – заметил мужчиок. – До нас нови люды не прийиздять.
– А, кто-то есть, кто старых хозяев помнит? Которые церковь построили.
– Володацькых?
– Я не знаю их фамилии.
– Мама моя щось казала колысь.
– А можно с ней поговорить?
– А що говорыты? Булы хазяева, та й не стало.
Мужичок, скорей всего, просто не хотел вести домой незнакомого человека. Хотя я и был для него официальным лицом, на этот раз он мог выбирать, заводить со мной отношения или нет.
– А она здорова?
– Хто?
– Ну, мать ваша.
– А що йий буде? – он пожал плечами.
– А сколько же ей лет?
Он почесал затылок.
– Ну, мабуть рокив 90 вже будэ.
– Ну, пригласите в гости, – нажал я. – Мне в газете поручение дали.
– Хэ-ге, – он повернулся в нерешительности к подавщице, молча слушавшей наш разговор.
– Нехай побалакае людына, – пожала плечами та.
Мужичок вздохнул и, подняв прилавок, вышел ко мне.
– Ну пишлы, газэта.
На площади мы познакомились. Его звали Петр Ильич.
– Говорят, во время войны по церкви из пушек стреляли? – спросил я.
– И до вийны стрилялы. Йийи ж знэсты хотилы, то прытяглы гармату, сталы быты, а вона не валыця. Так плюнулы й залышылы. Одын комсомолець тилькы забрався до купола, щоб хрэст скынуты, так разом с ным и хряпнувся. А колы вийна була, то воны вже зналы, що йийи розбыты з гарматы важко. Колы наша армия вже нэдалэко була, так голова хотив йих зустриты. А вин у партызанах був. Ну вин кажэ свойим, давайте, хлопци, мы тут миномэта поставымо у церкви, та й вдарым по нимцям, воны нам ничого нэ зроблять, а наши пидтрымають. Воны одного свого послалы до нашых, а сами поставылы миномэта и сталы быты по нимяцям. Воны гадалы, що нимци усэ побросають и втэкуть. А воны видтягли усэ свое з площи и чекалы. Ось тут скризь кулэмэты стоялы, – он махнул рукой в направлении выходивших на площадь улиц. – Ну, а у тых йисты нэма що, так воны через килька днив выйшлы з билым прапором. А нимци йих по пид стинкою поставылы та й пострилялы.
– А армия далеко была?
– Ни нэ дуже далэко.
– Так они же послали одного своего, он что, не дошел?
Мне показалось, что Петр Ильич замялся
– Та хто його зна, може недийшов... А може втик. Вы краще по пид тыном йдить, а то чоботы заляпаетэ.
Мы свернули в улицу, середина которой представляла собой натуральное болото. Из него торчали, как хребты утонувших в этой топи доисторических ящеров, гребни черной земли с рельефом автомобильных покрышек. Мы пошли узкой тропинкой под забором.
– А что, кроме того одного, больше некого послать было к нашим? У этого головы родных здесь, что ли, не было?
– Ни, в нього никого тут нэ було. Вин з миста був. Його ще до вийны прыйслалы, а потим колы нимци прыйшлы, так вин зныk. А потим люды кажуть його з партызанамы бачылы.
– А там, я слышал, какой-то подземный ход был, через него нельзя было уйти?
– Ни, хода вже не було тоди. Його пидирвалы, ще колы цэркву знэсты хотилы. Думалы, що вона тэж рухнэ, а вона стояла. Тилькы склэп рознэсло.
– А склеп чей был?
– Склэп був Володацькых. Його тэж пограбувалы сыльно. Там сракофаг стояв з гэнэралом, вин там пид склом лэжав. Як живий був. Я сам не бачив, але ж дид мий казав, що граф як живый був, докы скло не знялы. Я колы зняли, так вин як прах розсыпався. Гэрой вийны з Наполэоном.
– А с саркофагом что сделали?
– А з нього тэлэгу зробылы. Гарна була тэлэга, йийи я бачыв, а з иншых гробив уси залышки повыкыдалы та й на фэрму видправылы, свынэй годуваты.

– Трупами что ли?

– Ни, не трупамы, а я кажу, взялы гробы, бо гроб вин же як корыто, и з нього кормылы свыней. А тут я живу.

Он приподнял вошедшую в землю калитку, отворил ее и пропустил меня во двор. Дом был невысокий и, когда мы входили в него, мне пришлось пригнуть голову. Вся семья находилась в одной комнате. Здесь стояли стол, плита с большим красным газовым баллоном, шкаф с разнокалиберной посудой на открытых полках. У стола сидела старуха. Она, кажется, дремала, то ли придерживая сухую головку темной, увитой венами рукой, то ли прикрывая ею глаза. Женщина у плиты что-то варила, помешивая деревянной ложкой в большой кастрюле. Она была в перепоясанном солдатским ремнем байковом халате и мужских туфлях на босу ногу. Пол в доме был земляным. Я слышал о таком, но видел впервые.

– Фаня, це с газэты хлопэць, хочуть з мамой побалакаты, про старых хазяйив, – объяснил мой проводник.

– Проходьтэ, – женщина с интересом рассматривала меня. – А з якои газэты?

– Из Одессы, – сказал я, предположив, что название газеты она все равно не знает.

– А-а-а. Мама, тут вас запытаты хочуть, вы не спытэ?

Старушка отняла руку от лица. Глаза у нее были затянуты белесой пленкой. Голова, теперь ничем не поддерживаемая, мелко тряслась. Рот, проваленный из-за отсутствия зубов, мелко жевал.

– Мама, вы Володацькых памъятаетэ? – очень громко спросил Петр Ильич.

– А? – старушка встрепенулась, приставила ладонь ракушкой к правому уху.

– Володацькых, кажу, памъятаетэ?

– Вала-вала, – сказала старуха и тихонько засмеялась, может быть, пытаясь смех выдать за ответ на непонятый вопрос.

– Графа старого памъятаетэ?

– А-а, графа... Так, графа памъятаю! – закивала она. – Графа памъятаю. Красывый був, з вусами, – старуха приложила трясущийся палец к промежутку между носом и верхней губой.

– Вин потим помэр, а сын церкву йому збудував. Я ще дытыною була.

– Ще трохы памъятае, – одобрительно заметил Петр Ильич. – Ну, запытуйтэ що вам потрибно.

– Спросите вы, что с Володацкими потом произошло?

– Мама, а що з хазяямы потим було? Що воны, втиклы, чы шо?

– Уйихав, слава Богу, уйихав, – закивала старушка. – З дружиною уйихав. В шуби був, такый красывый. Казав, церкву бережить, бо я ще повэрнуся.

Лицо у бабки отразило вдруг интерес.

– А що, чуты щось?

– Ага, зараз повернуться воны тоби! З того свиту повэрнуться!

– Я нэ знаю, – старушка снова беззвучно засмеялась, видимо, не поняв, что сказал сын.

– Ще щось запытаты?

– Узнайте про подземный ход. Зачем его рыли?

– Мама, а навищо пидземного хода до церквы копалы?

– А?

– Навищо, кажу, пидземного хода зробылы до церквы?

– Я нэ знаю, – теперь она была растерянна.

– Там у склепи, кажуть, його дружина була похована, – подала голос женщина у плиты. – А вин коло нейи багато часу проводыв. Сыдив поряд с гробом и плакав соби. Кажуть, дуже красыва жинка була. То мама вже путае. Вона ще до того, як вин втик, померла. Люды казалы, що вин зглузду зйихав вид горя. А вин чув, що люди кажуть, так наказав хода йому прорыты з хаты, щоб його и не бачыв нихто, колы вин ходыть до нейи.

Вин може б и не уйихав, але ж тут комисар одын був, вин и саркофаг з його батьком, чы то дид був, розбыв. Йому шабля його сподобалась, вин каже, я ту шаблю визьму и моя будэ. У нас зараз вийна з панамы и вона мэни дуже подобаеться. Ну, вин зи свойма хлопцямы розбыв гроба и взяв йийи. Йому кажуть, тоби пан голову видирвэ, а вин кажэ – не видирве, я йому першый йийи зрублю гэть! Ну, взяв шаблю и пишов. А пан вже чув и пид викном у сэбэ капкан заховав. И поймав того комисара. Забрав шаблю, но нэ вбыв. Кажэ, клыкай кращэ, щоб товарыши почулы. Ну, а з ным було, говорять, хлопцив може пъять. Воны кажуть пану через викно: видпусты його, а то мы хату твою пидпалымо. Пан кажэ: пидпалюй! Воны пидпалылы.

– Хэ-хэ, – подал голос Петр Ильич. Судя по довольному выражению его лица, в этой истории он явно был на стороне пана.

– Ну, пан уйшов через пидземного хода, – продолжала женщина, – а комисар сгорив там у капакани. Крычав, кажуть, страшенно. А потим пан повернувся зи свойимы товарышамы, ну и кого спиймалы, тых до пидземного хода загналы и там пидирвалы з двох кинцив. А пан потим зныk.

– Но сказал, что приедет?

– Того я нэ чула, – женщина пожала плечами. – То мэни моя бабка розповидала. Може й брехня усэ. Так люды казкы люблять, ось и розповидають.

– А я гадав, то вже потим хода пидирвалы, колы цэркву хотилы повалыты, – сказал Петр Ильич.

– А може й потим пидирвалы.

– Так как же мне вашу учительницу найти? – спросил я.

– То вин про Капитонову запытуе?

– Ну.

– Вона, кажуть хвора. У ликарни зараз. У районы. Так вы подзвонить йий до школы, вам там скажуть, як йийи знайты.

На обратном пути мы обошли вместе храм. Кладка была ровная, крепкая, кирпич в кирпич, без щербин.

– А у этой Капитоновой какие-то помощники были? – спросил я.

– Ни нэ було. Та й ничого с того музэю не выйдэ, – сказал Петр Ильич.

– Люди же тут живут. Это же их история.

– Та яки то люды? – он махнул рукой. – Молодь у мисто йиде, а що нам з того музэю?

Он посмотрел на меня исподлобья, словно прикидывая говорить ли дальше, потом, вздохнув, добавил:

– Цэркву б видкрылы знову, то було б добрэ. Що старий людыни ще потрибно? Вона з Богом хочэ балакаты.

– Кто же на церковь деньги даст? – усмехнулся я.

– Та не треба й даваты, – он отвернулся и смотрел в сторону. – Так помалу бы и видремонтувалы.

– Ну, спасибо за экскурсию, – сказал я и протянул ему руку.

– Та нэма за що, – он неловко сунулу свою руку в мою и встряхнул ее.

– Совсем забыл, а как ваша фамилия, чтобы я в газете мог сослаться на вас.

– Та навищо вам та хвамилия? Нэ треба цього.

Он повернулся и быстро пошел по направлению к магазину. Может быть уже жалея, что сказал мне о том, что местные старики хотят ходить в церковь. Возвращаясь в Одессу и делая в блокноте заметки об услышанном, я подумал, что отчет о моей поездке можно было бы поделить на две части. Первую – о построенном шефами поселке. Он произвел на меня такое тяжелое впечатление, что наутро после жуткой пьянки у меня не возникло даже мысли о том, чтобы вернуться в него и поговорить с новоселами. Застолье и похмелье вошли в сознание как неотъемлемая составная места, от возвращения в которое меня, видимо, удерживал простой инстинкт самосохранения. Второй частью могла бы стать история с церковью и склепом, где лежал когда-то в саркофаге под стеклом герой войны 1812 года, и где местные выясняли друг с другом отношения сперва в годы Гражданской войны, а потом Отечественной. Но для этой истории нужно было еще собирать материал, а для этого проще всего было связаться с учительницей Капитоновой. Кто знает, может быть, моя статья могла бы помочь ей.

Глава 27

На следующий день я пошел к Охотникову, который, забыл сказать, был папашей нашего спортсмена Алика, и он, усевшись на край своего стола, вручил мне с десяток фотокарточек

– Отличный репортаж на разворот выйдет, – сказал он. – Скажи начальству, пусть не пожалеют места.

У старого газетного волка все было просчитано. Ни одной дублирующей друг друга карточки. Общий вид поселка, перерезание ленточки, новоселы, дети на площадке из гнутых труб и подвешенных к ним шин. Мамаша с ребенком возле телевизора, который должен был свидетельствовать о достатке семьи. Выступающие в столовой начальники, слушающая выступление аудитория. Каждый снимок был нужен и каждый сопровождала подпись. Имя-фамилия, возраст, профессия. Таких репортажей он сделал штуки три минимум – для «Знамени», для «Коммуны» и для нас. А может еще и для какой-нибудь киевской газеты.

Видели бы вы, с какой скоростью Миша менял ракурсы съемки! Перебегал дорогу, приседал, привставал, поднимал руки с фотоаппаратом над головой: вжик-щелк! Вжик-щелк! Вжик-щелк! Одно слово: профи.

– Миша, а эти что-то говорили? Чтобы процитировать, а?

Зажав папиросу между черными зубами, Миша взял выбранную мной карточку с парой новоселов и, прищурив глаза, посмотрел на нее.

– Эти? Сказали, что счастливы невероятно и благодарят шефов за щедрый подарок. Взяли обязательство родить родине трех защитников и двух санитарок.

Хрипло засмеявшись, он вернул мне карточку.

– Ну, а что они могут сказать? Пиши, что хочешь, они же ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Напиши, что

дали хорошую хату, только чтобы они не смотали удочки в город. Тебе бы дали такую хату ни с того ни с сего, ты бы что, отказался?

Я вернулся в свой кабинет и за час набарабанил небольшой репортаж с картинами природы, увядания старого села и появлением нового, оплаченного богатыми шефами, с парой цитат из выступлений начальников и цитат счастливых новоселов. На этот раз грязную работу за меня сделал Миша. Я процитировал не всех этих людей, а его, описал не то, что увидел, а то, что попало к нему на снимки. После чего встал вопрос, как подписать эту липу. Юрий Иванович дал мне понять, что моя фамилия под материалом должна была стать для кого-то наверху признанием в лояльности. Для меня моя фамилия под таким материалом означала сдачу в плен. Оправдать эту сдачу в собственных глазах я мог единственным способом – написав хоть часть правды. Такой зазор для правды оставался. Мне надо было найти ту школьную учительницу и написать очерк о ней, о ее намерении спасти старый храм, превратить его в нечто наполненное реальным смыслом для своего села.

Отложив репортаж в сторону, я придвинул телефонный аппарат. До районной больницы я дозвонился быстро. Телефон был в приемной главврача и, как мне показалось, то, что я звоню из газеты, произвело на секретаршу сильное впечатление. Голос ее дрогнул от волнения. Она побежала искать своего босса, и я слышал в отдалении ее голос: «Олега Митрофановича к телефону – срочно! Область!» Через несколько минут тот взял трубку. Он, казалось, был удивлен тем, что газета интересуется какой-то учительницей. Теперь он, прикрывая рукой микрофон, требовал, чтобы ему кого-то срочно позвали, потому что звонит область. По паузам, повисавшим в трубке, я сделал вывод, что он остерегался со мной говорить просто так. Ему задали вопрос, когда он сам получит на него ответ, тогда и ответит. Наконец, появился тот, кого он вызывал. Я слушал, как они говорили между собой, но не мог разобрать слов. Наконец, он, кашлянув, сообщил, что больную несколько дней назад отправили в областную больницу в Одессу в связи с резким ухудшением состояния. Я, наконец, поинтересовался, чем она болеет. Он ответил: рак легких.

Я спустился в буфет, где взял полстакана сметаны и сдобную булку. Сметана болталась в стакане легко, как вода на киселе. Потом за моим столом возник Мукомолец.

– Привет, старичок! Ну, поздравь меня, мы теперь настоящие коллеги!

Он протянул мне руку. Хотя горло у меня перекрыло комом, я протянул ему свою.

– Поздравляю.

– Выхожу со следующей недели, – продолжал он. – На заводе просто умолили до конца месяца доработать. Пока они замену найдут.

– Послушай, Вадик, я тебе что хочу сказать, – начал я, проталкивая ком. – Вот ты эту статью написал. Про Кононова. Тебе за нее не стыдно?

– Мне?!

– Тебе.

– А почему мне должно быть за нее стыдно?

– Ты его не знал, верно? Но из твоего рассказа следует, что он и наркоман, и тунеядец, и с какой-то проституткой водился. Это же все выдумка, ты что, не понимаешь? А может быть, у него были совершенно объективные основания покончить с собой, ты такое допускаешь? Может быть, это вообще не он на себя руки наложил, а его убили?

– Кто его убил? Кому он нужен был? Я получил о нем совершенно достоверную информацию.

– От товарища Майорова? А ты ее проверял? Точно мы знаем одно: ни ты, ни я ничего о нем, о его жизни не знали. Ни-че-го.

Мукомолец преобразился. Он больше не был заискивающим внештатником, он был человеком, ощущавшим силу своей новой позиции.

– Я знаю еще кое-что, Митя. Мы здесь все живем, и у каждого из нас есть свои сложности. Но одни люди пашут и как-то устраиваются, а другие спиваются или накладывают на себя руки. Он оказался слабаком, при чем здесь я?

– Ты можешь себе представить, что жизнь, независимо от всех твоих усилий, может повернуться так, что ты тоже окажешься слабаком?

– Знаешь что?

– Что?

– Мне один неглупый человек сказал такую вещь: мол, ты когда будешь продвигаться, не всем это понравится. Некоторые будут завидовать, кто-то будет ставить палки в колеса. Я не мог подумать, что это будешь ты.

– Я тебе действительно завидую, Вадик, – сказал я, поднимаясь из-за стола. – Твоему умению не думать о моральной стороне поручений, которые ты выполняешь. И я тебе еще скажу одну вещь: это ты написал про мертвого. А тебя же могут попросить написать и про живых. Перед тем, как писать, подумай, какие это может иметь для них последствия.

Вернувшись в кабинет, я снова сел к телефону. На Слободке мне подтвердили, что Капитонова поступила в онкологическое отделение, назвали номер палаты, но к телефону звать отказались.

– Хотите проведать, приходите после пяти, – сказав это, на другом конце провода повесили трубку. В городе с нашим братом не церемонились.

Я еще раз перечитал муру про сдачу поселка, поставил свою фамилию и отдал материал ответсеку. Сказав Римме, что уезжаю на интервью, отправился на Слободку. Пока ехал, все время думал: вот я прочел Мукомольцу лекцию о морали и нравственности, а сам только что сдал материал, который не выдерживал никакой критики. Чем я был лучше своего воспитанника? Сколько раз я сдавал подобные материалы, отгораживаясь от них одноразовым псевдонимом и подавая этому самому Мукомольцу пример того, как нужно работать, не пачкая рук? Какая разница, под какой фамилией врать, если эта ложь все равно попадет в мир, все равно отравит кого-то?

В палате с тяжелым больничным духом стояло шесть коек – по три у каждой стены. Две пустые. У занятых сидели родственники с убитыми лицами. Когда я спросил у женщины, сидевшей на ближайшей к двери койке, кто здесь Капитонова, та долго смотрела на меня мутным взглядом, потом, кивнув на пустую постель напротив, сказала:

– Была тут.

– А теперь?

– А теперь там, – она направила указательный палец к потолку.

– На втором этаже? – не понял я.

– Бери выше.

Немая сцена. Все находящиеся в палате смотрят на мою, торчащую из полуоткрытых дверей, голову.

– Сын, наверное, – наконец, сказал кто-то невидимый

Другой, тоже невидимый, тяжело вздохнул в ответ.

На трамвайной остановке стояло так много народу, что я пошел в город пешком. Что-то во мне в тот вечер оборвалось. Безразличие и усталость овладели мной. Все годы после окончания университета я работал, подчиняясь юношеской иллюзии о журналистской работе, которая должна была привести меня с микрофоном в руках к вашингтонскому Капитолию или нью-йоркскому Импайр-Стейт Билдингу. Между тем, вся моя карьера могла окончиться на том же самом месте, где и началась – у Че-ерна-ага моря... Чтобы получить микрофон и доступ к Капитолию, мне надо было ослепнуть, оглохнуть и стучать по первому требованию на всех, на кого в мягкой форме велят стучать. И даже при выполнении всех этих условий у меня не было полной гарантии успеха, потому что в последний момент меня мог отодвинуть с дистанции тот, кто стучал охотней, больше, талантливей. Капитонова оказалась последним звеном, связывавшим меня с журналистикой. С моей иллюзией о журналистике. Я эту учительницу не знал, не видел, и даже не считал ее затею в полной мере целесообразной, поскольку ее же односельчане этим музеем не интересовались. Они предпочитали вернуть церкви ее первоначальное предназначение. Снова сделать местом, где они могли бы балакать с Богом, которого власть лишила прописки, изъяла из обращения, но которого они помнили точно как своего старого барина. И, тем не менее, эта Капитонова хотела сохранить церковь, не мытьем так катаньем, пусть даже в виде музея. Ее деятельность, а может быть даже и не деятельность, а стремление к деятельности, было единственным живым движением в этой топи полного безразличия всех ко всему. Уйдя из жизни, она лишила меня возможности написать статью, которая могла бы стать балансом к уже сданной ответсеку чуши, где не нашлось места самому короткому абзацу об испуганной молодой бабе, которая, казалось, сбежит из выданного ей нового дома, как только скроется с глаз орда начальников, газетчиков и прочей шушеры, не имеющей никакого отношения к ее жизни.

От этих мыслей я испытывал настоящее удушье, хотелось выговориться, выпустить их наружу. Мне нужен был собеседник, который бы понял меня, выслушал и помог разобраться в самом себе. Я позвонил Наташе, но Надежда Григорьевна сказала, что она ушла с Леной в кино. Я пошел к Кащею. Он был не в настроении, поморщился, увидев у меня бутылку, похлопав себя по боку, сказал, что шалит печень.

– Послушайте, Константин Константинович, – оборвал я его не очень вежливо, – я, кажется, принял одно важное решение. Если я не сообщу о нем вам, кому угодно, я боюсь, что передумаю.

– Сжигаем мосты?

Брови его поднялись, взгляд ожил.

– Именно. Хочу завтра написать заявление об увольнении с работы.

– Вот как?! Ну, заходите. Только давайте без бутылки. И потом – дело серьезное, лучше, наверное, на трезвую голову, нет?

Я начал с поездки в новый поселок. Говорил так, как хотел бы написать обо всем. О жуткой грязи, о молодой бабе в неуютном доме, о пьянке с шефами, выдаче сыра, церкви, фамильном склепе, капкане, партизанах, внезапно умершей учительнице Капитоновой, о том отвратительно-оптимистичном репортаже, который написал и который станет моей последней публикцией и, наконец, о решении искать другую работу.

– Такие дела, – закончил я.

– Очень здравое решение, Митя, – сказал Кащей. – Ложь, как зловредный микроб. Она разъедает. Все мы в той или иной степени лжем, себе, другим, но у вас такая работа, где врать надо ежеминутно. Это может стать второй натурой.

– Уже почти стало, – согласился я.

– Вы не обращали внимания, какие хмурые лица у наших начальников, вообще у многих людей? – продолжал он. – Это не от забот о куске хлеба. Жить бедно можно. К бедности привыкаешь. Нет, народ, сам того не осознавая, находится в страшном унынии, причиной которого является постоянная ложь. Мы лучше всех, мы самые передовые, мы самые культурные, а на самом деле живем в полном дерьме и прекрасно об этом знаем. В общем, вы хорошо поступили. За работу не переживайте. Где-нибудь устроитесь.

– Я не переживаю, просто состояние непривычное. Не знаешь, что завтра будет: на что жить, где жить.

– За это не переживайте, без куска хлеба вы не останетесь, и за комнату вам будет чем платить. Тут важно другое.

– Что же?

– Не обозлиться, как Володя. Надо оставлять себе какое-то место для жизни, для любимых занятий, для любви, для семьи. Масса людей, Митя, живут только после работы, чем-то занимаются.

– Собирают усилители.

– Да, собирают усилители, пишут книги. Вы, например, владеете пером, а решили, что вашим пером владеют они. А они ничем не владеют. Вот вы видели этот колхоз, вы слышали, как из гроба героя сделали свиное корыто или телегу. Так и напишите об этом. Пишите, как писали Булгаков или Платонов – для себя. Только без злобы, потому что когда остается одна злоба, когда все становится невыносимым, выход только один. Вы понимаете, о чем я говорю?

– Догадываюсь.

– Вот на вас эта грязь такое впечатление произвела, а для тамошних людей это не грязь, а земля, на которой они живут. Просто после дождя она приобретает такую консистенцию. Вы привыкли по асфальту ходить, а им и без асфальта хорошо. Тут и советская власть ни при чем. Там так было спокон веку. Или эта несчастная тетка. Вы, наверное, думаете, что она хочет садок вышнэвый коло хаты и все такое. А она может, отродясь этого садка не видела. Может, она еще хуже жила? Когда-то слышали про голодомор?

– Да, голод в связи с коллективизацией.

– Совершенно верно. 10 миллионов по оценке Самого. А до этого – гражданская война. Это еще миллионов десять-пятнадцать. Продразверстки, раскулачивание, ссылки, чистки. Там от тех крестьян, которые садок вышнэвый имели, уже и памяти не осталось. Так, живет всякая переводня. Эта баба, может, вас испугалась с непривычки, а за дом благодарна. Напрасно вы все-таки с ней не поговорили. Может, она еще бы вас дураком посчитала с вашей жалостью.

О том же мне говорил старший Охотников. У меня вдруг возникло ощущение, что Кащей хочет меня отговорить от увольнения. Конечно, если можно нормально жить после работы, то можно жить и после моей работы в газете. С девяти до пяти врем и выполняем самые гадкие поручения начальства, а после пяти живем не по лжи.

– Знаете, Константин Константинович, – сказал я, – может быть, вы и правы. А я – нет. Просто я не хочу в этом больше участвовать. Я больше не хочу иметь к этому никакого отношения. Понимаете?

– Очень хорошо понимаю! И поэтому напоминаю – можно уехать. И если вы не хотите заниматься грязной работой здесь, то это шикарная возможность найти себя на каком-то новом поприще там. Может быть, на том же журналистском. Там есть великолепная иммигрантская пресса. В Париже – «Русская мысль», в Нью-Йорке – «Новое русское слово». Не слышали? В самом крайнем случае пойдете в грузчики. Можете не сомневаться, что тамошние грузчики живут не хуже наших. К тому же вы и английский знаете.

Вернувшись домой и поднимаясь по лестнице, я увидел в окне на площадке перед моим этажом черный силуэт сидевшего на подоконнике человека. Сердце оборвалось, я почему-то подумал, что это может быть Майоров. Но это оказался Миша Климовецкий.

– Здорово, пропажа, – сказал он, поднимаясь с подоконника и отряхивая джинсы. – Ты помнишь вообще, что у тебя мои пласты?

– Блин, Миша, ну ты меня напугал!

– Я хочу завтра на сходняк пойти.

– Миша, у меня их нет. Я их у одной телки оставил, я же тебе рассказывал.

– Ну, так пора забрать! Или ты ей подарок решил сделать? Она их на бабушкиной радиоле не крутит случайно?

– Мишка, я не пойду. Я с ней расстался. Я тебе ее адрес дам, мои тоже заберешь.

– От еб-тыть. А где она живет?

Я объяснил, как найти Лизу.

– А твои взять на сходняк или дома оставить?

– Оставь у себя, у меня что-то никакого настроения.

Утром я проснулся поздно. Состояние было муторное, я чувствовал себя совершенно разбитым. Не хотелось вставать, готовить кофе, жарить яичницу. Около 11 позвонил телефон. Я слышал, как Анна Николаевна взяла трубку и когда сказала: «Сейчас позову», я, наконец, собрался с силами и встал, зная, что сейчас услышу стук в дверь.

– Митя, ты? – Это был Миша.

– Ну.

– Тебе крупно повезло.

– В чем?

– Сходняк снова разбомбили.

– Кто?

– Кто? Конь в пальто! Менты с дружиниками. Только на этот раз их там была целая армия. Ловили людей, сажали в автобус и везли в ментовку. Я свои пласты просто бросил, иначе бы не смылся. Пять отличных дисков, блядь, пропало. А твои, между прочим, у меня дома остались. Ты что, знал?

– Что знал?

– Что бомбить будут!

– Откуда я мог это знать?

– А хрен его знает. Может, у вас там что-то говорили, а?

– Миша...

– Что, Миша?

– Миша, блин, говорят все время, потому что хотят этот сходняк в какое-то кафе загнать, но только я никак не мог знать, что в это воскресенье они его снова бомбить будут. И потом, чувак, я про этот сходняк сейчас даже думать не могу.

– Почему?

– Потому что у меня такая ситуация на работе, что не сегодня-завтра я ее потеряю.

– Ну, смотри, – сказал Миша, и я впервые ощутил возникшую между нами отчужденность, причиной которой было недоверие. Главное, что у моего старого товарища были основания для этого недоверия. Я должен – должен был сказать ему, что сходняк могут бомбить. Но я просто забыл об этом.

Глава 28

В понедельник я пришел в редакцию как никогда рано. Без четверти девять. Найдя на столе у ответственного свой горе-репортаж, вычеркнул свою фамилию и написал сверху псевдоним – Максим ЛИПА. Потом взял чистый лист бумаги и написал «Прошу уволить по собственному желанию». Поставил число. Подписался.

В кабинете, открыв стол, стал перебирать папки с публикациями, блокноты. Хотел ли я сохранить это? Нет. Все это больше не имело никакого отношения ко мне. Около десяти в кабинет вошла Римма.

– Ты здесь? Срочно в райком. Там важное совещание.

– Я увольняюсь.

– Уволишься завтра. Кроме тебя ехать некому. Там какой-то аврал. Босс с Колей в Киеве, все на заданиях. Давай по-быстрому.

– А в связи с чем аврал?

– Что-то с дисками какими-то, не знаю.

Это слово на меня подействовало просто магически. Я сунул заявление в ящик стола и поднялся.

«Всех пидарасов к ногтю!»

Эта фраза, сказанная со злобной решительностью, прекрасно передала если не содержание, то смысл разговора, происходившего в кабинете, дверь в который я только что открыл.

– Входи, давай. Садись!

Кузнецов кивнул на свободный стул. По бокам от меня сидели два инструктора, наводившие недавно порядок в портклубе. Деловые, зло глядящие на меня, как на врага.

– Значит так, – сказал Кузнецов. – Сообщишь прямо в следующий номер об открытии клуба коллекционеров грампластинок в кафе «Ретро». С Гончаровым уже все оговорено. Первое заседание в следующее воскресенье в 12 часов дня. Сходняка больше не будет.

– А вы уверены, что они читают эту газету?

– Если они ее не читают, то пусть они пеняют на себя. Это понятно?

– Не совсем.

– Тех, кто не придет своим ходом, загоним.

– Не знаешь – научим, не хочешь – заставим, – вставил инструктор справа. У него была широкая крестьянская шайба и модная соломенная челка, точно как у Дитера Болена.

Дверь открылась, и секретарша сообщила:

– Привезли.

Все встали и пошли в конференц-зал. На столе лежали груды дисков. Это было то самое товарное изобилие, к которому мы все так стремились. Апофеоз дефицита, переставшего им быть. У окна стояли два паренька-дружинника, доставившие этот товар, как я понял, из отделения милиции. Вероятно, они тоже участвовали в облаве. Кузнецов, небрежно держа левую руку в кармане брюк, с гримасой презрения стал брать диски правой, рассматривал их и с деланным пренебрежением бросал на стол.

– Так что делать с этим будем? – спросил Дитер Болен, заглядывая начальнику в глаза и крутя в руках диск «Модерн токинг» со своим двойником на обложке. На его месте я бы так нахально не демонстрировал источник своих представлений о мужской красоте.

– Разберемся, – небрежно процедил сквозь зубы Кузнецов. – Сейчас из ОМК подойдут, будем решать.

– А вы знаете, кому какие диски принадлежат? – спросил я. – Кому что возвращать? Какие-то акты составлены?

– Ты, главное, не волнуйся, – ответил секретарь. – Я же сказал, разберемся.

Это было для них главным – чтобы народ не волновался. И для этого они должны были сохранять за собой право разбираться во всем без чужой помощи. А волнения могли быть свидетельством того, что они ни в чем никогда не разбирались, не разбираются и никогда не разберутся.

Между тем, Дитер Болен Второй что-то негромко бубнил Кузнецову, кивая при этом на дружинников. Те стояли у другого конца стола, перебирая диски и поглядывая на начальника, пока тот, наконец, не бросил негромко:

– Только так – пару штук, мародерством не заниматься, понятно?

Болен Второй тут же послал дружинникам сигнал и те, приняв его, оживились и выразили благодарность:

– Та мы, чисто по паре штук... В общаге послушать... Вернем мы их, потом...

– Ага, только не забудьте, – ответил Кузнецов, не скрывая скептического отношения к их словам.

Дружинники стали засовывать приглянувшиеся им диски в одну из отобранных сумок. Я видел, как один из них взял черный двойной альбом Black Sabbath «We Sold our Soul to Rock-n-Roll», который, согласно комсомольскому музыкальному талмуду, был квинтэссенцией культа насилия, мистицизма и средневекового мракобесия. Получили ли дружинники прививку от этой заразы? Или могли, непривитые, скончаться в страшных корчах под завывания Оззи Осборна?

– Вы уверены, что они их вернут? – спросил я.

– Тебя это беспокоит?

– Меня беспокоит, где проходит черта между законом и грабежом.

Последнее слово мне далось с усилием.

– Грабежом?! Ты выбирай выражения, ладно?! – Кузнецов, наконец, заметил мою реакцию, и его ответная была обычной для него – агрессивной. – Не забывай, где находишься, журналист!

Второй инструктор, видя успех дружинников, но не обратив внимания на наш диалог, подтянулся к секретарю с диском Челентано.

– Николай Иванович, я возьму до завтра, послушать, а?

– ОМК хоть что-то оставьте, ладно? – сказал секретарь, кривясь от презрения уже к своим подчиненным. – Где они там?

Он взглянул на часы, и в это время дверь отворилась, и в зал вошел Олежек. С кривой ухмылочкой соучастника, он обменялся рукопожатиями с Кузнецовым.

– Что, обком тоже решил дискотеку открыть? – пошутил он.

Глаза у Олежека сияли, вероятно, от ощущения причастности к успешной деятельности смежников. Он подошел к столу и стал перебирать диски.

– Ты здесь случайно последнего Pet Shop Boys не видел? – обратился он ко мне, как к наиболее квалифицированному из присутствующих.

– Не видел, – выдавил я.

Это был самый обыкновенный дележ награбленного. Я не представлял, как это все вернется к своим хозяевам. Я хорошо представлял только, как оно могло разойтись по этим жадным рукам, как эти бойцы идеологического фронта будут слушать эту музыку сами, со своими телками и под свою водку, постепенно свыкаясь с мыслью, что это принадлежит им по праву сильных, в смысле – наделенных властью.

– Ты все понял? – повернулся ко мне Кузнецов. – Клуб любителей всего этого дерьма со следующего воскресенья будет собираться в кафе «Ретро». Прямо в номер.

– И с контролем на входе, по списку, – добавил Олежек.

– Про список пока не надо, – сказал Кузнецов.

Из обкома я прямым ходом поехал к Кащею и, написав ему на листке все свои данные, сказал, что готов к выезду. Складывая листок, он протянул мне руку:

– Ну, с Богом, Митя! Вы не представляете, как теперь все у вас будет легко.

Из дому я позвонил в редакцию и попросил Римму взять у меня из стола заявление.

– Так ты это не шутишь?

– Нет, конечно!

– Ну, смотри, ты – взрослый мальчик.

Я ждал, что мне будут звонить из редакции, вызывать к боссу для выяснения причин и следствий и поэтому постучал к Анне Николаевне и, когда она выглянула из-за своей двери, попросил ни под каким видом к телефону не звать, всем говорить, что уехал к тетке в Саратов.

– У вас тетка в Саратове?

– Да нет, это так говорят.

– А что случилось, Митенька? Вид у вас ужасный.

– Уволился, Анна Николаевна, и не хочу всех этих выяснений, чего-почему, понимаете?

Она прикрыла ладошкой губы и выпучила глаза.

– Уволились сами?!

– Потом расскажу, Анна Николаевна, а пока просто покоя хочется, ладно?

– Конечно-конечно! Не беспокойтесь. У вас кушать что есть?

Я вернулся к себе в комнату и включил Димеолу Terra e Cielo. Пока он крутился, я все ждал, что в коридоре раздастся телефонный звонок, но к счастью – напрасно. Никто не бросался возвращать ценного сотрудника на оставленный им сгоряча пост. Когда Димеола доиграл, я даже не заметил. Музыка сменилась шумом дождя, капли тяжело барабанили о карниз, оконное стекло потекло. Звук ливня был таким реальным, таким объемным, что вытеснил из головы все страхи, нервозность, постоянное ожидание новых неприятностей, которым я жил в последнее время.

Я стал думать о том, что уходить, обрывать концы, не жить там, где мне не нравится, явно было у меня в крови. Точно так же несколько лет назад я ушел из дому. Скучал ли я по нему? Нет. Ностальгия была чем-то вроде фантомной боли у тех, кому ампутировали конечность. Она тебя беспокоит, но ее уже нет. Я еще бывал дома, скажем, последний раз – у матери на дне рождения, но дом был уже чужим для меня, все выглядело не таким, каким было в памяти, а старым, поношенным, бедным. Только настоящее обладало ценностью. Интересно было бы проследить свою родословную до тех пра-пра-предков, которые впервые проявили эту готовность бросить все и начать сначала. Да только как проследить?

Из дому я ушел после смерти отца.

Глава 29

Мой отец был физруком в торговом техникуме. Он иронически называл себя членом физкультурной мафии выпускников Киевского института физкультуры, которые стали первым послевоенным выпуском этого заведения. По возвращении в Одессу они заняли все спортивные кафедры местных техникумов и ВУЗов. Это дало им возможность постоянного нанимать друг друга для ведения различных спортивных секций и судейства соревнований, что резко повышало скромные педагогические заработки. Их застолья, шум которых часто прерывался оглушительными взрывами хохота, одно из самых ярких воспоминаний детства.

Отец умер от инфаркта, неожиданно для всех. Вечером стал жаловаться на боли в груди, а утром не встал. Только когда его не стало, я осознал, что ему было 70 лет. Не сказать, что он пожил мало, однако мне этого срока не хватило на то, чтобы узнать его ближе. Я был поздним, «послевоенным» ребенком.

Он умер зимой 1983 года. Похороны были совершенно сюрреалистическими. Искривление пространства нормальной жизни началось с того, что мать попросила, чтобы я при заказе гроба не брал черный, потому что черный цвет сильно мрачный. Красный она тоже не хотела, поскольку это было сильно торжественно. Я не представлял, что клиент может выбирать цвет гроба. Что цвет обивки наделен каким-то эмоциональным содержанием.

– А какой ты хочешь?

– Возьми серенький.

В этом она была вся. Ее любимая поговорка – скромность украшает человека. Самая высокая похвала – тише воды ниже травы.

Я поехал в мастерскую, где делали гробы. Еще не обитые тканью ящики были сколочены из неструганных досок, которые даже не примыкали друг к другу. Между некоторыми зияли щели, в которые можно было просунуть руку. Специфика производства ничуть не сказывалась на поведении работников. Стук молотков и звуки пилы перемежались веселыми выкриками, шутками, смехом. Было послеобеденное время и, должно быть, за обедом гробовщики выпили.

У одной стены стояли необитые коробки из корявых и темных от влаги досок, у другой – готовые, обитые тканью жизнерадостного зеленого цвета. На помосте в центре цеха стоял выставочный экземпляр его продукции, обитый «серењким». Я спросил у встретившего меня мужика, сколько он стоит.

– 13 рублей, – ответил он.

– Я хочу серый.

– Только зеленые. Серую ткань сейчас не дают. Этот серый – выставочный.

Глазами он сигналил, что выставочный продается тоже.

– Сколько ты хочешь за него?

– 30.

Мать дала мне пачку денег, из которой я отсчитал ему три десятки.

– Имеешь, – сказал он, приняв купюры.

На кладбище мне сообщили, что земля так промерзла, что сегодня ее раскопать не удастся.

– Будем ждать до весны? – спросил я.

– Нам торопиться некуда, – сказал мужик за конторкой. Он был в ватнике, мятой меховой шапке, небритая физиономия покрыта фиолетовыми угрями. Я бы не удивился, узнав, что он ест мертвечину.

– А что вы делаете зимой?

– Ну, можно положить пару шин на землю и поджечь. За ночь отмерзнет.

– Так положите.

– Шин нет.

– Сколько стоит шина?

– Десятку дай, будет нормально.

Вечером мать вспомнила, что отцу нужно новое белье. В старом хоронить было нехорошо, как если бы там, куда он собирался, он должен был выглядеть понарядней. Она послала меня в магазин за кальсонами и рубашкой. Я поехал в универмаг на Пушкинскую. Развернув привезенный пакет и только взглянув на белье, она сказала:

– Митя, это же ситчик, а сейчас зима. Ему там будет холодно.

Я не поверил своим ушам.

– Поедь купи байковое, – попросила она.

Продавщица встретила меня удивленно поднятыми бровями. Я объяснил, что это не мне, а папе. Сейчас холодно, ему нужно теплое.

– А сразу он не мог сказать, что ему нужно теплое?

– Не мог, – сказал я. – Он вчера умер.

Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Может быть, подумала, что я таким образом пытаюсь с ней познакомиться. Следуя этой мысли, я спросил:

– Девушка, а как вас зовут?

– Я замужем, – ответила она.

Сжав тонкие коричневые губы, она упаковала пару байкового белья в бумагу, перевязала пакет бечевкой, подвинула мне и ушла в дальний конец прилавка.

Когда гроб выносили из дому, навстречу поднимался какой-то парень. Он заметался от одного края лестницы к другому, пытаясь проскользнуть то между гробом и перилами, то между гробом и стеной. Несшие гроб делали движение то влево, то вправо, уклоняясь от его бросков, но под лежавшим на их плечах грузом двигались медленно, и парень не успевал проскользнуть в возникавший просвет. Похоронная команда будто нарочно не пропускала его, и тогда он встал на четвереньки и прошмыгнул у нас под ногами, как собака.

На кладбище открытый гроб поставили на скат холмика ржавого глинозема. Откуда ни возьмись, появился полный мужчина в коротком сером пальто и драной заячьей шапке. Раскрыв небольшую книжечку, заголосил что-то непонятное, подвывая и раскачиваясь из стороны в сторону. Это неожиданно начавшееся выступление было так же неожиданно прервано товарищем отца Мишей Каплуном – он просто задвинул певца в толпу провожавших и занял его место.

– Шура бы этого не одобрил, – объяснил Миша Каплун громко и глядя при этом в небо, где сейчас мог находиться его старый товарищ. В очках у Миши Каплуна были толстые линзы, страшно увеличивавшие его глаза. – Шура не верил ни в Бога, ни в черта. Он был нашим парнем! Он любил жизнь, и он умел жить! И сейчас я хочу сказать тебе, Шура: мы любили тебя и мы ценили тебя, как своего хорошего товарища, на которого всегда и во всем можно положиться. С которым можно делать дела и можно получать удовольствие от жизни за одним столом. Ты сделал много хороших вещей, и ты можешь этим гордиться. Ты прожил жизнь, как дай Бог прожить ее некоторым другим! Прощай, дорогой товарищ, и будь нам всем здоров!

Я подумал, что ослышался, но посмотрел на лицо Миши Каплуна, по которому уже начало растекаться осознание того, что он закончил прощальную речь как тост, что было ему привычней.

– Я хотел сказать, я извиняюсь, спи спокойно дорогой товарищ, мы, твои верные друзья, будем всегда помнить тебя!

Могильщики накрыли отца крышкой и бодро застучали по ней молотками. Через несколько минут от отца, от похорон, от всей его жизни остался только холмик глиняных комьев, плохо прикрытых венками и букетами мятых цветов – лохматое яркое пятно среди выглядывающих из сугробов черных оградок и могильных камней.

Когда мы вернулись домой, столы в большой комнате уже были накрыты. Потирая руки с мороза, гости начали рассаживаться, наливать водку, раскладывать по тарелкам закуски. Многолюдье обнаружило, как невелика наша комната, которую мы называли большой, как неприглядно наше жилье с допотопным сервантом, книжными шкафами, диваном с лоснящейся на углах обивкой и кривой люстрой-тарелкой под потолком. Мне предложили сказать слово. Едва проталкивая звуки через застрявший в горле ком, я поблагодарил всех за то, что пришли почтить память – я сказал – «моего папы», тут же ощутив себя маленьким мальчиком. Я выпил рюмок пять подряд и, когда во мне набралось грамм двести пятьдесят, пошел спать в другую комнату. Я хотел отгородиться водкой от этого застолья, прервать связь с этим холодным, зимним миром, чужими людьми, которых я больше не планировал видеть и которые вряд ли планировали увидеться еще раз со мной. Несколько раз просыпаясь, не знаю, была ли уже ночь или все тянулся зимний вечер, я слышал гул голосов за дверью, кто-то смеялся, кто-то прощался и все не уходил, и снова прощался. У меня было ощущение, что за дверью шумит вокзал. Потом мой поезд тронулся и, покачиваясь, повез меня в клейкий сон.

На следующий день после похорон мама попросила меня не закрывать дверь в комнату, где я работал. У нас были две комнаты. Спальня и гостиная. На самом деле была моя комната и комната родителей. Между ними был узкий коридор. Мать пожаловалась, что совершенно не может оставаться одна, ей нужно было ощущать, что рядом кто-то есть. Она говорила, мол, ты там сиди и тюкай на своей машинке, а я буду слушать. Но дома «тюкал» я немного, просто потому что бывал дома немного. Уходил утром на работу и приходил, когда уже было темно. Иногда я приходил домой не один. И, естественно, мне приходилось закрывать дверь в свою комнату, поскольку ночью из-за нее долетало не только «тюканье» пишмашинки. Раз, проснувшись утром, я услышал голоса на кухне. Моей подруги рядом не было. Я быстро оделся и вышел из комнаты, обнаружив, что мать поит ночную гостью чаем. Она ей рассказывала, как готовит штрудель, а та с деланным энтузиазмом кивала, словно демонстрируя готовность стать послушной невесткой, что, я думаю, не входило ни в ее, ни в мои планы. В стремлении найти общение моя мама сильно торопила события. И вечером того же дня я сказал ей об этом.

– Так это так, не серьезно? – удивилась она.

Впечатление было такое, что из своей утренней собеседницы она создала, так сказать, собирательный образ всех тех, чьи голоса только слышала до сих пор.

– Да, мама, это – несерьезно.

– Но, вероятно, она на что-то рассчитывает, – предположила моя мама.

– Если ты не будешь давать ей повода, то она ни на что не будет рассчитывать.

Вероятно, я сказал это слишком резко. Мать молча ушла к себе и больше к этому разговору не возвращалась.

Что я должен был сделать? Жениться в 25 лет и наплодить внуков, чтобы ей было чем занять себя? Я продолжал жить как жил. Пока вдруг не обнаружил, что у моей мамы появился кавалер. Как всегда в нашем доме, знакомство произошло на кухне. Когда я пришел с работы, они пили чай. Она меня представила.

– Митенька, это – Петр Ефимович.

Он медленно, с усилием поднялся. Он был стар. Мятый серо-зеленый пиджак, под ним малиновая кофта, под ней – черный гольф. Он щурился, присматриваясь ко мне. Лысина в коричневых пятнах, нос с черными точками угрей, мутноватые глаза.

– Очень приятно, – я протянул ему руку.

Рука у него была тяжелая и как бы ищущая поддержки.

– Мне тоже очень приятно. Я читаю все ваши статьи, вы – очень способный молодой человек. Вас ждет большое будущее.

На всякий случай я не стал спрашивать, какие статьи он читал, хотя он и мог за неделю-другую подготовиться к встрече с потенциальным родственником и проштудировать мои публикации. Пока я пил чай, мне было страшно поднять взгляд на него. Я все время смотрел под стол, на папины тапочки на его ногах.

Через несколько месяцев мама сообщила, что они хотят расписаться. Как раз прошел год со смерти отца. Она, видимо, ждала истечения этого срока, хотела, как говорится, соблюсти приличия. Потом она сообщила, что он хочет оставить свою квартиру сыну-инвалиду, поэтому будет жить у нас. При жизни отца в нашей крохотной квартире существовала масса незримых границ, позволяющих мне иметь свой угол. Он постоянно менял свое расположение, в зависимости от обстоятельств. Я мог устроиться писать на кухне, зная, что на нее в ближайший час-два никто не выйдет. Мать могла попросить уступить ей место у телевизора, потому что хотела посмотреть очередную серию «мгновений». Отец мог

устроиться за моим столом, потому что именно в этом месте в тот вечер его приемник хорошо брал «Голос Америки». Я мог лечь с книгой на их постель. Сейчас все поменялось. Петр Ефимович явно был готов уважать мою территорию, просто не знал, где проходят ее границы. Он вдруг занял всю квартиру своими папиросами, коробками с лекарствами, заполнил своим запахом. Я был потрясен, обнаружив в прихожей его палку. Она была алюминиевая с пластмассовой ручкой «под мрамор» и черным резиновым наконечником. Она показалась мне абсолютно чужеродным предметом в нашем доме. После чего я снял комнату у подводника. Она стоила 50 рублей в месяц, что составляло приблизительно треть моей зарплаты.

Моя мама, я думаю, была рада такому развитию событий. Ей не в чем было упрекнуть себя, ведь она не выгнала меня на улицу. Просто сын вырос и решил жить самостоятельно. И я тоже не видел в этом никакой трагедии. Я только жалел, что так и не успел подружиться с отцом. Мы с ним, образно говоря, разминулись.

Он сильно опоздал с женитьбой из-за войны, а потом – из-за повышенного спроса на уцелевших и не покалеченных войной мужчин. Он мог выбирать, торопиться с женитьбой было некуда. Поэтому я стал поздним ребенком. Он явно ощущал, что дистанция в возрасте не позволяет ему участвовать в моей жизни так, как если бы он был молодым. Он любил белые китайские рубахи «Дружба», просторные светлые брюки, которые он называл чесучовыми, Луи Буссенара, Луи Армстронга и Теодора Драйзера. Он посмеивался над моим упоением «левисами», Робертом Шекли, «роллингами». Он выработал свой тип отношений со мной – как бы необязательных и всегда иронических комментариев моих поступков или высказанных мнений. Если, скажем, он возвращался с работы, а у меня громко была включена музыка, он никогда не требовал выключить, он мог сказать:

«Сынок, соседи с пятого этажа просят сделать погромче, они слова плохо слышат».

Мы жили на первом этаже.

Только с его уходом я обнаружил, что наши отношения так никогда и не переросли в отношения двух взрослых мужчин, у каждого из которых был свой опыт, достойный сравнения и обсуждения. Вероятно, поэтому меня так и потянуло к Кащею.

От этих мыслей меня оторвал негромкий стук в дверь. Я затаил дыхание. Мое присутствие выдавал свет настольной лампы, но ведь я мог уйти и забыть выключить ее. Снова постучали, и потом Анна Николаевна позвала:

– Митенька, к вам пришли.

Это было невероятно. Такую настойчивость моя соседка могла проявить только под чьим-то нажимом. Скажем, показавшего ей удостоверение Майорова. С упавшим сердцем я подошел к двери и, открыв ее, увидел Наташу.

Она решительно ступила в комнату и сказала:

– Митя, привет. У меня есть два билета на «Браво», пойдем?

Не отрывая взгляда от меня, она затворила дверь за собой, отрезав взволнованный взгляд Анны Николаевны, и, сделав еще шаг ко мне, обняла и сказала негромко:

– Билеты у меня на завтра, можно я сегодня останусь у тебя?

В кино в такой момент персонажи впиваются друг в друга, но мы стояли так вот в обнимку, и при этом я совершенно не испытывал никаких таких эротических чувств. Никакой гипертонии. Хотя получил то единственное, что мне нужно было в тот вечер – близость дорогого человека.

– Ну, – сказал я наконец. – Чем я обязан такому счастью?

– Я была дежурной по номеру и прочла твой репортаж об этом поселке. И я увидела, что ты вычеркнул свою фамилию и поставил этот псевдоним – Липов. Потом позвонили из обкома и хотели говорить с тобой, и тогда Римма сказала им, что ты написал заявление. Я слышала этот разговор, и я поняла, что это все. Ты больше не придешь в эту редакцию. Что я тебя больше могу не увидеть. И я испугалась.

После этих слов я очень-очень осторожно поцеловал ее, и впервые она не сделала попытки уклониться, напротив, она прижалась своими губами к моим. Оторвавшись от меня, она перевела дух и, когда я хотел снова поцеловать ее, остановила меня.

– Постой, я хочу еще сказать тебе что-то важное. Ты знаешь, как всегда моя мама говорит – мол, я ищу рыцаря на белом коне. Это правда, Митя, мы все ждем своего рыцаря, который сделает что-то необычное, значительное. И я знаю, что то, что ты сделал, это такой шаг... То есть я хочу сказать, что я не знаю в нашей редакции никого, кто бы мог так поступить.

– Я чувствую себя героем, – сказал я, прижимая ее к себе. – На белом коне. Но без средств к существованию. Что же мы будем делать дальше?

– Я тебе скажу, что дальше, Митя.

– Ну, давай.

Она снова набрала воздух и шумно выдохнула.

– Значит так. Дальше ты выключишь свет. Потом ты пойдешь и примешь душ. А я буду ждать тебя здесь.

Это было настолько невероятно, что я рассмеялся. Потом я отпустил ее, выключил свет и пошел выполнять полученное распоряжение. Когда я вернулся, подрагивая от ледяного душа, горячая вода, ясное дело, не шла, я был почти уверен, что в комнате уже никого не будет. Но я ошибся.

Глава 30

– Ты что ебнулся, грузчиком? – сказал мне Миша. – Положи пару копеек и возьми будку стеклотары. – На хрена тебе уродоваться с этими алкоголиками?

– Пару копеек это – сколько? – спросил я.

– Ну, штуки три надо дать. И потом будешь отстегивать еще что-то людям в торге. Но это уже как договоришься.

– Миша, откуда у меня три штуки?

Улыбка тети Светы, при которой происходил этот разговор, давала понять, как ей жалко меня, бедного. В смысле, неимущего.

– Слушай, Миша, мне не надо этих баснословных доходов, мне нужна простая работа. Грузчиком будет нормально.

– Чувак, зачем устраиваться на плохую работу, если можно устроиться на хорошую? Ну, тебе что, негде три штуки занять? У родителей, например, у теток каких-то? Ты что, сирота казанская?

Повисла пауза, во время которой у меня возникло ощущение, что Миша прикидывает, может ли он дать мне эту сумму, но тетя Света своевременно пришла ему на помощь.

– А что, пусть грузчиком пойдет, – сказала она. – Холодильник всегда будет полный. Колбаса, сыр, консервы хорошие. Это если в нормальный магазин попадешь, конечно.

– Так узнай, может, его к тебе возьмут?

– Я спрошу.

– А что, без блата не возьмут? – спросил я.

– Я знаю? Пойди в торг и скажи, что хочешь грузчиком. Проще некуда. Они тебя дальше направят. Грузчики всегда нужны. С трудовой книжкой у тебя все в порядке? Что у тебя там написано?

– Последнее место работы – газета.

– Тоже проблема может быть. Вчера в газете, а сегодня – грузчиком. Начнут выяснять почему.

– Так что делать?

Тетя Света пожала плечами.

– А я знаю? Не получится, можно попробовать книжку купить.

– Какую?

– Трудовую, какую еще?!

– За сколько?

– Зависит от того, что ты раньше делал. Знаешь как, одни сидят, им потом трудней устроиться. Чего сидел, почему, сколько. Один выпил и жену зарезал, другой украл. Вороваек никто не хочет.

– Я-то не сидел.

– Уже легче.

Когда тема моего трудоустройства была исчерпана, Миша спросил, собираюсь ли я идти на сходку.

– В «Ретро», что ли?

– Ты что больной? Какое «Ретро»? Сейчас на Девятой Фонтана будут собираться, ты что, не знаешь?

– Миша, веришь, я сейчас даже думать об этом не могу. Мне может в следующем месяце за квартиру платить нечем будет.

– Ну, смотри, дело хозяйское. Я пойду посмотрю.

Если бы Кузнецову дали полную свободу действий, он бы, наверное, поставил Мишу к стенке как неподдающегося коммунистическому воспитанию. Или отправил на лесоповал. Как когда-то его предшественники отправляли туда не желавших идти в колхозы кулаков.

Вечером мы с Наташей пошли в «Зеленый театр». Это был первый за несколько лет случай, когда я стоял в очереди ко входу со всеми обилеченными. А раньше бы прошел по корочке через служебный вход и уже был бы за сценой с музыкантами. Деревянные скамьи были чуть влажными от вечерней росы. Свет пятнами лежал на листьях акаций, мошкара моталась у прожекторов, вокруг нас шумели нарядные и возбужденные в ожидании концерта молодые люди, жизнь была теплой и славной в тот вечер. Может быть, и Наташа, и Кащей были правы: можно было и здесь найти какую-то приемлемую форму существования, какую-то нишу, в которой тебя не касалась бы деятельность комитета, парткома, профкома или коммерсантов типа Гончарова, которые были и будут всегда, благодаря своему таланту делать деньги, даже когда всем кажется, что это невозможно. Но в стороне от них, имея какую-нибудь простую работу, жить, вероятно, можно было. Надо было только найти эту работу.

Ощущение обычного зрителя в большом зале отчасти мне даже нравилось. Я избежал ритуала очередного знакомства с Агузаровой, которая с утомительным однообразием не узнавала меня, хотя я беседовал с ней в каждый ее приезд в Одессу.

– Я могу уделить вам ровно шесть минут, – сказала она в последнюю нашу встречу. – А чтобы сэкономить ваше время, я сразу хочу сообщить: мы только что вернулись с фестиваля ска в Швеции, где пресса сообщила о новой восходящей звезде. Эта звезда должна потрясти мир. Но имя этой звезды я вам не скажу!

Я тогда так и назвал свою заметку – «Шесть минут с восходящей звездой». Не знаю, как в Швеции, но здесь она, конечно, была нашей звездой, пусть даже глуповатой и по-провинциальному манерной. Но когда она пела, срываясь с рок-н-ролла на совершенно джазовый скет, все это уже не имело никакого значения. Так было и в этот вечер. Ее высокий и звонкий голосок просто летел над ритмом ударных, гитары и баса: «От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы, пляшут лини-и ограды и мосты!» В задних рядах плясали забравшиеся на скамейки подростки, другие плясали в широком проходе между рядами, и я впервые видел, что менты никого не останавливают и мир при этом не рушится, не превращается в хаос «вседозволенности», которым нас постоянно пугают.

После антракта выступал «Лотос», о котором я ничего не слышал. Когда они заиграли, в зале, кажется, никто не понял, что это за музыка, и я, признаться, тоже. Зрители, насытившиеся выступлением «Браво», потянулись к выходу, а я слушал незнакомую музыку с очень стабильным, вязким ритмом и трескучим звуком клавишных. Потом басист запел:

Слепили бабу на морозе – руки, ноги, голова.
Она стоит в нелепой позе – не жива и не мертва.
А мне другой не надо нынче, пусть красивых в мире тыщи,
Нет её белей и чище, и другой такой не сыщешь,
Хоть ты тресни!

Это было так неожиданно, так хорошо, что можно было пожалеть, что народ уже вытекал из зала. Но некоторые, оценив музыку, а может быть, привлеченные текстом, останавливались и, устроившись в опустевших первых рядах, скоро начинали кивать головами в такт ритму или прихлопывать в ладоши, смеяться словам. Я испытал настоящий прилив радости от того, что я тут был не один такой умный, что нас было пусть не очень много, но достаточно, чтобы составить аудиторию музыкантам. Наташа улыбалась счастливо и, прикрыв глаза, постукивала ладонью по колену.

Ах, эта женщина весёлая, большая, вся из снега
Для любви её душа, а ноги созданы для бега.
И я бегу с любимой рядом, о, как глаза её ясны,
И я томлюсь под нежным взглядом, доживёт ли до весны
Такая краля?!

На следующее утро я проснулся, когда Наташа уже одевалась.

– Сколько сейчас времени?

– Около шести.

– А чего ты так рано встала?

– Хочу сходить в монастырь.

– Сейчас?!

Она кивнула.

– Хочешь со мной?

Я не хотел. Так хорошо было в теплой постели и так хотелось еще обнять ее в это солнечное утро, но у нее явно был другой план. Я вспомнил о заупокойной по Кононову. Нет, сейчас я не думал о том, чтобы помочь Лизе: после шока, который я пережил в «Вечерке», после последовавшего разговора с Кащеем, после появления в моей жизни Наташи она просто перестала существовать для меня. Но теперь мне казалось, что я должен помочь Кононову как товарищ по несчастью.

– Хочу.

– Тогда вставай.

Когда мы вышли из дому, воскресный город только просыпался. Первыми на улицах появились собачники. В домашних тапочках, пижамных брюках, заспанные, они закуривали, ожидая, пока их питомцы справят нужду у ближайшего дерева. На вокзале мы сели на 29-й трамвай. В вагоне мы были одни. По дороге я сказал Наташе, что хотел бы заказать заупокойную молитву по Кононову и, начав разговор на эту тему, рассказал о своих отношениях с Лизой. Она молча слушала, держа мою руку в своих, но не как обычно, а безвольно, словно готовая отпустить в любую секунду. Я же наоборот, рассказав ей все, испытал облегчение.

– Я прощен?

– Она не вернется больше к тебе? – она смотрела прямо на меня со своей обычной виноватой улыбкой.

– Никогда.

– Тогда прощен.

Ее рука снова ожила, она слегка пожала мою. Положила голову мне на плечо.

– Ты часто ходишь в церковь? – спросил я, чтобы переменить тему.

– Когда есть потребность, тогда и хожу.

– А давно?

– Я начала ходить после школы.

– А с чего это у тебя началось?

– С чего? В моей жизни были два случая, после которых я уверовала. Точнее, уверовала после второго, но с первого я как бы обратила внимание на то, что есть Бог.

– Какой был первый?

Она помолчала, потом начала:

– В классе восьмом или, может быть, даже в девятом, наша учительница по физике – Виктория Викторовна – Виквик, мы ее так звали, оставила меня переписывать контрольную. Сначала объяснила ошибки, а потом дала новое задание. Я сидела за своей партой, а она сидела прямо напротив меня за столом и проверяла что-то. Потом в класс зашел наш учитель истории Игорь Львович. Он был чуть постарше ее, но такой моложавый. Мы знали, что он за ней приударяет. После уроков они, бывало, стояли перед школой и подолгу разговаривали. И вот он подсел к ней, и они стали о чем-то говорить. Но я не слушала, пока не услышала «Иисус Христос». И он ей стал говорить, что-то вроде того, что де ваш Иисус, Викочка, он ее так назвал, Викочка, был простым историческим персонажем и верить в него, все равно, как верить в Чапаева. А она ему ответила, как-то так: «Вы, Игорь Львович, – образованный и начитанный человек, но вот вы можете мне объяснить, в чем суть теории относительности?» Он сперва засмеялся так, а потом говорит: «Сейчас не припомню». А она ему: «Ну, а хоть как реактивный двигатель действует, знаете?» А он ей: «Ну, переходите к делу, мучительница, что вы хотите сказать?» «В этом главная проблема таких предметов, как математика, физика и химия, – отвечает она. – Не только простому работяге, но и вполне образованному гуманитарию трудно объяснить некоторые аспекты эволюции. Сколько бы миллиардов лет вы ни отпустили на эволюционные пробы и ошибки, некоторые вехи развития жизни кажутся предопределенными. Не история общества, а история электронов, ядер, клеток развивалась по совершенно грандиозному плану, который не мог зависеть от случайностей. Идея Бога настолько грандиозна и сложна, Игорь Львович, что донести ее до простого люда можно только через сказку с персонажами, в которых вы, историк, хотите видеть исторические фигуры. Но переведите сюжет этой сказки на язык формул, и вы получите тот единственный механизм, по которому жизнь способна поддерживать себя. В начале было слово, верно? Но слова без мысли нет, стало быть, существовал некий мыслящий создатель вселенной. «Да будет свет!» – сказал этот инженер-конструктор, и произошел взрыв праматерии, из которого он, как из кубиков, начал создавать вселенную со звездами, планетами, водой, всякой живностью и, создав ее, он начал строить общество, способное поддерживать себя и развиваться при соблюдении простых правил: не убивать, не воровать, не соблазнять соседских жен...»

– И это ты, восьмиклассница, все запомнила?! – поинтересовался я.

– Ну, конечно, я это не запомнила! – Она засмеялась. – Просто этот разговор был таким серьезным, они так много вкладывали в каждое слово! Я была свидетелем чего-то невероятно интимного, тайного, такого, что не должно принадлежать другим. И я так часто возвращалась в мыслях к этому разговору, что я его как будто придумала заново. Но я уверена, что говорили они именно об этом.

– Ну, а он что ей ответил?

– То, что он сказал, я запомнила на всю жизнь. Слово в слово. Даже интонацию запомнила. И тут я уже ничего не сочинила.

– Ну, не томи, что же он сказал?

– Он сказал: «Вика, я люблю тебя, и я готов послать к чертям абсолютно все, чтобы только быть с тобой».

– Вот так научная дискуссия! А она, что ответила?

– А она ответила: «Не моего ли мужа, Игорь Львович, вы хотите послать к чертям? Больше, как я понимаю, вам посылать некого».

И после этих слов он встал и вышел из класса, а она посмотрела на меня и говорит: «Не отвлекайся на пустяки, Наташа, дописывай и пойдем по домам».

– А второй случай?

– Второй был сон. Я никогда не видела таких снов. Это был, знаешь, просто контакт с другим миром. Я была на пляже альпинистов в Аркадии, знаешь?

– Да.

– Я стояла у воды, и рядом со мной стояло кресло-качалка. В нем сидел очень старый человек. Я не видела его лица, только видела его лысую голову. Знаешь, такая у него была старая кожа, как пергамент, с коричневыми пятнами и редкими-редкими белыми волосами. А море было спокойным-спокойным, и этот человек как будто дремал. И вдруг о берег стали бить волны. Сперва небольшие, потом огромные. И они ударяли с такой силой, что на нас полетела пена. И эта пена стала попадать на лысину этому старику. И вдруг я увидела, что его кожа от этой пены становиться розовой и коричневые пятна исчезают. В этот момент я услышала, как кто-то стал кричать мне: «Не ходи к нему! Не ходи к нему!» Я оглянулась и увидела, что железные ворота склада, где альпинисты хранят свои вещи – помнишь, там в стене есть такая пещера и она закрыта воротами? – открыты, и там в полумраке стоят мой папа, мама, и его вторая жена, и моя сестра, и еще какие-то люди, и это они кричат мне: «Не подходи к нему! Иди к нам!» И они просто в ужасе. А меня неуклонно тянет к этому старику. И вдруг я вижу, что он уже не старик. Что эта пена так омолодила его, что он превратился в очень мускулистого человека, лет, может быть, 35. Он такой большой, настолько выше меня, что я просто боюсь посмотреть на него. И я вижу, как он руками очерчивает в воздухе что-то вроде квадрата, и на земле перед нами появляется квадратная площадка. И он показывает рукой, что мы должны встать на нее. И мы встаем на нее, и он придерживает меня за плечи, а я приникаю к нему. Площадка начинает подниматься, и скоро мы оказываемся в ночном небе. Вокруг нас сияют звезды, и я слышу его голос: «В начале было слово». И когда он сказал это, я проснулась с полной уверенностью, что Бог есть и что это Он говорил со мной.

Справа за окном трамвая тянулись пустыри, поросшие высоким бурьяном холмы не то мусора, не то выгруженной строителями рыжей земли. Из нее торчали обломки бетонных плит и труб, ржавые прутья арматуры, доски. Вдали виднелись серые дома новостроек. Мы были где-то в районе Седьмой станции Черноморки.

– И после этого я стала ходить в церковь. Вот и все. А ты? Для тебя Бог есть?

– Есть, – сказал я не очень уверенно.

– А как ты узнал о Нем?

– Когда я был в 10-м классе, мне попал двойной диск «Иисус Христос Суперзвезда». Все тогда его пели, даже с русскими словами. Помнишь это:

«Наш колхоз, наш колхоз,

Выполнил план по надою коз!»

Именно из этой рок-оперы я узнал сюжет евангельской истории. А как еще я его мог узнать? Потом в университете у нас был семинар по атеизму и кто-то принес Библию. И я попросил ее на ночь почитать. Или на выходные. И я просто листал ее и, знаешь, ничего меня особенно в ней не трогало. Потом ко мне пришли товарищи, и мы подкурили плана и слушали какую-то музыку, а потом, когда они ушли, я снова стал просматривать эту Библию и наткнулся на Книгу пророка Ионы. Она была совсем короткой, и когда я дочитал ее, я просто расплакался. Потому что вся эта история была просто гениальной. Помнишь, как Бог сказал Ионе пойти в Ниневию и сказать ее правителю и жителям, что если они не покаются за свои грехи и не исправятся, то Он накажет их? В смысле убьет. Но Иона попытался скрыться от Бога, потому что он знал, что Бог их потом все равно пожалеет, и получится, что он, Иона, напрасно бросил все свои дела и потащился в такую даль. И этот Иона стал прятаться от Бога, а Тот его все время находил. И Он нашел его на корабле и наслал на него страшный шторм. Ионе стало так неловко перед моряками за то, что это из-за него им грозит гибель, что он попросил их выбросить его за борт. И те послушали его, а в море его проглотила рыба. И тогда он взмолился о помощи, и Бог спас его, но при условии, что тот, все-таки, выполнит его поручение. Наконец он пришел в Ниневию и стал проповедовать, чтобы ниневияне исправились, иначе Бог их всех погубит. И неожиданно те послушались его, благодаря чему у Бога отпала надобность наказывать их. Тогда Иона ужасно расстроился – он же знал, что именно так все и будет! И тогда Бог преподал ему урок. Когда Иона сидел на солнцепеке на околице Ниневии, Бог вырастил возле него куст, и Иона укрылся в его тени. А Бог подсадил в куст какого-то червяка, который его подъел, и куст увял. Иона чуть не заплакал. Тогда Бог спросил его: «Жалко тебе этого куста?» Иона ответил: «Аж до смерти жалко!» А Бог ему тогда сказал: «Смотри, ты этот куст не сажал и не растил, а тебе его жалко. Как же ты хочешь, чтобы я уничтожил своих людей? Мне же их тоже жалко!» И знаешь, это была первая книжка, первое, я имею в виду литературное, произведение, где так просто и ясно было показано душевное несовершенство человека. Иона спас целый город, но он был страшно раздосадован тем, что Господь оторвал его от всех его дел и послал в такую даль! Он же мог найти кого-то жившего поближе к Ниневии! Ты понимаешь – человек поставил знак равенства между своими удобствами и жизнью целого города! И все равно этот человек мог рассчитывать на прощение, ему только нужно было покаяться и осознать, что он грешил. Ты понимаешь?

Она не ответила, ее голова лежала на моем плече, и она крепко сжимала мою руку. Краем глаза я видел, как у нее по щеке сбежала тонкая дорожка слезы. В этот момент она, вероятно, видела этого бедолагу Иону под увядшим кустом, плачущего от бессилия перед властью и могуществом Бога, который использовал его только для того, чтобы преподать урок покаяния и любви будущим читателям Ветхого

Завета. Через четыре тысячи лет, сидя на пластиковых сиденьях катящего между пригородных пустырей и новостроек электрического трамвая, мы ощущали любовь, роднившую нас с Богом.

Вы вышли на 9-й станции Черноморской дороги, и трамвай, подергиваясь из стороны в сторону и выпуская из-под колес зелено-голубые искры, укатил за поворот и затих там. Мимо старого, построенного из ракушечника павильона станции, мимо продовольственного магазина, где серая фанера заменяла выбитые стекла витрин, мимо утонувших в садах домиков мы пошли в сторону моря. По переулку, заросшему по обеим сторонам высокими кустами и деревьями, мы вышли к высоким железным воротам монастыря.

– Литургия только началась, – сказала Наташа негромко, когда мы вошли в храм. Молодой священник с ярко-каштановой бородой сошел с амвона и, раскачивая дымящим кадилом, пошел вдоль стен, останавливаясь у больших икон. С десяток прихожан поворачивались на месте, чтобы оставаться все время лицом к нему. Служба длилась часа два, за которые я изрядно устал стоять. После службы Наташа подошла к женщине у свечного ящика и попросила позвать священника. Тот появился в черном подряснике и выслушал нашу просьбу о том, чтобы отслужить заупокойный молебен.

– Почивший – ваш родственник? – спросил он.

– Нет, знакомый.

– Крещенный?

Я пожал плечами.

– Если он не был крещен, мы не можем отпевать его, вы понимаете? Он мог быть другого вероисповедания.

Только тут я вспомнил, что он был буддистом.

– Он давно почил? – поинтересовался священник

– С неделю. А может больше, трудно сказать.

– Почему трудно?

– Он покончил с собой и лежал какое-то время. Пока его не нашли.

– Господи Иисусе, помилуй мя,– сказал негромко священник, крестясь. – Вы поймите меня правильно, я не уклоняюсь от своих обязанностей, но не отпевают самоубийц, да еще если не знают, какого они были вероисповедания.

– На небесах своя бюрократия, – заметил я. – Тоже наши-не наши.

– Молодой человек, – священник взял меня за руку и повел из храма. – Господь не лишает вас права молить о спасении душ самых больших грешников, в том числе атеистов, иноверующих и даже самоубийц. Ваша личная искренняя и горячая молитва может дойти до Господа так же, как молитва любого священника. Господь дает вам удивительную возможность обратиться к нему прямо, без какой бы то ни было бюрократии.

Женщина, стоявшая раньше у свечного ящика, выйдя из храма, встала к нему лицом, перекрестилась и, сделав поклон, пошла к воротам. Дверь из толстых досок затворилась, и слышно было, как лязгнул закрывающийся засов.

– Ну, что, – спросила Наташа, – будешь молиться за него?

– Я только «Отче наш знаю». Это подойдет?

– Если ты хочешь попросить о чем-то очень личном, ты должен придумать свою молитву. Очень простую: Господи Иисусе, прошу тебя о том-то и том-то. А когда ты говоришь «Отче наш» или «Верую», ты как бы настраиваешься на нужный лад для серьезного разговора.

– Типа, как по телефону: «Але, на проводе!» а потом, когда там ответят, ты переходишь к делу, так?

– Типа, – ответила она, улыбаясь.

Часть третья
Stairway to Heaven

Глава 31

Стоило мне оборвать отношения с газетой и со всеми ее смежниками, как жизнь начала налаживаться. Меня даже полюбила девушка моей мечты. У Лизы были страсть и опыт, о природе которых лучше было не думать. Наташа была нежна и, кажется, получала все удовольствие от того, что ее нежность была обращена на меня. Она заставляла меня, не нарочно конечно, обращать на это внимание и чувствовать себя обязанным ей. Перед тем, как скользнуть в постель, она подходила на минутку к небольшой овальной иконке Богородицы в медном окладе, которую она устроила на подоконнике, и я слышал в ее шепоте свое имя. Эта молитва была похожа на быстрый разговор с дальними родственниками, которым она отдавала дань вежливого внимания, но на чью помощь в случае надобности могла положиться. Перекрестившись, она забиралась в постель, прижимаясь ко мне всем телом, словно для того, чтобы слиться со мной, стать одним целым.

Один раз я столкнулся на Садовой с Надеждой Григорьевной. Я поймал себя на постыдной попытке отвести взгляд в сторону, сделать вид, что я ее не заметил.

– Митя, ну что вы, не бойтесь, я же вам только добра желаю! – остановила она меня, явно поняв мое намерение.

Я не знал, что отвечать, а она, взяв меня за руку и щурясь на солнце, говорила:

– Митя, я же вас не осуждаю. Сейчас время такое, я все понимаю. Когда поженитесь – тогда и поженитесь. Вы только не бросайте ее, ладно? А то будет, как я – всю жизнь одна маяться. А если еще с ребенком? Это такая, я вам скажу, сиротская доля, что и врагу не пожелаешь, вы меня понимаете?

– Ну, что вы, Надежда Григорьевна, – промямлил я. – Конечно, я все понимаю.

– И вы не стесняйтесь меня, – продолжила она. – Вы мне всегда нравились, Митя. Так что заходите ко мне когда-никогда. Я не считаю, что вы ее у меня отобрали, просто совсем одной не хочется оставаться. Хорошо?

Я кивнул.

– Ну, будьте здоровы, – добавила она и, пожав мне руку, пошла дальше.

Глядя ей вслед, я подумал, как она не подходила по внешним параметрам Наташиному папаше: маленькая, сухая, невзрачная, с какой-то потертой кошелкой через руку. Что он мог в ней найти? Или в молодости она была другой? Или он был другой? А может быть, просто с голодухи набросился, а потом очухался?

Когда я уволился, у меня было около 200 рублей. Когда Наташа стала оставаться у меня, я начал ходить на базар, где внезапно обнаружил, что стоимость продуктов растет просто от недели к неделе. Я стал платить за билеты на концерты, на которые раньше проходил со служебного входа. Через две недели у меня осталось 50 рублей. Я продал Климовецкому за 40 рублей T.Rex – Electric Warrior, который он давно просил у меня. Придя за диском, он сразу попросил поставить ему Bang a Gong. Песня прозвучала отлично, но следующую дорожку я уже слушать не мог и сделал совсем тихо, остерегаясь, что Миша разочаруется в пластинке. Этого, к счастью, не произошло. Он ушел от меня счастливый, прижимая к себе свое сокровище. Оставшись один, я стал перебирать диски, прикидывая, какие еще могу продать, перед тем, как найду новую работу. Но идти на сходку не хотелось. По словам Миши, последний раз она собралась где-то на поселке Таирова, где ее разбомбили уже не менты с дружинниками, а какие-то местные бандюки, явившиеся туда, как утверждал Миша, с «волыной». Как я понял, у них был обрез. Не исключаю, что это был кто-то из вошедших во вкус пэтэушников, набравшихся опыта, злости и аппетита во время предыдущих, санкционированных комсомольцами, облав. Мне оставалось только обзванивать знакомых дискоболов. Мой план прожить спокойно хотя бы месяц трещал по швам. Я был готов взяться за что угодно, только чтобы в один прекрасный день не сказать Наташе, что у меня кончились деньги. И в то же время какая-то необъяснимая сила удерживала меня от того, чтобы устраиваться на работу грузчиком.

Когда Наташа уходила на работу, я стал ездить на Плиты. Народу было немного. Студенты уже вернулись на занятия, курортники разъехались. Сперва я не узнал окликнувшего меня научного сотрудника, который наставил рога Наташиному папаше. Он был в очень узких красных плавках «Спидо» и в узких черных очках.

– Дмитрий? – он, кажется, не был уверен, что запомнил, как меня зовут.

– Анатолий? – я тоже не был уверен, что помню его имя, но, судя по всему, ни он, ни я не ошиблись. Я поднялся со своего полотенца, и мы обменялись рукопожатием. Рука у него была большая и крепкая. Он вообще был крепко сбит, мышцы рельефно очерчены, как у человека, с детства занимающегося спортом.

– Ну, как там баланс общества? – спросил я.

– Партийную прессу можно считать зеркальцем у губ политической системы. Если вы еще пишете, значит, кто-то эту музыку заказывает.

– Уже не пишу!

– Вот как! А почему?

– Уволился.

– А по какой причине, если не секрет?

– Долгая история. Решил жить не по лжи.

– Это похвально. А чем заниматься планируете?

Я пожал плечами.

– Если честно, то просто не знаю. Прожигаю остатки сбережений, но открыт для любых предложений.

– Слушай, идем сядем на мою подстилку, – он перешел на ты. – Может быть, нам с тобой будет по пути.

На его подстилке нимфа в сомбреро со свернутыми по бокам полями и в больших солнцезащитных очках читала книгу. Когда он представил нас – Вика – Митя, – она молча кивнула и продолжила чтение.

– Слушай, я тебе, кажется, говорил, у меня кооператив, – он закурил и отмахнул дым от лица. – Шьем джинсы для народов Зауралья. На нас работает группа швейников. Они все – надомники. Кто-то должен собирать продукцию и свозить в одно место. И не просто собирать. Нужно на месте проверять качество работы, отбраковывать халтуру. Назовем этого человека инспектором и кассиром в одном лице. Он работает с водителем. Проверил продукцию, рассчитался, вручил портному новую порцию материала, поехал к следующему. В конце дня все это барахло надо отвезти на склад. Есть вакансия.

– А какая зарплата?

– Зарплата зависит от выработки. Чем больше точек ты успеваешь объехать, тем больше ты получаешь в конце смены.

– Ну, а сейчас на что я могу рассчитывать?

– Опытный мастер делает десять единиц в день. Ты получаешь 25 копеек с каждой.

Это прозвучало ужасно.

– Можно будет сказать, что я работаю на копейки.

– Ну, давай подсчитаем. Допустим, у тебя десять точек по городу. В каждой ты собираешь 10 пар, итого – 100 пар. 100 пар это 25 рублей. За пятидневку 125 рублей. За месяц – 600. Допустим, на браке ты потеряешь сотку, все равно у тебя останется полштуки. Сколько ты получал в газете?

– Двести, – соврал я.

– Так где ты получал копейки?

Считал он, конечно, лучше меня.

– Почему я? На эту работу ты можешь найти кого угодно.

– Это так. И я думаю, чем дальше в лес, тем длинней будет очередь. Но, когда речь идет бабках, желательно работать с людьми, которым ты доверяешь. Это – раз. Два – не хочется работать со жлобами. Ну, так по рукам?

– Какие у тебя есть основания доверять мне? – спросил я. – Ты меня не знаешь.

– Интуиция.

– Ну, давай попробуем.

Он подвинул к себе сложенные на подстилке джинсы, это были голубые «Ли Купер», достал из заднего кармана толстый бумажник, извлек из него два фиолетовых четвертака и положил передо мной.

– Это – аванс.

Кооператив занимал подвал в пятиэтажке на улице Терешковой. В комнате, которая когда-то была красным уголком ЖЭКа – на двери еще оставалась красная с бронзовыми буквами табличка, – собирались сотрудники Анатолия. Они это место называли Базой. Моим инструктором стал высокий, худой и очень рыжий парень – Марик. Он работал последние дни на маршруте, который Толик решил передать мне. Мы должны были провести это время вместе, чтобы я познакомился с мастерами и вник в работу.

У тротуара возле базы нас поджидали белые «Жигули».

– Это – Федя, – сказал Марик, садясь на заднее сиденье и кивая на водителя. – Федя, это – Митя, с понедельника он будет ездить с тобой.

Очень грузный водитель тяжело повернулся ко мне и с усилием протянул короткую руку с такими же короткими пальцами.

– Я не Федя, я – Игорь.

Заведя мотор и поглядывая на Марика в зеркальце заднего обзора, спросил:

– Куда сначала?

– Давай начнем с Таирова, мне надо с полчаса, чтобы объяснить кое-что Мите.

К тому времени, когда мы добрались до последних высотных домов на Таировском массиве, Игорь прочел мне краткий курс контроля за качеством самопальных джинсов. Достав из пластикового пакета образец своей продукции, он сказал:

– Значит так. Если ты сам носишь нормальные джинсы, а на тебе я вижу нормальный «левис», ты в целом понимаешь, что его отличает от самопала. Первое и самое главное – ткань. У нас такой ткани нет и не будет. Поэтому этот вопрос мы даже не поднимаем. Второе – нитки. Левисовская нитка толстая и ворсистая. У нас таких ниток нет и не будет, поэтому мы этот вопрос тоже снимаем. У нас нет добротно сделанной фурнитуры: пуговиц, заклепок и змеек. У нас также нет двухигольных машин, которые дают параллельные строчки. Что у нас есть? У нас есть четко разработанный технологический процесс и квалификация портного. Ему дается ткань, нитки, фурнитура и выкройка. Его задача – собрать изделие без ошибок. Какие ошибки допускаются чаще всего? Портные не всегда соблюдают длину стежка. Стежок должен быть два миллиметра ровно. И они должны строчить двойные строчки абсолютно параллельно. Между строчками должно быть четыре миллиметра и ни на йоту больше или меньше. Вот, как на твоем «левисе». Скрепки, вот это скрепка, он показал пальцем на скрепку на моей ширинке, должны быть ровно миллиметр в ширину и шесть-семь в длину. И эти параметры должны соблюдаться везде:

на задних карманах, на передних, на ширинке, на шлевках. Когда мы начали это дело, с нами работали всего двое портных. Это были самые первые самопальщики, которые еще десять лет назад покупали на толчке настоящие джинсы больших размеров за копейки и перешивали их на ходовой 46-й или 48-й размеры. Очень хорошие ребята, ты с ними еще познакомишься. Они знали такие трюки для имитации оригинала, что мы не представляли, что до такого можно додуматься. Но когда рынок потребовал больше товара, мы стали иметь дело с людьми, которым нужно давать четкие инструкции. Некоторые быстро соображают, и мы их даже особенно не проверяем. Но есть такие, с которыми надо работать. И есть полные кретины, которых приходится терять. От тебя ничего не требуется, кроме внимания. Ну и воровать не надо.

– Я буду сдерживаться, – пообещал я.

Мы провели весь день в переездах с квартиры на квартиру, побывав после Таирова на Черемушках. Еще одна группа работала на поселке Котовского, но их обслуживал другой контролер. Достав из багажника сумку с тканью, мы заходили в квартиры мастеров. В некоторых не видно было даже следов шитья, в некоторых все было завалено лоскутами, нитками, готовыми вещами и раскроенной тканью. У одних оборудование располагалось в специально отведенных местах, иногда в отдельных комнатах, у других машины стояли на кухонных столах, а оверлоки – на табуретах. Некоторые, впустив нас к себе, отдавали Марику сумки с уже готовыми и упакованными джинсами прямо в прихожей, другие просили посидеть и подождать, пока они закончат. Они сами или кто-то из их домашних приносил нам чай, кофе или предлагал покурить или посмотреть телевизор. У одних мастеров Марик брал товар не проверяя, у других тщательно рассматривал каждое изделие, показывая мне места, где строчки могли разойтись или сойтись. Он возвращал их на переделку. Одни швейники принимали критику молча, некоторые возмущались. Перед посещением одного такого Марик сказал Игорю:

– Федя, сейчас если я не сдержусь, я тебя вызову накостылять ему. Приготовься.

– А че тянуть, – ответил тот. – Давай я ему сразу по шее дам. Профилактически. Я этого Женю видел. Чистый гандон.

Впечатление чистого Женя не производил. Он был весь из вмятин, бугров, недостающих зубов, растрепанных волос, несрезанных ногтей.

Рассматривая состроченные им джинсы, Марик повернулся ко мне и сказал:

– Смотри, как он пришивает шлевки. Такое надо возвращать. Он должен аккуратно отпороть эту шлевку, чтобы не разрезать пояс, и на это же место пришить новую. Старую пусть выбрасывает. Она не должна выглядеть мятой. Но если он сделает дырку на поясе, пусть переставляет весь пояс, понятно?

Все это было сказано в присутствии Жени.

– А что я могу сделать? – сказал Женя с очень оскорбленным видом. – Шлевка в четыре слоя и пояс в два слоя. У меня машина столько не берет. Ты знаешь, сколько я иголок погнул?! Кто вообще будет смотреть на эти шлевки?

– Я буду смотреть, – ответил Марик. – И я тебе объясню, что ты должен сделать, чтобы не ломать иголки.

– Ну, что?

– Перед тем, как пришивать шлевку, в том месте, где будет закрепка, пробей ткань пару раз шилом. Она станет мягче. Или просто прострочи пару раз материал туда-сюда без нитки, чтобы он стал реже. Понял?

– А когда же я буду шить, если я буду эти шлевки без ниток строчить?

– Ты можешь сделать проще. И я тебе уже сто раз говорил как. Надо купить машину 22 класса. А ты хочешь зарабатывать на мамином «Веритасе». Это машинка для ситцевых платьев, а ты работаешь с проклеенной тканью.

Марик еще раз пересмотрел все джинсы и пар пять отбросил на кровать.

– Шлевки везде переделаешь. На трех верхних шов-сиденье тоже на соплях держится. Распорешь, аккуратно оверлочишь и состроч ишь снова. Игла не берет сразу, проходи это место предварительно шилом, только аккуратно. Ткань я тебе больше не оставляю. Заберу завтра вечером эти, тогда дам новый заказ. Все.

– Та оставь еще хоть пар на пять. Я эти сегодня вечером закончу. А те – завтра утром.

– Я должен видеть, как ты сделаешь.

– Чувак, ты же меня денег лишаешь!

– Женя, ты что, совсем тупой? – Марик начал закипать. – Ты что не понимаешь, что мы тоже на тебе теряем? И время, и деньги! Вот я здесь стою с тобой и выясняю отношения, а меня другие люди с готовым товаром ждут. Ты что, этого не понимаешь? Если я не получу завтра аккуратной работы, можешь сдать машинку маме, понял?

Марик очень ловко сложил в сумку прошедшие контроль джинсы, потом достал из кармана смотанные в трубочку деньги, снял с них резинку и отсчитал пять десяток.

– Пиздячишь тут, – заметил Женя.

Лицо у него покрылось красными пятнами.

– Пиздячат в шахте, – ответил Марик. – А тебе надо всего-навсего делать ровные строчки.

В машине я ему сказал:

– Этот Женя – здоровый конь, ты не боишься, что он мог тебе вломить?

– Я ему плачу деньги, как он мне может вломить? И потом у нас есть Федя, который задушит медведя. Правильно, Федя, я говорю? Наша проблема в том, что все они живут и работают в разных местах. Если бы собрать их под одной крышей, представляешь, сколько можно было бы сэкономить? На всем: на бензине, на общении с такими вот идиотами, на учебе, на контроле.

– А почему нельзя их собрать в одном месте?

– Власти бздят. Для них кооператив, это когда Вася, васина жена и теща сидят у себя на кухне и лепят вареники. А когда ты посадишь в один цех человек сто, это уже конкуренция их сраному объединению Воровского. Получается, что они нам дали работу, а мы убили их фабрику. Вот и выходит, с одной стороны вроде все можно, а с другой – ни хрена нельзя.

– А подмазать?

– Да уже что хочешь делали! И бабки давали, и жен партийных трахали, пока не получается, надо ждать.

– Трахали партийных жен? – я не поверил своим ушам.

– А что, тоже хотят счастья в личной жизни.

Я не стал спрашивать, о каких именно женах шла речь. Прощаясь, он сказал:

– Поездишь со мной еще два дня. Больше не смогу быть с тобой. Мне уезжать надо. Потом сам.

– А куда ты едешь?

– За тканью. Это проблема номер один. Казалось бы, что за сложность делать джинсовку? Ни хрена! Баллистические ракеты делают, а джинсовку нет!

– Ты еще не знаешь, как эти баллистические ракеты стреляют, – заметил я.

Он расхохотался.

– Слава богу, не довелось проверить. А то бы точно получилось, что мы по ним будем мазать, а они по нам попадут!

Я вернулся домой в девять. На столе лежала записка от Наташи: «Ждала я тебя ждала, ждала-ждала и ушла жить домой к маме. Но ты не надейся, завтра вернусь!»

Я так устал за день разъездов, что, приняв душ, в очередной раз холодный, тут же лег. Засыпая подумал, что завтра ей, вероятно, придется тоже уйти домой к маме, не дождавшись меня. Распорядок жизни менялся.

Глава 32

Старая присказка о том, что деньги даром не дают, обрела реальное содержание. Я получал вчетверо больше, чем в газете, но работа заканчивалась поздно вечером. Это происходило из-за того, что у всех портных было разное расписание. В среднем на сборку одной пары у опытного мастера уходил час. Значит, на выработку своей нормы ему нужно было десять часов. Некоторые садились за работу рано утром и заканчивали к пяти. Несколько человек, я знал, работали после своей официальной работы, заканчивая поздно ночью. У этих можно было забирать готовую продукцию рано утром. Иногда возникали сбои из-за того, что ломались машины, в основном оверлоки. Тогда надо было отвозить оборудование в мастерскую или доставлять мастера. Иногда приходилось выяснять отношения с такими, как Женя. Видя, что я веду себя не так уверенно, как Марик, он пер на меня танком, доказывая, что и так сойдет. Несколько раз я ему уступал, что вызывало недовольство нашей приемщицы Тани, которая собирала весь товар в другом бывшем красном уголке и готовила его к отправке на рынки. Несколько раз она обратила мое внимание на то, что я пропускаю халтуру.

– Митя, смотри – я отложила шесть пар, которые ты не должен был брать. Смотри сюда.

На одной паре это были неровные строчки на задних карманах, на другой – неряшливо пристроченные шлевки, на трех – шов сиденье – место, где сходились два толстых шва, восемь слоев ткани. У кого-то машина не пробивала это место, и оно было сшито вручную, не очень при этом аккуратно, а потом заглажено.

– А что нужно делать в такой ситуации?

– Добивайся, чтобы они переходили на машины 22-го класса. Я знаю, куда отправить эти пары, чтобы они проскочили, но если это повториться еще раз, тебе придется их купить самому. Носить не обязательно, ты меня понял?

Мне помог Игорь, при котором состоялся этот разговор и который знал, что у меня постоянные проблемы с Женей. В машине он мне сказал:

– Да потеряй его. От него одна головная боль, ты что, сам не видишь?

– А кто будет шить?

– Он же тебе все равно не дает стабильно десяти пар. Стабильно он дает пять. И эти бракованные, скорей всего, от него. Так давай ему пять, а остальные пять раскидай по другим портным. Если я делаю десять в день, так что, я не сделаю одиннадцать?

Не дождавшись моего ответа, он добавил:

– Хочешь, вместе к нему зайдем?

– Давай.

Женя просто как подготовился к нашему приезду.

– Мужики, – сказал он, – такая лажа – вчера у сеструхи день рождения был. Выпил, то-се, расслабился. Можете завтра заехать?

– Чего же ты не предупредил? – спросил я. – Я бы дал твою работу другим.

– А как я тебя предупрежу? У меня что, твой телефон есть?

– Зачем тебе телефон? – вступил Игорь. – Тебе ткань вчера утром дали. Тогда и надо было сказать: работать не могу.

– Да забыл я утром. А в обед мамаша пришла, говорит, у сеструхи день рождения. Ну, с кем не бывает? Завтра все сделаю.

– Завтра не надо, – сказал Игорь.

Он стоял в дверном проходе, не оставляя зазоров между собой и рамой, и жевал спичку.

– Ткань где?

– Та ну че вы, чуваки? Че вам эти пару пар, а? Сделаю я вам все завтра.

– Ткань, я сказал, где? – рявкнул Игорь и сильно покраснел. Даже побагровел.

Женя преобразился. Вид у него был такой, как если бы у него был хвост и от испуга он его поджал. Разговор происходил в прихожей. Он ушел в комнату и вернулся с еще не развернутым пакетом ткани.

– Нате! Я это говно даже не разворачивал.

– А по-моему, это ты – говно, – сказал Игорь. – И поэтому мы тебя больше видеть не хотим. И ты нас видеть не хоти. Все ясно?

Я его точно не хотел видеть. Не мог. Лицо у него было каким-то серо-фиолетовым. Он стоял, сунув руки в карманы халата, между разошедшимися полами вывалился белый живот, и медленно свыкался с мыслью, что только что потерял заработок. И винил он, конечно, не себя, а нас.

Игорь оказался прав: женину долю работы легко подхватили три других портных. И это стало для меня уроком. Теперь я постоянно варьировал число изделий, которые раздавал мастерам, в зависимости от их обстоятельств. Кто-то хотел отдохнуть или заняться какими-то неотложными делами, кто-то наоборот – заработать больше. Несколько человек придумывали свои технологии или подключали родственников на подсобную работу, что позволяло им поднять производительность. Один парень – Владик, учившийся, как и я когда-то, на инязе, пристроил к работе свою бабушку. Она заглаживала ему по меловой отметке пояса, задние карманы и шлевки.

– А она успевает? – поинтересовался я.

– Да! Она все жаловалась, что по полночи не спит. А теперь часа в четыре утра встала, чаек попила, утюжок включила и – вперед и с песней! А так говорит, лежала до света и ни сна, ни жизни. Я в восемь утра сажусь за машинку, у меня уже все заготовки сложены.

Когда я сдавал очередной отчет Толику, он заметил, что у меня стало меньше на одного портного.

– Я его потерял, – объяснил я, не зная еще, как он к этому отнесется.

– Халтурил?

– Больше половины – брак.

– А выработка, я смотрю, больше.

– Его работу взяли другие.

– Да, но выработка больше, как если бы ты взял еще одного портного.

– Научная организации труда, – вставил Игорь.

– Что ты? – на лице у Толика отразился интерес. – Ну, поделись передовым опытом.

– У нас есть два классных портных на поселке Таирова, – сказал я. – Витя и Валера.

– Витю я, кажется, знаю. Он у нас из первых. Такой белобрысый, да? Так что ты придумал?

– Они договорились и работают вместе дома у Вити. Сделали из одной комнаты настоящую мастерскую: две машины, оверлок, стол для глажки и кройки. Им помогает Витина жена. Она кроит и гладит, они только строчат. Делают 30 пар в день. Как они делят бабки, я не знаю. Меня это не касается. Но я забираю весь товар в одном месте, и они работают, как часы.

– Ты видишь, я в тебе не ошибся! – Толик вышел из-за стола. – А ты других так не можешь организовать?

– Если получится, я тебе скажу. Я сам заинтересован в том, чтобы тратить меньше времени на сбор товара.

– А зачем тебе столько свободного времени?

– Зачем?! Чтобы получать удовольствие от денег!

– Как же ты его получаешь?

– Как? В эту субботу в Зеленом театре будет выступать «Бригада С», я пойду на концерт и получу удовольствие. И после концерта получу! Я их знаю.

– А что, хорошая музыка?

Он с интересом смотрел на меня.

– Очень!

– Если ты их знаешь, пригласи их ко мне. Познакомь просто, я сам приглашу. А откуда ты их знаешь?

– Я о них писал, брал интервью. Идем на концерт, я тебя с ними познакомлю.

Когда мы с Наташей оказались за оградой Зеленого театра, я с удивлением обнаружил, что скамеек в зале больше нет, а от сцены в зал выдвинут помост.

– Митя!

Я обернулся и увидел своего босса с очередной длинноногой подругой.

Он очень быстро всех представил:

– Валерия, Наташа, Митя, я – Анатолий. Вы обратили внимание, что нет скамеек?

– Наверное, бояться, что поломают, – сказал я.

– Не думаю, – возразил Толик. – Прикинь, сколько они сюда могут продать билетов, если люди будут стоять, а не сидеть. Раз в пять больше.

Народ стекался к сцене, при этом на остальной площадке все еще оставалось много места. Там, где надо было что-то подсчитать, Толик не ошибался.

– Ну, пошли к артистам? – он посмотрел на меня вопросительно.

Мы прошли к ограде, отделявшей сцену от зала. Среди толпившихся за оградой людей было несколько музыкантов из «Бригады».

– Ну, покажи нам свои связи, – сказал Толик.

Я достал из кармана красную книжечку с золотой надписью «Союз журналистов СССР».

– Из этой организации я еще не выписался.

– Ничего, скоро тебя выпишут другие, – заметила Наташа.

– А за что?

– За неуплату членских взносов, я думаю.

Я позвал дежурного мента и, показав ему книжечку, попросил пропустить к артистам для интервью.

– А эти кто? – он кивнул на моих спутников.

– Мы все журналисты, – сказала Наташа и показала ему свое удостоверение.

– Проходите.

– Поразительно, – сказал Толик. – Все-таки корочки еще не потеряли своей первозданной ценности!

Гарик встретил нас, как старых знакомых.

– По 30 капель для смелости? – предложил Толик.

Он открыл висевшую через плечо сумку и достал из нее бутылку коньяка и несколько стопок.

– А че, можно! – сказал Гарик.

Мы оставались с музыкантами, пока их не вызвали на сцену, договорившись, что после концерта все поедут к Толику.

«Бригада» была в ударе. Гарик появился на сцене в синем габардиновом костюме, белой рубашке и пестром галстуке. Исполняя «Бродягу», он начал раздеваться.

– Брад-дяга! – кричал он, а толпа, окружавшая помост, орала и свистела от восторга. У нескольких парней на плечах сидели девушки. На видеоклипах им еще полагалось снять футболки и махать ими в воздухе. Духовая секция в клоунских ботинках притопывала в такт тяжелому ритму.

– Брад-дяга! – кричал Гарик и сбрасывал пиджак.

– Па-п-пара! – вторили ему духовики, аудитория свистела, как стая соловьев.

– Брад-дяга! – он развязал галстук и тоже отшвырнул в сторону.

– Па-п-пара!

Свист и духовые раздирали воздух.

– Какая странная судьба! – он расстегнул рубашку и отбросил, обнажив белый торс.

Свист и духовые, свист и духовые.

– Брад-дяга! – сбросил один ботинок.

– Какое странное призванье! – отбросил второй

Когда он начал расстегивать брюки, в аудитории началась настоящая истерика. Я подумал, что начальству пора выключать свет и разгонять артистов с публикой. Но менты стояли в отдалении, не вмешиваясь в происходящее. Кто-то наверху, видимо, поставил знак равенства между футбольными болельщиками и поклонниками новой эстрады, фанами, как они себя называли.

– Неплохо, да?! – крикнул я Толику.

В отчет Толик показал большой палец – люкс! На его обычно бесстрастном лице был написан восторг.

Его подруга держалась за него обеими руками, глаза у нее светились от счастья. Она явно была из тех, которые выросли на отобранных редакторами ОМК образцах передовой западной музыки, типа Modern Talking, Пупы, Друпы и Челентаны. А тут перед ней просто открылся новый мир.

Когда мы с Наташей появились в доме моего босса, гулянье уже шло полным ходом. В комнатах было многолюдно, стол в гостиной уставлен закусками, водкой, коньяком, вином. На стереосистеме гремел Eurythmics.

Sweet dreams are made of this – пела Леннокс – You and me are disagreed.

Нас встретил Марик, веселый и уже слегка покачивающийся от выпитого.

– Здесь сегодня практически весь коллектив, – сказал он. – В смысле кооператив. Я вас познакомлю с парой очень интересных ребят.

Когда мы вошли в комнату, по телеку шел Live Aid, но звук с видика был запущен на усилитель. Эни Леннокс сверкала черными лакированными брюками, Дэйв Стюарт черными очками. Я пошел взглянуть на аппаратуру. У Толика была дэка и усилитель Nakamichi. Я много слышал об этой фирме, но никогда не видел. Дэка CR-5 выглядела грандиозно – электронный счетчик, флюоресцентные индикаторы уровня сигнала, кнопки, ручки, супер-дизайн. У него была такая же, как и у меня, вертушка Technics MK 1300, и большие колонки Sansui. Появившись у меня за спиной, Толик спросил:

– Нравится? Лучше этой дэки только семерка, но никто не хочет привозить.

– А сколько она стоит?

– Эта стоит штуку капустой, а семерка – две. Но говорят, это – чисто космический корабль.

– За такую сумму можно взять хорошую тачку.

– Я готов дать, сколько попросят. Но у студентов просто нет бабок, чтобы купить ее там, у моряков – тем более. А кроме них просить не у кого. Дашь им две штуки с собой, они потеряются. Усилок – нормальный, лучше не будет.

– Я знаю лучше, – сорвалось у меня.

– Что-о? – Он скептически поднял бровь. – Чувак, это лучшая аппаратура в этом городе. Лучше нет.

– Есть. Причем нашего производства.

На его лице отразилась досада в связи с моим непониманием вопроса. В этом отношении он ничем не отличался от Юрия Ивановича. Наше – значит худшее. Впрочем, я был сам таким. Все мы были такими. Просто Кащей был исключением.

– Ладно, потом поговорим. Но я запомнил, что ты мне сказал.

– Не забудь! – я был бы счастлив познакомить его с Кащеем. – Пусть бы открыл еще один кооператив, по производству стереоаппаратуры.

В этот момент кто-то остановил музыку, экран погас. Гарик, выключивший видик, сказал:

– Ребята, ну что вы в натуре слушаете? Это же самые натуральные образцы деградирующего западного искусства.

Кто-то засмеялся, предвкушая представление.

– А между тем, в вашей солнечной Одэссе, жил потрясающий артист, который мог бы еще дать форы всем этим «Юритмиксам» и прочей буржуазной шушере. Но вы предпочитаете эту шушеру! Мне стыдно за вас! Но сейчас мы исправим эту ошибку подручными средствами и наставим вас на путь нашего истинно народного искусства. Гитара тут есть?

Со звоном и стоном появилась гитара и, сменив пару-другую рук, устроилась на колене у артиста. Тот перебрал струны, покрутил колки и, взяв несколько первых резких аккордов, запел хрипловатым тенорком:

Одэсский порт в ночи простерт,
маяки за Пирэсыпью светятся,
тебе со мной и мне с тобой
здесь в порту интерэсно бы встретиться!

Кто-то из его ребят начал стучать по сиденью табурета, кто-то начал постукивать вилками по краю бокала, ритм ожил и потек-потек, обвиваясь вокруг его голоса:

Хотя б чуть-чуть со мной побудь,
Ведь я иду в кругосветное странствие.
В твой дальний край идет трамвай,
Весь твой рэйд до 16-й станции.

Махнешь рукой, уйдешь домой,
Выйдешь замуж за Васю-диспетчера,
Мне ж бить китов у кромки льдов,
Рыбьим жиром детей обеспечивать.

Я не поэт, и не брюнет,
И не герой – заявляю заранее.
Но буду ждать и тосковать,
Если ты не придешь на свидание.

Я смотрел на собравшихся и не верил глазам. Они улыбались, девушки прихлопывали каблуками, прищелкивали пальцами в такт музыке, им это нравилось, как нравилась выступавшая до Гарика Эни Леннокс. Что было в этой старой утесовской песне? Время от времени она звучала где-то на периферии нашего слуха, но ей словно не хватало электричества, чтобы зажечься самой и зажечь аудиторию. В чем было дело? В словах, таких обыденных и начисто лишенных всякой экзотики, или в том, что никто не наполнил их тем содержанием, которое сделало бы их причастными к нашей жизни? Я не знал.

Шумит волна, плывет луна,
От Слободки за Дальние Мельницы.
Пройдут года, но никогда,
Это чувство к тебе не изменится!

Ему стали аплодировать, кто-то поднес стопку.

– Ребята, вы не должны слепо поклоняться Западу, – говорил Гарик. – У нас есть своя классная музыка, и мы ее вернем народу! Мы добьемся того, что он еще будет ей гордиться!

Он снова взял несколько пробных аккордов и заиграл:

Я милого узнаю по походке,
Он носит брюки-галифе.
А шляпу он носит на подкладке.
В ботиночках он ходит на рипах!

Это было поразительно. Все, что он только что сказал, мог бы сказать Кузнецов или кто-то из его инструкторов. Разница была лишь в том, что Гарик эту музыку знал и любил, а Кузнецов выполнял полученное свыше задание. Музыка, любая музыка, была ему до лампочки. Точно, как Гончарову. Как он тогда сказал: «Может, я вообще глухой, блядь!»

Они все были, блядь, глухими. Глухими блядьми при власти, с жутким талантом губить и душить все живое в любой отдельно взятой области. А Гарик оказался способным вдохнуть жизнь в старую песню, как Христос вдохнул жизнь в мертвого Лазаря. Талант, говорят, от Бога. Действительно, талант был божественной способностью оживлять мертвую материю.

Гарик отложил гитару, его хлопали по плечу, чокались с ним, снова гремела музыка, на этот раз – Madness – One Step Beyond.

Я слышал его хрипловатый голос: «Да нет, ребята, ну что вы в натуре, мы не против, мы за все талантливое! Но нам лично ближе наше, отечественное».

Потом гости стали прощаться, менеджер гнал их в гостиницу, рано утром они должны были улетать в Ялту. Выбравшись из толкотни гостиной, я пошел на поиски туалета. Дверь в него была заперта, и я поднялся на второй этаж. Одна из выходивших в коридор дверей была открыта. В приглушенном оранжевом свете мой босс целовался с Валерией. На нем были одни носки, на ней уже не было ничего. Одной рукой он обнимал ее за плечи, второй держал бутылку шампанского. Маленькая блондинка, усевшись у его ног, с упоением играла на его флейте. За ними еще несколько человек устраивались на широкой постели. Валерия, оторвавшись наконец от Толика, повернулась ко мне. Она была сильно во хмелю, и ей понадобилось время, чтобы навестись на резкость и опознать меня. Поманив меня пальцем, она сказала: «Так, давай или сюда или туда, а то газ выходит!» Это было так неожиданно, что я не знал, как реагировать на ее предложение. Спас положение Толик, протянув руку, он толкнул дверь, и та захлопнулась передо мной.

Когда я спустился вниз, Гарика с бригадой уже не было. Наташу я нашел на кухне с Мариком и двумя молодыми людьми – худощавой женщиной лет 30 с обильной сединой в черных волосах и парнем, который, видимо, был ее мужем – у обоих на руках были обручальные кольца.

Наташа помахала мне, чтобы я присоединялся.

– Знакомьтесь, это Митя-контролер, он же – бывший журналист. Это он нам привел «Бригаду»,

– сказал Марик. – А это – Лариса и Вадик. Помнишь, я тебе говорил о них? Они придумывают фасоны, делают выкройки и все такое.

– Ты только послушай, что они рассказывают, – добавила Наташа. – Они, оказывается, первые самопальщики Одессы! Представляешь?!

– Я был вторым, – скромно заметил Вадик.

– А когда это было? – спросил я.

– В 1975 году, – ответила Лариса.

– А кто же был первым?

– Тут был один парень – Яша Петухов, это он научил Вадика. Он потом уехал в Австралию, но не исключено, что до него тоже кто-то был.

– Расскажи им, как вы крутили большие размеры, – сказал Марик. – Человек должен знать истоки нашего бизнеса.

– Лариса, расскажи ты, у тебя лучше получится.

– Ну, смотри, – она обратилась ко мне. – Ты же видел раскроенные джинсы, да? Теперь представь себе, что это 501-й «левис». Знаешь, как он скроен?

– Очень узкий низ и ширинка на пуговицах.

– Правильно. Штанина у 501-го идет, как очень вытянутая трапеция. Там, где бедра – шире, там, где щиколотка – уже. Теперь представь себе, что какой-то дядя Фима из Америки прислал своему одесскому племяннику джинсы 56-го размера. А у племянника 44-й. Что с ними делать? Племянник несет их на толчок, но там их никто не покупает. Почему? Потому что у нас люди с такой жопой джинсы не носят! Эти джинсы можно было купить за 50 рублей. От силы за 60. Дома мы их распускали. Знаешь, как распускается нитка на джинсах? С краю поддел, и она пошла. Эту нитку аккуратно наматывали на катушку. Тонкую нитку с нижнего шва – на одну катушку, толстую – с верхнего – на другую. Теперь, смотри, у нас есть четыре четвертинки. Мы их разглаживаем и перекраиваем на 44-й размер. Только теперь мы их кроим вверх ногами. Что это дает? Там, где были бедра, мы делаем клеш 28-30 сантиметров! Но даже на 44-й размер ширины штанины в этом месте, – Лариса была в очень узеньких светло-зеленых джинсах и приложила ладонь к внутренней стороне бедра, – не хватает. Туда мы вставляем «ласточку» – клинышек. Задние карманы мы уменьшаем тоже, а передние делаем врезными под пояс, потому что у нас нет возможности и желания мудохаться с заклепками. И что мы имеем в результате? Мы имеем почти настоящий «левис» из самого настоящего левисовского материала, сшитый настоящими левисовскими нитками. За полторы сотни он у нас просто улетает. Чистый навар – 100 рублей. Две пары в неделю мы делали стабильно. Мы бы делали больше, но не было столько больших размеров. Иногда, если попадались какие-то безымянные джинсы, мы из них тоже могли сделать «левис».

– Об этом бы хорошо написать, – сказал я Наташе.

– Пока не надо! – сказал Вадик. – Есть такие читатели, которые это не оценят.

– А как вы делали нижний шов? – спросил я. – На толчке это же был первый способ проверки – если снизу шов-восьмерка, то значит это фирма.

– Это самое простое! – сказала Лариса. – В оверлоке три нитки, которые сплетаются в косичку. Ты выпускаешь метров пять этой косички, потом наматываешь ее на шпульку и пускаешь снизу. Когда верхняя ее подтягивает, нижняя выглядит как настоящая восьмерка. Для лохов, конечно, потому что специалист это видит.

– А если больших «левисов» вдруг не было? Не прислали, допустим.

– Варианты всегда были, – сказал Вадик. – Хотя были свои ограничения. Типа «Вранглера».

– И «Маверика», – добавила Лариса.

– Ну да, это же одна фирма. Они на задние карманы ставили заклепки, поэтому ты не мог ничего сделать. Если снимал заклепки, то на их месте оставались дырки. Потом они задний карман шили впритык к боковому шву, и даже если ты мог спрятать боковую дырку во время кройки, то вторая у тебя все равно оказывалась прямо в центре. А если ты их не переворачивал, а просто перешивал на меньший размер, то задние карманы на небольшом размере выглядели просто ужасно.

– Но материальчик был симпатичный, – заметила Лариса. – Настоящее индиго. У меня в девятом классе были.

– Он потом сильно посерел.

– Зато куртки стали делать классные, с боковым карманом под планкой.

– Мне вельветовые нравились больше.

Они так увлеклись, что, кажется, забыли о нас.

– Потрясающе! – сказала Наташа. – Это так интересно!

– А мне интересно, почему вы, такие умные, не можете придумать, как делать хороший материал, – сказал Марик.

– Марик, я тебе уже говорила: вы должны перестать ориентироваться на джинсу и плащевку, – ответила ему Лариса. – Надо шить из любого технического материала, на котором красиво лежит строч-

ка. Главное – стиль. Сейчас народ хочет иметь десять карманов на змейках, и он покупает эти карманы, а не ткань.

В этот момент в гостиной появилась девушка, на которой не было совсем ничего. Нетвердой походкой она подошла к столу, сделала себе бутерброд и налила в бокал вина. Громко отпив глоток, она исчезла, и мы слышали, как она шлепала босыми ногами по лестнице, возвращаясь наверх.

– Проголодалась, бедная, – заметила Лариса.

Вадик взглянул на часы и поднялся.

– Второе отделение не для семейных, так что нам пора домой.

– Можешь остаться! – сказала Лариса, тоже поднимаясь. – Ты же у меня так обделен женской лаской!

– Душа моя, – он обнял ее за плечи, привлек к себе и потерся носом о ее щеку. – Ну что ты говоришь?

Я взглянул на Наташу – она смотрела на них с упоением.

Мы вышли на улицу. Ночь была прохладной, и в воздухе уже ощущалась острая прохладца осени. Я обнял Наташу, и она прижалась ко мне. Жизнь была удивительно полноценной. Мне казалось, что добавить что-либо к тому, что у меня появилось, невозможно.

– Ребята, вас подвезти? – спросила нас из темноты Лариса.

– А вы где живете?

– Мы здесь недалеко, на Фонтане, а вы?

– А мы в городе, возле Кирхи. Спасибо, мы такси возьмем.

Когда у нас появлялось свободное время, я просил Игоря научить меня водить машину. Он был рад этому занятию. Он мне чем-то напоминал Мишу Климовецкого. Очень простой, добродушный и настроенный на то, чтобы хорошо заработать. Его добродушие гармонично сочеталось с готовностью дать кому-нибудь в глаз, если того требовал работодатель. Думаю, что при надобности он бы дал в глаз и мне. Но пока он шефствовал надо мной, и это явно доставляло ему удовольствие. Он добродушно, приговаривал «епты-шпропты!» всякий раз, когда я не успевал вовремя переключить скорость и машину дергало, или когда она глохла на светофоре, и за нами начинали сигналить другие водители. Науку вождения я освоил за неделю, и это дало непредвиденный побочный эффект. Один раз я подъехал к базе, сидя за рулем. Игорь расположился на пассажирском сиденье.

Толик с Мариком курили у входа.

– Ты водишь? – удивился Толик.

– Так у меня учитель какой! – сказал я, подмигивая Игорю.

– Получается я плачу деньги водителю, хотя мог бы и не платить. Игорь, знаешь, я наверное тебя уволю.

Игорь изменился в лице.

– Точно уволю. С этой должности, я имею в виду. Но другую какую-то найду.

Игорь дернул головой, про себя, наверное, сказав свое «епты-шпропты!»

– Мы сейчас стояли и обсуждали, что Марик не может один ездить. Нужен второй человек. Поедешь с ним?

– Можно, – ответил Игорь.

Новая жизнь словно метлой вымела из моего сознания совсем недавнее прошлое. Не сговариваясь с Наташей, мы перестали упоминать редакцию, хотя она ежедневно ходила туда. Меня невероятно увлекла новая работа, простота отношений с новыми сотрудниками, осмысленность этих отношений и особенно – быстрый и хороший заработок. Было смешно вспоминать, как я ходил в редакционную бухгалтерию, если при подсчете гонораров кто-то пропустил две мои заметки, и как, после долгих сверок и поисков, мне добавляли к зарплате восемь рублей. Сейчас у меня появились деньги, более того, у меня начали оставаться лишние деньги, и это родило мысль, которая еще недавно показалась бы мне пустой фантазией – я мог купить дом. Свой дом. Приобретение квартиры требовало многолетнего стояния в очереди, само попадание в эту очередь было проблематичным. Целесообразней было купить дом, как давно уже купили себе дома Лариса с Вадиком, Толик, другие ребята из кооператива. Раньше я думал, что в частных домах, расположенных за границей того района, который считался центром (с одной стороны – порт, с другой – ж/д вокзал), жил простой полусельский, полузаводской люд, прибавляя к заработкам доход, который им приносило подсобное хозяйство: продажа цыплята, кроликов, овощей и фруктов. То, что этот люд не очень простой, стало понятно, когда вокруг некоторых участков появились высокие заборы из новых, плотно пригнанных досок, из-за которых выглядывал пластик парников. Потом над заборами стали подниматься каменные дома, возле которых стояла своя машина, а иногда две. Сейчас я видел, что масса людей, имевших средства, приобретали частные дома, не убивая жизнь в очередях на государственную квартиру и не испытывая никакой неловкости за свой «сельский» образ жизни. Как правило, их дома были больше квартир в новостройках. Своя машина избавляла от зави-

симости от общественного транспорта. Более того, ты передвигался быстрее и с большими удобствами. Нужны были только деньги. Я открыл счет в банке, где скоро у меня появилась первая тысяча рублей. Первая в жизни. Потом вторая. Я не ожидал этого, но эти деньги меня просто окрылили. Я научился давать «сверху». На концерте «Аллегро» в переполненном зале филармонии мы сидели в первом ряду. Я купил эти билеты смеха ради, хотя в зале, где было много знакомых, чувствовал себя неловко. Я все еще помнил, что мой старый статус не позволял мне такой близости к сцене. Это были места начальников и блатных. Наташа тоже сидела на красном плюше, как на иголках, и еще до того, как подняли занавес, я дал ей честное слово, что это было в первый и последний раз. Мы сошлись на том, что впредь будем сидеть в пятом ряду. Преодолев невероятную неловкость или, скорей, непривычку, я купил Наташе итальянские туфли, первые в ее жизни такие дорогие. В них она неожиданно стала высокой, стройной и очень сексуальной, хотя и очень смущенной, что не помешало мне повалить ее в постель и изнасиловать после первой же примерки. Мы хохотали от охватившего нас счастья.

– Митя, мы что, богатые?

– Немножко.

– Ты стал только немножко богатым, но невероятно изменился, ты знаешь это?

– Да? А в чем это выражается?

– Раньше ты искал во мне поддержку. А сейчас мне иногда кажется, что со своими новыми доходами ты можешь найти кого угодно.

– Никакого позыва, – ответил я.

– Даже не вздумай никого искать. Ты – мой. Ведь я тебя полюбила бедным. И, значит, по-честному. А другие будут любить только за деньги.

Однажды я встретил на улице Кащея, который с нескрываемой радостью бросился мне навстречу:

– Митя, дорогой, где вы пропали? Новая работа, новая любовь, нет?

– Все новое, – сказал я.

– Слушайте, зайдите в субботу вечерком. Посидим, как в старину. Послушаем музыку. Выпьем. Берите свою девушку. Я уверен, что какая-нибудь красотка. Я вас знаю.

Наташа с удовольствием согласилась, и мы, купив бутылку шампанского и торт, пошли к нему. Я взял с собой новый альбом Стинга, который только что купил у приятеля Толика. Приятель был моряком. Для него этот диск был большой ценностью. И денежной, и культурной. Это был последний, только что вышедший, Стинг – Nothing but the Sun. Обладание им делало моряка специальным человеком. Представителем высшей касты. Брахманом. «Сто дашь?» – с вызовом спросил он, ожидая, что я отступлюсь, а он тогда сможет сохранить свою кастовую принадлежность. Ровно до тех пор, пока эти диски не повезут иностранные студенты и другие моряки. Через минуту он остался с одной сторублевой бумажкой в руках, а я ушел домой с его альбомом, чистым, холера меня забери, брахманом.

Спустившись в подвал Кащея с Наташей, я увидел его жилье ее глазами – не очень чистое помещение с запахом сырости, засаленные кресла, валяющаяся на полу окостеневшая, тронутая желтизной газета, вскрытая аппаратура. Время и разлука позволяли увидеть давно оставленные места такими, какими они в действительности были. Такой же неприглядной в свое время я увидел квартиру, где вырос.

Кащей был явно смущен. Он пошел за тарелками, и я слышал, как он со звоном перебирал их, скорей всего, выбирая чистые или просто приличные на вид. Вернулся он с двумя стаканами и одним настоящим фужером. Из нагрудного кармана пиджака торчали вилки и нож.

– Все тарелки грязные, воды с утра нет, так что давайте прямо из коробки. Вилки – чистые, тара – тоже. Приступайте.

Когда я открывал шампанское, он снова поднялся и принес бутылку коньяка.

– Слушайте, Митя, пускай шампанское девочки пьют, а мы с коньячка начнем. Для преодоления первых минут неловкости, так сказать.

– Да вы не стесняйтесь меня! – весело сказала Наташа. – Я – простая! Давайте мне тоже коньячку!

– Побойтесь Бога, какая же вы простая... – пробормотал Кащей.

Она действительно была непростая, она совершенно потрясающе выглядела в тот вечер, и я подумал: что бы ни говорили, а деньги делают женщину привлекательней. И дело не только в обуви, шмутках, косметике, а в том, как она себя чувствует и ведет: спокойной, уверенной, настроенной на праздник, и это производит совершенно убийственный эффект.

Ее реплика немного разрядила атмосферу, тем не менее после первой рюмки Кащей налил себе и опрокинул вторую. Потом позволил мне поставить Стинга. Я поставил сразу свою любимую песню Fragile. Она звучала на его аппаратуре убийственно. Слышно было, как скользят пальцы Стинга по струнам, как он дышит. Ощущение было такое, что он сидел рядом с нами.

– Нравится, как звучит? – спросил я Наташу.

– Не то слово! – шепотом ответила она.

Когда песня доиграла, я поднялся и поставил диск с начала, сделав звук потише. Кащей, снова наполнив стаканы, стал расспрашивать о кооперативе. Я отвечал, и он все качал головой, потом заключил:

– Это у них сейчас второй НЭП. Доконали экономику к едрене бабушке, теперь ничего не осталось, как дать свободу частникам. Сегодня пошел купить что-то поесть, а в магазине – русский стриптиз – голые полки. Старуха у прилавка стоит и плачет. Я ей говорю, мамаша, в чем дело, кошелек сперли? И уже приготовился ей рубчик дать. Нет, говорит, собачке колбасы не могу купить, кормить нечем. Вы давно в магазине были?

Наташа посмотрела на меня неуверенно, потом сказала виновато:

– Мы на базаре сейчас покупаем.

– Хм! – Кащей поднял свой стакан. – В таком случае не могу не выпить за долголетие вашего кооператива!

Мы чокнулись и выпили.

– Есть хороший анекдот, – продолжил он. – Один чудак слишком громко жаловался, что ничего нет. Ни колбасы, ни сыра, ничего! Ну, его взяли за одно место, отвели куда надо и думают: надо его пугнуть. Говорят, мы тебя сейчас, собака такая, за антисоветскую пропаганду и агитацию расстреляем. Поставили к стенке, а патроны взяли холостые. Ба-бах! Только дым развеялся, он поворачивается и говорит:

– Ну, елки палки, патронов и то нет!

Посмеялись мы все не очень весело. Он снова сделал звук чуть погромче. Играла, я помню, They Dance Alone. Кащей сказал:

– Что-то эта нудноватая, первая была получше.

– Она не нудноватая, – решил уточнить я. – Она – грустная. Это как в Чили вдовы жертв пиночетовского режима приходят на площадь с портретами своих мужей и танцуют такой похоронный танец.

– Хм! – Кащей ухмыльнулся. – Это как если бы у нас сейчас был царь-батюшка, а где-нибудь в Дюковском собирались потанцевать вдовы с портретами повешенных красных комиссаров.

Наташа посмотрела на меня с недоумением.

– Вам их не жалко? – спросила она.

– Очень жалко, – Кащей почесал затылок. – И которых по подвалам расстреливали, жалко. И которых в Сибири сгноили, тоже жалко. Человека не для этого мама родила, нет? Всех жалко.

– Лучше в свете парня нет, чем Августо Пиночет, – вспомнил я.

– В мире не знаю, а в Чили – точно, – сказал Кащей. – Знаете, когда он взял власть?

Мы пожали плечами.

– Когда Альенде решил национализировать землю. Сделать колхозы. Как у нас. Он же марксистом был. Никогда не слышали, как у них там домохозяйки вышли на улицы с пустыми кастрюлями?

– Что-то слышали. Только я, честно говоря, не вник.

– А там нечего вникать. Когда жрать стало нечего, Альенде заявил, что отсталые крестьяне саботируют его правительство и решил взять все сельхозпроизводство под государственный контроль. Все точно по советскому сценарию. Но только их Пиночет оказался более толковым генералом, чем наш Корнилов.

– Слушайте, а откуда вы все это знаете? – спросила Наташа.

– Откуда? Странный вопрос! Купил вчера в киоске «Правду» за три копейки и там прочел. Какие еще источники информации могут быть у простого советского человека?

На улице Наташа сказала:

– А знаешь, я никогда не задумывалась об этих чилийских делах. Откуда он все это знает?

– Наверное, по «Голосу» слышал.

– А-а-а, тогда понятно.

– С другой стороны, он, действительно, все это мог в «Правде» прочесть. Все, что он говорил, я слышал. Просто он это интерпретировал не так, как наша пресса. То, что Альенде был марксистом, мы знаем. Поэтому наши так и переживали за то, что его кокнули. Что сделали марксисты у нас, мы тоже знаем. Чилийскому марксисту не дали сделать то же самое у себя. Стоит ли за это переживать?

– Выходит, и Стинг – марксист?! – она остановилась.

– Или просто сочувствует. Чисто по-человечески.

Когда мы подходили к дому, она сказала:

– А знаешь, в магазинах точно ничего нет. На днях масло давали в редакции, я никогда такой очереди не видела. Хотя масло никогда дефицитом не считалось. Сыр – да, колбаса хорошая – да, но масло... И, знаешь, так обычно бабы стояли, а тут уважаемые журналисты. В очереди за маслом!

– И масла тоже нет, – сказал я.

– И лампочек! – добавила она.

Мы как раз вошли в наше парадное. Здесь было темно, пахло сыростью. Подумалось: «как в могиле». Мы осторожно двинулись наверх, придерживаясь за невидимую стену. Только на втором этаже, где через окно вливался со двора мутноватый свет, можно было разглядеть край перил и несколько ступеней. Сделав несколько шагов, мы снова оказались в полном мраке.

– Страшно, – прошептала Наташа.

– Хочешь, постой здесь, – сказал я. – А я пойду открою дверь и включу свет.

– Нет, только вместе.

Придерживаясь за перила, мы поднялись к двери, так же на ощупь я нашел замочную скважину и вставил в нее ключ. Мы ввалились со смехом в коридор, как если бы за нами кто-то гнался. Смех был нервным.

Глава 33

Новое производство, так увлекшее меня, поначалу казалось беспроблемным. Здесь все решалось на ходу, за каждым решением стоял здравый смысл и готовность быстро добиться положительного результата. И, тем не менее, проблема возникла. Это произошло, когда я приехал забирать материал к работавшим вместе Вите и Валере. Они встретили меня полной бригадой: Витя, Валера и помогавшая им жена Вити – Таня. Было очевидно, что они хотят говорить о чем-то серьезном, и я заранее приготовился к тому, что они попросят надбавку. У меня уже был об этом разговор с Толиком, и он уполномочил меня поднять плату на 50 копеек за пару.

– Объявляю собрание открытым, – сказал я, усаживаясь в кресло.

Они выстроились у раскроечного стола, плечом к плечу. Белобрысый Витя с обтянутыми кожей могучими скулами, его худая жена Таня с большим бюстом и неброским личиком, полный Валера с усами-подковой.

– Митя, – начал Витя. – Поскольку Толик, нанимая нас, много говорил о благах капитализма и свободного рынка, наше решение не должно быть для него неожиданностью. Дело обстоит так: мы получили предложение. Есть человек, которого мы интересуем не как портные, а как люди, которые могут поставить ему производство. Мы это можем. Мы организуем производство, он организует сбыт. Мы больше не получаем за шитье, мы получаем долю в прибылях. Поэтому мы тут все взвесили, и решили с вами расстаться. Мы понимаем, что у Толика налаженный процесс, поэтому чтобы все было мирно, мы сообщаем об уходе за неделю. Неделю мы на него работаем, а за это время вы подыскиваете других портных.

– Ты понимаешь, Митя, – вступила Таня, которая тоже хотела принять участие в важном разговоре. – Нам просто невыгодно так ишачить на вас. 30 пар в день, это такие нагрузка! Я не знаю, сколько мы еще так выдержим. С людьми, которых мы нашли, мы можем заработать больше, и главное – с меньшей отдачей.

К такому повороту я не был готов.

– А что если у этих людей не налаженный сбыт? – спросил я. – Я не сомневаюсь, что вы поставите производство, но, как я понял, они только начинают. Чтобы зайти на рынок, надо потратить кучу времени и бабок, установить связи...

– Это очень серьезные люди, – взял слово Валера, не желавший отставать от товарищей в декларации независимости. – Они знают, что они делают.

Было очевидно, что они приняли решение, и никакие мои доводы остановить их уже не могли. К тому же, у меня не было никаких доводов. Рынок не предполагал лояльности.

Когда я сообщил об уходе Вити и Валеры, Толик, почесав затылок, сказал:

– А знаешь, почему это произошло?

– Почему?

– Потому что ты их объединил. Они тут же поняли, что могут работать без нас. Это, действительно, сильная команда. Они дают качество, они дают количество, у них есть все наши выкройки и они могут вносить легкие изменения в фасоны. Но если бы они сидели каждый у себя дома, они бы чувствовали себя более зависимыми от нас.

– Если мы в конечном итоге хотим создать цех, то в том, что я их объединил, нет ничего плохого.

– А я тебя ни в чем не обвиняю. Это просто ситуация, которая требует анализа и выводов. Зарабатывает тот, кто быстрей соображает. Ты не представляешь, что сейчас делается. Раньше в Кемерово весь рынок был наш. Сейчас приезжаем, там стоит 10 грузовиков. Единственное, что отличает нас от других, это – качество. Но проблема в том, что одним качеством ты рынок не возьмешь. Потому что если твои джинсы стоят 40 рублей, а рядом похожее дерьмо продают за 20, то масса народу предпочтет дерьмо. Они нас бьют нашим же методом.

– Нашим методом?!

– Да, нашим методом! Наш товар по сравнению с настоящим «левисом» – дерьмо, но мы берем ценой. Американский «левис» сейчас стоит 200 дубов, а наш – 40. А их – 20! И его берут, не потому что он объективно хуже нашего, а потому что он дешевле. Для массового рынка – лучше то, что дешевле.

– Так что, надо снижать цену?

– Да, и мы будем снижать цену, а для этого снижать себестоимость. Чтобы не терять качество, я

даже готов снизить свою долю дохода. Поэтому я не представляю, что кто-то в этом городе может платить больше, чем я. Отсюда вывод: они вернутся.

– Так им не предлагают платить больше за каждую пошитую пару, им предлагают процент в прибылях.

– При общем снижении расценок, их процент в прибылях сравняется с тем, что они получают у нас при наших нынешних расценках. Сколько пар они делают в неделю?

– 150.

– Это полторы штуки на троих в неделю. В месяц – шесть. Даже если это поделить на всех поровну, то выйдет по две штуки на нос. У нас космонавты столько не получают. Они хотят получать больше? Я хочу видеть, как у них это получится!

– Так какой план? – спросил я.

– Ищи новых портных!

Теперь речь шла не только о том, как я проявлю себя в глазах Толика в критической ситуации, но и еще о моих собственных доходах. С уходом Вити и Валеры я терял значительную часть заработка. У меня была неделя, чтобы найти трех, а еще лучше четырех новых мастеров, которые бы восполнили потерю. На то, что я сразу получу от них требуемое качество, я даже не надеялся. Но надо было с чего-то начинать. Я носился по городу, встречался с незнакомыми людьми, пытался соединить старых работников в новые бригады для большей производительности. В этой отчаянной гонке за кадрами, которые решали все, я снова натолкнулся на Женю. Он стоял у входа в комиссионный на Карла-Маркса с пачкой кассет «Сони». Я попытался сделать вид, что не заметил его, но, схватив меня за руку, он стал, обдавая сладким винным дыханием, говорить, что сидит на страшной мели, что все понял, осознал, и на этот раз будет работать лучше, чем раньше. Я сдался, решив, что в моем положении не стоит отказываться даже от тех пяти пар, которые он способен был лепить раньше.

– Это – твой последний шанс, – сказал я.

На меня тут же обрушился поток униженных благодарностей, клятв и заверений. Я сказал, чтобы назавтра он ждал меня. После чего все пошло по-старому. Он был живым подтверждением правоты поговорки «горбатого могила исправит». Из десяти пар он гробил и переделывал пять, из пяти – три. Я снова оставлял их на переделку, проклиная себя за то, что имею такую головную боль из-за двух пар в день – по сути из-за 50 копеек! Он, ненавидя меня, переделывал их, и через раз я снова получал от него брак. Но, как я обратил внимание, кладовщица Таня перестала так строго рассматривать доставленный мной товар. Ее теперь интересовало только количество. Это было сигналом того, что рынок стал поедать все. На Новый год Толик, которого я не видел с месяц, снова пригласил нас к себе. Я готовился к праздничному веселью, которого нам всем так не хватало в последнее время, но хозяин был явно невесел, и его настроение передавалось гостям. Марик пытался шутить, но шутки не находили отклика. Мы все ждали, что Толик скажет что-то важное. Он был нашим начальником, наша судьба была в его руках. В 11 сели за стол, минут за пять до полуночи, он, взяв рюмку с водкой, произнес долгожданную речь:

– Друзья мои, уходящий год принес нам неплохой заработок, но я бы вас обманул, если бы сказал, что Новый будет таким же. Он будет другим. Каким – не знаю. Так выпьем же за то, чтобы он был не хуже уходящего. Или ненамного хуже!

Зазвенел хрусталь, ударил салют, когда заиграл гимн, телевизор выключили.

– Откуда этот пессимизм? – спросил я у Марика.

– На нас сильно наехали.

– То есть?

– Хотят взять под крышу, причем сразу в нескольких местах.

Я молчал, ожидая разъяснений.

– Мы работаем здесь, верно? Здешняя крыша нас защищает только здесь. А торгуем мы, допустим, в Томске. Значит, нам нужна крыша там тоже. Или в Кемерово. Сейчас приезжаешь на базар, они тебе сразу ставят условие – пять штук с машины или можешь ехать обратно. И еще по дороге могут поставить.

– А нельзя найти какую-нибудь всесоюзную крышу? – спросила Наташа.

– Типа милиции? – усмехнулся Марик. – Представь себе, что в некоторых местах они таки крышуют. И это удобно, потому что у ментов есть представление о порядке. А в некоторых местах крышуют люди, которые отбрасывают ментам, чтобы те туда не лезли. И вот среди этих людей порядка нет. Потому что они постоянно выясняют, кто из них важнее.

– Боже, это просто какая-то коза ностра! – сказала Наташа.

– Это – именно так, – ответил Марик и очень печально усмехнулся. – И за свои бабки они готовы абсолютно на все. Абсолютно.

Гуляньe было не очень веселым. Настроение Толика передавалось всем. Он скоро ушел наверх с двумя очередными газелями. Гости стали расходиться. На улице моросил дождь.

После Нового года начались перебои с тканью. Если раньше я добивался от мастеров большей про-

изводительности, то теперь мне приходилось распределять среди них то немногое, что к нам попадало. Женя, естественно, остался не у дел первым. И, естественно, он устроил злобную истерику, с обещаниями добраться до всех нас. У меня не было навыка Марика ставить его на место, и со мной больше не было Игоря. Я просто ушел. Я был рад, что все сложилось именно так. Очевидно, что перебои с тканью были не только нашей проблемой. В феврале позвонил Витя и поинтересовался, нет ли для него работы. Я спросил нужна ли работа только ему или ему и Валере. Он сказал, что может работать сам, а может с Валерой. Предприятие с долей в прибылях явно провалилось. Я сказал, что обсужу этот вопрос с Толиком, но это было пустой отговоркой. Весь февраль мы простояли. Мастера нервничали. Марик, постоянно исчезавший на поиски ткани, сообщил, наконец, что с марта мы начинаем шить женские блузки. Лариса с Вадиком сейчас делают выкройки.

– А что за блузки?

– О-о, ты себе не представляешь, как это красиво, – Марик закатил глаза. – Спереди такой ягуар, а вместо глаз – бусинки. В Тюмени за такой товар бабы душат. Уже были сообщения о жертвах.

Толик появился внезапно, осунувшийся, злой. Когда я спросил, не хочет ли он вернуть Витю и Валерика, он ответил:

– Скажи им, что они опоздали. Сейчас все шьют. Вся страна. Как опомнились. В самой глухой деревне ставят в амбаре десять машин и строчат все что хочешь в три смены. И работают за копейки, потому что у них там бабки чуть дороже, чем у нас. И знаешь, какой вывод следует сделать из этого факта? Если все бросились в швейку, значит, самое время искать что-то другое.

– Что же?

– Я думаю.

Мне стало не по себе. Я не просто быстро привык к новой жизни, у меня возникла уверенность, что эта жизнь будет такой всегда. У меня появились деньги и, по моим расчетам, через два-три года я мог купить дом, зажить нормальной семейной жизнью. И вдруг над всеми моими планами встал знак вопроса.

– Что если оставить группу лучших и поставить только на качество?

– Возможно, мы так и сделаем, потому что с валом сейчас страшная проблема. Все рынки крышуют такие уголовники, что ты себе просто не можешь представить. И они требуют столько, что нам уже ничего не остается. Еще год-два назад я такого представить себе не мог. Допускал, но такого размаха не представлял.

Глава 34

В апреле мои заработки ненамного превышали старые газетные. Блузки приносили вдвое меньше, чем джинсы. К лету мы перешли на совершенно новую продукцию: юбки и рубашки – из легкого, пестрого материала. Работа была, но мы не были ей завалены. Июль был убийственно жарким, и это притупило недовольство мастеров – работать было тяжело, никто не жаловался на то, что заказов стало меньше. Иногда я заканчивал сбор готовых изделий к обеду, подбирал Наташу у редакции, и мы ехали на пляж. Весь сентябрь заказов не было. На смену планам на будущее пришло тревожное ожидание вестей о работе.

– Я так мечтал купить дом, – сказал я как-то Наташе. – А сейчас мечтаю, чтобы было чем заплатить за квартиру.

Мы лежали на Плитах. Устроив подбородок на кулачке, она смотрела вдаль.

– Не жалуйся, дорогой. Все так хорошо. Мы вместе. Что еще надо?

Это была ее любимая песня. Но я, действительно, не мог жаловаться на то, что женщина, с которой я был, не требовала от меня ничего. Просто ничего не ждала. С пляжа мы возвращались домой, делали салат из помидоров, огурцов и лука, отваривали картошку. Мелко нарезав укроп, она посыпала им рыхлые, желтые овалы, над которыми покачивался пар, говорила, улыбаясь:

– Смотри, какая красота!

Каждый день звонил кто-то из мастеров и спрашивал, что слышно. Я отвечал, что ничего. В первых числах октября Марик привез машину ткани на куртки, заявив, что теперь работы хватит до Нового года. Но произошло непредвиденное – материал оказался непригодным для шитья. Ломались иглы, рвались нитки, лапка не прижимала ткань. Кройка обычными ножницами превращалась в пытку. Мастера, вчера чуть не дравшиеся за работу, один за другим отказывались от нее. Кончилось тем, что Марик вызвал меня на базу.

– Надо что-то решать. Я не могу выбросить машину ткани, какой бы хреновой она ни была.

Я приехал первым и спросил, кого он еще собирает.

– Ты, Лариса и Вадик, больше звать некого.

– Это все, что осталось от кооператива? – спросил я.

Он поднял удивленно брови.

– Уже давно твоя бригада у нас единственная.

– Да? Как же это мне удалось уцелеть?

– Благодаря творческому подходу к работе. С тобой не было никаких проблем.

– Слушай, выходит, Толик свернул довольно большой кооператив. А что он будет делать теперь? На чем сейчас можно заработать?

– На удобрениях.

– На чем? – не понял я.

– Могу тебе сказать только одно, старина, – в этом слове «старина» прозвучало непривычно много доверительности. – Мы с тобой для работы в этой области явно не обладаем нужной квалификацией. Он мне прямо сказал: протянете сколько протянете. Для него тут действительно денег больше нет. Для его аппетита. Знаешь, что мы больше не торгуем? Даже не возим ничего никуда. У нас все подбирают прямо со склада другие люди. Мы стали чистым производством.

– Дела-а.

– Ты столько заносишь всевозможным крышам, что тебе ничего не остается. Или остается столько, что за это просто не имеет смысла подставлять одно место.

Появились Лариса с Вадиком. Лариса не сдерживала возмущения:

– Марик, из такой ткани нельзя шить куртки, из нее можно шить чехлы на танки!

– Я подумал, что на зиму будет нормально, – защищался Марик.

– Надо подъехать в артиллерийское училище, – подлил масла Вадик. – Может, им чего зачехлить надо.

– Если ты считаешь, что ткань для зимней вещи может не гнуться, то ты ошибаешься! – продолжала возмущаться Лариса. – Допустим, это можно как-то сшить, но как это можно надеть на себя?! Я не понимаю, ты что, не держал эту дерюгу в руках, когда покупал ее?

– Мне дали лоскут, мне дали цену и сказали, что ничего другого до Нового года не будет. Что я должен был сделать?

Помолчали.

– Надо попробовать шить из нее сумки, – предложил Вадик. – Или даже чемоданы. Сейчас на это должен быть повышенный спрос.

– Какая разница, что шить? – возразила Лариса. – Машины же, тебе говорят, не берут этот брезент!

– Но на каких-то машинах брезент шьют, – возразил Вадик.

– Я недавно был в сапожной мастерской, – сказал я. – Там стояла машина, на которой чудак вставлял в кожаные сапоги змейку.

– Ну, вот тебе и ответ, – сказал Вадик.

– Ребята, этот материал надо выработать, – подвел итог Марик. – Так что, Лариса с Вадиком, вы делайте выкройку хорошей дорожной сумки. На змейках, с заклепками, может быть даже с какой-то мелкой кожаной отделкой. С хорошей блямбой. Митя, ты ищи мастеров. Прокатись по городу, найди будки рембыттехники с машинами, договорись с людьми.

– Мне нужна одна готовая сумка, выкройка и цена, – сказал я.

– Дайте нам пару дней, неделю, – сказал Вадик. – Выкройку мы сделаем быстро, но мне надо найти подходящую машину и попробовать собрать такую сумку самому. Когда мы будем знать расход ткани, фурнитуры и время на сборку, мы сможем говорить о цене.

Через неделю у меня снова появилась работа и заработки. Слова, которые я когда-то использовал в своих статьях в качестве обязательного штампа, сейчас наполнились реальным содержанием – я совершенно искренне гордился коллективом, в котором работал. К сожалению, работы у нашего коллектива оставалось немного. Ткань для танковых чехлов и наших сумок обеспечила нас работой на всю осень и на декабрь. Незадолго до Нового года Марик снова собрал нас на базе.

– Значит так, пацаны и девушки, – сказал он. – Ситуация такая. Судя по всему, наш кооператив прекращает свое существование. На ваш вопрос почему, отвечаю: потому что если мастера и вы получаете от выработки, то владельцы нашей артели живут на то, что остается после реализации товара. В связи с чем наш любимый и уважаемый начальник решил, что остается так мало, что все эти хлопоты уже не имеют для него никакого смысла.

– А где он сейчас, наш любимый и уважаемый? – спросила Лариса.

– Это, как говорится, вопрос на засыпку, – ответил Марик. – Последний раз я с ним говорил на прошлой неделе, и он попросил продать наши машины.

– Как говорится, долго хорошо не бывает, – заметил Вадик и поднялся.

– Может быть, можно делать что-то самим? – спросил я.

Вадик и Лариса остановились в ожидании ответа.

– У меня, честно говоря, другой план, – ответил Марик. – Со швейкой я, кажется, завязываю.

Я положил на стол ключи от машины.

На улице Вадик сказал:

– Ну что, Митя, ты теперь безлошадный крестьянин. Подвезти?

Я согласился, хотя ехать им было в другую сторону. Мне хотелось побыть с ними еще немного. Я думал, что в предстоящем разговоре может возникнуть новый план действий. В машине Лариса сказала:

– Марик завязывает со швейкой, у него другой план. Интересно, какой?

– Известно какой, – ответил Вадик.

– Ты думаешь?

– А какой у него еще может быть план?

На этом разговор, из которого я, признаться, ничего не понял, кончился. Они были ближе к начальству, чем я, стало быть, и знали больше. Какое мне было дело до планов Марика или Толика, если мне не было отведено в них никакого места? Пейзаж за окном машины в полной мере отражал перспективу жизни – серые дома, черные тротуары, черные голые деревья, серое небо.

– Даже не верится, что скоро Новый год, – сказал я. – Настроение совсем не праздничное.

– Где ты встречаешь? – повернулась ко мне Лариса.

– Дома, наверное. Представьте, что необъяснимым образом я предполагал, что со дня на день появится Толик и мы снова соберемся у него.

– А ты еще со своей Наташей? – спросила Лариса.

– Еще с ней, и надеюсь пробыть с ней еще как можно больше. Может быть, даже всю жизнь.

– Хотите прийти 31-го к нам?

– С удовольствием. Мне кажется, что Наташа в вас влюблена.

– В нас?!

– Ага.

– А что мы такого сделали? – подал голос Вадик.

– Она считает вас эталоном семейного счастья.

– Мы виделись с ней всего раз или два, но она произвела на меня очень приятное впечатление, – ответила Лариса. – У нее такая хорошая улыбка. Вы очень подходите друг другу. Хорошо, что ты с ней.

– А не на втором этаже у Толика, – вставил Вадик.

– Дурак!

– И, не при Ларисе Давыдовне будет сказано, она очень привлекательна, – продолжил он. – Худенькая, стильная, эти черные волосы, карие глаза, просто девушка из журнала мод.

– Опа-на! – сказала Лариса. – Я смотрю, ты ничего не пропустил! Я теперь не знаю, можно ли ее пускать в дом? Могут же увести мужа прямо из-под носа!

– Я прослежу, чтобы она хорошо себя вела, – пообещал я.

Когда мы вошли к Ларисе и Вадику, сердце у меня екнуло. Думаю, от самой банальной зависти. Их дом был эталоном того, что презрительно звалось «буржуазным достатком» и «мещанским уютом». Дорогая мебель красного дерева, мягкие кресла и диван, ковры, обои, стереосистема Sony, телевизор Akai с видиком. В гостиной стоял сервированный стол, свет искрился на хрустальных бокалах и мельхиоровых приборах. Воздух был пропитан ароматом пекущегося мяса.

Наташа даже не скрывала своего восторга:

– Ребята, ну вы живете как настоящие капиталисты!

Не знаю, ждала ли Лариса такой прямолинейности, но, судя по выражению ее лица, реакция гостьи ей понравилась. Они расцеловались с Наташей.

– С наступающим!

– С наступающим!

– Проходите! У нас сегодня семейный ужин. Танцев не будет.

Готовила она так же хорошо, как и делала выкройки. Вечер, действительно, вышел тихим, семейным. Они рассказывали о том, как познакомились. Лариса училась на костюмерном отделении театрального училища, а Вадик в политехе. У них был общий знакомый, занимавшийся в школе Столярского. Он пригласил их на свое выступление, и там они встретились. Вадик собирался стать инженером, но однажды он познакомился на пляже с парнем, который обучил его ремеслу самопала. Он повторял его имя – Яша Петухов – с нескрываемым пиететом. На третьем курсе Вадик ездил на занятия на своих «Жигулях». Инженером он так и не стал.

– Толик, кстати, меня тоже взял на работу на пляже, – сказал я.

– Ничего удивительного, – заметил Вадик. – У нас же пляж, как клуб. Где еще могут встретиться приличные люди? Не на футболе же!

– Так ты работала в театре? – спросила Наташа у Ларисы.

– Да, но немного. В Оперном.

– Это такая удивительная смена карьеры. Оперный театр и вдруг шитье!

– Да, я тоже сначала так думала – театр, искусство, на артистов смотрела, как на небожителей, а ког-

да поближе познакомилась, ничего подобного: мат-перемат, водка и все норовят за задницу ухватить.

– А вы не вместе стали джинсы шить?

– Нет, я же портнихой модной была, что ты знаешь! У нас в училище была одна девочка, у которой папа плавал. И он ей привез отрез кримплена на платье. Кримплен был тогда последним криком моды. А мы же в училище друг на друге тренировались. Она мне говорит, слушай, пошей мне платье, у брата свадьба, а мне одеть нечего. Я ей пошила. Рукава-фонарики, планочка, погончики, что ты! Возвращается она со свадьбы и говорит: Лорхен, у меня для тебя пять заказчиц. Я им дала твой телефон. Я перепугалась, но потом разошлась потихоньку, машины купила хорошие, шила под фирму. Морячки ко мне очередь занимали. Платье 50 рублей. Перешить что-то – 10-20. И при этом море комплиментов и уважения. А в театре я швеей работала на 85 рублей в месяц. Ну, я подышала этой высокой культурой с годик и попрощалась с ней. Вот и вся моя история.

– Вообще интересно, вот вы выбрали такой путь, ну, как бы это сказать... неофициальный. И для меня это, в общем-то, очевидно, что это не только из-за денег, вы свою работу любите, верно?

– Ну.

– Так какая у вас может быть конечная цель, пик, так сказать карьеры?

– Вадик, какой у тебя пик? – спросила Лариса.

– Главное, чтобы не пик коммунизма, – ответил он.

– Не валяй дурака, у тебя мечта есть?

– Ну, есть.

– Какая же?

Вадик почесал затылок, потом сказал:

– Ну, я бы хотел прийти когда-нибудь на фабрику Леви Страусс в Сан-Франциско и сказать им: «Слушайте, пацаны, дайте мне 501-й номер такого размера, как я люблю, и я из него пошью внуку вашего директора джинсы, жилетку, сумку и кепку».

Мы захохотали.

Потом мы стали рассказывать, как работали в газете и почему я ушел, а Наташа осталась. Впервые за долгое время она заговорила о своей работе. Для меня было неожиданностью, как плохи дела «Комсомолки».

– На нас почти перестали подписываться, – рассказывала Наташа. – Раньше нас давали в нагрузку к «Технике молодежи», а сейчас не хотят ни нас, ни «Технику молодежи». Так комитеты комсомола в больших организациях еще выписывают, но сколько их там? Не представляю, сколько мы еще протянем.

– Я другого не представляю, – сказала Лариса. – Как можно жить на эту зарплату? На базаре все подорожало с прошлого года втрое.

– Кушайте, кушайте, дорогие гости! – вставил Вадик.

– Ну, так они и не живут. Треть редакции разбежалась. Кто куда. Наш бывший профорг на «Новом базаре» кассетами с музыкой торгует.

– Невероятно! – сказал я.

В самом диком сне я не мог представить, что этот боец идеологического фронта займется частным промыслом.

– Подожди, это еще не самое невероятное. У меня сотрудница была Лена, так она уезжает жить заграницу.

– Куда? – этот вопрос мы с Ларисой задали одновременно.

– Около года назад познакомилась с одним финном. Он тоже журналист. Из Хельсинки. Сюда приезжал про наш порт писать. Ну, они познакомились, потом переписываться стали, потом он ее к себе пригласил. Она поехала, месяц у него провела. Вернулась, говорит – любовь. Скоро расписываются и она к нему уезжает.

– Любовь-асисяй, – сказал Вадик.

– А что Мукомолец?

– Ты не поверишь.

– Поверю, говори.

– Колю забрали в пароходство, а Вадика на его место поставили.

– Что значит хорошие связи, – усмехнулся я.

– Так, у меня есть тост, – сказала Лариса и потянулась за бутылкой шампанского. Она наполнила бокалы и подняла свой.

– Ребята, я не знаю, какие у вас планы на жизнь, но я хочу выпить за любовь. Потому что когда люди любят друг друга, то они достигают того, что другим кажется совершенно невероятным. За любовь!

Мы чокнулись и, когда ставили бокалы на стол, Лариса сказала:

– Вы не поверите, но мы забыли включить телевизор и встретить праздник со всей страной.

– И Михаилом Сергеевичем лично, – добавил Вадик.

– Ой, а можно не включать? – попросила Наташа.

Нашу новую жизнь Наташа называла спячкой. Я даже не делал попыток искать работу. Наташа говорила, что работа найдет меня сама. Вечера мы проводили дома, и мне казалось, что Наташа рада этому. Ей, казалось, ничего другого и не надо было. Она готовила чай из каких-то трав, пекла пироги с капустой, укутавшись в плед, читала. Я слушал музыку или тоже читал. О жестяной карниз за окном стучал то дождь, то снег. Иногда, оживая ненадолго, шипел радиатор, потом умолкал. Потом она заболела гриппом. Я готовил ей чай, ходил на базар за медом. Потом я подхватил грипп от нее, и теперь она носила мне чай с медом. Немного отойдя от болезни, я вышел на улицу и от нечего делать направился к комиссионному, где столкнулся с Вадиком. Он продавал свою аппаратуру. На вопрос, как у них дела, Вадик ответил:

– Митя, мы валим. Здесь больше делать нечего. Нам, во всяком случае.

– А что у Толика слышно?

– Толик как сквозь землю провалился. Я к нему пару раз заезжал, его нет.

– А куда вы валите?

– В Штаты, куда еще?!

– Скоро?

– Мы подали документы сразу после Нового года. Сейчас быстро оформляют. Летом, думаю, выпустят. Как раз английский подучим. Тоже проблема, еле учителя нашел.

– А в чем проблема с учителями?

– Так валят же все. Это сейчас самая ходовая специальность.

– Жалко, что ты раньше не сказал, я же окончил английский факультет. В дипломе у меня так и написано – преподаватель английского языка.

– Ну, ты даешь! И ты еще здесь?!

– А где я должен быть?

– В Штатах! Где еще можно быть? Где все нормальные люди!

– У меня там нет родных.

– А у нас есть?! Тебе нужен вызов, я тебе устрою. Ты мне скажи другое: сколько ты берешь за урок?

– А сколько сейчас берут?

– Пять рублей в час. Два человека – десять. Если ты хочешь, я дам твой телефон нашим приятелям, они тоже ищут учителя. Хотя ты их знаешь – Витя и Таня.

– Которые с Валерой работали?

– Да, только Валера уже уехал. Он сейчас в Италии, ждет разрешения на въезд в Штаты. Позвони Вите, скажи ему, что ты со мной говорил.

Тем же вечером я позвонил Вите. Сначала он был удивлен, потом, кажется, обрадован, что я могу преподавать ему. У нас всегда были теплые отношения, и расстались мы не по моей инициативе. После нескольких первых уроков он связал меня еще с двумя семьями, которые были его попутчиками. А те еще с несколькими. Теперь я каждый день давал уроки отъезжающим, и мечта о доме снова начала обретать черты реальности. Но эта реальность внезапно потеряла свою былую привлекательность. Если для меня дом все еще был главной целью жизни, то для людей, с которыми я теперь постоянно общался – они сами называли себя «отвалянтами» – жилье не представляло вообще никакой ценности. Многие просто бросали квартиры, те, кто имел дачи, продавали их за копейки или переоформляли на родственников. Я слышал разговоры, что кому-то удавалось для продажи квартиры оформить фиктивный брак, получить деньги, развестись и оставить квартиру покупателю. Но идти по этому пути боялись. Оформление брака, развода, прописки, выписки требовало времени, между тем, ощущение у всех было такое, что если есть возможность вырваться из страны, это надо сделать по-быстрому, не втягиваясь ни в какие осложняющие жизнь операции. Кто-то рассказывал, что во время одной такой сделки покупатель не заплатил и отказался разводится. При этом все были уверены, что в Штатах они легко купят другое жилье, еще лучше этого, что вообще все, что их ждет в Штатах, будет лучше того, чем они обладают здесь. Одной ногой они уже стояли в другом мире, мире изобилия и непрекращающегося праздника. Иногда во время урока раздавался телефонный звонок, и мои ученики, извинившись, начинали обсуждать с другими отъезжающими покупку командирских часов или фотоаппаратов «Зенит», льняных скатертей или матрешек, которые можно было перепродать в Италии, чтобы приехать в Америку с «парой копеек». Я вдруг узнал имена ставших модными местных художников: Островский, Ройтбурд, Лыков, Рахманин.

Я спрашивал, на сколько может хватить этой «пары копеек».

– Тебе помогут, но если ты можешь перевести туда хоть часть того, что ты заработал здесь, так почему не перевести? – спрашивал меня в ответ Витя. – Кому это все оставлять? Милихе?

У человека, строчившего десять пар джинсов в день, действительно могло не быть желания бросать нажитое.

Я постоянно слушал истории-близнецы об уже уехавших и доехавших до этой сказочной Америки. В этих историях менялись только названия городов:

«Его приняла община Кливленда (Филадельфии, Остина, Хартфорда). Они сняли им квартиру, они ее обставили мебелью, они дали им почти новый «Бьюик» и они ему нашли работу на какой-то местной фабрике».

– Какая община?

– Еврейская, какая еще?!

– Он – еврей?

– Азохэн-вей, какой он еврей, но они хотят в нем видеть еврея. Они считают, что если они сделают кому-то доброе дело, так им это зачтется.

О них, то есть об американцах, как правило, говорили снисходительно, как о простаках, которым следовало простить их простоту.

Я терпеливо ждал, когда мои ученики обсудят свои дела по телефону, а потом снова возвращался к временам и глаголам. Самым модным учебником у них был первый том Эккерсли. До второго никто не доходил. Некоторые просили переделать курс таким образом, чтобы он имел для них практическую пользу в Италии, а потом в Америке. Сколько стоят эти джинсы? Дайте, пожалуйста, чашку кофе и скотч. Впервые я озаботился вопросом, что такое скотч. Один мой ученик уже побывал в Америке в гостях у дяди и вернулся, горя от нетерпения, увезти туда семью. Он научил меня тому, что американцы говорят не «твенти», а «твони» и не «гот ю», а «гача». Уехав, он продал мне свой видеомагнитофон с десятком американских фильмов. Я смотрел эти фильмы с блокнотом в руках, записывая ходовые фразы и передавая их ученикам со ссылкой на источник. Эта методика дала положительный результат – спрос на меня вырос, я стал брать за урок не пять рублей, а семь с полтиной. Поскольку занимались, как правило, семьями, я уходил с урока с 15 рублями. В день у меня теперь было по два-три урока. Передавая меня с рук на руки очередным «отвалянтам», обо мне говорили: «Он учит по последним голливудским фильмам. Ты сразу будешь говорить, как *они*. *Там* уже не надо будет переучиваться».

Там и *они* – были волшебными словами. За тремя буквами каждого из них открывались головокружительные картины. Кино этому способствовало. У некоторых моих учеников были видики, и я приносил им «Голод» с Дэвидом Боуи и Катрин Денев, рекомендуя выписывать из диалогов устойчивые словосочетания. Этот фильм был лучше любых учебников. Произнося за Катрин Денев «Oh, my God!», мои ученики подражали великой актрисе, на секунду они становились такими, как она, говорили, как она! Я обожал диалог между резко состарившимся Боуи и его подругой-вампиршей:

– Miriam, release me! – молил тот об освобождении от вечных мук, на которые его обрекла любимая.

– There's no release, my love! – отвечала та.

У меня была одна пара, которая повторяла эти фразы с упоением:

– Bella, release me!

– There's no release, my love!

– Oh, my god, так вляпаться! Митя, а как будет «так вляпаться»?

– Можно сказать You got me! А можно попроще – shit! Или Holy Shit!

– Так, давай еще раз. Bella, Release me!

– Lenya, there's no release!

– Shit!

– А ты думал?! Митя, как будет «а ты думал?»

– Можно сказать No way, Jose!

– Леня, ты у меня теперь будешь Хозэ. Давай еще раз сначала.

– Bella! Release me!

– No way, Jose!

– Митя, а как сказать, «Я тебя сейчас убью, сука ты такая!»

– Это же ваша жена, может, можно как-то повежливей?

– Мы сейчас не муж и жена, мы набираем язык.

– Ну скажите ей I'm gonna kill you, bitch!

– Белла, ты все поняла? I'm gonna kill you, bitch!

– Shit!

Они были талантливыми ученикам, эти Белла и Леня. Белла работала парикмахером, а ее Леня – электриком. Они наращивали свой словарный запас просто на глазах и безо всякого Эккерсли, грамматики, времен. В их положении это был лучший способ учить язык, который через несколько месяцев должен был стать основным языком их общения с окружающим миром.

В «Голоде» был кадр, которым я любовался столько раз, сколько видел его – Денев стояла в полумраке комнаты у вазы с белыми лилиями. У нее было немного тяжеловатое лицо, точеный нос, полные красные губы, зачесанные назад и собранные в тугой узел волосы, темные глаза, а рядом светлели на глубоком черном фоне немного размытые звезды распустившихся лилий. Как она могла полюбить эту

макаронистую докторшу Сюзен Сарандон – непонятно. Когда та ложилась к ней в постель, я отворачивался, чтобы не видеть ее бледного, мятого тела, с провисающим животом. И в этом фильме было еще одно достоинство – несколько кадров Нью-Йорка. Я прекрасно понимал, что в таких особняках с лестницами и скульптурами, в каком жила Мириам, живут немногие, но в фильме мелькали и улицы Нью-Йорка. И хотя город по большей части оставался за кадром, я ощущал, как он, огромный и очень светлый, гудит и подрагивает от напряжения кипящей в нем жизни. И этот город влек, как цеппелиновских викингов влекла их Валхалла.

Valhalla, I'm coming!
A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a!

Конечно, Нью-Йорк был их Валхаллой. Он не мог не влечь молодых ребят из скучного, чопорного, дождливого Лондона.

There's feeling I get when I look to the West,
And my spirit is crying for leaving.

Когда я спрашивал некоторых своих учеников, могут ли они прислать мне на видео концерт «Цеппелина» в Медисон-Сквер гардене, все отвечали одно и то же:

– Зачем тебе запись? Приедешь – пойдешь в этот Медисон-Сквер гарден сам.

Даже не давая на то согласия, мы с Наташей стали частью гигантского отъездного потока. Теперь мы часто оказывались за столом с людьми, к кругу которых себя причисляли: инженеры, учителя, врачи. Теплые, культурные люди, которые сформулировали все устремления своей жизни в нескольких коротких лозунгах: «надо валить!» и «там будешь жить, как человек!» Каждый под этими словами понимал свое: свободные поездки по миру с американским паспортом, дом с бассейном, роскошную машину, модные джинсы, обувь, любимую музыку, книги, кино. Жизнь без мучительных забот о завтрашнем дне. Все то, чем мы жили раньше, хорошее и плохое, радости и печали, как будто испарилось, перестало принадлежать нам.

Впервые я задал вопрос Наташе о том, хотела бы она уехать, на проводах Ларисы и Вадика. Они устроили их на Крыше морвокзала. Было жарко, шумно, пьяно. Оркестр постоянно получал заказы на исполнение песен специально для «наших любимых Вадика и Ларисы» или «наших дорогих Маши и Паши», для «Оли и Коли» – других пар, прощавшихся в тот вечер с друзьями. Потом вся крыша грохнула от смеха, когда наш старый приятель Марик заявил в микрофон, заплетаясь от выпитого, что он искренне желает всем сделать то, что завтра сделают Вадик с Ларисой. Всем было ясно, что завтра они сядут на поезд, отправляющийся в Чоп.

Стоя у перил, за которым открывался вид на порт, ржавые сухогрузы и краны с раскоряченными ногами и сломанными шеями, Наташа, словно ждавшая моего вопроса, сказала:

– А что бы я там могла делать? Я по специальности филолог, кому я там нужна?

– Ты себе не представляешь, какое там число профессиональных школ! – сказала Лариса. – Моя сестра здесь окончила консерваторию с дипломом музыковеда. Там она проучилась год в колледже и сейчас имеет свое туристическое бюро. Большие туристические компании постоянно дают им бесплатные путевки, она уже объездила весь мир, при этом неплохо зарабатывает. Они уже имеют свой дом.

«Неплохо зарабатывает» и «свой дом» были типовой концовкой рассказа о судьбах уехавших.

– Можешь пойти в университет и преподавать русский, – добавил Вадик. – Слушай, я не знаю ни одного человека, который бы не смог там устроиться.

Все казалось таким легким в тот вечер! И потом Вадик сказал:

– Митя, я тебе точно могу сказать, когда вы решите ехать.

– Когда же?

– Когда все твои ученики свалят, и ты в очередной раз потеряешь свой кусок хлеба. Или ты снова пойдешь работать в газету?

Тогда я просто физически ощутил, как из нашей жизни стали исчезать знакомые. Они пропадали один за другим, оставляя после себя ничем не заполненное пространство. Раньше ты шел по улице и непременно сталкивался с кем-то из знакомых. Это время прошло. Однажды мы пришли к Кащею на чай и, когда обсуждали это, он сказал:

– А вы заметили, что фенотип сменился?

– Что? – не поняла Наташа.

– Тип лиц. Местные уезжают, деревня въезжает. Большое переселение народов.

– Вы имеете в виду еврейский тип? – спросила Наташа.

– Евреи, конечно, в первую очередь, но здесь же и масса намешанной крови. Сперва скрывали, что евреи, сейчас находят еврейских бабок и теток, лишь бы было, за что зацепиться и уехать. Потом тут

важен не столько тип лица, сколько выражение. Мы тут все – евреи-не евреи – расслабленные, готовые засмеяться над любой шуткой, а вы посмотрите на этих: гунны! Агрессия так и прет, улыбаться не умеют. У нас во дворе семья уехала, так их квартиру заняли в тот же день. Черные, злые – страшно смотреть. На каком-то заводе работают. Пацан их засандалил мне мячом в форточку. Стекло треснуло. Не первый раз, между прочим. Форточка на уровне земли-то. Выхожу во двор. Стоит. Лет девять. Другой бы сказал что-то вроде «дяденька, извините» или просто смылся бы, чтобы за ухо не отодрали. А этот стоит, взгляд волчий, как будто это не он виноват, а я.

Лето прошло в разъездах по ученикам. Одна пара принимала меня на даче, и мы ездили туда с Наташей. Шли на пляж, к четырем я поднимался на дачу, где меня ждали хозяева и их приятели, тоже готовившиеся к отъезду. К половине шестого приходила Наташа. Со стола, за которым мы занимались, убирали тетради, ставили салат из дачных помидоров и огурцов, жарили свиные отбивные, картошку. Доставали из холодильника запотевшую бутылку водки. Снова говорили, как устроились те, кто уехал раньше, как устроились до них те, кто уезжал в 70-е. Те уже просто катались как сыр в масле. Перспектива новой жизни окончательно заслонила от меня все мои бывшие интересы. Я стал меньше интересоваться музыкой, перестал читать. Все словно приготовилось во мне к встрече новой жизни, представленной в нашей реальности названиями волшебных городов: Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. Уходящее лето, сиреневатые сумерки, тронутая первой ржавчиной листва казались окончанием не лета, а всей жизни в этой стране. Некоторые мои ученики обещали, уезжая, прислать нам с Наташей вызов, его якобы можно было заказать в Италии, и я не без удивления признался себе, что жду такого вызова. Вызов, однако, пришел не от них. Его принес мне Кащей, вручив конверт с уже разорванной золотой бумажной печатью и красной ленточкой.

– С вас причитается! – сказал он.

Мы сели на диван. Развернув сложенные втрое страницы, я прочел, что меня вызывает моя тетя – Рахиль Перец из города Хайфа.

– Мне надо будет ехать в Израиль? – спросил я.

– Глупости! – поморщился Кащей. – Сейчас все едут в Рим, там сидят пару месяцев и оттуда – прямым рейсом в Штаты. Некоторые едут в Австралию, некоторые в Канаду, но все говорят, что в Штаты лучше всего.

– Что теперь?

– Теперь этот конверт надо отнести в ОВИР и начинать паковать чемоданы. Если вы не повезете с собой свой «Бриг» и «Техникс», то, думаю, сможете все упаковать в рюкзак.

– А все эти скатерти, часы, фотоаппараты?

– Не говорите глупости! – Кащей поморщился. – Во-первых, вас там сразу подхватят еврейские организации, которые дадут пособие на питание и жилье. И потом – вы знаете язык! Ручаюсь, что будете преподавать его, причем своим старым ученикам. Только они будут платить вам не рублями, а валютой. Лиры, доллары.

Помолчали.

– Вы поедете один? – спросил Кащей.

Я посмотрел на него удивленно.

– С Наташей.

– Вам надо расписаться, вы знаете это?

– Распишемся.

– Вы говорили, что ее отец какой-то начальник. С его стороны не будет возражений? Главное, чтобы он сам не чинил препятствий. Если он не проявит инициативу, то его мнения не спросят.

Я слышал истории о детях, которых задерживают родители, задерживают по самым разным причинам. Наташиному папаше отъезд мог поломать всю его карьеру. Когда вечером я спросил ее об этом, она ответила:

– Он когда маму оставил, моего разрешения не спрашивал. Скажу, что постригусь в монахини. Пусть выбирает.

– Послушай, – сказал я. – Я хочу тебе сказать одну вещь, которую обычно говорят в торжественной обстановке...

Я увидел, как у нее радостно поднялись брови и расширились глаза.

– Но тут все так складывается, с этим отъездом...

– Я согласна! – весело сказала она и засмеялась.

Мы обнялись.

– С тобой ужасно неинтересно, – сказал я. – Ты все заранее знаешь.

На следующий день мы подали документы в ЗАГС. Осень была долгой и теплой. Деревья нехотя сбрасывали листву, трава не торопясь бурела на газонах. У меня стало меньше учеников. Мы ходили на вокзал провожать тех, с которыми у нас устанавливались приятельские отношения. Казалось, мы все теперь были частью большого перенаселения народов, объединенные одной целью и заботами. Устро-

ив багаж в своих купе, они выходили на перрон, где мы пили шампанское и водку, открывали коробки конфет. Составы с тяжелыми вздохами трогались, из уплывающих окон, как из прикрытых венками гробов, на нас смотрели лица отбывающих в Новый свет. Во время одного из таких прощаний я столкнулся и простился с Костей Швуимом.

– Столько было надежд, – сказал я.

– Какие надежды, чувак? Все развалилось. Одни в Москву уехали, другие в Штаты. Помнишь Толика Таржинского? Гитариста нашего? Уже в Австралии. Алика Акопова – ударника, помнишь? В Германии. Валера Прессман в Италии, ждет вызова из Нью-Йорка. Ганькевича помнишь из «Бастиона»? Умер.

– Ганькевич умер? – это было невероятно. – Почему?

– Одни говорят – порок сердца, другие говорят, бухал, как лошадь. Знаешь, есть такой анекдот: Хаим умер. Как? Как поц! Вот он стоял, вот он упал.

Ни он, ни я не смеялись.

– Ну, давай, чувачок, – он протянул мне руку. – Будешь в Лос-Анджелесе, спроси Костю.

Пришла зима с ледяными дождями, ветром, обледеневшими тротуарами. Небо потемнело и прижалось к земле. По вечерам, когда мы устраивались с книгами на диване, чаще звучали те пластинки, которые принесла из дому Наташа – Вивальди и Альбинони, записанные на «Мелодии». Когда я спросил ее, как произошло то, что наши вкусы так незаметно поменялись, она, помедлив, ответила:

– Наверное, потому что с этой музыкой у нас ассоциируется семейный уют.

– У нас дома никогда не звучала эта музыка, – ответил я. – Первая музыка, которая у меня связана с ощущением моего дома, это – Цеппелин, и это ощущение одиночества и холода. Я услышал их впервые зимой, и я тогда был один. Это был их блюз Since I've Been Loving You. Там гитара так совершенно потрясающе начинала тему: та-та-та-та-та, и потом вступал Бонэм бух, бу-бух. Мне тогда казалось, что я был влюблен и что эта песня про меня, но на самом деле я просто хотел быть влюбленным.

– Бедный, надо было позвонить мне!

– Мне было всего 15 лет.

– Так ты что, еще не умел пользоваться телефоном?

– У нас тогда не было телефона.

– Значит, надо было выйти из дому и ходить по улицам до тех пор, пока ты не встретил бы меня. А ты что делал?

– Занимался рукоблудием перед цветным календарем. Там были такие красивые девушки в купальниках с сигаретами «Уинстон».

– Нет, в свои 15 лет я не смогла бы тягаться с твоими девушками из календаря, – вздохнула она. – У меня все было такое маленькое. У меня просто не было шансов. И все, что мне оставалось, это слушать Вивальди и мечтать о том, как я буду танцевать с каким-нибудь принцем в огромном дворце, и вокруг нас будут кружиться в танцах другие принцы и принцессы в пышных платьях, а потом мы бы выходили на балкон, и над нами бы светила луна и звезды, и он говорил мне, как он любит меня, и все стихами...

– Я сейчас слушаю твоего Вивальди с большим удовольствием, чем, скажем... Нет, я даже не знаю, что бы я еще сейчас мог послушать. Может быть Пэта Метини? Нет, не хотел, бы. Так хорошо. Эта музыка так точно передает душевное состояние. На улице мерзко, а дома хорошо.

Уроки все еще давали заработок, которого пока хватало на жизнь. Лежавшие на моей сберкнижке деньги мы планировали использовать на покупку билетов, внесение пошлины за диплом, а остаток суммы отдать мамам.

Мне казалось, что в душе мать была рада моему отъезду. Отъезд был веянием времени. Как все запасались на зиму мукой, сахаром или картошкой, потому что потом не будет, как все запасались водой, потому что вечером отключат, как бросались в сертификатный, где выбросили итальянскую обувь, или в торгсин, где появились кассеты Maxell, так все сейчас потянулись на выезд. Это был обычный рефлекс вечно голодной толпы на очередную возможность схватить то, чего потом снова не будет. Мать прожила в этой традиции постоянного ожидания удачи всю жизнь и не хотела, чтобы я упускал свой шанс. Нет, я не хочу сказать, что мой отъезд был ей безразличен. Она не могла не понимать, что мы можем больше не увидеться. Несмотря на весь наш оптимизм, кто мог знать, как я устроюсь в Америке? Но она надеялась на лучшее и, помимо этого, она, может быть, даже не отдавая себе в этом отчета, считала, что мой отъезд снимет с нее ответственность за то, что я ушел из дому из-за ее нового мужа. Уезжая, я окончательно отказывался от своей доли нашей главной ценности – жилплощади.

Глава 35

Мы расписались в районном ЗАГСе на Черемушках. Накануне, возвращаясь с урока, я сошел с трамвая на Соборной и купил ведро роз. Хотел белые, но у теток были только красные. Продавщица, не веря своему счастью, отдала мне все ведро, посчитав за него еще пять рублей, и так я с ним и пошел

домой. Наташа ахнула, потом оказалось, что нам не во что ставить цветы. Вазы у нас не было, и мы оставили цветы в ведре посреди комнаты.

– У меня никогда такого не было, – сказала она. – Я не могла себе представить, что к свадьбе у нас совершенно не останется друзей. Мы просто осиротели с тобой.

На следующий день с утра пошел дождь. Снежные сугробы у деревьев и на газонах почернели, мокрые черные деревья выглядели так, словно их покрывала прозрачная студенистая масса, у края мостовых собрались черные лужи. К зданию ЗАГСа такси почти подплыло. За дверью с красной вывеской открылся обычный казенный коридор с крашенными темно-зеленой краской стенами и мутным светом. Встретившая нас секретарша проверила в своей книге наши фамилии и, поставив возле них птички, предложила подождать очереди в комнате жениха и невесты. На двери, к которой она нас подвела, действительно значилось «Комната жениха и невесты». Комната оказалась покрашена той же мрачной зеленой краской. На полу лежал протертый до желтых пятен ковер, у стен стояли два продавленных кресла с коричневой дерматиновой обивкой. Одна из стен была закрыта темно-вишневым бархатным занавесом. Я откинул его, обнаружив за ним глухую стену.

– Это чтобы женихи не выпрыгивали из окон, – сказала Наташа.

– А я думал, чтобы вид снаружи не удручал.

– Да, внутри вид, конечно, лучше! На редкость мрачное местечко.

Она обняла меня, прижавшись, сказала:

– Там надо будет еще раз пожениться. Найдем там нашу церковь и поженимся. Найдем всех наших. Этот же брак все равно как бы не настоящий, верно? Так, бумажка для выезда.

В дверь постучали. Секретарша позвала на роспись. В большом зале нас ждала у стола плотная румяная женщина в синем костюме с высоко завитыми белыми волосами. За ней стояла, заслоняя окно, гигантская белая голова Ленина с пустыми глазами. Что он тут делал, было совершенно непонятно. Матрона попросила нас не бояться, а пройти к ней поближе. Когда мы приблизились, она взяла со стола и зачитала какой-то официальный текст, кончавшийся предложением подтвердить, что мы будем любить друг друга всю жизнь. Мы по очереди подтвердили это. Матрона указала два полированной указкой на документ, где нам надо было поставить свои росписи. Полированная указка должна была придавать обстановке торжественность.

После того, как мы расписались, матрона поздравила нас, добавив со вздохом:

– Уезжаете, наверное, ребята? Сейчас многие так. Ни свадьбы, ни колец, ничего, только бы смотать удочки. Вы хоть по-настоящему?

Впечатление было такое, что, задавая вопрос о том, насколько искренен наш союз, она переживала за то, что ее профессия может потерять смысл. Какой в ней со всем этим помещением, Лениным, указкой и синим официальным костюмом смысл, если после пересечения границы мы разойдемся как в море корабли, даже не вспомнив ни о ней, ни об этом дне. Я не знал, что ответить, а Наташа едва слышно сказала:

– Что вы, конечно, мы по-настоящему.

В этот момент мне ужасно хотелось обнять ее, чтобы, произнеся эти слова, она не ощутила себя одинокой, но меня остановила мысль о том, что матрона увидит в этом спектакль, который бы только подтвердил ее худшие опасения.

– Ну, счастливо оставаться, – сказал я и потянул Наташу к выходу. Мне хотелось поскорей уйти отсюда.

– Спасибо, – лицо у матроны напряглось. – Мы останемся. Нас-то нигде не ждут.

На улице Наташа сказала:

– Не надо было ей этого говорить.

– Больше не буду.

В такси я сказал, что, наверное, нам надо было прежде заключить церковный брак. Но Наташа возразила:

– Не надо. Я хочу, чтобы мы все сделали там. Чтобы вся жизнь началась там. С солнцем, с теплом. Слушай, нам же все равно куда ехать, верно? Давай поедем куда-то на юг. В Сан-Франциско, например. Или в Сан-Диего. Я прочла, что в Калифорнии температура круглый год колеблется от 20 до 25 градусов, представляешь? И солнце светит, только утром туманы. И колибри летают по улице. И мандарины растут прямо на кустах возле домов. Представляешь?

Какая-то тяжелая грусть опустилась на нас. Дома снова не топили. Наташа отказалась от шампанского, которое я приготовил на вечер, и мы выпили по несколько рюмок коньяка с шоколадом и хурмой. Перед тем как ложиться, Наташа сказала:

– Очень холодно. И тоскливо. Но если ты очень хочешь, я готова выполнить свой супружеский долг.

Впервые за весь день мы рассмеялись.

Устроившись в темноте, как она говорила, ложечками, я испытал, засыпая, удивительное облегчение от ощущения того, что этому холоду и неустроенности скоро придет конец.

В феврале мы получили разрешение на выезд. Я улетел в Москву, чтобы получить визы у израильского представителя, работавшего в Голландском посольстве, и поменять рубли на доллары. В сборах документов, хождении в ОВИР, стоянии в очередях с перекличками для сдачи паспорта и обмена валюты, нам удалось избежать большей части той предотъездной суеты и хлопотных сборов, через которые проходили наши друзья и знакомые. Нам нечего было собирать. Все должно было уместиться в два небольших чемодана. Один дала моя мама, второй – Наташина. У нас не было квартиры, которую нам надо было продавать, мебели, книг и прочей обстановки, которую можно было отправить на будущее место жительство багажом. Я собирался продать только аппаратуру и остававшиеся у меня диски. Везти их в Америку было все равно, что самовар – в Тулу. В марте я заказал два места в автобусе, который должен был нас довезти до Братиславы и, позвонив своему подводнику, сообщил, что в конце месяца съезжаю с квартиры.

За несколько дней до отъезда я отвез усилитель и колонки в комиссионный на Карла-Маркса. Проигрыватель предназначался в подарок Кащею. Когда я выгружал привезенное, я увидел крутившегося недалеко от входа Женю. Он снова был с кассетами. Заметив меня, тут же подошел.

– Че, сдаешь? Аппаратуру?

– Да.

– Сваливаешь, небось?

Он обдал меня сладким алкогольным духом. За полгода, которые я не видел его, он совсем опустился. На фиолетовой губе пузырилась лихорадка, один глаз красный, на голове драная кроличья шапка, не то серая, не то желтая.

Когда я, получив квитанции, вышел на улицу, Женя ждал меня.

– Ты что не разговариваешь со мной, да? Брезгуешь, да?

– Женя, не начинай, – сказал я. – Я тебе ничего не должен, и ты мне ничего не должен.

– Что значит, ты мне не должен?

Он был пьяней, чем мне сначала показалось.

– Ты знаешь, что я вот здесь вот этим «модерн-токингом» торгую из-за вас, бля! Из-за вас!

– Из-за кого из-за нас?

– Из-за всей вашей бригады, которая меня без работы оставила! Без работы и без куска хлеба!

Он вцепился мне в руку.

– Женя, вся бригада осталась без работы. Уже нет никакой бригады.

– Так ты, значит, теперь все скидываешь и валишь, а мы, значит, здесь должны будем подыхать, да?

Я оттолкнул его и он, поскользнувшись на мокром тротуаре, отшатнулся и, взмахнув руками, выпустил коробку. Та взлетела и с сухим треском упала, кассеты рассыпались по черному асфальту.

– Бля! Та я тебя сейчас убью, это же не мои кассеты!

Я не знал, стоит ли мне помогать ему собирать их, или исчезнуть, пока он займется их сборами. Мои колебания решило появление двух молоденьких милиционеров. Став по сторонам от Жени, они терпеливо дождались, пока он соберет свой товар и встанет на ноги. Я видел, как ретировались другие стоявшие под комиссионным жуки. Когда Женя поднялся, один мент кивком головы велел ему следовать за ними. Мной они явно не интересовались. То, что произошло дальше, можно было ожидать – они завели его в подъезд соседнего дома, откуда – я уже видел это из такси – он вышел без своей замусоленной шапки, в распахнутом пальто и без коробки с кассетами. Заметив меня в отъезжающей машине, он схватил с земли серую ледышку и, запустив в мою сторону, заорал:

– Я тебя убью, с-суку такую! Убью с-суку!

Теперь я был виноват и в этом его несчастье. И все же испытал облегчение. Мне совершенно не было жалко этого патологического неудачника, чьи неудачи были следствием его лени и злобной тупости. Когда менты попросили его следовать за ними, у меня мелькнула только одна мысль: если он начнет рассказывать им истории про нашу совместную работу и если те захотят увеличить свой заработок еще и за мой счет, наш отъезд может задержаться. Но когда он вышел из подъезда попросту обобранный, я понял, что опасность миновала.

Глава 36

Прощание с мамами было скорым. Собрались у Надежды Григорьевны, моя мать испекла свой любимый торт – сметанник. Посидели, поохали, мамаши утирали слезы, брали с нас обещания писать подробно и часто. Мы говорили, что как только устроимся, попытаемся забрать их к себе, они повторяли: не думайте о нас, мы как-то проживем. В дверях мать, обняв меня, сказала: «Прости сынок, если что-то было не так». Она осталась у Надежды Григорьевны помогать ей убирать посуду. Друг с другом у них было больше тем для разговоров, чем с нами.

Наташа сначала хотела пригласить Кащея к нам, но рассудила, что вечер с ним без музыки будет не вечером – у нас уже не было ни усилителя, ни колонок. Мы взяли с собой хлеб, брынзу, колбасу, коньяк,

посуду, которая была нам уже без надобности, пошли к нему. Кащей слегка опешил от подарка – вертушки и полдюжины остававшихся пластинок. Я так и не продал их. Хотел пожить с ними подольше, не расставаться до последнего. А он все перебирал их, словно не зная, что с ними делать. Я не был уверен, что он будет слушать их. Я даже был уверен, что не будет.

Наташа, накрыв его журнальный стол принесенной скатертью, позвала нас, и мы начали нашу отвальную с посошка. Выпив первую, Кащей привычно разлил по второй.

– Давайте для успокоения нервов, а то что-то я разволновался.

Наташа, подняв рюмку, сказала:

– Константин Константинович, давайте за вас, вы у нас один остались.

– Действительно.

Сказав это, Кащей опрокинул в себя рюмку и, когда его голова вернулась на место, из него просто брызнули слезы, как если бы коньяк, вброшенный в рот, выплеснулся из глаз. Мы растерялись. Он, закрыв ладонями лицо, потрясся немного, потом, размазав влагу по потемневшему лицу, сморгнул, взял вилку, подцепил кусок колбасы и, забросив его за щеку, сказал:

– Вы даже не знаете, Наташа, как попали в точку. Правильное слово, как правильная нота, убивает наповал.

– Что вы имеете в виду?

– А то я имею в виду, что я не у вас тут один остался. А я просто один тут остался. Сам с собой. Без ансамбля. Один бля. Сперва Володя руки на себя наложил, царство ему небесное, на прошлой неделе Лиза уехала, теперь – вы. В институте была пара-другая инженеров, с которыми хоть слово можно было сказать, тоже умотали. Один остался. Один. Так знаете, лет в 50 начинаешь ощущать старение, морщины, интерес к некоторым вещам теряешь, не получилось что-то, ну и хрен с ним, но живешь все равно среди всего знакомого. Ну, пусть ты не пользуешься им, но оно твое. Как велосипед. Знаете? В какой-то момент садиться на него уже смешно, однако вот он висит на стене, захочу – сяду, потому что вот он – висит. И таких вещей много, захочу – возьму. А тут все, вдруг, как сорвалось со своих мест, и ты стоишь, а вокруг ничего нет. Ни хрена.

Он вздохнул.

– Колбаска хорошая, Наташа. Сладкая. Крестьянская. Рублей наверное 15 килограмм, а? Ну, да вы сейчас не считаете, наверное.

Как это ни странно, но перед самым отъездом я стал считать деньги, потому что после поездки в Москву, расплаты с родиной за учебу в ВУЗе, покупкой билетов и жизнью без дохода от уроков, от которого мне пришлось отказаться в последний месяц, практически все мои сбережения разошлись. У меня оставалась тысяча рублей, которые я хотел иметь при пересечении границы. Я слышал, что таможенники вытворяли чудеса, чтобы только заработать свою копейку на отъезжающих. Для них это тоже был шанс, отказываться от которого было нельзя, поскольку завтра его уже могло не стать.

– Ну, давайте послушаем, что вы мне оставляете. Нет, знаете, поставьте мне что-то такое, что вам дороже всего.

– Давайте Цеппелин, – предложил я.

– Цеп-пел-лин, – повторил Кащей. – А что это значит?

– Led Zeppelin – свинцовый дирижабль.

– Странное название, нет?

– Они не были уверены, что их дирижабль, в смысле их группа, будет успешной. Что он полетит. Такая ирония – свинцовый дирижабль не полетит. Для них это была авантюра.

Пока я это рассказывал, Кащей снова наполнил рюмки.

– Ну, ладно, – сказал он, поднимая свою. – Тот дирижабль, на котором мы все сейчас находимся, оказался явно свинцовым. Но я хочу выпить, чтобы ваш новый уже, наконец, полетел и полетел в правильном направлении!

Я опустил иглу на черный промежуток перед Since I've Been Loving You.

Ах, как замечательно она звучала на его усилителе и колонках! Как звенела медь Бонэма, как осторожно, просто вкрадчиво играл на органе Джон Пол Джонс, как взлетали гитарные пассажи Пейджа, а когда Плант закричал: drag, drag, a-a-a-a-a-a drag, я увидел, как Кащей вжался в кресло.

– Действительно, – сказал он, когда музыка кончилась. – Сильная вещь. Будете там, пойдите на концерт обязательно.

– Для этого нам раньше надо было уехать, – сказал я. – Их больше нет.

– Да, а почему?

– Бонэм умер. Их барабанщик. После этого они решили больше не играть.

– Вот оно что. Поразительно все-таки, как эта музыка воспитала целое поколение таких людей, как вы. Музыка – страшная сила, нет? Помните, отчего пали стены неприступного Иерихона? Осаждающие ходили вокруг и трубили в свои трубы. И стены рухнули. От музыки.

– Наши стены еще стоят, – заметил я.

– Верно, стены стоят. Только охранять их уже некому.

У подъезда Кащей обнял нас обоих, привлек к себе так, что лбы наши сошлись.

– Ну, наслаждайтесь там за меня, дети, – сказал он.

– Может быть, с нами поедете? – спросила Наташа.

– Нет-нет, я уже старый ехать. И потом очень хочется досмотреть всю эту комедию до конца. Ну, давайте, с Богом!

Он подтолкнул нас к выходу.

Была уже поздняя ночь, но было не холодно и в воздухе уже можно было уловить тревожный запах оттаивающей земли, сделавшей первый вдох-выдох после зимнего оцепенения. Не быт и не работа, на устройство которых особых надежд не было, а одна лишь природа с ее бесконечным чередованием времен года, умиранием и возрождением жизни, вселяла надежду на то, что очередной цикл бытия принесет радость.

Мы постояли на бульваре, глядя на россыпь портовых огней, черные силуэты судов, слушая доносившиеся звуки непрекращающейся портовой жизни: лязг и вздохи железнодорожных составов, удары опускавшихся на палубы контейнеров.

Миновав темные громады Воронцовского дворца и Колоннады, мы пересекли Тещин мост. Когда мы поднимались с бульвара, Наташа сказала:

– Знаешь, у меня возникло такое ощущение, словно мы бежим из этого города. Дождались, когда все уснули, и бежим.

– Только не говори, что испытываешь неловкость.

– Нет, я ни о чем не жалею. Но я думаю, что мы увезем отсюда ощущение не чего-то оставленного, а чего-то недоделанного, и оно будет всегда подзуживать.

– Недоделанного? Здесь просто нечего делать, о доделывании чего ты говоришь?

Я услышал свой голос со стороны, и он показался мне резким и раздраженным. Она не ответила. Я так устал от прогулки, что хотел только поскорей добраться до постели и лечь.

Мы молча дошли до дома. В парадной было как всегда темно. Только едва серела площадка между этажами. Наташа пошла впереди, я – за ней. Потом я увидел, как в мутном квадрате света появилась тень и кто-то сказал: «Наконец-то заявились!» Звук удара был глухим, но сам удар был настолько сильным, что Наташу отбросило на меня и мы оба упали. Я еще видел, как через нас кто-то перепрыгнул и, сбежав вниз по лестнице, выскочил на улицу. С коротким звенящим стуком упало на пол что-то металлическое и покатилось.

– Наташа!

Она лежала на мне, не шевелясь. Я выбрался из под нее. Кровь оглушительно била в виски. Я взял руками ее лицо, тут же ощутив, что одна ладонь стала мокрой и теплой. Схватив ее под руки, потащил наверх, усадил у двери. Мокрая рука не лезла в карман, наконец, вырвал ключ, открыл дверь, ввалился в коридор, втащил ее. Включил свет. Мне сначала показалось, что одного глаза у нее нет. Вся правая часть лица была одной кровавой раной. Я бросился в ванную и намочив полотенце, стал завязывать ее голову. Полотенце было коротким, и кровь так обильна текла из раны, что я никак не мог остановить ее. Я забарабанил в соседскую дверь: «Анна Николаевна!» Попытался звонить по телефону. Цифр было не разглядеть, мокрые пальцы выскальзывали из отверстий диска. Когда, наконец, услышал сонное «скорая», в коридоре появилась разбуженная шумом Анна Николаевна. Ее крик заглушил голос в трубке. Я снова бросился в свою комнату. Сорвав с постели простыню, оторвал от нее длинный лоскут и, вернувшись к Наташе, стал перематывать голову. Анна Николаевна что-то кричала в трубку.

Глава 37

Все смешалось в жутком калейдоскопе: растущая на полу черная лужа, ведро с красной водой, неподвижное тело Наташи. «Она жива?» – спросил я Анну Николаевну. Она, прижимая к груди телефонную трубку, едва шевелит губами: «Как я могу знать, Митя?» Я прикладываю ухо к груди Наташи, но ничего не слышу, кроме пушечного пульса в собственных висках. Как много крови. «Наташа!» Мне кажется, что ее губы шевелятся. Если приложить к губам зеркальце, то по оставшемуся на нем следу можно установить, дышит ли человек. Где взять зеркальце? Входят люди в белых халатах. Один с чемоданчиком. Они отстраняют меня от тела на полу. Разматывают красные ленты. Появляется милиционер. За ним еще один.

– Ты, что ли, ее так?

Один санитар показывает железную трубу.

– Нашли возле входа. Наступил, думал, убьюсь.

– Ты это видел? – мент кивает на трубу.

Я киваю. Слышал, когда ее бросил выбегавший из парадной. Конечно, это был он. Кто еще? Кто еще мог ждать меня ночью, чтобы рассчитаться за все свои беды и обиды? Его голос невозможно спутать ни с каким другим.

– На Слободку?
– Не успеем. Давай на Пастера.
– Я с вами.
– Это как милиция скажет.
– Нет, ты с нами пойдешь.
– Я хочу с ней.
– Сперва с нами, потом с ней.

Двери скорой закрывают за ее носилками. Я сажусь в милицейский газик. Тот же участок. Те же люди. Мы сидим в небольшой комнате. Я на стуле перед человеком за столом.

– Мне надо в больницу.
– Успеешь, там теперь торопиться некуда.
– Что вы имеете в виду?

Кривая улыбка.

– Расскажешь, как все было, и пойдешь к ней.
– Что рассказывать?
– Как это произошло?
– Мы входили в парадное. На лестничной площадке нас ждали.
– Кто?
– Его зовут Женя.
– А что у него к тебе было?
– Мы работали в одном кооперативе. Потом его закрыли. Он считал, что из-за меня потерял заработок.
– Адрес знаешь?
– Знаю.

Я сижу в комнате один. Я устал, разбит, я не знаю, что с ней. Ей сейчас могу делать операцию. Трепанацию. Отпиливают сверкающей ножовкой верхнюю часть черепа, потом снимают как крышку с котелка. Виден мозг. Она может потерять глаз и будет ходить остаток жизни с черной повязкой или стекляшкой. Хорошо тому живется, у кого стеклянный глаз, он не бьется и не трется и сверкает как алмаз. Мимо ходят другие менты. У них хорошее рабочее настроение. Некоторые спрашивают у дежурного, кто я. Слышу: «Подруге раскроили череп». – «Он?» – «Выясняем». Жуткая усталость накатывает волнами. Под ее весом я погружаюсь в вязкий ил другой жизни, лишенной красок, звуков и ощущений той жизни, которой я жил совсем недавно. Я хотел бы лечь рядом с ней и, обняв ее, уснуть, пусть даже навсегда, но только рядом.

Женю привозят утром. Он совершенно пьян.

– Да я ее вообще не знал! Я мамой вам клянусь, я ее не знал. Я этого жидяру хотел. Вот этого, на стуле! Случайно у меня это получилось. Не хотел я ее.

На Пастера ее не оказывается. В отделении не было мест.

– Где она?
– На Слободке проверьте.

На Слободке сухая женщина в допотопных круглых очках ведет суставчатым пальцем по странице с записями, потом спрашивают, кто я.

– Муж, – я произношу это слово впервые, говоря о себе.

Меня ведут длинным коридором. Мы поворачиваем на лестницу, спускаемся на этаж ниже, еще один коридор. На двери синяя табличка с полустертой бронзовой надписью «Морг». Включается с болезненным зуденьем и нервными сполохами дневной свет. На столах накрытые простынями тела. Моя проводница подходит к одному и поднимает простынь.

У Наташи невероятно бледное лицо, наполовину закрытое пластырем и бинтами. Остро торчат ключицы, скулы, плечи. Опустив простыню, санитарка отходит в сторону.

– Что я должен теперь делать?
– Договаривайтесь о похоронах. Тело будет готово завтра.

Будь готов, всегда готов. Как они ее приготовят? На тихом огне. В кастрюле с белым солевым раствором. Соль хорошо впитывает кровь. Потом извлекут через нос мозг. Обмотают тело пропитанной благовониями тканью. Это ваш труп? Да, мой. Ах, как хорошо пахнет!

Кащей обнимает меня, прижимает к тому же прокуренному пиджаку, к которому вчера только прижимал нас с ней.

– Митя, кроме водки ничего не поможет. Ебните бутылку и усните.

Надежда Григорьевна передает служительнице в синем халате пакет с вещами. Руки трясутся.

– Это все старое, Митенька, она же все свои вещи у вас держала. Но она это тоже любила, я вам честно говорю.

В гробу у нее оказываются накрашенными губы. Чужая, грубая, красная помада. Из-под свежего белого пластыря проступает багровая кромка кожи с крохотной серо-зеленой оторочкой смерти. Перед могилой стоит ее отец, похожий на памятник самому себе. Меня он в упор не видит.

– Вам не в чем себя винить, Митя, – говорит Нина Ефремовна, во всем черном. – И уезжайте отсюда, уезжайте. Ничего хорошего тут нет и не будет. Помните Толика? Научного сотрудника? Вы с ним у нас на даче познакомились. Тоже убили. В Баку.

– В Баку? Что он делал в Баку?

– Он делал деньги, Митя. Больше он ничего не делал. И тоже хотел уехать. Говорил, что через два-три года здесь такое начнется, что на улицу выйти будет страшно. Могла бы, уехала отсюда сегодня.

Надежда Григорьевна стоит на коленях у гроба и тихо, по-собачьи, скулит.

И еще одна жизнь оставляет на короткую память о себе ворох растрепанных цветов на холмике коричневой земли.

Мы пьем у Кащея коньяк из принесенных ею стопок. Когда я прикладываю край стопки к губам, я снова целую ее. Я засыпаю на диване, а проснувшись, опять пью. Потом опять засыпаю. Кащей негромко переговаривается с кем-то у двери. Бу-бу-бу, да-да-да. Я пью мутный рассол, потом крепкий чай.

– Вашей соседке дали для вас повестку на дачу показаний. Пойдете?

Я произношу непонятные мне самому звуки. Он говорит:

– Вы с ума сойдете, если останетесь. Все эти показания, суд, жизнь без паспорта. Уезжайте. Если у этого Жени есть деньги, они еще на вас все это повесят. Уезжайте, вы меня слышите?

– У него нет денег. У вас еще есть коньяк?

Вязкий ил продолжает засасывать меня, но до черного дна, где все кончается, не дотянуться никак. Кругом мучительный полумрак, полубезвоздушное пространство предсмертья, но не смерти. Из примет жизни лишь два знакомых чемодана у дивана. На одном – конверт с документами и пачка денег.

– Ваш подводник вас выселил. Там уже другие люди.

Какое счастье, что не надо возвращаться в тот страшный дом, входить в пахнущее открытой могилой парадное. Когда я остаюсь один, я раскрываю Наташин чемодан и, спрятав лицо в ее вещах, долго и безудержно плачу. Ночью просыпаюсь рывком совершенно трезвый – она сидит на краю постели. Рука – на моей ноге.

– Ну, как ты мог забыть? – говорит она и улыбается своей виноватой улыбкой.

– Я забыл? Что?!

– Ну, как же, Митенька? Панихиду мне и Володе!

Я закрываю глаза. Какое странное слово – панихида. Открываю глаза. Никого нет. Я кричу от ужаса, пока есть голос, потом сиплю.

– Митя, Митя, так недолго и на Свердловку угодить, – Кащей раздосадован внезапным пробуждением. – Сдерживайте себя как-то, Митя.

До утра я уже не смыкаю глаз. Когда выхожу из квартиры, Кащей спит в кресле. У него по-старчески отвалилась челюсть, он храпит на вдохе и делает тяжелый, прерывистый выдох. Я останавливаю такси и, не узнавая своего голоса, прошу отвезти в монастырь на Дачу Ковалевского. В храме темно и пусто, только светятся огоньки лампад у нескольких икон. Молодой паренек в подряснике негромко беседует с пожилой женщиной у свечного ящика. Я спрашиваю, как найти священника с каштановой бородой.

– Это – отец Василий. Я сейчас его позову.

Появляется отец Василий, тоже в подряснике, с непокрытой головой.

– Здравствуйте, вы, кажется, были здесь с девушкой недавно. Чем я могу помочь вам?

– Да, вы помните ее?

– Да, очень привлекательная, она здорова?

– Ее убили.

Я снова плачу и, когда кладу ему голову на плечо, он берет меня за плечи и говорит:

– Дорогой мой, прошу вас, крепитесь, такое вам выпало испытание. Вы, наверное, хотите заказать панихиду. Хотите остаться на литургию?

Я киваю согласно.

Он ведет меня узкой тропинкой между серых, голых кустов. Крохотная беленая известью комнатка. Узкая постель под лоскутным одеялом. У небольшого квадратного окна столик с иконами. В углу под потолком – икона Богородицы, в красном стаканчике перед ней источает ровный свет крохотный огонек. Скамья.

– Как же это стряслось?

Отец Василий садится напротив меня на постель и берет мои руки в свои. У него маленькие, сухие, очень теплые руки.

– Ну, рассказывайте, я слушаю вас.

Я путаюсь в поисках начала своей истории, обнаруживая, что никакой особой истории у меня и нет, а есть только пустота в груди. И чем рассказывать о себе, лучше рассказывать о ней, потому что

повторение ее имени заполняет капля за каплей эту пустоту, и тогда возникает ощущение того, что она не ушла навсегда, а оставила меня ненадолго. Я рассказываю, как впервые увидел ее в редакции. Вошел в комнату, где мне предстояло работать, а она сидела за своим столом. Она посмотрела на меня, и у меня сразу возникло ощущение, что она мне поможет обжиться на новом месте, установить отношения с другими сотрудниками. В тот же день мы пошли в столовую на первом этаже издательства, и она взяла себе на обед картофельное пюре с сосисками, а мне было неловко есть при ней, и я взял только кофе и какой-то коржик. Но она с таким интересом слушала меня, как я после школы попал в армию, а потом, благодаря армии, на престижный факультет романо-германской филологии. И это произошло не потому, что у меня была тяга к языкам, а потому, что когда-то в юности я придумал сам себе профессию журналиста-международника. Но одно дело хотеть стать журналистом, а другое стать им. Я долго не мог найти, о чем писать для местной газеты. У меня не было своей темы, но в конечном итоге мне помогло юношеское увлечение рок-музыкой и потом джазом. Я стал писать про джазовые концерты в филармонии и брал интервью у приезжих джазистов, потому что говорил по-английски. Потом я стал писать про первые рок-концерты, и тогда оказалось, что я вроде бы как эксперт в этой области. А она всегда была моим первым редактором, первой читала мои статьи и делала замечания. Но, несмотря на возникшую между нами теплоту, она избегала сближаться со мной, говорила, что не хочет терять дружеских отношений. Может быть, она знала, что в среде музыкантов, где я проводил много времени, у меня были другие девушки, а она не хотела становиться одной из них. Да, у меня были разные девушки, но они никогда не были близки мне. А когда я уволился из газеты, она пришла ко мне, и мы стали жить с ней как муж и жена. Потом я работал на разных работах, пока не стал терять их одну за другой, и тогда мы решили уехать в Америку. И как мы готовились к отъезду и прощались со всеми, пока все это не рухнуло. Когда я произнес слово «рухнуло», иллюзия того, что она была где-то неподалеку, прошла, и я снова ощутил эту ужасную пустоту в груди.

– Так вам негде жить?

– У нас есть один друг. Я ночевал у него в мастерской.

– Вы если хотите, поживите до отъезда здесь. Семинаристы сейчас разъехались, места много.

Глава 38

Перед началом службы отец Василий дал мне книжечку в мягкой желтой обложке, на которой старым славянским шрифтом было написано «Молитвословъ». Он открыл ее на нужной странице и отметил ногтем несколько мест в тексте.

– Здесь будете говорить «раба божия Наталия». Только следите за текстом. Вам тогда будет понятней, о чем идет речь.

В храме было темно, тихо, покойно. Мерцали, покачиваясь, оранжевые язычки пламени в лампадках. Женщины на клиросе перешептывались, поправляли ноты, едва слышно пробовали голоса: «Г-о-о-о-о... Го-о-о-о-о-с-сподипоми-и-илуй».

– Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков, – начал отец Василий, и я вспомнил наш разговор с Наташей о том, как начинать молитву:

– Это типа, как по телефону: «Але, на проводе!» А когда там ответят, ты переходишь к делу, так?

– Типа, – ответила она.

– Миром господу помо-о-олимся, – запел высоким голосом молоденький дьякон.

Изображение стало размытым, теплым, соленым.

– Об оставлении согрешений во блаженней памяти преставляшихся, Господу помо-о-олимся.

– О приснопамятной рабе божией Наталии помо-о-олимся, покоя, тишины, блаженные памяти ея, Господу помо-о-олимся...

– О неосужденным предстати у страшнаго престола Господа славы, Господу помо-о-олимся...

– О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу помо-олимся...

Монотонный голос отца Василия и высокий, певучий молодого дьякона навевают ощущение причастности к другому, нездешнему миру, где не существует потерь, где нет смерти.

– О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте све-етле, в месте зла-ачны, в месте поко-айне, идеже все праведнии пребыва-ают, Господу помо-олимся...

– О причтении их в недрах Авраама и Исаака и Иакова, Господу помо-олимся...

– Об избавитися нам от всякои скорби, гнева и нужды, Господу помо-олимся...

– Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благода-атию.

– Милости Божия, царства небесного и оставления грехов испросивши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади-им.

– Тебе, Господи-и, – мягко и протяжно завершают женщины на клиросе.

После службы мы идем в трапезную. Я сижу за длинным столом еще с несколькими священниками

в черных подрясниках, ем овсяную кашу. Безвкусная, она не вызывает отторжения. Ночь в монастыре абсолютно беззвучна. Утром снова иду с отцом Василием на литургию. Меня несет по бесконечному кругу служб, молитв, чтений, учебы церковнославянского алфавита, попыток чтения старых книг, которые мне дает отец Василий, литургий, всенощных, сна, ничего не делания, ничего не думания. Мир с его заботами и страстями отступает.

– Яко Ты еси воскресение и живот и покой усопших раб твоих, – говорит отец Василий, и я уже привычно добавляю:

– Наталии и Владимира.

– Христе Боже наш: и тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, и со пресвятым и благим и животворящим Твоим духом, ныне и присно и во веки веков.

– Ами-инь, – завершает хор.

Мы сидим с отцом Василием на скамейке в саду. Чирикают на робком еще весеннем солнце птицы. Я спрашиваю, могу ли поступить в семинарию и остаться в церкви. Он со вздохом отвечает:

– Дорогой мой, вы же сами когда-то сказали: мол, у вас тут бюрократия. Вас так просто не примут. Как я понял, паспорта у вас уже нет, рекомендации от приходского священника тоже нет. Да-да, у нас тоже есть рекомендации. Вас в церкви никто не знает, хотя, поверьте, вы мне стали очень близки. Но именно как близкому человеку я вам хочу сказать: вы говорите, что хотите остаться в церкви, то есть посвятить себя служению Богу. Но одно дело, когда человек принимает это решение на трезвую, так сказать, голову, а другое, когда после такой страшной трагедии, как ваша. Между тем, пройдет время, и вы, может быть, пожалеете, что взяли на себя такое обязательство. Перед тем, как заключить брак с Натальей, вы были знакомы с ней много лет. Вы постепенно пришли к пониманию того, что хотите прожить с ней всю жизнь. Так же и тут. Поживите какое-то время церковной жизнью, а потом спросите себя снова: готовы ли вы стать священником? И помните: вы не можете укрываться в этом сане от своего горя. Нельзя быть священником для себя. Господь хочет, чтобы вы служили другим людям.

– Как же я поживу несколько лет церковной жизнью? – спрашиваю я. – Мне и жить-то негде.

– Вы ведь собирались уезжать, верно?

– Да.

– Вот и уезжайте. Там тоже есть наша церковь, там и начнете свою новую церковную жизнь. Поверьте мне, дорогой мой, та церковь вам придется по вкусу больше. Она посвободней нашей будет и бюрократии в ней поменьше. А Господь над всеми нами один.

– Один ехал «Цеппелин» слушать! – слышу я голос Наташи и вижу ее смеющиеся глаза.

Глава 39

Кащея мое появление пугает:

– Митя! Вы еще здесь?!

– Константин Константинович, я за чемоданом и, если можно, еще на несколько ночей.

– А когда же вы едете?

– Сегодня схожу на биржу, может быть удастся подсесть к кому-то в автобус.

На бирже, собирающейся на Проспекте мира, мне дают несколько телефонов, и в тот же вечер я расплачиваюсь за место.

Пересчитав деньги, мой новый попутчик, рослый мужчина с усами подковой, говорит:

– У нас 40 мест и у наших попутчиков 40 мест. Я имею в виду багажных мест. Их шесть человек и нас – пятеро. Две семьи. Поэтому я вас предупреждаю: если вы сказали, что у вас один чемодан, то я готов поверить, что у вас два. Но если у вас четыре, вы просто не поместитесь. Запомните, у вас есть в этом автобусе два места. Вы меня понимаете?

– Не волнуйтесь, я вас не подведу.

Он записывает адрес Кащея и сообщает, что автобус подъедет за мной в пять-шесть утра в пятницу.

Я хожу по дремлющему на прохладном весеннем солнце городу. Я говорю себе, что это прощание, но связь моя с ним уже давно прервана. Дома из мягкого ракушечника, отбитые углы подъездов, прикрытые ржавой кровельной жестью карнизы, многократно крашенные двери парадных с выбитыми стеклами и ажурными, покрытыми многими слоями краски решетками, высокие окна, за которыми открываются темные провалы квартир. Декорация из печального спектакля, главный герой которого уезжает в Америку на поиски нового счастья. Работник сцены держит руку на рычаге, в ожидании команды: «Давай занавес, Жора!»

Я миную погружающуюся в сумерки улицу Баранова с вывороченной брусчаткой мостовой и многослойными дырами в асфальте тротуаров. Я родился на этой улице и жил до переезда на поселок Таирова. Раньше улица называлась Княженской и под этим именем попала в песню. На Княженской малине они остановились, они остановились отдыхнуть. Здесь остановился «отдыхнуть» перед отъездом из России Бунин. Он квартировал в доме художника Буковецкого. Здесь же жил художник Нилус.

Он написал роман о художниках Одессы, который никто не читал. Нилус растворился в потоке первой эмиграции, не оставив по себе большой памяти. В музее на спуске Короленко висело несколько его работ – дети в матросках на мостках, вокруг море, солнце, покой, счастье. Смог ли одесский художник найти это состояние во Франции, где дожил свою жизнь? Темный подъезд ведет во двор дома Буковецкого, где стоит по пояс в ящике земли каменный красноармеец. Асфальт вокруг него поломан и взволнован, на заднике каменеют простыни и пододеяльники. Огромное окно студии, где работал Нилус, покрыто слоем пыли. Из-под осыпавшейся со свода подъезда штукатурки выглядывает камыш. Скоро и этот забытый памятник местной истории рассыплется в прах и будет развеян по миру. Лишь самый завзятый краевед учует в нем йодистый запах моря или горячей степной земли. А другой лишь спросит с удивлением: Одесса? Какая Одесса?

Я оставляю позади высокий и мрачный, как крепость, Молочный корпус Нового базара. В стеклах огромного окна на фасаде пламенеет вечернее небо. Справа встает и уходит назад, сливается с другими фасадами, серый, как казенная шинель, Главпочтамт. Выплывает и уходит в сторону изрезанная нишами, заставленная колоннами, увешанная каменными венками, вазами и карнизами аптека Гаевского. Гаевского? Кто это Гаевский? Ну, вот же он – безногий слепец у входа, с атлетическим торсом и венком из окаменевших цветов и листьев. Внебрачный отпрыск Гая Юлия Цезаря. Юлий Цезаревич Гаевский. Ссыльный фармацевт и инвалид третьей группы. Там в парадной стоит его кресло на колесах. И каменный Юлий Цезаревич станет прахом. Обломки карниза, который он поддерживает со своей полуобнаженной подругой, засыпят его каталку с лезущей из-под разрезанного дерматина ватой. А еще через сто или двести лет кто-то, стоя на мертвой земле этого места, не подумает даже, что здесь горевали или радовались жизни до него. И начнет все сначала, и будет радоваться, горевать и уйдет, оставив после себя на недолгую память растрепанные цветы на комьях рыжего глинозема. Род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, кто будет после. Все идет в одно место, отец Василий. Все идет в одно и то же место.

Я снова на Соборной площади, снова на скамейке, где когда-то оставил маленькую Полину. Она проснулась и, обхватив себя за плечи, поеживается от вечернего холодка.

– Привет, – говорит. – Ну, что делать будем?

– Я уезжаю.

– Куда?

– В Америку.

– Ничего себе!

Она свыкается с этой мыслью, потом говорит:

– Слушай, возьми меня с собой, а?

– Как я тебя возьму? Пока мы не виделись, столько всего случилось. Я полюбил одну женщину, мы жили с ней, а потом ее убили.

– А может быть, все это только приснилось? Ты оставил меня на скамейке. Я спала, и мне снился сон про тебя. Ты как будто бросил меня и ушел к другой. Тогда я разозлилась и пошла искать кого-нибудь другого. Ходила по каким-то бесконечным улицам, по темным переулкам каким-то, но мне никто не встречался. И потом моя злость ушла, и я стала очень скучать по тебе. Только о тебе и думала. О той нашей ночи, как я запуталась в футболке, а ты целовал меня. Тогда я вернулась сюда, легла и сказала себе: когда я проснусь, он снова будет здесь. И вот ты здесь. Это был только сон.

– Хорошо бы так.

– Так возьмешь меня?

– Как я тебя возьму, если я только о ней и думаю?

– Но ведь ты совсем еще недавно просил об освобождении от болезни и печали.

– Я?

– Ну, а кто говорил: «Отпустите мне всякие болезни и печали и воздыхания?» И вот когда тебе отпустится, с кем ты будешь тогда, а?

– Я буду священником.

– А я буду матушкой.

– Ты?!

– А что тут такого?

– Перестань, как я тебя возьму? У тебя же нет никаких документов.

– А какие нужны?

– Выездная виза.

– И все?

– Ну да.

– У тебя же осталась ее виза, отдай ее мне. Она тебе все равно не нужна. Мы так похожи с ней, разве ты не видишь?

– Вы совершенно не похожи.

– Мы не похожи только для тебя, потому что ты еще любишь ее, но потом ты полюбишь меня. Нам будет хорошо, поверь мне.

– Я никого не хочу любить.

– Поверь мне, все будет хорошо.

Я закрываю глаза, в надежде на то, что в роящемся мраке на обратной стороне век снова увижу дорогое лицо. Попытки мои безуспешны.

«Митя, поднимайтесь, автобус».

Кащей стоит надо мной, сунув руки в карманы.

Я наскоро умываюсь и, взяв чемодан, выхожу на улицу. Из окон автобуса на меня смотрят незнакомые лица моих попутчиков. У двери стоит темноволосая девочка с пронзительными голубыми глазами. На ней джинсы «Борман» цвета настоящего индиго, коричневая вельветовая куртка, кеды, в руке – дорожная сумка.

– Это с вами? – мужчина с усами-подковой не скрывает недовольства.

– Это мой сурок, – говорю я. – Посмотрите, какой он маленький.

Я обнимаю Кащея. Последний раз. Черная сутулая фигура в черном обрамлении подъезда теряет свои реальные размеры, удаляется, уходит в землю и исчезает. Дверь автобуса, скрипнув, закрывается.

– Ну что, поехали? – спрашивает водитель.

– Поехали, – отвечаю я.

Нью-Йорк, 2008 г.

Альбина СИНЁВА

* * *

За столько лет, что шли с тобой навстречу
вокруг неровной горестной Земли,
мы с двух сторон – без умысла, конечно, –
и физику, и химию прошли.

В крапиве, в лопухах, беды не чуя,
у входа в бывший детский райский сад
не ждут ни Менделеев, ни Мичурин:
им нечего нам больше рассказать.

Ты слышишь: где-то за вечерним чаем
Коперник вопрошает невпопад:
«Ну как там, вертится?» – и Дарвин отвечает:
«Все вертится. Но как-то знаешь, брат...

Бог создал мир что надо, без изъяна,
всех поселил, как обещал, в раю.
Но подвела злодейка-обезьяна:
переврала теорию мою».

Досадно. Дарвин был хороший парень.
Но нам с тобою дальше – вон туда,
где правильный, улыбчивый Гагарин
рукой усталой машет навсегда.

Не спотыкайся. Нам все время прямо.
Вперед и вверх. Я знаю, как пройти.
Понаблюдай: вон там гуляет дама
с собачкой Павлова по Млечному Пути.

Перекурить? Конечно, мы устали.
Но ничего. А знаешь? Мы – смогли.
И нам роднее и понятней стали
все пятна и неровности Земли.

Альбина СИНЁВА родилась в 1968 году в Воронеже. Публиковалась в журналах и альманахах «Октябрь», «Подъем», «Вавилон», «День и ночь» (Красноярск), газетах «Ковчег» (Киев) и «Русская мысль» (Париж), воронежских изданиях. Автор книг «Забытое искусство быть любимым» (1995) и «Девочка-речь» (1997).

* * *

Наизусть, минуя все алфавиты мира,
наклоняясь снова к своей природе,
перегнешься через ее перила:
не с того языка тебя переводят.

Взглядом до себя дотянешься, еле-еле:
облака внизу, туман, и уже светает.
Человек лежит на уступе пустой постели,
как из текста выпавшая запятая.

* * *

Все руины, трибуны и паперти смотрят в лица
ангелам, играющим в высшей лиге.
Пальцы стираются о страницы
при попытке перелистать все книги.

В небесах ползут трамваи и колесницы,
по углам прорастают крапива и незабудки,
и глаза саднят, давно перестав слезиться,
от старанья прочесть все буквы.

Не приходит осень, как будто тебя забыли
посреди кошмара с флагами и шарами,
в букваре, где мама шесть лет не стирала пыли,
паутину не обметала, не мыла рамы.

* * *

На закате сон невесом и зыбок.
Ночь теперь не ждет и приходит первой –
запирает дверь, закрывает ставни.
Кровь твоя несет разноцветных рыбок,
узниц золотых – на свету, наверно,
переливчатых, как глаза и камни.

Не поранив век – видеть их свеченье,
различать плавники и лица.
Спи, моя любовь! – очень-очень поздно.
Надо только лечь и не шевелиться,
и тебя несет ночью по теченью
на спине: потолок и звезды.

Это навсегда, это будет трудно –
жить с забытым сном через годы неба,
и желанье знать, и его исполнить.
Спи, моя любовь, и однажды утром
в сердце заплывет золотая рыба,
рыба – в о т о н о, умереть и вспомнить.

* * *

Машинка бывает стиральной, печатной и швейной.
Синёва напишет стишок, чтобы ближе к народу,
а то все какие-то рыбы, и птицы... и шеи
чудных одиноких рептилий, забывших, как в воду

входить и дышать, чтоб касанием легким и пеньем...
И руки приветливо ноют от тряпки и швабры,
когда наконец отскребаешь и пену, и перья,
чешуйки, ресницы и губы, и детские жабры.

* * *

Пилой земли и наждаком небес
мы содраны и сделаны, как надо,
расставлены с любовью или без
отдельно от весны и листопада.

Не вспоминай, как грызла нас земля
поломанными, ржавыми зубами.
Теперь гудят, как трубы, тополя
и небо подметают перед нами.

Мы вызубрили каждый поворот –
как статуи, которым без природы
вмонтировали ключик и завод –
негнущиеся, злые пешеходы.

И навсегда, с семи и до семи,
как люди на карнизе Эрмитажа,
мы движемся по краешку земли
и отделяем раму от пейзажа.

* * *

Собирать облака, оставляя гербарий неполным,
сочетать равновесия, падая в теплую тьму,
совмещая в себе точку роста, росы и опоры –
а кому же еще? Не тебе – так потом никому.

Возвращая пространство, уже на конечной трамвая
надеваешь лицо и опять понимаешь, что влип,
что пейзаж не меняется, снова тебя забывая
в окружении тварей, соседей, кентавров и рыб.

Угол зрения падает, мимо опущено веко,
и в знакомой системе зеркал третья чаша весов
вдруг становится видимой. Движется черная ветка,
наклоняется ночь, осыпается мокрый песок,

строчка рвется на тонком тире, как непрочная нитка,
распадается текст по наметке цитаты сквозной,
и на правильном месте успеет возникнуть калитка,
выпуская тебя, – и смыкается сад за спиной.

* * *

Сквозь тебя смотрели – а ты им в ответ кивал,
взятый в плен ресницами, веками, берегами, –
как в дверном глазке качается океан,
шар земной изнутри, аквариум вверх ногами.

Полушарие линзы, вывернутый зрачок,
слепота медузы, ветра тугие жабры,
поцелуй, все глубже, леска, тупой крючок.
Пусть столетие целое ты лежал бы

в темноте, за влажной и теплой еще щекой
полусонной, тебя не родившей рыбы, –
благодарный, блаженный и никакой.
Все планеты, все елочные шары бы

отражались в изгибе высохшего стекла,
отдалялись, вращались и возникали,
как друг с другом танцующие тела,
по горячей радужке бьющие плавниками.

* * *

Роспись наскальную память взамен отдаст,
мокрой тряпкой с доски письмена стирая.
Марья Ивановна! Им настает абзац,
тезаурус, бестиарий.

Скоро в дверях толпиться им надоест,
двинется в путь их караван непарный,
весь алфавит, вся фауна здешних мест,
ангелы и кентавры.

Хмурый, небритый, проснувшийся кое-как,
бог их лепил без скальпеля и перчаток.
Братской могилы вымученный столбняк,
перечень опечаток.

Пальцев не хватит, чтобы перелистать,
взгляду остаться негде – одни помарки.
Сколько нас умерло, лишь бы однажды стать
первыми в зоопарке.

Ставь запятые, покуда не замели
прямо с урока в рай на последнем слоге,
с койкой в ковчеге, в списке всея Земли,
в дарвинском каталоге.

Леонид ДРОЗДОВ

Рассказы

Пуро

Сейчас Мария живет в блочном доме, она не может уснуть за день до или после какого-то события или встречи... Она делает гимнастику под похабное современное радио, под английские припевы, которые не понимает... Она оставляет корочки черного хлеба «на опосля». Ей 83.

На полу валяется пара листов из городского вестника с мэром, растопырившим руки навстречу каждому.

Впереди день-песчинка, а позади целая жизнь дней – песочные часы постоянно идут в голове. А еще в голове сидит бабушка, перебирающая своими худыми сухими пальцами желтые горошины событий, отделяя важные от неважных.

«Перевелись нынче зимы», – говорят пессимисты. В порядке исключения, солнце выплывет на те или иные улицы, и опять небо сомкнется в серый монолит. Бывают такие «межсезонные» месяцы в Таллинне – без календаря, неясно, что это – весна, осень или грязная зима. Дни вылетают одинаковые, как из черно-белого ксерокса. Если у вас не запланировано никаких дел, вы не удержитесь в этой серости и соскользнете в свои мечты или воспоминания. И вот Мария, недавно проснувшись, лежит на тахте, смотрит в высокое окно своей комнаты и чувствует, что соскальзывает, но цепляться не хочет... Ей непонятно, что это шумит, стеклопакет? или ветер с перегонов в Средней Азии?

Итак.

Где же начало у этого всего? В Эстонии на берегу озера Вильянди... Еще точнее? Ну, так на пригорке!! Еще точнее?

Пуро жили в достатке, но не хватало земли... И тогда Юхан, один из братьев, с женой (и, может быть, с двумя дочерьми) покинули берега озера Вильянди и отправились, может быть, по столыпинской реформе, может быть, на лошадях, а может быть, уже и на поезде, но точно на восток. С убеждением, унаследованным от озера В., что вода прокормит человека, доехал он до Волги, которая поразила его, и на берегу которой он расположился...

В Куйбышеве Юхан овладел русским и стал отзываться на «Ивана». В работном доме на верхних этажах жили разночинцы, а в подвальной комнате, купив или построив лодку, поселились приезжие Пуро. На этой лодке Юхан с дочерьми переправлялись через Волгу к участку с землей, которую обрабатывали... Дрова вылавливали из реки... На той стороне Волги ловили певчих птиц и продавали – Юхан умел привлекать птиц своим голосом... Голубятня была на крыше. Голубей продавали недорого, но те неизменно возвращались к Пуро (от разъяренных покупателей спасались по-разному)...

Приходили письма с Вильянди, в которых брат Юхана просил передать ему старшего сына, на воспитание и в наследники; Юхан почти что согласился, но потом наотрез отказал. Дело в том, что Юхан очень хотел сына, и после четырех девочек, в подвале работного дома в Самаре, наконец, родился Эдуард... Правда, потом родилось еще трое мальчиков, которые спились. В семье, пока Юхан был жив, царил сухой закон, но после его смерти запили.

Леонид ДРОЗДОВ родился в 1985 году в Таллинне, где и живет. Закончил переводческий факультет. Занимается оптовой продажей продуктов и философией. Публикуется впервые.

А умер Юхан от голода после революции. Все дети остались живы, кроме одной девочки, которая опрокинула на себя самовар. В тот год Пуро ели голубей и крыс в меде, а однажды, когда Юхан с детьми переправился через Волгу (ехали на свой огород), увидели козу; это наше спасение – сказал Юхан, и повернули назад, украв животное.

Старший сын Эдуард пошел в красную армию, в Михайловский замок на курс саперов... В Ленинграде, в гостях, он первый раз выпил. И уехал на борьбу с басмачами в Среднюю Азию, ночью отбивались, а днем строили арыки для новых посевов... Как-то днем Эдуард даже приручил кабанчика, с кем и завтракал... Тягу к животным Эдуард перенял от отца.

А уезжал Эдуард из Средней Азии уже с беременной женой Еленой (Лелей). Им пришлось выскочить из поезда, где на полустанке «Чили» родилась внучка Юхана Мария... Приехав в Новосибирск, Мария пугалась солдат с противогазами, а в Москве (ну это только звучит Москва, а на самом деле туалеты тогда были на улице) ходила к папе и маме в огромную академию им. Куйбышева, с аквариумами и светлыми коридорами, где продолжил учиться Эдуард и подрабатывала Леля...

Непрекращающиеся парады и демонстрации, с которых Юхан приходил мокрым от пота... А малолетней Марии выпала радость видеть вблизи Сталина!

Учительница Марии, с фамилией РОДИНА, пришла домой к Пуро, и нервно держа табель, объявила, что М. Пуро вот уже месяц не ходит в первый класс... Ничего страшного, сказал Э. Пуро. И за каникулы Эдуард научил Марию рисовать цифры: двойку так – вот, как гусек, головка, крылья сложены... Родина заявила, что так не пишут, а Мария ответила, что меня папа так научил, и на этот раз Родина простила.

Вы слышали: Жена Эдуарда Пуро, Елена, отказалась быть стукачом в академии с аквариумами! И то ли поэтому, то ли потому, что к Эдуарду частили эстонцы, и говорили на непонятном языке... А было это в проходной комнате! Но в 38 году Эдуарда посадили, и в 48 часов Пуро назначили выезд из Москвы... Обратно в Куйбышев «врагов народа» принять испугалась сестра... Но тетя приютила в Краснодаре на улице Карла Маркса, 8. Тетя старая, с мужем, которым бояться было нечего, были необыкновенно добрые... «Давай вместе рыбку почистим», «теперь, давай грецкие орехи пособираем», «белье развесить – последи за собакой, чтоб та на белье не бросалась», затейливый был пес...

Через 2 года Эдуарда выпустили. В фабричном городке недалеко от Москвы его семья поселилась на втором этаже. Опять семью Пуро потянуло на животных; завели козу (предварительно попробовав ее молоко, все как положено), купили крольчат (Митька и Кнопка)... А когда впоследствии подсчитали, ахнули – съели 120 кроликов!! А гусь Иван Петрович очень любил отца (Эдуарда), расправлял крылья, а модницу Елену щипал из ревности... Раз утром Гусята упали в выгребную яму, мать Елена полезла их вытаскивать, мыла в тазу, опоздала на работу... Точно смеялись над Пуро. А вы что, оставили бы животных погибать? – спросил Эдуард.

Эдуарда выпустили как невиновного: «Ну, бывают случаи, все ошибаются, и Советская Власть может ошибиться. Ну, вот я же не виноват, меня и выпустили, а те кто там сидят, конечно виновны...» И все всегда до смерти, до последнего его дня спорили и ссорились с ним по этому поводу...

В Рязанскую область, в город Скопин приехала семья Пуро с Гусем Иваном Петровичем и его гусыней. Отец семейства уговорил начальника (с завода кассовых аппаратов) на двоих купить и вырастить одного порося. Долго уговаривал, вечерами за пивом... Но только стали одеваться на ярмарку покупать поросенка, как по радио объявили войну. Вместе с гусиным выводком в квартире в Рязани Елена с дочкой остались, когда Эдуард ушел сапером – руководителем строительства укреплений под Москвой... Но гусей пришлось зарезать, когда соседи по дому, женщины – врачи военного госпиталя – сказали: «Немцы не щадят никого, но особенно зверствуют по отношению к вам, семьям офицеров; возможна сдача Рязани – госпитали готовят к эвакуации».

Из Рязани переполненные поезда уходили на запад и восток... В пригородный вагон (в котором эвакуировался авиационный завод), беременную Елену с дочерью Марией втащили, выбро-

сив какого-то молодца.. Останавливались на каждом полустанке, доедали гусей, подружились со всем вагоном... Опять в Куйбышеве.

Война, 43-й год, на Алтае Эдуард преподает фортификацию и саперное дело. В городе Чебаркуль формируется эстонский корпус для отправки на Ленинградский Фронт. И Эдуард, оставив семью на Алтае, отправляется. Позже полковник, имея и адъютанта, посылает своего денщика за семьей, и те едут долгой дорогой из алтайского края. Денщик плохо понимает по-русски, и в дороге с ним одни трудности – дважды сваливается с верхней полки на жену Эдуарда, пока не привязывают его ремнем к койке.

Прошли годы и годы. Взяли продукты, крупу (ей очень обрадовались). Стояла зима – настоящая; маленькая Мария в нескольких рейтузах и ее тетя добирались узкоколейкой до озера Вильянди. В вагоне сидели целую ночь, хотя большинство стояло... И вот 45-й год, замерзшее озеро, на склоне, тот самый дом, с которого начиналась история Пуро. Дом уже стоял на четвереньках, и уходил в землю, как и его обитатели. Внутри бедность, однако блестящие крашеные полы и чистые салфетки! Хозяева – старики, жили в передней, т.к. не было отопления. В передней же тепло – большая плита, на которой варят очистки картофельные, капустные... засыпают отрубями и получается корм для поросят. Старые, дряхлые – простились; о чем говорили, Мария не поняла, т.к. на эстонском, но все было и так ясно.

Эдуард однажды отогрел замерзшую птицу, и та переждала у него зиму....

Осень 2007-го года

Тот день пал рядовым в отрывных календарях, но если бы какой-нибудь средневековый теософ чудом материализовался в нем, он, возможно, зафиксировал бы увиденное как свое 26-ое доказательство бытия Божьего.

Переход от «хорошей осени» к «плохой осени» был назначен на этот день. Переход было решено осуществить с шиком. Были приглашены лучшие мастера и знатоки этого дела.

Еще утром фонари скрепляли своими жирафьими шеями погожие небо и землю. Но саботаж начался без отлагательств. По небу поползли серые разводы, и окна домов стали блекнуть. На асфальте же, то тут, то там раздавались желтые всплески, словно кто-то крамольно взрывал деревья. И тогда все самое прекрасное рушилось наземь, и тротуары встречали пешеходов с помпой. И как не издевательски это выглядело, но бомжам приходилось снимать гирлянды листьев с мусорных баков.

В десятом часу по улицам потекла глазурь автомобилей, и саботаж был временно заглушен. Во дворах, как в глазных впадинах, зашуршали дворники, и улицы кривыми морщинами набросились на горожан.

А в библиотеках любителям набоковских выкрутасов и вельветовых пиджаков, объевшимся развернутыми метафорами, становилось стыдно и писать и читать, потому что за окном, пол всего, как и их нижняя часть туловища, мычала от осеннего разгула. Но они отводили глаза от пейзажа и убегали в стол торными дорожками слов.

А за городом под серым тентом неба было мокро. Суриковые, охристые акварели размазал по лесному массиву дошкольник. Ржавели придорожные рощи, и в них голосовали попутчицы. Автомобилист был вправе выбрать себе попутчицу в дорогу. Можно было взять ортодоксальную бумажную березу. Но тут риск получить бодягу из частушек и слез с водкой. Взять елку? Да чего доброго усядется, насупит хвойные брови, и будет всю дорогу зло молчать, как дед мороз без работы. Осину!

Но все-таки, вся загородная осень была некомфортной, раздражающей кожу и пищеварение, и нервную систему. Хотя, объективно, все понимали, что все кругом очень красиво, и в городе, уставившись в белую стену, им ретушью нарисуется этот легкий бежевый пейзаж, но это будет потом.

Однообразие полей рассчитано было на гурманов, которые могут отличить серую, прилипшую к земле сурепку от абсолютно такой же серой, прилипшей к земле «не сурепки». Раздражал осенний минимализм, который сокращал все до неба и земли, и ничего нового не добавлялось к этим двум, сколько не жги бензин...

Зато лесные массивы – радовали своей обустроенностью. Здесь знаков, предупреждающих о наличии лосей, было на порядок больше, чем самих лосей. То же относилось и к предупреждениям о косулях, кабанах и прочих. Сентиментальный знак – белочка в красном теремке, недвусмысленно отсылал к сказкам Пушкина...

«Вы свободны, – продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине. – Нет, – отвечала она. – Поздно – я обвенчана, я жена князя Верейского. – Что вы говорите, – закричал с отчаяния Дубровский, – нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться... – Я согласилась, я дала клятву, – возразила она с твердостию, – князь мой муж, прикажите освободить его, и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно».

Как-то давно еще в школьной библиотеке я взял эту книгу, и приведенный выше отрывок был зачеркнут карандашом по диагонали; слово «поздно» было жирно и криво перечеркнуто, а над репликой «я жена князя Верейского...» было детской рукой прочерчено «ДУРА».

Я понимаю тебя, милая школьница, следует многое перечеркнуть, и сильно прочертить совсем иное; но как перечеркнуть мою осень 2007 года, которая, похоже, такая же «дура» и, как та княгиня, долдонит одно слово «поздно»?

Алексей ПОРВИН

* * *

Илье Кукулину

Не подлежать замене на свет –
это и значит быть,
трогать в себе растущую тень
чьим-то чужим лучом.

Трогать ее, раскладывать на
качества полутьмы,
и между ними выбрать себя
именем для живых.

Только не выйдет спрятаться от
лучшей из всех замен:
тени тревожить блеском имён –
это и значит луч.

* * *

Окно открывается в пруд, и вот
вода уже в комнате – мнёт постель,
и где проходящее в нас плывёт,
бессмертие видит мель.

На солнце блестя чешуёй листвы,
лесными массивами шевеля,
моя перспектива из головы
выдумывает меня.

А я – рыболов, я крючок точу
о сон, затвердевший от влажной мглы.
Мне некуда плыть, ведь всё – мель, лучу
наставившая углы.

И комната делает вдох водой –
ко мне устремляется мой улов.
Забрасывать луч – вот прием простой
для ловли пришедших слов.

Алексей ПОРВИН родился в 1982 году в Ленинграде. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «TextOnly», в «Альманахе Новой Камеры Хранения». Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Прошлая зима здесь. Где?
Небо тычет в облачный палец
мальчика в седой слюде
(мальчик сам испуганно-палев).

Но уже анализ взят.
Струйка птиц, забрызгав стекляшку
неба, прилетит назад,
выдав на уроке поблажку.

Прошлая зима там, но
страха нет чего-то бояться –
стаяли в темным-темно
тени от пресветлого пальца.

Звездная зима, случись.
Чтоб тебя потом отворяя
небо видело: я чист.
Только эта радость – вторая.

Борис ХАЗАНОВ

Плюсквамперфект и другие времена

Nam quidquid non describi potest, non est.
De temp. praeter. hist. XXVIII, 19*

I

В среду двадцать второго апреля я получил известие о смерти Ирины Вормзер. Совпадения случались в моей жизни; я верю в их тайный смысл. Четыре десятилетия тому назад, в этот же день, мы встретились на бульваре. Накануне я позвонил ей из автомата на станции метро «Красные ворота». Я услышал длинные гудки. Она могла переехать. Вышла замуж. Заболела, умерла... Наконец, щелчок – и этот голос, от которого мое сердце забилось так сильно, что, пожалуй, она могла услышать по телефону его стук.

«Ира», – сказал я и осекся. Но она тоже узнала меня. Я почувствовал это по ее молчанию.

«Ира, это я».

Она сказала:

«Здравствуй», – словно мы виделись вчера. Я овладел собой. И мы договорились встретиться.

Я пришел на полчаса раньше. Прохаживался вокруг, читал диковинную надпись на постаменте: «От правительства Советского Союза». За годы моего отсутствия памятник помолодел и зажил новой жизнью. Это был уже не тот печальный, сгорбленный, остроносый Гоголь, который сидел, завернувшись в шинель, с горькой усмешкой глядя на огонь, пожирающий «Мертвые Души». Новый Гоголь был прям и строен, смело смотрел вперед. Можно было предположить, что он дожил до счастливого будущего. Он и теперь там стоит. Но правительство Советского Союза приказало долго жить. Получается, что сам Гоголь воздвиг ему надгробный памятник.

Полчаса прошло, ее не было. Наскучив шататься вокруг, я опустился на скамью. Люди садились рядом со мной, вставали, вместо них усаживались другие.

Я поглядывал на милиционера, который маршировал по аллее с очевидным намерением подойти и потребовать документы. Надо было смываться, я быстро соображал, куда: на улицу Фрунзе или в другую сторону, в лабиринт арбатских переулков.

Дело в том, что я не имел права находиться в городе. Это было то немногое, что мне было известно. Человек, выдававший железнодорожные билеты и справки об освобождении, спросил: куда едешь? – В Москву. – В Москву нельзя. – А куда можно? Мне выдали билет до Клина. И более никто не мог мне растолковать, что мне положено, что не положено: все постановления на этот счет были секретными. Само собой, тайной, покрытой мраком, оставались и места, откуда я прибыл, и самое существование таких мест.

Считалось, что назад оттуда дороги нет. Но прошло уже два года с тех пор, как Вождь, по народному выражению, слетел с копыт. Со скрипом и скрежетом, рискуя опрокинуться, государственная колымага свернула с наезженной колеи. Я приехал из лагеря три недели назад.

** ...ибо то, чего нельзя описать, не существует. («Истинная история минувших времен», кн. XXVIII, гл. 19; (лат.).*

Борис ХАЗАНОВ родился в 1928 году в Ленинграде, вырос и учился в Москве. Бывший политический заключенный. Автор романов «Я, Воскресение и Жизнь» (1985), «Антивремя» (1985), «Час короля» (1991), «Нагльфар в океане времен» (1993), «После нас потоп» (1995), «Хроника N» (1996), «Аквариум» (1999), «Далекое зрелище лесов» (2001), «К северу от будущего» (2003), «Вчерашняя вечность» (2008), эссеистических книг, повестей и рассказов. Многократно переводился на западные языки, лауреат премии «Литература в изгнании» (Гейдельберг) и нескольких премий международного ПЕН-клуба. С 1982 года живет в Германии.

Впору было бы процитировать: «Я вернулся в тот город, знакомый до слез...» Однако вспоминать эти стихи в те годы не полагалось. Я возвратился туда, где все напоминало о детстве и юности, но врата моего родного города были для меня закрыты. Мой новенький, еще пахнущий скверным клеем паспорт лишь неопытному глазу мог показаться безупречным. На самом деле он хранил некую шифрованную пометку для посвященных, которая не давала мне права приехать хотя бы на несколько дней, ночевать, не ожидая облавы, не боясь, что донесут соседи. И все же я вернулся.

Милиционер прошагал мимо. Тут она появилась.

Она шла, опустив глаза, слегка наклонив голову набок, в зимней шапочке, из-под которой выбился завиток волос, но уже в легком демисезонном пальто, – шла, неуловимо изменившаяся и все та же. Как уже сказано, это происходило сорок лет назад, день в день.

II

Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, как говорит Тацит. О счастливых и незабвенных временах, о временах, когда будущее неслось нам навстречу и – мимо нас, как проносится поезд дальнего следования, обдавая ветром стоящих на платформе. Я понимаю, что мой рассказ совершенно ни к месту в сегодняшнем мире, я повествую о прошлом языком старомодных романов, но на каком другом наречии, скажите на милость, может изъясняться наша умершая жизнь? Здесь проставлен ученый эпиграф (разумеется, выдуманный), и неспроста: описать ее – значит возвратить ее существование.

Я нахожу, что новое поколение живет в настоящем, только в настоящем. Для него нет ни прошлого, ни грядущего. Шумное, разноголосое, многократно усиленное, как в мегафонах, сегодня оглушило всех. Но я не живу в настоящем, я живу в будущем. Оттуда, на горизонте времен, поднимается огромная тень. Я слишком хорошо знаю, что будущее пожрет самодовольную современность без всякого снисхождения, прежде чем она успеет состариться.

Я поступил в университет в первую послевоенную осень, мне шел восемнадцатый год. Никогда я не видел такого скопления юных девушек. Парни, которые должны были стать их женихами, лежали на минных полях под Москвой, в донских степях, в прусских болотах, под развалинами Берлина. Первокурсники были в подавляющем большинстве вчерашние школьницы, я употребляю слово «подавляющий» в обоих смыслах. Мне было тяжело. Я задыхался в этой толпе. Мне было радостно и волнительно, я чувствовал, что началась новая жизнь. Начались занятия. Рядом с собой я увидел девочку, ее звали Ольга, с этим именем пусть она и останется на этих страницах; должно быть, и ее уже нет в живых. Худенькая, болезненная на вид, как почти все подростки военных лет, в плоском, заколотом на затылке берете, в наброшенном на плечи узком пальтеце. Мы сидели кто в чем, снимать верхнюю одежду было необязательно, не помню даже, была ли на факультете раздевалка.

Я жил с моими родителями у Красных ворот; Москва все еще оставалась той старой Москвой, где Таганка и Марьина роща были окраинами, какая-нибудь Абельмановская застава находилась у черта на рогах, а Сокольники вовсе за городом. Оля приехала издалека. Она попыталась вести себя как опытная кокетка, но это могло ввести в заблуждение лишь такого птенца, как я. Однажды мы ехали вместе в метро, я проводил ее до конечной станции, поблизости находилось студенческое общежитие. Мы простояли два часа на перроне, болтая о том, о сем, и убедились, что мы – родственные души. Иногда она звонила мне вечером. Я выходил в коридор коммунальной квартиры, брал трубку и слышал ее жалобный голосок: ей скучно одной. Мама осторожно выспрашивала меня, что это за девушка. Полчаса спустя я встречал Олю у балюстрады аудиторного корпуса. Стояла благодатная осень, лучшее время года в нашем городе, мы блуждали по улицам, она читала мне стихи: «Слава тебе, безысходная боль» и «Дует ветер, серебряный ветер». Мы не решались сказать друг другу что-нибудь определенное; время от времени на нее находил какой-то стих, она останавливалась, не желая двигаться дальше, я робко обхватывал ее за талию, как бы заставляя идти, она смеялась искусственным смехом, эта игра волновала нас. Иногда она отбегала в сторону – подтянуть чулок, для чего нужно было приподнять платье; я не смел подумать о том, что это делалось, может быть, не без умысла. Так продолжалось, пока не наступили холода. Мы грелись в метро, возвращались в пустой полуосвещенный университет, где внизу, перед входной аркой дремала толстая сторожиха в теплом платке, армяке и валенках.

Мне казалось, что это любовь.

Вероятно, все было бы проще, если бы судьба своевременно свела меня с взрослой женщиной, которая совершила бы обряд инициации. Все же этот роман сдвинулся бы каким-нибудь образом с мертвой точки, не случись еще одно событие.

III

Я называю это событием, великим событием моей жизни. Те, кто читал мои сочинения (я, смею доложить, писатель), заметят, что я уже описывал нечто похожее в одном романе, которого немного стыжусь; но то была беллетристика, littérature. Сбегая вниз по лестнице, ведущей на факультет, я увидел мою подружку Олю, она стояла у окна между маршами и смотрела на меня круглыми укоряющими глазами. Теперь на ней было пальто с каким-то якобы меховым воротником и капюшоном вместо шапки. Я прошел мимо.

В те времена наша alma mater, перед которой, говорят, Афанасий Афанасьевич Фет всякий раз, проезжая по Моховой, останавливал кучера, чтобы почтить ритуальным плевком рассадник вольнодумства, размещалась в двух облезлых, но импозантных зданиях по обе стороны улицы Герцена: в одном проходили наши занятия, другое служило парадным аудиторным корпусом, там, собственно, все и произошло.

С некоторых пор глаза мои стали отмечать фигурку в светло-красном платье. Бледно-золотистые вьющиеся волосы были собраны на затылке, завитки вздрагивали на висках. Однажды я увидел ее, склонившуюся над парапетом, она помахивала рукой кому-то всходившему по широкой лестнице. Платье слегка приподнялось, едва заметно подчеркнув ее бедра, обнажив подколенные ямки.

Я чувствовал, что между нами протянулась тонкая нить. Я искал глазами Иру Вормзер в Большой аудитории, где на лекции собирался весь курс, – находил и забывал о ней, чтобы в следующий раз вновь убедиться, что она здесь. Обыкновенно студенты избирали постоянные места. Ира усаживалась в одном из нижних рядов амфитеатра, ближе к середине. Я помещался на краю. Непостижимым чутьем она угадывала мой взгляд, рука отводила завиток волос; повернув голову в мою сторону, она опускала ресницы, глядя вбок и вниз, как человек, которого отвлекают от важных занятий. Однажды я не обнаружил ее на обычном месте. Едва лишь прозвенел звонок, я занял пост у выхода. Толпа вывалилась из дверей, запрудила лестницу – Иры не было среди подруг, и день показался мне потерянным. Я сталкивался с ней в факультетском тесном коридоре, где, кажется, ничего не менялось с тех пор, как по нему прохаживались Герцен и Огарев; впрочем, клятвенные друзья сперва записались на физико-математическое отделение; но мне хотелось думать, что они поднимались по этим ступенькам, входили в наши учебные комнаты, глядели из окон на Кремль и Манеж; и самое имя «Московский университет» наполняло меня гордостью.

Мне казалось, что Ира Вомзер лишь делает вид, будто не узнает, не отличает меня в гурьбе все еще мало знакомых лиц. Чаще всего она шла с какой-нибудь подругой, на ходу рылась в портфеле, останавливалась перед доской с расписанием лекций, я тоже замедлял шаг – и проходил мимо с независимым видом, и воображал, как подруга, совершенно незначительное существо, шепчет Ире, кося глазами в мою сторону: «Видала, как он посмотрел на тебя?»

«Кто? – спрашивала Ира. – Ах, этот...»

Я придавал огромное значение своей внешности и старался поворачиваться к Ире Вормзер наиболее выгодной стороной. Дома, улучив минуту, когда никого не было, я разглядывал себя в зеркало, щурился, поджимал губы, задумчиво посматривал исподлобья, ужасался тому, как я некрасив, и находил себя загадочным и весьма интересным

Не думаю, впрочем, чтобы моя персона занимала сколько-нибудь заметное место в ее воображении, – если там вообще находился для меня уголок. Видя, как она прыгает по ступенькам, прижимая к груди потертый портфель, в своем коротком, уже не по времени года, пальто и самодельной шапочке, как взлетают завитки на ее висках, наблюдая издали, как она выходит из узких ворот на тротуар, сворачивает направо, перебегает трамвайный путь, исчезает в сутолоке, я представлял себе, что там, дома, она окунается в недоступный мне мир веселья и света, беззаботного флирта, элегантных знакомств в сонме дерзких юнцов из богатых семей; меня терзали зависть и ревность. На самом деле она обитала, как все мы, в тесноте и бедности коммунальной квартиры, в старом, много лет не ремонтированном доме на Арбате, и о том, какова была ее реальная жизнь, можно было бы догадаться, глядя на эту шапочку и пальтишко не по сезону. Все это я видел и не видел, тайна, облекавшая Иру, была условием влюбленности. Я, наконец, отдал себе отчет в том, что со мной происходит. Поглощенный своим открытием, я никого не замечал в шумной, воркующей, хихикающей женской толпе, существовала только она одна.

Юношеская страсть имеет свойство замыкаться на самой себе. Испытывал ли я физическое влечение к Ире Вормзер? Влюбленность в некотором смысле важней самого предмета любви. В сущности, я не умел как следует рассмотреть ту, которая занимала все мои мысли. Как близорукий, сняв очки, видит вещи размытыми, так и она предстала моему взору как бы окутанной полупрозрачным покрывалом.

И, однако, – не ведаю, как это можно было согласовать, – я знал все подробности ее облика. Я безошибочно узнавал ее платье, походку, манеру поворачивать голову, поправлять выбившийся локон; для меня было тяжелым переживанием, если я замечал какой-нибудь мелкий непорядок в ее одежде, я знал ее волшебный грудной голос, издали угадывал ее мелкие, несколько золотушные черты, не тронутые косметикой. Сверстницы Иры Вормзер еще не красили ресниц, не решались пользоваться помадой, может быть, оттого, что все еще не стряхнули с себя пуританство школы, где накрашенные губы считались шагом к разврату. Как-то раз она явилась на вечерние занятия с подругой, все той же, бесцветной, беззвучно канувшей в пропасти прошлого девицы; обе были возбуждены, беспричинно смеялись, у обеих были ярко-карминовые губы. Помню я и голубоватые тени, которые появлялись изредка вокруг ее глаз, – вероятно, это были дни месячных, о чем я, разумеется, не догадывался.

Мало-помалу мы познакомились, как бы случайно выходили вместе из университета. Негласная конвенция, сразу же установившись, предписывала не придавать значения этому провожанию, считалось, что нам просто по пути. И я шел с ней по Воздвиженке, тогдашней улице Коминтерна, до метро «Арбатская»; здесь мне давали понять, что пора расходиться. На самом деле ей не нужно было метро, она жила поблизости, на углу Большого Афанасьевского переулка.

О чем говорили по дороге? Убей меня Бог, не помню. Должно быть, о разных пустяках. Но ничто не было пустяком. Я слушал ее голос. Я знал ее любимые словечки, меня изумляла точность ее мимолетных замечаний, смущала насмешливость отзывов о знакомых студентах, презрительные клички, которыми награждали их между собой ирины подруги, – неужели, думал я, и обо мне они судят так же безжалостно? Обескураживала ее рассеянность: она слушала и не слушала мои разглагольствования, о чем ты думаешь, спрашивал я. – «Ни о чем». – «Но ты не слышишь, что я говорю». – «Нет, я внимательно слушаю». Или вдруг останавливалась перед витриной коммерческого магазина – так это называлось, – где продавались товары без карточек; вперялась в какую-то ерунду, немыслимо дорогую шляпку, и в отчаянии я умолкал.

Бывало и так, что, миновав ограду, за которой находилась университетская библиотека, у поворота на Коминтерна, она останавливалась и говорила: «Сегодня меня не провожай». (Значит, было как будто уже принято, что это – не шаганье попутчиков, а провожание). Я поднимал на нее глупо-вопросительный взгляд. У нее дела. – Какие дела? – Ну... кое-какие женские дела. И уже на ходу, не оборачиваясь, помахивала мне ладошкой.

Я смотрел ей вслед. Мысль, похожая на озарение, пронизывала меня: Ира была женщиной. Со своим особым кодом жизни, который я пытался расшифровать, как археолог разгадывает надпись на неизвестном языке. Я видел, как быстро, уверенно переступали, удаляясь, ее ноги, как едва заметно под тонким пальто двигались ее бедра. Было что-то безнадежно разделявшее нас в этой почти демонстративной независимости – меня отшвырнули. Для меня не только оставалась тайной ее феерически-увлекательная жизнь, но меня попросту отказывались впустить в ее женский мир. Моя фантазия, оскорбительная для Иры, как и для моей робкой любви, была репрессирована. Мне не приходило в голову, что сама Ира, быть может, смотрела на взаимоотношения полов куда трезвей и проще.

IV

О многих из наших наставников следовало бы сказать доброе слово, да что там слово: таким, например, как Диоген Петрович Веретенников или Павел Феоктистович Шанин, можно было бы посвятить не один десяток страниц. Каким чудом они уцелели после многих лет государственного террора? Впрочем, уже на моих глазах их стали решительно оттеснять совсем другие люди.

Диогена Петровича, чье имя было словно нарочно придумано для него, я вижу перед собой как живого: маленький, лысый, всегда в одном и том же одеянии – что-то среднее между пиджаком и вицмундиром, – а порой и в долгополой шубе, в крепких тупоносых башмаках, он стоит с отвисшей челюстью, словно прервавшись на полуслове, подняв палец, ожидая ответа на хитрый вопрос. И когда кто-нибудь, наконец, подавал неуверенный голос, он задумывался, опускал голову и бормотал: «М-да... так-то оно так. И, однако ж, если подумать...»

Он запомнился мне не только на занятиях в факультетских нетопленых комнатах, но и тем, что вел кружок, или факультатив, по вульгарной латыни для желающих; при всегдашнем недостатке аудиторий приходилось отыскивать какой-нибудь закуток, где мы сидели, сгрудившись, на чем попало, с тетрадками на коленях. Непонятно было, почему, в конце концов, нельзя было собираться у Веретенникова на дому, и только после его смерти оказалось, что он жил в крайней бедности, едва ли не под стать своему славному тезке: в старом доме без лифта, на последнем этаже, куда он взбирался каждый день, в убогой комнатке, заставленной картонными коробками с книгами.

Как многие люди его поколения, Диоген Петрович любил рассуждать. Склонив лысую голову и поглаживая затылок, он говорил, что не следует с порога отвергать испорченную речь простых людей, ибо в ней, быть может, заключено будущее нашего языка: неправильное употребление падежей, искалеченные глагольные формы, жаргонные словечки со временем станут нормой. Представим себе, говорил он, образованного римлянина первого века до нашей эры, который оказался в современной Европе. Он уловил бы звуки родного языка, мог бы, вероятно, поговорить с людьми на улице в Риме, мог бы худо-бедно объясниться в Мадриде и Лиссабоне и почти ничего бы не понял в Париже. Потому что французский ушел от латыни дальше, чем испанский, а испанский дальше, чем итальянский. Но если бы он был плебеем, ему было бы куда легче договориться с итальянцем, испанцем или даже французом, ведь романские языки произошли не из золотой латыни Цезаря и Цицерона, нет, их предок – язык низов, грязный жаргон, на котором изъясняются гости разбогатевшего вольноотпущенника Тримальхиона, латынь рабов, солдатни, жителей завоеванных провинций. Odi profanum vulgus! – цитировал он Горация. Противна чернь мне, бегу от нее... А вот мы с вами как раз и будем заниматься языком презренного простонародья, этим худородным демократическим предком, от которого ведут свое происхождение языки-аристократы.

Может быть, я невольно примешиваю к моему тогдашнему впечатлению опыт позднейших лет, но уже в этой oratio, с которой он начал свой курс народной латыни, было что-то настораживающее, ведь на таком же чудовищном русском языке изъяснялись наши вылезшие из грязи князья – партийное руководство всех рангов. Обещал ли их язык стать когда-нибудь нормальным русским языком? Он уже стал им. Не думаю, впрочем, чтобы Диоген Петрович сознательно показывал начальству кукиш в кармане. Нет, он просто оставался самим собой, он был старый ребенок и не подозревал об опасности.

Пределов допустимого он достиг в другой раз, когда заговорил об упадке классической латыни в последние века Империи; тут он развил довольно курьезную теорию о причинах гибели Рима. Конечно, сказал он, многие обстоятельства, экономические, политические, военные, споспешествовали краху, так сказать, подтолкнули падающего (мы не знали, что он цитирует Ницше). «Однако, – тут он вознес палец, вперился блекло-голубыми глазами в нашу малочисленную компанию и, открыв рот, умолк на минуту, – однако главная причина была упущена исторической наукой – какая же, по-вашему? Деградация языка! – возгласил он с торжеством. – Разрушение благородной лапидарности латинского языка, неумелое использование свободного порядка слов, многоглаголание, вычурность, дурновкусие! Катастрофа языка предваряет исторические катастрофы. Варвары не сокрушили бы Рим, если бы не упадок латыни, утрата чистоты, энергии, сжатости классического стиля. Сколько веков понадобилось, чтобы выковать новую речь на обломках Империи, – но это была уже не латынь. Задумайтесь над ролью языка, смены языков, умирания языков в истории...»

«Да, деградация, – повторил он, испустив тяжелый вздох, и насупился скорбно. Но тут же неожиданно, хитренько оживился: – Или, если угодно, революция языка! Исподволь подготовленная, беззаконная, ползучая, поднявшаяся со дна – она-то в конце концов и сокрушила самый совершенный государственный организм из доселе существовавших... Ну-с, это все общие рассуждения, а теперь прочтем для начала следующий текст...»

Это был, как легко догадаться, абзац Тита Петрония.

Что касается Шанина, дорогого нашего Павла Феоктистовича, то это была полная противоположность Веретенникову: крепкий старик шестидесяти лет с серебряной головой, с великолепным низким и звучным голосом, с манерами и осанкой патриция, при том что он был сыном безграмотной крестьянки. Когда в своей черной, тщательно отглаженной и уже блестевшей на швах паре, в галстуке с булавкой фальшивого жемчуга, в твердо накрахмаленных потертых манжетах, он восседал за столом, не спеша извлекал серебряный портсигар и его пальцы повисали с горящей спичкой над папиросой, в ожидании, когда закончит он свою безупречно построенную фразу, Павел Феоктистович был неотразим, был величествен, великолепен. Его русский язык был таким же антикварным, как и его костюм. Не у него ли я обучился холодной выспренности моих записок? Перечитываю – и слышу его голос.

Он все еще ходил в доцентах, все еще кочевала по ученым инстанциям его диссертация, но иногда он заменял заведующего кафедрой, читая лекции в факультетском актовом зале. Однажды, заканчивая, перечисляя рекомендуемую литературу и упомянув несколько почтенных имен, он неожиданно воскликнул: «Учитесь мыслить самостоятельно, не раболепствуйте ни перед какими авторитетами!» Звонок прервал этот опасный призыв. Среди студентов было немало осведомителей. Слава Богу, обошлось.

V

Был еще один персонаж, не назвать которого было бы несправедливо, больше того – который мало-помалу оттесняет в моей памяти других учителей, как ни сопротивляешься его вторжению. Родион Семенович Гартман-Добродеев, человек с двойной и подозрительно двойственной фамилией, – стройный, щеголеватый, с лицом выбритым до пергаментной желтизны, с черными, как кофе, глазами, магистр-чародей, обладавший даром внушения и шармом, в котором подчас проскальзывало что-то беспокояще-зудящее, непонятное и настораживающее. Не могу определить, в чем именно выражалось это двусмысленное очарование, к тому же мне трудно отвести упрек в предвзятости. Как луч прожектора, скрытого за горизонтом, блуждающий луч будущего обливает лиловым сиянием картины прошлого и мешает взглянуть на Гартмана беспристрастным оком. Он принадлежал ко второму поколению преподавателей, и, в отличие от тех, о ком сейчас шла речь, более или менее успешно взбирался по ученой лестнице. Но опять-таки я забегаю вперед.

Быстрыми, нервными шагами расхаживал он меж столов, за которыми сидели три группы нашего отделения, останавливался и буравил черно-кофейными глазами то одну, то другую студентку, с наслаждением слушал собственный голос: «Друзья мои!..»

И артистически отбрасывал назад черные, упавшие на лоб волосы.

После чего вновь устремлялся от окна к двери, от двери к окну, – мы видели его спину, воздетую руку и привыкли к тому, что он всегда был в черных перчатках, – стоял у подоконника, вглядывался во что-то, оборачивался.

Речь шла о политике Рима на Ближнем Востоке. Нужно отдать справедливость Гартману: он был превосходным рассказчиком. Ранней весной 67 года Тит Флавий Веспасиан прибыл в Антиохию. Несколько лет тому назад с ним случилась неприятность, он заснул в цирке на концерте Нерона. Между тем вновь на дальней окраине, где всегда было неспокойно, вспыхнули волнения, император сменил гнев на милость и назначил Веспасиана наместником в Иудее. Повстанцы понимали, что сражаться с регулярной армией они не могут, отсиживались за стенами городов. Но защищались с упрямством, которое... – Гартман скользнул беглым взглядом по лицам девочек, среди них было несколько евреек, – которое всегда было отличительной чертой этого племени. Не зря сказано в Библии: жестоковыйный народ! Римляне опустошили Галилею, сорок тысяч иудеев было продано в рабство, тысяча особо неустрашимых фанатиков предана мучительной казни. Веспасиан двинулся на юг. Стратегический план ясен, легионы нацелились на Иерусалим.

«И вот, дорогие мои слушатели, – та, та, та-та, доцент сидел за учительским столом, постукивая пальцами в перчатке, – на сцену выступает некто Йосеф бен-Маттьяху. Уроженец Иерусалима, из царского рода, получил весьма недурное образование, провел несколько лет в Вечном городе. Правда, его соплеменники не называли так ненавистную им столицу, они считали вечным городом свою собственную столицу. Но вы можете себе представить, какое впечатление произвел на молодого еврея Рим, его дворцы, храмы, стадион, форум, девушки-весталки в белых одеждах, у каждой в руке пальмовая ветвь, молча, медленно восходящие по ступеням храма своей богини, на Капитолийском холме... Но вот приходят волнующие вести с родины, пламя восстания охватило Иудею. И теперь мы видим этого человека в центре событий, теперь он, та-та-та, военачальник в осажденной Иотапате».

Гартман встал.

«Что же там произошло? Иотапата – небольшой галилейский город-крепость в горах, обороняют его не больше тысячи бойцов. Веспасиан подошел с тремя легионами. Надо вам сказать, что вся римская армия в эту эпоху насчитывала едва ли тридцать легионов. На подавление иудейского восстания брошена десятая часть. Это само по себе показывает, какое значение придавалось данной операции... В легионе 5–6 тысяч пехоты и не менее трехсот всадников. Вот и посчитайте, какова была численность веспасиановой рати: близко к двадцати тысячам, не так ли? По другим подсчетам, даже много больше. Самое современное вооружение, сто шестьдесят катапульт, способных разрушить угловые башни, снести зубцы крепостных стен. Эту артиллерию генерал подвел почти вплотную к стенам, чтобы дать возможность солдатам под ее защитой возвести насыпь. Началась осада...»

«Но откуда, собственно, мы обо всем этом знаем? А? – спросил Гартман, впиваясь в лица слушательниц. – Да от него самого, от этого Иосифа Флавия! Так он стал называть себя позже, а пока что он еще Йосеф бен-Маттьяху. И, надо сказать, умелый военачальник. Пятьдесят дней и ночей мятежникам удалось держать оборону. До тех пор, пока однажды ночью, в густом тумане, римский отряд не проник в Иотапату. Следом ворвались передовые силы, другие подразделения, с факелами, с мечами, полезли по приставным лестницам на стены. За несколько дней город был стерт с лица земли. Никого не щадили. А что же Йосеф? Он и с ним сорок знатных иудеев забаррикадировались в пещере неподалеку от города».

«Решено заколоть друг друга. Бросили жребий, кому начинать. И вот, если верить Иосифу Флавию, судьба распорядилась так, что он остался последним, точнее, вдвоем с кем-то из своих людей, и стал его отговаривать на том основании, что-де еврейский закон рассматривает самоубийство как тягчайший грех. Но в том-то и дело, друзья мои, что мы не можем ему верить. Все шито белыми нитками. Если как следует проналазировать текст – все это можно прочесть в его книге, которая так и называется: “Иудейская война”, исключительно талантливое сочинение, надо сказать! – если освободиться от гипноза этого безукоризненного стиля, читать непредвзято, то становится ясно, как ловко, с какой хитростью, да, с каким поистине ветхозаветным коварством Йосеф бен-Маттьяху сделал все, чтобы удалить свидетелей своего предательства. Мы легко можем представить себе, как на самом деле все произошло. Оставаться в городе, сражаться до последнего – нет, своя жизнь ему дороже. Он укрывается с другими в пещере. Он все еще командир, на него смотрят, ему подчиняются. Он остается последним. Напарник, видя трупы своих товарищей, отказывается изменить общему обету, закалывается сам. А бен-Маттьяху бросает оружие, благополучно выбирается из укрытия и сдается римскому центуриону».

«Его привели в шатер к Веспасиану. Генерал видит перед собой не косматого фанатика, а интеллигентного, образованного человека, свободно говорящего и по-гречески, и по-латыни, вдобавок готового выдать военные секреты повстанцев, назвать зачинщиков. Начинается долгая беседа, тут же сидит старший сын Веспасиана Тит, обоих евреи сумел прямо-таки околдовать. Да еще напророчил Веспасиану, что он станет кесарем. Да, не больше не меньше, как владыкой всего римского мира, а стало быть, и сын унаследует его трон».

«Что ж! – вскричал с торжеством Родион Семенович, плюхнулся за стол, на котором лежал его портфель, побарабанил пальцами, но тотчас вскочил и вновь принялся курсировать взад-вперед мимо робко внимающих девиц. – Такие заслуги не забываются! Мало того, что Иосиф уже не был военнопленным, купившим себе жизнь ценой предательства. Он выступил посредником между своими новыми хозяевами и бывшими соплеменниками, защитниками Иерусалима. Правда, они так и не согласились сдаться. Тит взял город штурмом, разрушил храм, на триумфальной арке в Риме – она стоит до сих пор – изображена процессия, легионеры несут трофейный семисвечник. Вместе с победителями в столицу прибыл Йосеф бен-Маттьяху, вернее, бывший бен-Маттьяху. Он был теперь, как мы бы сказали, кооптирован к роду Флавиев. Сбрил бороду, обрядился в тогу, стал римским гражданином, получил надел. И занялся сочинением исторических трудов».

«Надо было как-то оправдаться перед потомками. Надо было выставить себя в выгодном свете. А своих новых покровителей представить, как мы сказали бы, носителями исторического прогресса. Может быть, в этом смысле он и был прав. Но опять же спрашивается, чем оплачена такая правота. Словом, он отлично справился со своей задачей, выгородил себя. Изволите видеть, Бог отвернулся от евреев, погрязших в склоках и междоусобицах, и послал им мудрую и справедливую власть в лице римской оккупационной армии. И, представьте себе: это самооправдание перебежчика, ренегата, изменника родины так хорошо сработало, что по сей день у него находятся защитники».

Тут Гартман на минуту умолк, как бы задумавшись. Шумно вздохнул и закончил:

«За примерами недалеко ходить! Все вы, конечно, слышали о писателе Лионе Фейхтвангере. Талантливый писатель, ничего не скажешь. И, между прочим, отъявленный националист! Прочтите, если еще не читали, его роман “Иудейская война”. Он там прямо-таки захлебывается от восторга. Воспевает Иосифа Флавия, воспевает космополитизм, а точнее сказать, воспевает предательство. Нет, вы прочтите, прочтите!» – восклицал Гартман, щелкая замками портфеля. В коридоре разливался звонок.

VI

Меня осаждали сны. Дикие и диковинные видения, мне стыдно их пересказывать. Мы укрывались в античной истории от кошмара послевоенной действительности, который неотвратимо сгущался вокруг, но история сбрасывала свои одежды на занятиях у Гартмана – я еще к этому вернусь. Мы укрывались в бесконечном кружении друг возле друга, в каком-то безмолвном ритуальном танце, в почти пародийном подобии amitié amoureuse*, – а тем временем сон говорил со мной – только ли со мной? – на своем грубо-аллегорическом языке, грозил и нудил, и срывал с действительности ее лживое одеяние. Гартман разглагольствовал о предательстве. Сон был моим предателем. Диверсия готовилась в глубинах моего существа.

С годами (я замечал это не раз) некогда увиденный сон превращается в воспоминание о чем-то будто бы происшедшем на самом деле; можно было бы сказать, что сон существует в памяти на пра-

* *Влюбленной дружбы (фр.).*

вах действительности, сама же действительность начинает казаться приснившейся когда-то. Ужас и восхищение при виде Иры Вормзер: она превратилась в чудовище. Вернее, она им всегда была: шероховатым, пупырчатым существом, вздымавшим и опускавшим лучи-щупальца, словно морская звезда изумительной красоты. И она медленно ползла по комнате или, может быть, по галерее мимо колонн и балюстрады, как по дну водоема, ее щупальца вот-вот должны были обхватить мои ноги; темно-влажные, как ягоды, выпуклые глаза искали меня, а посредине зияло отверстие, которое одновременно было ртом и женским входом.

Тут я должен сделать небольшое отступление. Я мог любоваться ее фигурой, видел ее всю – и, однако, никогда не воображал себе Иру Вормзер без одежды. Нагота была табуирована. Конечно, все эти комплексы и запреты – не новость, но каждый переживает их заново и по-своему. Я и помыслить не смел о том, что скрывалось под ее платьем; случись мне увидеть ее обнаженной, я был бы шокирован, пристыжен, и, может быть, сон был предостережение против таких попыток. Чего доброго, она показалась бы мне некрасивой – не потому, что была ею на самом деле, а потому, что нагота противоречила самой природе моей любви. Условием любви была непостижимость, недоступность. Я разлюбил бы Иру, явись она передо мною без покрывала.

Я не мог представить себе ее грудь. Должно быть, это были прелестные, небольшие, но уже созревшие, круглые, ровно и покойно дышащие плоды с девически плоскими, розовыми сосками. Но я не решался взглянуть на них; смотреть, хотя бы и сквозь одежду, значило оскорбить ее стыдливость. И уж тем более я не мог позволить себе на минуту подумать о том, что эти груди были созданы для того, чтобы их ласкать, и сами непроизвольно крепли и поднимались навстречу вожделеющему взгляду. Был ли тут виной юный возраст или въевшееся в мозг и плоть пуританство? Должно быть, и то, и другое. Мы были детьми своего времени. Репрессивная мораль уравняла секс с политической крамолой.

Любовь – это было нечто заветное и вместе с тем стыдное. Я скрывал ее от всех и от самой Иры. Я не был настолько слеп, чтобы не понимать, что она давно догадалась о моих чувствах. Но нужно было найти выход тому, что меня переполняло. Несомненно, она ждет объяснения. Сказать вслух о моей любви я не осмелился бы, кажется, и под дулом пистолета. Меня осенило.

Мы жили в счастливое время, только что окончилась война. Мы жили в гнусное время: режим, оправившись, начал вновь свирепеть. Мимо гремел, обдавая нас клубами дыма, жаркий и потный локомотив истории, он тащил за собой бесконечный товарный состав. Все это было чем-то внешним и посторонним. На самом деле мы жили в девятнадцатом веке.

Я к Вам пишу – чего же боле? Что я могу еще сказать?.. Я решил написать Ире Вормзер письмо. За спиной у меня стояла тень Татьяны.

Каким-то образом я узнал ее адрес, вкусил головокружительную увлекательность тайной исповеди. С волнением, исподтишка, поглядывал я на Иру, надеясь отыскать на ее лице отблески впечатления, какое должно было произвести мое послание. И когда я перечитываю эти строки – не письмо, оно бесследно исчезло, но то, что сейчас пишу, – я замечаю, что и теперь повествую об этом языком пушкинского века.

Да, я ожидал, что она будет каким-то образом реагировать. Ничуть не бывало. В ее поведении ничего не изменилось. Может быть, она рассчитывала на устное продолжение; может быть, эта игра ее забавляла. О том, чтобы подойти и спросить, получила ли она «что-нибудь», не могло быть и речи. Дошло ли вообще до нее мое письмо? Его могли перехватить, могли потерять на почте. И по-прежнему, прощаясь в вестибюле станции «Арбатская», она протягивала мне руку, давая понять, что мы товарищи и ничего более.

Странная это вещь, физическая память! Она живей, прилипчивей всего, что хранится в закромах сознания. Тело наделено собственной памятью. И ноги много лет спустя помнят асфальт городов, стершиеся ступеньки лестниц и половицы коридоров, и руки бывшего узника помнят браслеты наручников. И живет ощущение ее ладони в моей руке.

VII

В Москве у матери ночевать было небезопасно, – я уже говорил об этом, – и я лежал, пришлушиваясь к шорохам и шагам, ожидая звонка в коридоре, придумывал разные версии – опоздал на поезд, приехал дооформить бумаги, вы уж простите, товарищ старшина, а товарищ старшина даже не заглядывает в паспорт с коварной отметкой, им все известно, и я понимаю, что за мной следят с той самой минуты, когда я звонил Ире из автомата на станции метро «Красные ворота», они подслушали наш разговор, и вот теперь милиционер сует паспорт в нагрудный карман, одеться, допрос в отделении,

но тут оказалось, что вся эта дьявольщина мне просто приснилось, на самом деле я сижу на скамейке перед бодрым, веселым Гоголем. Милиционер шагает по бульвару, подойдет и потребует документы, я не могу больше ждать, он приближается, мгновенно прикидываю, направо улица Фрунзе, налево переулок, забыл, как он называется, не имеет значения, важно то, что по нему можно добежать до Большого Афанасьевского, ее адрес, так и есть, она идет навстречу в зимней шапочке, изменилась, но я сразу ее узнал, почему же ты меня не дождался там, у Гоголя, потом объясню, нам нужно спрятаться, она колеблется, но погода изменилась, куда девался яркий весенний день, не было никакой весны, свистит ветер, снег залепил глаза, и мы вбегаем в подъезд. Это ее дом. Я догадываюсь, что все подстроено, все сделано так, чтобы нам остаться наедине, это и есть венец всей истории, тайный смысл повести, которую я напишу, предвкушение счастья томит меня, мы проталкиваемся сквозь толпу, в подъезде тесно, люди ругают меня, снаружи метель, я хватаю Ирину за руку, один марш, другой, выше, выше, пока не остановились, задыхаясь, перед дверью ее квартиры, она никак не может отщелкнуть сумочку, давай я, нет, сказала она, я сама, и сумка вывалилась из ее рук, среди разбросанных мелочей, платков, пудреницы, губной помады нет ключа. Она его потеряла! В гневе я говорю: значит, будем здесь. И вот оно, величайшее горе моей жизни: я не могу попасть туда, и это тоже все подстроено, они ее подослали, она надо мной смеется, я вижу ее зубы, оскаленные в издевательской сатанинской усмешке, я мучаюсь, не могу найти вход, а может быть, там и не было никакого входа.

. . . . . .

Я был несчастлив. Ложась в постель, я думал о том, что завтра увижу ее, и все повторится, и самое большее, на что можно надеяться, – провожание до метро. Я испытывал невыразимые муки неразделенной любви. Но – и это приходится особо отметить – я не страдал от неутоленного вожделения, от невозможности соединиться. И когда я видел Иру, следил за ней издали или подходил к ней, я не испытывал ни малейшего желания повалить ее на постель где-нибудь в укромном уголке, – такая мысль даже не приходила мне в голову. Правда, моя любовь не была вполне платонической; однажды, один единственный раз, мы танцевали на каком-то вечере, я держал ее руку, как полагалось, несколько на отлете в своей руке, другой рукой обнимал ее за талию, ее грудь была совсем близко, она смотрела мне в лицо и мимо меня, бледные губы были приоткрыты, ее свежее дыхание овевало меня, она была видимым образом возбуждена, – должно быть, ей передалось мое волнение, – но то, что я испытывал в эту минуту, не было сексуальным возбуждением, какое должна была вызвать необычайная близость наших тел, движение ног, касавшихся моих ног... нет: то, что происходило со мной, было волнением любви, чистой любви.

Она, разумеется, понимала это. И меня настигает почти криминальная мысль: не оттого ли я, со своими жалкими переживаниями, не находил отклика в душе Иры Вормзер, что любил ее всего лишь этой любовью и как будто вовсе не желал ее как женщину. Она не могла мне этого простить. То, что мне казалось высшим проявлением любви к Ире, в ее глазах было несовершенством, какой-то чуть ли детской неполноценностью. Она должна была спросить себя: что мне в этой любви – с ней нечего делать.

. . . . . .

Нужно отличать сновидения от неосуществленных вариантов жизни. Как шахматист, потерпев поражение на турнире, сидит в одиночестве над доской, ищет ошибочный ход, так и я не могу удержаться от этой странной игры – переиграть свою судьбу. Представить себе, что жизнь могла бы сложиться по-иному, примерить другие варианты. Так ли уж они неправдоподобны? Не вернее ли будет сказать, что вероятность того, что случилось, была не больше, чем вероятность того, что могло осуществиться? «Случилось», – говорю я. Стрелочник перевел стрелку с одного пути на другой, и поезд понесся в другом направлении; имя стрелочнику – случайность. Дальше работает логика обыденной жизни.

Предположим, что мое чувство к Ире пробудило ответную симпатию, почему бы и нет? Мы сблизились. Мы встречаемся в уединенных местах (каких?). Ведь чаще всего так и бывает: неприметно и как будто непроизвольно инициативу берет на себя женщина. Ирина стала моей возлюбленной. (Богатая пища для воображения. Я окончательно порываю с моей pruderie*).

А может быть и то: поэта обыкновенный ждал удел.

Мы поженились. Да, поженились, я счастлив, любовь осуществилась, правда, у нас нет своей жилплощади. Мы поселились у моих родителей. Я стал кандидатом наук и доцентом, жизнь идет своим

** Преувеличенной добродетелью, стыдливостью (фр.).*

чередом. И постепенно я замечаю трещину в нашей жизни. Моя жена в задумчивости стоит у окна. Ее раздражают простые вопросы. Я вижу ее отрешенный взгляд. Я чувствую, что она не в силах произнести нечто чрезвычайно важное, как я когда-то в юности не решался сказать ей о моих чувствах. Бессонной ночью, – свет режет глаза, мы одни в комнате, – происходит мучительное объяснение. Ира не может ужиться со свекровью, но не это главное. Главное то, что она не любит, никогда меня не любила, и жалеет, что связала со мной свою жизнь. Ира уходит.

. . . . . .

Нет, говорю я себе, ничего подобного не могло произойти, потому что та школа чувств, которую я прошел в годы безответной любви, не состоялась бы, если бы любовь увенчалась успехом. По-настоящему мы познаем глубины чувства лишь когда оно не находит удовлетворения. Рискну ли я сказать, что истинная любовь – это любовь без взаимности? Для меня, во всяком случае, ясно, что лишь такое воспитание чувств сделало меня тем, кем я стал на самом деле.

VIII

Мы засиделись в читальном зале, где Ира Вормзер имела обыкновение заниматься, потому что дома было шумно и тесно. Я сдал ее книги дежурной библиотекарше, мы вышли на галерею. Уже померкли стеклянные шары под потолком, последние студенты спускались по лестнице, и тут произошел этот случай: кто-то показался внизу, в пальто с серым барашковым воротником и барашковой шапке, похожей на военную папаху, остановился стряхнуть снег с плечей и папахи, прошагал мимо сторожихи, поднимается по лестнице.

Случайность, говорю я, незначительный эпизод, – но мне трудно отделаться от абсурдной догадки, ложного воспоминания, будто уже тогда почудилось мне в этом явлении что-то подстроенное. Мы не знали, что будет потом. А когда я сидел на скамейке перед статуей Гоголя, поджидая Иру, и смотрел на марширующую милицейскую фуражку, это «потом» было уже позади, и я все знал. То-то и оно: утверждать, что я уловил фальшь в небрежных фразах того, кто поднимался по ступеням нам навстречу, не значит ли поддаться обратному эффекту памяти?

«Смотри-ка, – сказала Ира, – кто идет!».

Это был доцент Гартман-Добродеев.

«Здравствуйте, Родион Семенович...»

«О! Приятная неожиданность. Все еще занимаетесь... похвально! – Он вздохнул, покачал головой. – У меня тут некое недоразумение. Верите ли, не могу найти мой учебник. Перерыл весь дом. Надеюсь, я не опоздал. Но – весьма рад нашей встрече... я сейчас».

Через несколько минут он вышел из библиотеки, засовывая в портфель книжку в бумажном переплете, учебное руководство по истории древнего мира, издание Московского университета, – и мы трое, сойдя вниз, миновали темный вестибюль и вышли наружу, в серебро и огни зимнего города. Обогнули памятник отцу русской науки и остановились на тротуаре перед воротцами. Шел снег.

Мимо нас торопились, втянув голову в плечи, глядя под ноги, прохожие, напротив белел Манеж. Смутно рисовался по ту сторону площади Александровский сад, и на темном, мглистом небе багровели кремлевские звезды.

Видимо, Гартман должен был вернуться домой к прерванным занятиям, но вместо этого сказал, что у него есть предложение – раз уж так получилось.

«Погода отменная. Как вы относитесь к тому, чтобы немного пройтись... поужинать где-нибудь вместе?»

«Где-нибудь» означало в его устах ресторан, синоним шикарной жизни, мы ни разу не были в таких заведениях. Проходя мимо окон «Националя», я видел силуэты людей, обитавших в другом мире. Гартман смотрел на Иру, она помалкивала, посматривала по сторонам. Мы топтались на месте, мешая людям.

«Понимаю... понимаю», – промолвил он. Что должна была означать эта снисходительная улыбка? Мы был признаны, так сказать, официально любовной парой. «Привет от Аммиана!» – крикнул Гартман, удаляясь. Он шагал к Охотному ряду, мы двинулись в противоположную сторону, обходили озябшие, недавно высаженные деревца. О чем это он, спросила Ира.

Имелась в виду моя курсовая работа. Наш доцент руководил семинаром по античной историографии. Я писал у него работу об Аммиане Марцеллине.

Смутно брезжит это забытое имя. Аммиан был офицером личной охраны императора Юлиана. Думал ли он, на старости лет описывая битву с германцами при Аргенторате, пересказывая или сочиняя речь кесаря перед легионами, что дни римской державы сочтены? Думал ли кто-нибудь из нас, что не так уж много осталось просуществовать и нашему государству?

«Он у меня спросил, почему я не привел высказывание товарища Сталина».

«Какое высказывание?»

«Есть такое высказывание... выудили из доклада на каком-то там съезде. Будто бы античное общество погибло в результате революции рабов и колонов, а что это значит, никому не известно. Никто об этой революции слыхом не слыхал. Чепуха какая-то, корифей науки напутал. Слышал где-то звон...».

«Ты поосторожней», – сказала Ира. Мы свернули на Воздвиженку и шли некоторое время молча.

Она спросила:

«А ты что?»

«Ничего», – сказал я.

«Ну, вставь, раз уж надо».

«Надо... Ты так считаешь? А я вот не считаю!»

Я почувствовал, что сейчас что-то произойдет. Я балансировал, готовясь побежать по канату, а она стояла внизу и смотрела на меня со страхом и восхищением. Я должен был продемонстрировать смелость моей мысли, сказать, наконец, правду. Никто не решается – а я скажу. Сердце мое внезапно заколыхалось, и я понял, что правда, о которой я намерен сказать вслух, – нечто совсем иное. Дело не в вожде, не в его дурацкой теории, – то, что я собирался сказать, было бесконечно важней. Я должен был высказать ей все. Что же именно? А вот что: объявить, как я ее люблю.

«Знаешь, я давно хочу тебе сказать...» – проговорил я, и она угадала, уловила женским чутьем, *что* я собираюсь произнести, и вся подобралась. Я это почувствовал. Непроизвольно мы замедлили шаг.

«Сказать...» – пролепетал я и умолк.

«Что?» – спросила она вкрадчивым грудным голосом.

О, проклятье... мне расхотелось говорить об этом. Не то чтобы я струсил, но – вдруг утратил разбег. И она это тоже поняла.

«Если бы... если бы какой-нибудь историк, лет через двести... стал писать о нашем времени... Как ты думаешь, что́ бы он написал?»

Ира молчала.

«Историк, через двести лет. Как ты думаешь?»

«Не знаю», – сказала она сердито.

«Что мы победили в войне? Ну да, конечно. А еще он бы добавил, что страна, одержавшая победу над фашизмом, сама была фашистской страной!»

Вот оно! Никто не догадывался, а я догадался. Выпалив это, я испытал необыкновенное облегчение.

Снова молчание; метро уже недалеко. Вздохнув, она проговорила: «Какое нам дело до того, что будет через двести лет. И вообще...»

«Что вообще?»

«И вообще я не хочу слушать».

«Вождь, партия... – говорил я, распаляясь, – все такое же, как у них! Победили в войне... Шиш бы мы победили, если б не Англия и Америка! Самое счастливое государство в мире. А ты знаешь, что люди подыхают с голоду?»

«Что ж ты хочешь – война».

«Война... А кто, собственно говоря, виноват? Если у тебя в руках неограниченная власть, такая власть, что и царям не снилась, то ведь и ответственность должна быть огромной. Раз уж ты сам принимаешь все решения. Подружился, с кем? Это же позор! С Гитлером, с фашистской Германией. А им только этого и надо было. Разгромить Францию, захватить чуть ли не всю Европу. А потом всей мощью обрушиться на нас. Видите ли, фактор неожиданности. – Я злобно усмехнулся. Это была известная фраза вождя. – Какой же ты, спрашивается, государственный деятель, если нападение было для тебя неожиданностью? И дальше пошло-поехало: величайший полководец всех времен и народов, спас родину, ему мы обязаны всеми победами... А этот полководец даже ни разу не был на фронте».

«Откуда ты знаешь?»

«Да это известно», – сказал я презрительно.

Напротив, через дорогу, Калашный переулок. Уже совсем близко Арбатская площадь. Снег падал все гуще. Начиналась метель.

«Ира, – сказал я, задыхаясь, – я давно хотел тебе сказать... Я...»

Она молчала, быстро взглянула на меня блестящими глазами, потом опустила ресницы. Она была так хороша, что я потерял дар речи.

IX

«Послушай, надо что-то делать, – забормотал я. – Нельзя так сидеть сложа руки... Кто мы, в конце концов? Мы русская интеллигенция, совесть народа! Ты посмотри, что делается. Сумасшедший дом! Везде одни и те же портреты, даже в зоопарке. Или в бане – он и там висит. Он уже теперь генералиссимус. Величайший, мудрейший, радио с утра до вечера... О чем бы ни шла речь, непременно да здравствует наш дорогой, любимый, гениальный...»

«Побежали, – сказала она, – видишь, что творится...»

Творилось в самом деле. Дымно-черная мгла заволокла город. Исчезли дома, улицы, мостовая сровнялась с тротуаром. Яростно просвистел ветер, и все завертелось, метель застлала, залепила глаза. Во тьме мотались на снежных проводах призрачные огни. Белыми гробницами застыли троллейбусы. Ира вбежала в ближайший подъезд, я за ней. Там уже набился народ. Мы протиснулись сквозь толпу к лестничным перилам. Снег опушил ее ресницы, густо покрыл плечи и шапочку, она смотрела на меня блестящими глазами, дыша полуоткрытым ртом.

Буря, неизвестность! Нас охватил восторг. В полутьме, озираясь, точно злоумышленники, мы взбежали наверх. Снизу доносилось тяжелое дыхание молчаливой толпы. Мы стояли на втором этаже. За дверями пряталась глухая жизнь обитателей квартир. Передохнув, двинулись дальше. Третий этаж, полумрак и молчание.

Ей было жарко, она расстегнула пальто. Сбросила шапочку и встряхнула головой. Я помог ей высвободиться и сунул пальто под мышку. Почудилось, что кто-то идет по лестнице; мы застыли, как заговорщики. Снова тишина. Ира стояла, прислонившись к перилам, ограждавшим площадку. Молча я приблизил свое лицо к ней, пальто упало на пол, я обхватил ее стан. «Что ты, что с тобой... – прошептала она, – не надо!», и откинулась назад, над пропастью лестничного пролета, ее живот и бедра прижались ко мне. Я привлек ее к себе, равновесие было восстановлено, на миг я почувствовал, что ее лоно все еще прижимается ко мне, хотя необходимости в этом уже не было. Тотчас она вырвалась и отошла в сторону.

Память прикосновений! Спустя целую вечность я все еще чувствую эту мгновенную близость. В ушах свистит ветер, буран залепил глаза, толпа в подъезде... хорошо бы отыскать этот дом, но нет, там все перестроено. Что с тобой! Зачем это! – шепчет моя подружка, ошеломленная неистовством моей страсти, в страхе, что обрушатся перила, ищет вырваться из моих объятий, а между тем низ живота, ее лоно, прижимается ко мне. Не может быть, чтобы я ошибался. Столько лет прошло... Она переступает ногами, ее бедра слегка раздвинуты, словно ищут встречи. Снаружи понемногу светлеют огни, трогаются с места заснеженные троллейбусы, Ира прыгает по ступенькам, на бегу всовывая руки в рукава пальто, что-то произошло, хотя ничего не произошло, мы стали мужчиной и женщиной, мужем и женой, нет, мы лишь попытались стать мужем и женой. И все же, пускай на одно мгновение, мы преодолели запрет, – осталось внешнее препятствие: одежда, лестничная площадка, случайный народ внизу. Все так же молча, увязая в снегу, мы добираемся до станции метро. Я пожимаю ее ладонь, мы стараемся не смотреть друг на друга.

X

О Гартмане ходили толки, будто он обратился в высокую инстанцию с жалобой, что ему не дают профессорского звания по причине неподобающей национальности. А он русский. То был (если верить слухам, а я подозреваю, что они не были выдумкой) вдвойне рискованный демарш: во-первых, петиция предполагала как нечто само собой разумеющееся, что этой национальности не дают ходу. Что, конечно, было правдой; но говорить об этом не полагалось, слово «еврей» с некоторых пор стало запретным; а во-вторых, Гартман происходил скорее всего (как мне сейчас кажется) из немцев, и это было еще хуже, кое-кто наверху мог поинтересоваться, почему его не выслали куда-нибудь подальше, в Сибирь или Казахстан, в первые дни войны, а если что-то подобное и случилось, то каким образом он оказался снова в Москве. Впрочем, со временем Родион Семенович стал и профессором, и заведующим кафедрой; меня в это время уже не было.

Семинар, то ли из-за нехватки аудиторий, то ли по нездоровью доцента, собирался у него на квартире. Гартман жил у Никитских ворот, в доме, где умер Гоголь. Тогда еще бывший Гоголь не сидел во дворе, куда его переправили с Пречистенского бульвара, подальше от глаз. Я помню тот первый раз,

когда мы стояли гурьбой перед дверью с медной табличкой; послышался лай, звякнула цепочка, в дверях стоял, подняв одно ухо, черный пудель.

*Wozu der Lärm? was steht dem Herrn zu Diensten?**

Теснясь и стесняясь, ведомые пуделем, мы пробирались по тусклому коридору, справа и слева, от пола до потолка стены были заставлены книжными полками, пахло пылью, скрипели старые половицы, роскошь проживания в отдельной квартире сочеталась с холостяцкой убогостью. Пудель исчез – хозяин ждал в кабинете.

Он стоял посреди ученого беспорядка, за рабочим столом. Пыльный луч пробивался между глухими гардинами, сияние окружало черные, гладко зачесанные волосы Гартмана. Лицо оставалось в тени. На стенах скупо отсвечивали портреты, возле стола на подставке поблескивал небесный глобус. Гартман был одет по-домашнему и несколько щеголевато, в просторной байковой куртке, подпоясанной витым шнурком, с глубокими карманами, куда он прятал свои нервные руки, на этот раз без перчаток; когда, мало-помалу вдохновившись, он взмахнул левой рукой, мы увидели на ребре ладони, рядом с мизинцем отросток недоразвитого шестого пальца.

Кое-как мы расселись; мы ожидали, что он скажет что-нибудь необыкновенное, смелое, спорное, – так оно и было: на этом первом занятии, в качестве введения, доцент говорил о том, что, собственно, представляет собой наука, именуемая летописанием, хронографией, историей – называйте как хотите.

Будем, начал он, раз уж мы собрались здесь, вне официальных стен, чувствовать себя на равных, будем свободно обсуждать наши проблемы, не боясь, если можно так выразиться, впасть в ересь. Тезис, который он ставит на обсуждение, гласит: история есть не что иное, как то, что о ней написано.

«Что это значит, друзья мои?»

Разумеется, никакого обсуждения не предвиделось: доцент вещал, упиваясь своим красноречием, и в глазах его уже мелькал знакомый блеск, присутствие юных девушек воодушевляло его – наставник наш был великая кокетка! И в самом деле, мы слушали Гартмана, как зачарованные, смотрели на него, как смотрят на циркового кудесника, веря и убеждаясь, что он владеет необъяснимым даром. В конце концов, не так уж важно было (и, как я теперь вижу, не Бог весть какая новость) то, о чем он разглагольствовал, фигляр, актер-охмуряла с черными, как мокко, сверлящими глазами, с голосом то вкрадчивым, то возвышавшемся до фальцета:

«Историография есть разновидность художественной литературы, не зря в хороводе муз, которых ведет за собой Аполлон-Мусагет, вместе с богинями-покровительницами поэзии и театра танцует Клио, муза истории. Когда Тацит, по примеру греков, – вспомните речь Перикла над телами павших у Фукидида, – вкладывает в уста политиков и стратегов пространные речи, как если бы он сам их слышал и записал, когда он уснащает драматическими подробностями эпизоды гражданской войны 69 года или описывает шторм, едва не погубивший флотилию Германика, или прослеживает перемены в характере Тиберия, показывает, как развращает властителя неограниченная власть, – то это, конечно, перо художника, перо писателя, точнее, стилум, которым писали на восковых табличках. Но, как говорится, полезай в кузов, раз уж ты назвался грибом! Тот, кто ступил на эту скользкую дорожку, кто занялся художественной литературой, должен следовать ее правилам, если хотите, подчиняться ее диктату... История пишется по литературным канонам».

«Послушайте, – сказал он. – Вот начало Истории Корнелия Тацита, великого Тацита. Liber primus, первая книга...».

Гартман стал в позу чтеца-декламатора. Держа в руке с пупырышком шестого пальца толстый том, заложив в нужном месте указательный палец, помавая свободной рукой, возгласил:

Opus adgredior opimum casibus, atrox proeliis, discors seditionibus, ipsa etiam pace saevum.

Глаза его засверкали.

Quattuor principes ferro interempti, trina bella civilia, plura externa ac plerumque permixta.

«Слышите этот ритм, эту мерную, грозную поступь? Это голос судьбы, древние называли его omen fati. Неотвратимо и не отдавая себе отчета в том, что его ждет, общество шагает к вратам погибели...»

Он обвел маленькое собрание прокурорским оком, раскрыл книгу и, кашлянув, понизив голос, стал читать перевод.

«Я приступаю к рассказу о временах, исполненных несчастий, изобилующих битвами, смутами и распрями, о временах, свирепых даже в мирную пору. Четыре принцепса заколоты; три войны гражданских, множество внешних и еще больше таких, что были одновременно и внешними, и гражданскими, удачи на Востоке и беды на Западе. На Италию обрушиваются невзгоды, каких она не знала никогда, Рим опустошают пожары, гибнут древние храмы, горит Капитолий, подожженный руками самих же

** К чему шуметь? Я здесь к услугам вашим. (Гете, «Фауст», I, 1322; нем. Перевод Н.Холодковского).*

граждан. Поруганы старинные обряды, осквернены брачные узы; море покрыто кораблями, увозящими в изгнание осужденных... Все вменяется в преступление: знатность, богатство, почетные должности; награда добродетели – неминуемая гибель... Плата доносчикам...»

На минуту Гартман запнулся. С мрачным торжеством оглядел собрание и продолжал, нажимая на каждое слово:

«Плата доносчикам вызывает не меньше негодования, чем их преступления, за свои подвиги они получают жреческие и консульские должности. Рабов подкупают угрозами. У кого нет врагов, того губят друзья».

Дочитав, доцент неожиданно поскучнел. Он сидел за столом, ни на кого не глядя. Тяжело вздохнул, спросил:

«Что же все это означает? – И пожал плечами. – Только то, что прошлое – это миф. Что такое истинная история минувших времен? Вот это самое, – он постучал пальцем по обложке. – Бумага! Медицейская рукопись XI века! Манускрипт из библиотеки Герсфельдского монастыря!»

Вздохнув:

«Немецкий буржуазный историк, идеалист Ранке требовал от таких же, как он, буржуазных историков: изображайте прошедшее таким, каким оно было на самом деле. Легко сказать! В том-то и дело, что этого "на самом деле" больше нет! Прошлое не существует, точнее, существует лишь настолько, насколько оно может быть описано. Прошлое создают историки».

Гартман встал и толкнул пальцем астрологический глобус. Мы смотрели, как под гипнозом, на крутящийся шар. Гартман остановил глобус.

«Тут можно провести любопытную параллель. Позвольте мне на минуту отвлечься... Стоп! – крикнул он, услышав собачий лай. – Никого не пускать!..»

Мы прислушались к наступившей тишине.

«Средневековые схоласты старались логически вывести существование Бога. Есть знаменитое доказательство Ансельма, есть еще несколько других, столь же хитроумных и столь же неубедительных. Потому что все ухищрения теологов опровергаются одним единственным доказательством ***не***-существования. Каким же? А вот каким: Бога нет, потому что его невозможно описать. Бог по определению не может быть описан средствами нашего языка. Ergo*, его не существует. Если хотите, доказательство, которым оперирует дьявол».

XI

Я старше Гартмана, ровесник многих наших профессоров. Пора бы уже стряхнуть с себя гипноз его сомнительных парадоксов, не таких уж, по правде сказать, оригинальных. Так нет же: я и теперь, копаясь в прошлом, пытаясь восстановить эту сцену, ученую келью доцента, луч, играющий на поверхности синего глобуса и галиматью нашего ментора, – вынужден признаться, что все еще не отряхнулся от этой одури. Происходило ли то, о чем я еще хочу рассказать, в тот первый раз или на последующих собраниях его так называемого семинара? Возможно, память соединила разные встречи. Обводя насмешливо-победительным взором тесный девический кружок, он изредка, скосив глаза, поглядывал на меня, как будто хотел сказать: ты и я – мы тут единственные мужики. И мы знаем себе цену. А все это бабье... – и за этим должно было следовать что-то презрительное, циничное, издевательское. Это была немая солидарность мужчин. Рискну добавить – оборонительная солидарность.

Голос Гартмана доносился, как он теперь доносится до меня:

«Платон говорит – читайте Платона, друзья мои, читайте внимательно, но, конечно же, – тут он словно спохватился, – критически, э-э, с позиций нашего материалистического мировоззрения, ни на минуту, – он погрозил пальцем, – не забывая о том, что Платон – идеалист и... и отец философского идеализма.

А Ленин, как мы все помним, учит, что вся история философии есть история борьбы двух противоположных направлений, идеализма и материализма. Н-да».

Доцент вытер пот со лба.

«Так вот. В диалоге "Федр", одном из своих самых известных диалогов, Платон устами Сократа рассказывает, что когда египетский бог Тот изобрел письмо, то предложил его фараону как самое, скажем так, модерное средство закрепления памяти о великих деяниях прошлого. Но фараон отказался принять этот подарок. Почему? Потому что письмо, наоборот, поощряет забвение, письмо побуждает человека пренебречь собственной памятью. Хуже того, порождает мнимую мудрость.

* *Следовательно (лат.).*

Что он хотел этим сказать? Написанное искажает действительность, написанное вытесняет реальную жизнь!»

«Историю делают историографы, – продолжал Гартман, – и можно даже сказать, что историй столько же, сколько существует историков. Конечно, историческое знание опирается на факты. Эти факты – то есть то, что мы считаем фактами, – переданы нам современниками, свидетелями событий или преемниками тех, кто были свидетелями. Прибавьте сюда археологические находки, памятники материальной культуры, разного рода параллельные свидетельства – арсенал чрезвычайно велик. Но заметьте, друзья мои, что литературные источники, – а они все-таки остаются главной пищей для историка, – это все то же письмо, которое отверг фараон! Подчас, читая разных историков, спрашиваешь себя: неужели это одна и та же эпоха? Одна и та же пьеса, те же актеры? Актеры-то, может быть, те же самые, а вот режиссер, то бишь историк, всякий раз другой! Факты одни и те же, но отбор и освещение фактов – дело историографа. Да, историки, они-то и создают историю, превращают все эти обломки, весь этот ворох свидетельств, опровержений, подтверждений, заведомо лживых версий, – в то, что мы принимаем за реальное прошлое, что, собственно, и называем историей!»

«Историк стремится восстановить события. Хочет представить действующих лиц давно сыгранного спектакля, но они-то, эти персонажи, не знали, что будет после них, к каким последствиям их деятельность приведет, – а он знает! Вдумайтесь, друзья мои, это кажется простой истиной, тривиальностью, а все-таки вдумайтесь! Настоящее время есть будущее прошлого, имперфекта, а имперфект, в свою очередь, – будущее для плюсквамперфекта. Мы хотим возродить давнопрошедшее и невольно примешиваем к нему наше знание о прошедшем, которого тогда не существовало; и то же самое происходит с прошедшим: мы знаем, во что оно превратилось потом. И опять получается беллетристика: историк, словно романист, так или иначе планирует судьбу своих героев. И как будто не догадывается, что его знание примешано к прошлому, к истории, а лучше сказать, вмешивается в прошлое. Хочешь не хочешь, а оно, это знание, денатурирует с таким трудом реконструированное прошлое, как кислота – белок. А? что вы на это скажете?» – спрашивал Гартман и, разумеется, не услышал никакого ответа.

Впоследствии я не раз вспоминал его диатрибу – а ведь я еще не все рассказал, что сделало Родиона Семеновича неувядаемым в мой памяти, – но если это издевательство над нашей верой в истину и науку в конце концов можно было пропустить мимо ушей, если речь шла о далеком прошлом, то иначе обстояло дело с нашей собственной историей. Вот я сижу и записываю эти воспоминания. И тотчас ловлю себя на том, что оказываюсь в плену у литературы. Не просто укрощаю прошлое, облекая его в слова, из которых выстраивается, как я надеюсь, более или менее связное повествование. Но придаю этому хаотическому, текучему, неуловимому, какой только и может быть жизнь, прошлому, этому навсегда ушедшему «когда-то», чье искаженное эхо я называю памятью, – придаю ему беллетристическое благообразие, последовательность, вношу в него подобие смысла, который в нем, чего доброго, и не ночевал. Иначе говоря, я совершаю двойной подлог: ведь и память, материал, с которым я работаю, сама по себе ненадежна. В нас самих сидит дьявол, о котором вещал Гартман-Добродеев.

Он обвел глазами собрание и усмехнулся.

«Вы спросите: где же истина? Существует ли она вообще? Не занимаемся ли мы каким-то подозрительным делом, не есть ли история – фокусничество, лживое сочинительство, фантом?»

Мы были обескуражены. Где-то в недрах квартиры вновь слабо тявкнул пудель.

«Нет! – сурово сказал Гартман, как бы снова спохватившись. – Мы обязаны сделать из этого другой вывод. Наш ответ носит короткое название: методология. Марксистско-ленинская методология! Историография не есть произвольное манипулирование фактами или тем, что историк выдает за факты. Историк обязан определить свою позицию в борьбе идей, история есть часть общего мировоззрения, а мировоззрение, учат нас классики марксизма, учит товарищ Сталин, не может быть нейтральным, мировоззрение носит классовый, партийный характер. Только вооружившись самым передовым мировоззрением, как факелом, мы можем смело углубиться в катакомбы прошлого, не боясь заблудиться».

Траурный марш сменился мажорными аккордами. Вторя ему, в коридоре раздавалось собачье арпеджио. Народ поднялся с мест. Гартман рассеянно перелистывал что-то. «А вас, – проговорил он, назвав меня по фамилии, – прошу задержаться. У меня есть несколько замечаний касательно вашей курсовой... – Он захлопнул книгу, перевел холодный взгляд на Иру Вормзер. – И вы тоже, пожалуйста».

XII

Думаю, нет необходимости объяснять, что́ заставило его неожиданно повернуть к пресловутой методологии. Нужно было застраховаться. Правда, сейчас мне кажется, что не только поэтому. Было в

повадках Гартмана что-то виляющее туда-сюда, от конца к началу, и нашим, и вашим, – и это петляние, по-видимому, доставляло удовольствие ему самому.

«Ваша работа, м-да. Что же я хотел вам сказать... – пробормотал он. – Знаете что, – и неожиданно улыбнулся милой, обезоруживающей улыбкой, – может, мы выпьем чайку, а?»

«А где же у нас...» – бормотал он, когда мы перешли на кухню, и я почему-то подумал, что он ищет своего пса. Но пудель где-то спрятался и помалкивал. Кухня – вероятно, бывшая коммунальная кухня, сумрачная, как все в этой квартире, довольно просторная, – была переоборудована под столовую, у стены, напротив плиты, стоял накрытый скатертью стол, и уже кто-то расставил заблаговременно чашки, тарелки, сахар в сахарнице, блюдо с бутербродами, при виде которых у нас потекли слюнки. Гартман стоял, задумавшись, перед буфетом, «прошу садиться», – бросил он через плечо, вынул невысокие пузатые рюмки, водрузил на стол черную бутылку с золотой этикеткой. Медный чайник кипел на газовой плите. Обжигаясь, хозяин поднял крышку, по-холостяцки, прямо в чайник всыпал заварку и выключил газ. Тотчас кто-то подкатился к дверям. «Нельзя», – сказал Гартман, и когти зверя зацокали прочь.

«Вам – рюмочку или так?»

Ира попросила «так». Хозяин подлил ей в дымящуюся чашку, пододвинул сахарницу.

«Ну-с, а мы с вами по бокальчику...»

Это был коньяк, какого я отродясь не видел, да и вообще никогда не пробовал этот напиток. Французский, пояснил Гартман. Он держал свой бокал в ладони, покачивал, посмотрел на свет. Что ж...

«Будем здоровы».

Он пригубил с видимым удовольствием. Я заставил себя отхлебнуть.

Он указал на бутерброды – впрочем, не нужно было и напоминать. Сам ничего не ел. Он называл нас «молодые люди», потом просто по имени, раза два назвал Иру Вормзер Ирочкой. Он был ласков и предупредителен, чуть ли не любовался нами, давал понять, что считает нас влюбленной парой, и это, кажется, не нравилось Ире. Прихлебывая из своего фиала – которого по счету? – разглагольствовал, по своему обыкновению, но это была уже совсем другая речь.

«Меня не любят, – сказал он. – По разным причинам, я говорю о моих коллегах... И только общение с молодежью удерживает меня от того, чтобы бросить все... и махнуть куда-нибудь к чертовой матери...»

Ира робко спросила его о чем-то, Гартман не ответил. «Да, да... – повторял он вполголоса, кивая своим мыслям. – Видите ли, в чем дело... О, простите: совсем забыл».

На столе появилась роскошная коробка. Ира поспешно взглянула на себя – нет ли крошек, – потянулась за конфетой, принялась развертывать. Хозяин подлил мне, потянулся с бутылкой к ее чашке, взглянул вопросительно, она кивнула. Что-то менялось в этой комнате, дрожало в воздухе. Некое излучение исходило от Иры Вормзер, от ее тела, скрытого под одеждой, и мужчины это чувствовали, и она это знала. За окном, выходившим во двор, было темно.

«Угу... Конечно, конечно... То есть как вам сказать...» – бормотал Гартман. Он смотрел на меня, на нее. Это был больной, почти умоляющий взор.

«Дайте-ка вашу руку. Я изучал хиромантию. Вас это удивляет? О-о... да тут у вас много всего. Я думаю, Ирочка, вы проживете долго, Но, – покачав головой, – боюсь, вы будете несчастливы в любви!»

На мгновение задержал ее руку в своей шестипалой руке.

«Ах, все пустяки, я пошутил... Вот видите, хотел поговорить об учебных делах, а вместо этого... – Он горько усмехнулся. – У меня ведь, в сущности, и друзей-то нет!»

Тут каким-то образом оказалось, что пудель сидит у него на коленях. Гартман трепал пса за уши, гладил его, пудель блаженно щурился.

«Пошел!» Пес спрыгнул на пол, и его не стало.

Ира спросила, есть ли у него близкие, семья.

«Семья? Нет, какая там семья... Был один ребенок, умер. А жена... Жена моя погибла. Знаете ли вы, что это значит? Что – это – значит?»

Помолчали.

«Дурацкий случай. Вот здесь, в двух шагах, напротив кинотеатра, попала под трамвай. Не дай вам Бог, не дай вам Бог... Моя жена была для меня все: подруга, мать, товарищ. От меня как будто отрезали половину моего существа. Лучшую половину».

Гартман осушил свой бокал, на минуту показалось, что наставник наш опьянел. Но он был трезв.

«Вот так, – и он посмотрел, прищурившись, словно что-то заподозрил, на меня, на Иру, – хотели поговорить о делах, а вот, изволите видеть, расчувствовался...»

Молчание, он вертел рюмку. Встряхнул черную бутылку – убедиться, что там еще осталось. Голос Иры нежно прозвучал:

«Родион Семенович, может, вам нужна какая-нибудь помощь?..»

«Помощь? Спасибо. Спасибо, девочка... Ну что ж, выпьем, как говорится, на посошок!»

XIII

Между тем она расцветала – с каждым днем все больше, все невыносимей, ее окружило какое-то дразнящее сияние, изменилось выражение ее лица, поступь стала ленивей, глаза излучали темный блеск; когда Ира поворачивалась ко мне, я видел, что она смотрит не на меня, а сквозь меня, мимо меня, – куда?.. Однажды она появилась в новом наряде, это было темно-голубое платье с прямоугольным вырезом, без рукавов, и под ним белоснежная блузка; тесный лиф подчеркнул ее грудь, платье изменило походку, еще заметней покачивались ее бедра. А я?

Похоже, что и я, хоть и с трудом, взрослел. Ира все больше отдалялась от меня – из гавани девичества выплыла в открытое море. Попутного ветра, моя дорогая! Я изнывал от неопределенной ревности. Но однажды утром – да, это было примечательное утро! – словно очнувшись, почувствовал перемену, – сказать ли: освобождение?

Нет, это не было разочарованием; скорее, оскомина. Любовь буксовала – я увяз в трясине. Любовь надоела самой себе. Со стыдом вспоминал я сцену на лестнице, она осталась в прошлом. Было ясно, что ничего подобного никогда не повторится. Я давно понял, что был ей безразличен, в лучшем случае оставался для нее товарищем – нечто противоположное любви. Однажды попытался заговорить с ней на эту болезненную тему, чуть было не отважился спросить: любит ли она меня? Это слово! Я не успел его выговорить. Она прервала меня. «Вот если бы ты был лет на пять старше...» – внезапно проговорила она. А что еще я мог от нее ожидать? Слова Иры Вормзер меня как будто даже утешили, выходило, что сам по себе я не был ей неприятен, просто слишком юн. Но тут же я понял, что под маской дружбы скрывается обидная снисходительность. Молокосос! «Вот если бы ты был...» Ей нужен кто-то, на кого она будет смотреть снизу вверх: покоритель, завоеватель. Чего доброго, он уже появился там, за сценой.

Лучшее лекарство от любви, как известно, – другая любовь. Я стал по-другому, с хитрым умыслом поглядывать на цветник девиц. Увы, ничего подходящего. Тем временем провожание до метро «Арбатская» окончательно выдохлось и иссякло. Как-то раз я перехватил удивленный взгляд Иры – ревнивый взгляд, хотелось мне думать, но это было лишь вежливое недоумение. Неужели она полагала, что я так и буду вечно тащиться за ней?

На доске объявлений было вывешено объявление; я пришел в аудиторный корпус, когда галерея уже опустела. Большой зал был полон. Постепенно все стихло. Из боковой дверцы на эстраду вышли и расселись за столом поэты с мужицкими лицами – должен сознаться, звание студента Московского университета внушило мне род сословного высокомерия.

Здесь требуется пояснение. Был когда-то на Тверском бульваре – возможно, существует доныне – Литературный институт, странное заведение, род питомника или птицефермы, где под присмотром специалистов вылуплялись из яиц будущие прозаики и стихотворцы. Надежда нашей советской литературы, сказал заместитель декана, который стоял за пультом сбоку от поэтического стола.

Раздались жидкие аплодисменты. Поэты, один за другим, выходили из-за стола, это были фронтовики; стоя на краю сцены, рубя сжатым кулаком, они выкрикивали стихи, и горячий ветер войны, крови, мужества, страха, гул и грохот жестокой жизни, от которой мы все были спасены, пронеслись над амфитеатром. Вышел один, в темно-зеленой английской шинели, с глазами одержимого, он заикался, было видно, что он тяжело травмирован; словно в трансе, вперяясь в пустоту, он читал знаменитое впоследствии стихотворение. Полк шинели на проволоку побросал... Но стучит над шинельным сукном пулемет... У другого было обожженное, в рубцах, обезображенное лицо.

Кто-то тронул меня сзади за плечо. Я обернулся, парень, сидевший позади, показывал пальцем на следующий ряд, повыше. Там сидела и делала мне знаки... вот так встреча! История – это литературный жанр, говорил Гартман; похоже, что и со мной все происходило по канонам плохой литературы; эта девушка, давнишнее мимолетное увлечение, должна была появиться вновь. Как некий противовес, как колесо сюжета.

Оля была отчислена за неуспеваемость, но к родителям не вернулась; не ведаю, как ей удалось зацепиться в Москве, да я и не знал ничего, живя в секретной стране, о паспортном режиме. Словом, это была она. Толпа вывалилась на галерею, запрудила лестницу, мы топтались, не решаясь сойти вниз, постой, сказала она, я тебя познакомлю. Вернулись в зал и взошли на опустевший помост. В комнате для артистов голодные стихотворцы стоя глотали бутерброды, запивали газированной водой. Я бы тоже что-нибудь съел, но блюда были уже пусты.

«Оль-чка! Привет!» – закричал кто-то.

«Хи-хи...Приветик. Вот, познакомься...»

«Новый поклонник? Не позволю! Омельченко», – сказал поэт, протягивая рыжеволосую ручищу.

Он был кряжист, величествен, белобрыс, с плоским боксерским лицом. На эстраде он читал стихи о том, что не хочет предаваться послевоенному отдыху, так как руки саднит от желания работать. Кажется, и он стал впоследствии знаменит.

Он похлопал Олю пониже спины, против чего она как будто не возражала. Мы спустились по боковой лестнице. Вышли к Манежу, поэт, с начальственным видом, в расстегнутом полушубке и косматой шапке, сошел с тротуара, сунул в рот два пальца. Раздался разбойничий свист. Тотчас такси, круто свернув, взвизгнуло тормозами. «Шеф, – повелительно сказал Омельченко, – туда!»

XIV

Туда – это значило к дому на углу Поварской. Остановились перед порталом с фонарями и черно-золотой табличкой, Само собой, я тут никогда не бывал; никто бы и не впустил. В стеклянной проходной восседал седовласый привратник. Поэт важно кивнул, вслед за ним мы вступили в просторный холл, оттуда – в причудливо разрисованную комнату, где находился буфет, и далее прошествовали в пиршественный зал.

Здесь было гулко, людно, неуютно, кругом шумели, жевали, вокруг огромной тусклой люстры плыли дымные облака. Кто-то издалека приветственно махал рукой, в ответ Омельченко помотал ладонью в воздухе на манер иноземного гостя. Мы шли к намеченной цели. Грузный бритоголовый посетитель в густых черных бровях, в мохнатом пиджаке, едва помещавшийся за отдельным столиком, внимательно оглядывал Ольгу. «Ба-алшой человек», – произнес Омельченко с кавказским акцентом. Мы находились среди знаменитостей.

«Валюша, – промолвил Омельченко томно, – принеси нам того-этого... И... – он щелкнул пальцами, – сама понимаешь». Явился графинчик розового стекла. Явился роскошный рубленый шницель, состоявший по преимуществу из сухарей. Три тарелочки с изделием под кодовым названием «салатик». Поэт разлил по рюмкам напиток забвения.

Немного погодя, лавируя между столиками, приблизился некто поношенного вида, с отвисшей губой и длинным унылым носом.

«Здоро́во, – сказал Омельченко, жуя псевдошницель мощными челюстями. – Как жизнь?»

«Никак», – грустно ответствовал человек.

«Чего ж так. Опять обеднял?»

Писатель пожал плечами.

«Пить надо меньше».

«Негодяи. Повесить мало», – сказал писатель.

«Не дали аванса? Слушай, друг, – Омельченко отнесся ко мне, – надо бы покормить собрата по перу. У тебя сколько-нибудь найдется?»

Я развел руками.

«Ну и кавалера ты себе подобрала, – это было сказано Оле. – Ладно, обойдемся. Пришвартовывайся».

Писатель пошел прочь и вернулся с ножом, вилкой и рюмкой, волоча за собой стул. Пышнобедрая Валюша принесла салат, шницель и новый графин.

«Ты бы меня хоть представил», – сказал писатель.

«Сам представляйся».

«Борис Хазанов. Очень рад познакомиться».

Ольга протянула ему руку лодочкой.

«Чего они от тебя хотят?» – спросил Омельченко, разливая водку.

«Чего хотят. Недостаточно отражено то, се...»

«Надо попробовать в журналах. Ты в Молодую Гвардию не совался?»

«Совался».

«А в Дружбу Народов?»

Борис Хазанов махнул рукой и опрокинул рюмку в рот.

«Бытие определяет сознание, – сказал Омельченко философски. – Вот такая у нас жизнь. Никогда не знаешь, понравилось, не понравилось».

Я слушал профессиональный разговор с жадным любопытством. Странным образом вся эта чепуха начала меня увлекать. Ни этой Гвардии, ни Дружбы Народов я в глаза не видел.

«Надо шагать в ногу с жизнью», – сказал Омельченко.

«Шагай не шагай, все равно ни хрена не получается».

«Надо, Боря!»

После двух рюмок я почувствовал, что мне пора принять участие в беседе.

«Вы меня извините...», – проговорил я, с некоторым трудом подбирая слова.

«Вот коллега тебе хочет сказать пару ласковых. – Он снова повернулся ко мне: – Ты мои стихи читал?»

«Конечно, читал», – сказала Оля.

«Ну и как?»

Я сказал:

«Замечательные стихи».

«Вот видишь, он разбирается!»

«В стихах, может, и разбирается. А вот проза, – сказал писатель, – проза дело особое».

«Почему же особое?»

Писатель смерил меня взглядом и ничего не ответил.

«Вы меня извините, – продолжал я, – вы написали книгу?»

«И не одну», – сказал писатель, берясь за графин.

«Ты не гони лошадей, – заметил Омельченко. – А то домой на карачках придется ползти».

«Нет у меня больше дома...»

«Чего ж так? Прогнала тебя, что ли?»

Борис Хазанов понурился, ловил вилкой недоеденный шницель. Я спросил, о чем его книга.

«О восстановлении Сталинградского тракторного завода. Но там есть разные линии. Роман».

«А почему не печатают?»

«Почему, почему...»

Омельченко:

«Надо, Боря!»

Я спросил: «Будете переделывать?»

Борис Хазанов погрузился в думу.

«Приспосабливаться?»

«Мальчики, – капризный Олин голосок прозвучал, – Андрюша... Может, сменим пластинку? Завели скучный разговор...»

«Что значит приспосабливаться? – мрачно спросил романист. – Что ты хочешь этим сказать?»

«Жрать-то надо», – заметил Омельченко.

«А ты, собственно, кто такой? Ты писатель?»

«Будущий», – сказал Омельченко.

Ольга:

«Он студент».

«Из вашего института, что ли? Понятно. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней».

«Он очень талантливый студент. Изучает литературу».

Я поправил:

«Историю».

«Один хрен, – сказал Омельченко. – История с географией... Ладно, Боря, не слушай его».

«Нет, это интересно. Вы студент Литературного института?» Писатель перешел на «вы». И вообще все стало путаться.

«Нет, – сказал я, – не Литературного».

«Какую же литературу вы изучаете?»

«Не чета вашей», – сказал я.

«Так, прекрасно. А какую же это литературу вы называете нашей?»

«Советскую, какую же еще».

Романист молчал, мрачнел. Но я уже не мог остановиться.

«Вот вы все приспособляетесь, – заговорил я, распаляясь, – На задних лапках танцуете!»

«Кто это мы?»

«Вы все! Квинт Гораций Флакк жил две тысячи лет назад».

«Причем тут твой Гораций?»

«А притом, что он и сейчас жив. А от вас ничего не останется. Лучше никакой литературы, чем такая!»

«Какая?» – тусклым голосом спросил романист. Я собирался развить свою мысль, но тут вмешался грозный голос:

«Это кто это тут русскую литературу порочит?»

Я озирался. Подошел могутный детина с начесанными на лоб волосами, как у Есенина.

«Это кто тут!.. нашу родную...»

«Да ладно тебе, Ваня. Ну, напился парень. Я его сейчас выведу», – говорил Омельченко.

«Ты, значит, его защищаешь? Заодно с ним, да?»

«Ну, ты полегче, полегче...»

«А этот жид куда делся? Я вас всех, суки, выведу на чистую воду!» Стул Бориса Хазанова был пуст. Романист, говоря языком избранного общества, слинял. Новый собеседник был (как потом оказалось) известный народный поэт по прозвищу Иоанн Безземельный, – и уже пьяный в дым. Еще кто-то вмешался, пахло потасовкой. Ольга схватила меня за руку: «Пошли отсюда...»

Я упирался, так как еще не все сказал.

«Девушка, я предлагаю... – Большой человек тоже оказался здесь. Иоанну Безземельному: – Ну-ка, посторонись... Девушка!»

«Спасибо, другой раз...»

Она потащила меня прочь.

XV

«Ну, ты даешь! – сказала она с укоризной, в которой, однако, звучало и восхищение. – Дедуля, вызови нам такси...».

Величественный привратник молча поглядывал на нас, нехотя поднял трубку. Оля крепко держала меня, оглядываясь, не идет ли кто сзади. Но там уже было не до меня. Мы топтались перед подъездом. Подъехала машина, я плюхнулся на заднее сиденье, Оля обняла меня за плечи. Неслись куда-то в полутьме, шарахались на поворотах, асфальт сменился булыжником, экипаж подпрыгивает, я валюсь на Ольгу, неотвязная мысль – я там что-то забыл. Что забыл, где? – спрашивает она. Мы возвращаемся. Мы вступаем в зал, где в клубах пара, словно в бане, еле видны сидящие, человек с бритой головой, с толстыми бровями, не отрываясь, смотрит на мою подругу, дебелая официантка стоит, уперев руки в бедра, обтянутые короткой юбкой.

Стоп. Шофер внезапно затормозил.

Где мы?

«Дома, дома», – шептала она.

А как же... Мы там забыли...

«Ничего мы не забыли, вылезай. Шеф, – сказала она, подражая Андрею Омельченко, – вот тебе десятка, помоги нам...».

Вдвоем они втащили меня по темной лестнице. Я был усажен на стул, в комнатке на кровати сидел еще кто-то. Ольга исчезла и появилась вновь: выпей, сказала она. А что это? Пей, тебе будет легче. Кислятина какая-то. Сколько сейчас времени – надо бы позвонить. Какой номер? Ты же мне когда-то звонила. Я назвал номер телефона. Слышно было, как она говорила в коридоре, вероятно, с моей мамой. Кажется, кто-то находился в комнате, но сейчас никого уже не было. Как тебя зовут, спросил я. Эльвира, был ответ. Свет зажегся на столике. Оля сидела на кровати, держа на коленях большую куклу.

Кто-то царапался в дверь.

«Да, да. Все в порядке, Елена Васильевна, не беспокойтесь...»

Елена Васильевна вошла в комнату.

«О, пардон. У вас гости».

Тощая тетка с папиросой в зубах, в серьгах и кольцах, в длиннейших болтающихся бусах на впалой груди.

«Гости, – сказала она, усаживаясь во что-то, – как всегда... Какой, однако, прелестный мальчик. Завидую вам, Олечка».

«Мы учились вместе...»

«Понимаю. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. И что же дальше?».

«Что вы имеете в виду?» – спросил я.

«Что я имею в виду. Вопрос! – Она искала глазами пепельницу. – Я тоже училась и играла. Меня знали. Знали и ценили! Публика была от меня в восторге. Однажды был такой случай, я должна была заменить Басанову. Была такая Басанова...».

«Елена Васильевна... уже поздно».

«Вот видите, только успели познакомиться, она меня уже гонит».

«Да я ничего против не имею. Но он целый день занимался, готовился к экзамену. Завтра рано вставать».

«О, не беспокойтесь. Я, как вы знаете, встаю на рассвете. Постучу вам в дверь. Только я не вижу... – и она улыбнулась зубастой улыбкой, – вы не приготовили гнездышко любви! Да, были и мы когда-то рысаками... Я была хороша... Вы и представить себе не можете, как я была хороша!»

Оля поцеловала Эльвиру и усадила ее на ветхое кресло, неохотно покинутое Еленой Васильевной. Я следил, все еще тупо соображая, понемногу приходя в себя, как Оля ходит по комнате, не спеша готовится к ночи. Пикейное покрывало было сложено вчетверо, повешено на спинку кровати, подушки взбиты и уголок одеяла откинут, платье снято через голову, сброшено еще что-то, скинут лифчик и почесано вдоль ребер, маленькие груди успокоились в ладонях. Бормоча что-то, она наклонилась, чтобы стащить с меня ботинки, она раздевала меня, как ребенка, спросила: потушить? – и, не дожидаясь ответа, выключила свет.

XVI

Тут я должен, по понятным причинам, сделать паузу; в струении времени возникло завихренье. После чего оно понеслось дальше. Помни, сказал один мудрец, что «сегодня» завтра станет «вчера». Дни стареют быстрее, чем нам кажется, и, может быть, мудрость жизни не в загадываньи будущего, а в умении угадать на лице настоящего морщины, которыми оно покроется завтра. Мы видели, как наше будущее стремительно превращалось в минувшее, как на него валилось все новое прошлое, – и вот, сидим среди этих терриконов, а там все новые самосвалы подъезжают, чтобы сбросить свой груз, и нет покоя, некогда поразмыслить, что же такое с нами случилось. Мы были счастливцами, посетившими этот мир в его минуты роковые, – неправда: мы жили в гнусное время. Мы воображали, что сидим на пиру небожителей, – вздор, мы кормились объедками. Мы родились в невозможной стране и прожили жизнь в государстве поистине небывалом, хоть оно и могло напомнить древневосточные деспотии. Сходство было обманчивым. Наше отечество носило разные названия, поглотило множество племен и народов, разлеглось на гигантских пространствах вдали от морей; у этой страны было свое предназначение, она как будто была создана для того, чтобы построить на своих просторах особую цивилизацию – лагерную, назовем ее так. И, странно сказать, мы ее любили. Мы верили, что она пребудет вечно, как ассирийцы не помышляли о том, что когда-нибудь наступит конец, как римляне IV века все еще были убеждены, что их государство никогда не погибнет.

По обыкновению снаружи под кнопкой электрического звонка висел список, кому сколько звонков: с детства я помню священное число три. Трижды позвонили ночью. В тусклый коридор коммунальной квартиры один за другим вступили трое: заспанный дворник, человек в погонах, с кобурой на бедре, и лицо без лица. Соседи, разбуженные, за своими дверьми прислушивались к шагам, чтобы утром не спрашивать ни о чем, никогда не вспоминать. Автор был выведен и посажен в машину. Тем временем другие, войдя в комнату, приступили к обыску, коему я уже не был свидетель. Автомобиль вырулил не на улицу Кирова, как можно было ожидать, а почему-то на Садовое кольцо, кружным путем понесся к Земляному валу, свернул на Покровку. Впрочем, тот, кто сидел на заднем сиденье между офицером и вторым гостем, не имел представления, куда его везут, и не подозревал о том, что за фасадами цитадели, в тайных недрах, помещается узилище. Подкатили к глухим железным воротам, а там двор, подвал, стрижка наголо, холодный душ, полуобморочное бдение в боксе, наутро по коридорам в сопровождении цокающих сапог, мертвая тишина, щелканье языком, постукиванье ключом по пряжке, чтобы не столкнуться с встречным, гробовой шепот: лицом к стенке, руки на затылок! И, наконец, кабинет, и за столом ярославский русоволосый парень в лейтенантских погонах, с пистолетом у пояса; все известно, органы не ошибаются, никогда не ошибались и не ошибутся, и... пошло-поехало, пересказывать изнурительную процедуру следствия, полагаю, нет необходимости. Упомяну лишь об одном эпизоде.

XVII

Карлик-самодержец вел ночной образ жизни, бюрократия держала равнение на этот порядок и стиль, – этим, я думаю, а не только необходимостью изнурить арестанта бессонницей, объяснялся тюремный прием: в десять часов отбой, в одиннадцать вызов на допрос, который продолжается до утра, спать же в камере днем не положено.

Справа от двери, в углу помещались крохотный столик и стул для подследственного. Наискосок, на приличном расстоянии, у зарешеченного окна, за массивным столом под портретом Железного Фе-

ликса восседал следователь. В этот раз никого в кабинете не было, арестанта караулил надзиратель. Прошло полчаса. В царстве абсурда, как в средоточии урагана, царило гробовое спокойствие. Наконец, вошел человек в сапогах, синих разлатых штанах и мундире, в шинели, накинутой на плечи, в чине майора. Вошел доцент Родион Семенович Гартман-Добродеев.

Он прошагал мимо меня, сбросил шинель, снял фуражку и отдал все солдату. Коротким движением головы – проваливай. Уселся за стол и провел ладонью по блестящим черным волосам. Я смотрел на его руку с лишним, недоразвитым пальцем. В дверь поцарапались. Гартман постукивал пальцами по столу. «Да», – сказал он. Человек почтительно положил перед ним толстую папку и удалился. Гартман задумчиво глядел на папку, что-то соображал, посвистывал одними губами, барабанил по столу.

Гартман зажег настольную лампу и раскрыл дело. Я знаю, что оно и теперь хранится в архивных недрах, со всеми справками, отношениями, постановлениями, визами и печатями, с многостраничными протоколами – литературными упражнениями ярославского выдвиженца. По крайней мере, *эти* рукописи не горят.

Майор листал, читал.

«Ага».

Быстро проглядел две-три страницы.

«Ого! – двинул бровью и вновь углубился в чтение. – Ах вот оно что...» – как если бы то, что он там узнал, было для него неожиданной новостью.

Он еще полистал немного, захлопнул папку и устало вздохнул.

«Ну-с... что скажешь?»

Я пролепетал: «Родион Семенович...»

«Прошу называть меня как положено».

«Гражданин майор...»

«Я слушаю».

«Мне... я...»

«Можешь не продолжать».

Он говорил мне «ты», это было здесь чем-то само собой разумеющимся. Он вышел из-за стола, стоял у полуоткрытого окна. За железными прутьями – темные небеса, должно быть, мы находимся на каком-нибудь из верхних этажей, еле доносятся клаксоны автомобилей, там, внизу, в пропасти ночного города все еще копошится мышиная жизнь. «Жаль, конечно...» – он обернулся. Я смотрел на него с тусклой надеждой.

«Жаль, что тебе не дали дописать курсовую работу. Впрочем, Аммиан – историк так себе».

Вновь наступило молчание, Гартман повернулся спиной к окну, скрестил руки на груди, тускло светились его антрацитовые глаза, и по лицу ходили тени.

«Suum cuique!* Ты это заслужил. Каждый заслужил свою судьбу... Ты-то хоть понимаешь, что оказался здесь не зря?»

Арестант робко возразил, что все это – сочинение следователя.

«Может быть. А может, и не совсем. Подробности не имеют значения. Стилистика, – он скосил глаза на папку с допросами, пожал плечами, – стилистика, конечно, не того, орфография тоже оставляет желать лучшего. Они люди простые, университетов не кончали. Не в этом дело. Разве тебе не ясно? А я считал тебя неглупым молодым человеком... Кстати: тебе просили передать привет».

Я воззрился на него. Это не могло быть правдой.

«Между прочим, – сказал Гартман, подходя к столу, – я нашел здесь ее фотографию...»

И он протянул мне карточку Иры Вормзер, где она по-прежнему была необыкновенно хороша: ясноглазая, с нежным подбородком, с приоткрытыми губами, как будто готовилась что-то сказать. Должно быть, изъята вместе с моими тетрадками при обыске.

Он выхватил карточку у меня из рук, коротко поглядел на Иру, перевернул, ожидая, может быть, увидеть на обороте посвящение, – там ничего не было, – и швырнул на стол.

«Не беспокойся, следствие ею не интересуется», – пробормотал доцент, он же майор, он же Бог знает кто и что.

«Ты – дьявол?» – спросил я вдруг, – и до сих не могу решить, было ли это сказано на самом деле или придумано беллетристом, имя которому память.

Гартман усмехнулся.

---

* *Каждому свое (лат.).*

«О, нет. Это было бы для меня слишком большой честью...» Он что-то писал, посвистывал губами, спросил, не поднимая головы:

«Ты веришь в существование дьявола?»

На минуту, отложив перо, он превратился в прежнего Гартмана.

«Фукидид заболел черной оспой. Это было необходимо для того, чтобы он оставил нам потрясающее описание моровой язвы 430 года в Афинах. Тацита чуть не убили. Саллюстий за свои речи едва не поплатился головой. Но зато им описан заговор самого знаменитого авантюриста в истории Рима. К чему я все это говорю...»

Он продолжал:

«Я попытаюсь тебе помочь, но ты должен знать, что на волю ты уже не выйдешь. Кто сюда попал, тот... Вызволить тебя не сумел бы и сам Господь Бог. Если, конечно, он существует. Пожалуй, это менее вероятно, чем существование дьявола, как ты считаешь? Дьявол правдоподобней, его можно представить, можно описать, – чего нельзя сказать о Боге. А может, Бог и дьявол – одно и то же существо? Любопытная гипотеза, не правда ли? К чему я это... Отпустить тебя не только невозможно, но и не нужно. В некотором смысле нецелесообразно. Ничего, ничего, ты молод, как-нибудь справишься... Но зато, представляешь себе, через много лет – нас уже не будет – ты напишешь о том, что было. Зря я, что ли, учил вас, что значит быть историком? Ты опишешь нашу эпоху, твой отчет будет единственной реальностью – реальностью прошлого, а все это, – он окинул взглядом кабинет, портрет, окно за решеткой, – все провалится в тартарары!»

Вновь явился вертухай.

«Увести», – сказал майор.

XVIII

Я спрашиваю себя, что может быть интересного в этой истории юношеской влюбленности, перешедшей в безнадежную, изнурительную любовь, – истории, не правда ли, чрезвычайно банальной. Я не предназначаю ее для посторонних глаз. Но, с другой стороны, не может ли оказаться, что, повторяясь в каждом поколении, всякий раз по-новому, в новых обстоятельствах, она представляет собой «документ времени», что она «типична», – словечко, реабилитирующее банальность? По правде сказать, я в этом не вполне уверен. Мне трудно счесть свою персону настолько характерной; я дитя своего времени и вместе с тем пришелец из какого-то другого времени; я начинаю думать, что такие, как я, представляют собой, скорее, обломок эпохи, ее побочный продукт. Повторяю, эти наброски я делаю исключительно для себя. С какой целью? А вот на этот вопрос ответить в самом деле невозможно.

Итак, на чем же мы остановились... Чем закончим? Издав последний кишечный звук (громом прокатившийся по всему огромному царству), вождь скончался. Отошел, околел. Отбросил лапти. Откинул копыта. Врезал дуба, сыграл в ящик, почил в Бозе, отправился к праотцам, накрылся деревянным бушлатом – и сколько еще живописных выражений предлагает нам родная речь. Это был звездный час эпохи. Никто не знал толком, когда это произошло. Но произошло. Приоткрылись врата, чтобы тотчас захлопнуться, – но приоткрылись. Там, где я был, стояла зима. Пока ехал, наступила весна. Новый Гоголь держал вахту на своем постаменте. Милиционер шествовал по аллее. Его пронесло мимо, и в эту минуту Ира подошла ко мне.

На ней была пыжиковая мужская шапка, модная в те годы, несколько сдвинутая на затылок, и она чрезвычайно шла к ней. Я искал на ее лице знакомые черты и натыкался на незнакомое выражение. Она изменилась. Нет, она осталась той же. С каждой минутой она все больше становилась прежней Ирой Вормзер. Мы сидели на скамье. Разговор не клеился.

«Раньше был другой», – сказал я.

«Другой».

«И надпись».

«Какая надпись?»

Оказалось, что она даже не знает, что начертано на постаменте. Ее мысли были далеко, ее жизнь, как и прежде, проходила в таинственных сферах. Я чувствовал, что надо о чем-то говорить, удержать ее, что она вот-вот встанет, скажет: рада была тебя увидеть, надеюсь, у тебя будет все хорошо, – что-нибудь в этом роде, безразличным голосом, – и я в отчаянии буду смотреть ей вслед. Она меня ни о чем не расспрашивала, как будто мы виделись на прошлой неделе, как будто все было известно, но упоминать об этом не следовало, спрашивать не полагалось, как не полагается упоминать об определенных частях

тела; мы перебрасывались незначащими репликами, ей было скучно со мной, другие заботы и радости звали ее к себе.

Она рассматривала свои руки в маленьких замшевых перчатках, поглядывала на прохожих. Вокруг плескалась новая жизнь, матери сидели на скамейках бульвара перед детскими колясками, старики играли в шахматы. А я чувствовал себя живой тенью, выходцем с того света, я был незваным гостем, от которого, раз уж пришлось встретиться, надо было поскорей отвязаться.

Я спросил об университете – для нее это была далекое прошлое. Все благополучно окончили, работают кто где. Икс вышла замуж и развелась, у Игрек две девочки-близнецы, уже большие. Диоген Петрович умер, но это было еще при мне. Про Шанина она ничего не знает.

«А Гартман?»

«Гартман... – проговорила Ира Вормзер, – тебя интересует, как поживает Гартман. Хорошо поживает».

Пауза, тема иссякла.

Она спросила: «А как я жила, тебя не интересует?»

«Нет, почему же», – возразил я растерянно.

И опять повисло молчание, заговорив о себе, она, очевидно, подумала: а зачем? – и я понял, что сейчас она взглянет на часы, поправит шапку, ты меня извини, у меня срочное дело... Вместо этого она сказала:

«Знаешь, мы поженились».

«Ты вышла замуж за Гартмана?»

«Да. За Гартмана».

Несколько опешив, я спросил:

«Ты его любила?»

Она прищурилась и посмотрела вдаль. Женщины с колясками, старики-шахматисты.

«Сама не знаю. Наверное. Он у меня в ногах валялся, умолял выйти за него. Я согласилась...»

«И ты теперь... с ним?»

Она покачала головой. Взглянула на свои перчатки. Я не мог оторвать от нее глаз.

Она сказала:

«Он оказался очень тяжелым человеком. Помнишь, как он гадал у меня по руке? Как в воду глядел... Но не в этом дело».

«А в чем?»

«Я хотела ребенка. Он не хотел. Но я решила. Сказала ему. Он чуть меня не убил».

«Из-за этого вы и расстались».

«Да... то есть не только. Я родила».

«Ребенок с тобой?»

«Если бы это был ребенок... Он умер. На другой день после родов. А может быть, его умертвили».

«Как это?»

«А так. Он родился уродом. Он родился таким страшным уродом, что мне его даже не показали. И был жив».

Она проговорила:

«Он знал. Это я совершенно точно знаю. Он знал, что родится что-нибудь такое, и однажды сказал, если будет ребенок, я его убью. Я тогда не понимала, в чем дело, думала, что это его невыносимый характер. Он кричал на меня, топал ногами, а потом плакал и просил прощения. Ночь за ночью, он вообще почти не спал... Я просила его: только не бей по животу».

«А он бил?»

«Нет. Все требовал, чтобы я сделала аборт».

Я спросил, видел ли он свое дитя.

«Не знаю, может, и видел. Я велела, чтобы Гартмана ко мне не пускали. Домой не вернулась, жила у сестры в Калуге, пока не разменяли квартиру... И вообще я с тех пор его больше не видела».

«Он пытался тебя вернуть?»

«Даже с милицией. А что мне милиция?»

Мы некоторое время сидели молча, потом я заговорил.

«Ира... Я, конечно, человек бесправный... и надо еще устраиваться на работу, пока не знаю – где? Пока что временно прописан в Клину... Но ничего, я встану на ноги. Ира! – сказал я. – Выходи за меня замуж».

Она взглянула на меня, как мне показалось, с любопытством, и улыбнулась прелестной, грустной улыбкой, как улыбаются ребенку.

Надежда МАЛЬЦЕВА

Эмигрантский вальсок

† *Л.Т.*

Для того, кто забыл «сохрани и спаси»,
и бежит от себя в лабиринт ненадежных зеркал,
не последний троллейбус, не адский, в дыму самосвал –
голубое в тумане подкатит такси.

Открывается дверца из тонкого-тонкого льда,
«На Кулички!..» – и прочь от сивиллиных звезд
и немытой Расеи, где только и видишь окрест,
как во облацех темная ходит вода.

Молча крутит баранку водитель немой,
отраженье двоится, линяет, и вот
проступает сквозь зыбкий подтаявший лед
промежуток, не ставший ни светом, ни тьмой.

Я была там, и колышки вбила в песок,
но безвидные тени не помнят имен,
и не в такт одиноким шагам до скончанья времен
залихватски гремит эмигрантский вальсок.

Кто заказывал музыку, тот господин в голубом?
Передайте ему, что сегодня рояль в отпуску,
что сгорел таксопарк, что опять повезет дураку,
что, покинув тюрьму, соляным застываешь столбом!..

Звезды мчатся в пролом. Поздно ветхие сети чинить.
За углом только ночь. Разминулись с губами слова.
Минотавр излечился от ран. Ариадна мертва.
Но по-прежнему к сердцу привязана алая нить.

1994

Надежда МАЛЬЦЕВА родилась в 1945 году, ее стихи ценили Анна Ахматова, Корней Чуковский, Вера Маркова, Мария Юдина, Иван Елагин, Валерий Перелешин. Ее стихи не могли быть опубликованы в СССР, хотя печатались за границей, и только с конца 80-х годов стали входить в крупные поэтические антологии.

Жизнь в розовом свете

Памяти Алеши Дмитриевича

Тебя, читатель, не тошнит от роз?
Меня тошнит. Уже на грани сюра –
без них немыслим ни официоз,
ни гроб, ни свадьба, ни литература.
Их славословил каждый третий бард,
китайцы, персы, греки и арабы,
что розу петь, что русские ухабы
в сердцах облаять – мировой стандарт.

И в банный день, и в соловьиный день
на розы спрос, меж тем растут и цены,
и ежели от красных вдруг мигрень,
извольте хоть зеленых, джентльмены!
Пусть соловей, пришпиленный к шипу,
всенепременный атрибут поэмы,
на страсть к зеленым вдохновит толпу
и образцом послужит для богемы.

Эх, раз, еще раз!..
Растрясло от кочек.
Эх, два!.. – и погас
аленький цветочек.

Как хороши, как свежи были – что же
случилось с ними, временем, со мной?
Гляжу на мир из театральной ложи,
давясь в антрактах розовой слюной,
пока хоронят, бутафорским прахом
едва присыпав темя напоказ,
без лишней помпы, но зато с размахом
мою эпоху в адмиральский час.

Рождались врозь, уйдем поодиночке,
а в промежутке голосом волхва,
как заклинанье, из радиоточки
и днем, и ночью: «Говорит Москва»,
и розы, розы, розы, как в раю –
к столу, к обоям, к нижнему белью,
на потолках, на кафеле и тюле,
в алмазных лентах, в сомкнутом строю,
застывшие в почетном карауле.

Эх, раз, еще раз,
в розовом Манеже
на бис, в унитаз:
«Хороши и свежи!..»

Пока искали средство от наркоза,
арыки рыли, крыли рефери,
в глазах у Рильке задыхалась роза
и гибла в сердце у Экзюпери,
в метели Блока и в метели Шварца
под льстивый смех и пожеланье благ,
под Машин поцелуй у самоварца,
под пьяный рев оваций, под аншлаг.

Увы, читатель, нас лишили сада.
Могила розы, где она? Везде.
То ветер всхлипнет, то звенит цикада
о лепестках, кружащих на воде...
Упал забор, ушел в пролом садовник,
среди цветов пасется пришлый скот,
но сладко пахнет дикий мой шиповник
и в сумерках соловушку зовет.

1994-1995

Сидя на рояле

Нам сулили чудеса –
невесомые шинели,
золотые примуса,
птицу-тройку с карусели,
и катилась колбаса
к неприступной цитадели
сдобрить кашу из овса,
суп из серой вермишели
и турусы без колес.

Мы же, сидя на рояле,
воротя от жизни нос,
слали всех куда подале
и скучали на износ.

Ну, еще один калач,
за прогрессом побегушки,
ну, приветик из психушки,
школяры из ВПШа,
анекдоты про ерша,
рупь до вторника, стукач,
обнаглевший у кормушки –
все тошнехонько, и ша!..
Но на вдохи день кроша,
в четырех стенах, в отказе
белым парусом душа
по земной скользила грязи.

Торопясь вослед за ним,
не мечтая о расколе,
мы глотали отчий дым
в анаше и алкоголе,
обращая горечь в звук,
схожий с тягой в поддувале...
И тогда являлся вдруг
ангел света и печали,
чтобы запросто воссесть
с человечьими сынами
и пустую кашу есть,
пересоленную нами.

1991-1992

Заклятие паутины

Три девицы под окном
пряли поздно вечерком.
А.С.Пушкин

Где духи рек и гротов? Рощ священных
не сыщешь больше; на венце горы,
где боги жили, плющ ютится в стенах,
карабкаясь от скудости земли,
куда ведут или куда вели,
и хрипло дразнит эхо на аренах
моих сирен, умолкших до поры.

Молчи, молчи! как нить на мотовиле,
снует во тьме бессмертная душа
меж двух догадок жутких: «я в могиле»
и «я в тюрьме» – ни пакли для щелей,
ни хвороста, лишь кучка векселей,
оплаченных враньем гонимой пыли
и жалобой безумца-камыша.

Не ты ль, Лахезис, выкинула жребий -
ропща и мысля, бездны на краю
явиться в мир гнуснейшим из отребий
и с блудным сыном, чистым пред отцом,
носиться, словно курица с яйцом?
Где исцеленье? Рай, что твой Асклепий,
всегда имеет под рукой змею.

Его врата у трещины разлома
пусты и в полдень смотрят на закат,
в свободных яслях свежая солома,
лепешки неостывшие в печи...

Так обернись и порази в ночи,
сирен, зовущих из садов Содома
отдать дыханье за последний взгляд!

Но только пряжи ворожебный шорох
в сетях небесных, ясная звезда
едва сверкнув, теряется в узорах –
плодам не вызреть в столь короткий срок.
Один и тот же прерванный урок –
открыли полюс, выдумали порох,
убили Бога, в страхе ждем суда.

Что ты сучишь мне, Клото? драпировку,
узду, гамак? тенета, саван, плеть?
фату, на небо лестницу, веревку?
В глазах рябит. Жужжа, веретено
еще и жалит, как заведено,
и я держу ладонь наизготовку,
а с паутины сыплется ошметь.

Когда б вы знали, из какого сора
плетется жизнь и чем разят сердца
под причитанья греческого хора,
твердящего «иди и не греши»,
пока сквозь шаткий лабиринт души
спешит на звук шагами командора
проклятый монстр, изнанка без лица.

Клубится мрак. Темна и беспощадна
любовь в аду. Уснула на песке
с улыбкою блаженной Ариадна,
не ведая, что брошена она.
Песчинки снов, волна, еще волна.
И Дионис неплох – не в лад, да ладно.
Обрывок нити в любящей руке –

вот Смерти жало! вот триумф твой лютый,
зеркальный враг! Прочь, однодневка, прочь!
Дрожи и сердце бедное не кутай!
Атропос время ножницами рвет.
Так обернись хоть вполуоборот,
и вечность нам покажется минутой!
Но лишь сиренам отвечает ночь.

1998

Гуманитарный концерт с соловьиными язычками от леди Макбет

От пирогов не толстеют.
Астрид Линдгрен

Так о чем там свистал на дубу вековом соловей,
мол, мороз на носу, а король, как и водится, гол,
мелкой пташечкой летай, с поэтом под Брамса вдовей,
или все по местам, и хлебаем один пустосол?..
Живо водки наследнику! – лучше, свалившись под стол,
папу-маму не помнить, чем Гамлету сбиться с пахвей.

Молчаливо спускается старый кудесник с холма,
где на тризне бойцы круговые сдвигают ковши,
не метать перед свиньями бисер – не надо ума,
а любить их, как должно, увы, не хватает души.
В королевстве чума. Не кори же себя, не круши,
сохрани, что получится. Лютая будет зима.

Плещет в городе море квасное и винное без берегов,
язычков соловьиных, стерлядки, заморской халвы,
сыра, дичи, колбас, пирогов на столах, пирогов!..
А старик даже чарки не выпил. Жидеют волхвы,
ни потешных огней, ни кунштюков, играют в богов
да грозятся – идет саранча, струфионы и львы.

Так и я бы сумел. Испохабил погоду, юрод.
Приуныла дружина, и струны бренчат невпопад.
Где там Йорик, смолу отскребает с ворот?
Спой-ка нам «Соловьи, что слетаются в мой вертоград»!..
И младая, с перстами пурпурными, в мире вот-вот
встанет леди Макбет и потащит кудесника в ад.

1998

Белая чаша (контральто в сопровождении эвфона)

Маме

Белой чаши черепки –
знак конца, клеймо изъяна,
лапой сфинкса на куски
жизнь разбита бесталанно.

Головешка от звезды,
лепесток убитой розы,
заметенные следы,
неосушенные слезы...

Не собрать их по годам,
по уже чужому дому.
Я любому их отдам,
не нужны они любому.

Так зачем же я кружу
с ловчей сетью, и осколки
под тряпицею держу
на отдельной, верхней полке?

Чаша белая моя,
память, матрица, вращенье
чистой крови бытия –
Аз воздам и мне отомщенье!

Где же дивное вино,
что в тебе искрилось светом,
то зарей упав на дно,
то крещая осень с летом?

Звездный высыпет горох
над растоптанной дубровой,
расцветет чертополох
дикой розою махровой.

Похоронит век меня
рядом с ней, среди крапивы,
но автографы огня
на скрижалях неба живы.

Низойдет он в мой потир,
что хранится за иконой,
и воскреснет Божий мир
под тряпицей пропыленной.

1992

Леонид НЕМЦЕВ

Рассказы

Дунайская магнолия

I

В соседние апартаменты – благо, только две квартиры на этаже – въехала русская, имевшая обыкновение спускаться за почтой в черных колготках (равнодушно поднимаем наши старческие бесстрастные глаза), в короткой изумрудной блузке, под которой скользят бледные груди (возмущенный зигзаг вниз), и на высоких каблуках. Софья Андреевна всегда гадала, какие же вмятины остаются в полу от этих ужасающих шпилек, ведь полы в той неведомой соседней квартире такие же деревянные, как у нее. Соседка, несомненно, была русской – громко разговаривала по телефону при открытой двери, визгливо хохотала на лестнице, когда шла с гостями. Было страшно, что она начнет некрасиво смеяться над Софьей Андреевной, а та не успеет внутри своей квартиры прикрыть дверь в гулкую прихожую, и придется что-то неловкое про себя услышать. Но вульгарность соседки ее почти никогда не касалась. Софья Андреевна не нашла случая открыть свое происхождение, да и слишком походила на венгерскую пожилую даму, когда неторопливо закрывала за собой дверь в светло-сером пальто колокольчиком и тонких, тоже серых, но более светлых перчатках. Сама Софья Андреевна очень удивлялась, в какую европейскую старушку она превратилась, особенно неожиданны эти восковые ровные щеки, птичья горделивость и сложный рисунок морщин на шее. А как ей шли очаровательные шляпки с вуалями на уровне глаз, то, что специально предлагалось для семидесятилетних особ в ближайшем магазине «Жемчужина Будды».

Софье Андреевне очень нравилось любоваться своими безупречными отражениями в чистых стеклах витрин цветочных магазинов, боковых окнах автомобилей, в отсвечивающем зеркале реклам на остановках, отмеченных красными высокими столбиками. До того хороша была эта светлая старушка с ее чопорной дрожащей походкой, безупречной одеждой и синеватой тенью от короткой вуали (которая собиралась сбоку шляпки в воздушную черную розу), что она сама себе радовалась. Но и соседи по будайским улочкам с каким-то особым почтением и нескрываемым удовольствием поджидали ее неторопливый шаг, чтобы с избыточной радостью и многословно приветствовать ее. Она старалась отвечать по-венгерски, неизменно путая «регельт» и «напот»*, сияя сдержанной благодарностью. Среди соседей было много таких же, как она, старушек, таких же правильных и благообразных, в 12 часов дня многие из них стекалась в ресторанчик у Арпи, а потом, после обеда, либо возвращались домой, после чего их не было видно до следующего обеда, либо перед тем, как пойти домой, некоторые старушки заходили в кафе, где пили кофе и ели мороженое. Молодые люди неизменно уступали дорогу, начиная делать это шагов за шесть, и даже незнакомые здоровались и улыбались.

---

* *«Утро» и «день».*

Леонид НЕМЦЕВ родился в 1975 году в Самаре. Автор книги стихотворений «Неф певчих, неф бродяжий» (2001) и книги стихотворений и прозы «Наставники кусающих страниц» (2003). С 1997 по 2004 годы издавал вместе с писателем Андреем Темниковым и художником Сергеем Рутиновым (автором всего проекта) литературно-художественный журнал «Белый человек». В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Набокова, ныне преподаватель литературы в Самарской академии культуры.

Поэтому не было ничего удивительного в том, что молодая русская соседка, давно заметившая здешние безоблачные церемонии, почему-то старалась соблюсти их, и как бы не было скучно без русской речи, и как не было стыдно подслушивать проявления ее развязного гостеприимства, но Софья Андреевна понимала, что лучше не выдавать себя.

Двадцать лет назад Софью Андреевну в необъяснимой суете оставил муж, русский военный, и тогда один крупный венгерский чиновник мечтательно и немного издалека влюбленный в нее с шестидесятых годов, помог ей превратить бессмысленную советскую визу в венгерское гражданство. Софья Андреевна так и не научилась с ним разговаривать, сначала они, сталкиваясь на улице, обменивались вежливыми вопросами по-русски, потом чиновник начал русский язык забывать, и у постаревшей в одиночестве женщины не появилось желания связать свою жизнь с посторонним человеком, к тому же никогда не настаивающем на малейшем внимании к себе.

Муж Софьи Андреевны был серьезным офицером из кадровой службы, он всегда жил втайне от нее, когда это касалось работы, дымчатые подозрения в изменах никогда не прояснялись, они вели слишком уютную жизнь, которая становилась все обеспеченнее и комфортнее, пока не вылилась в бледное счастье переезда из-за колючей проволоки русского казарменного городка в одну из больших квартир маленького коттеджа среди настоящих будайских усадеб. Местные жители называли этот кусочек Будапешта деревней. Коттедж был окружен лужайками и цветниками, причем за Софьей Андреевной числился один из просторных углов внутри цветущего дворика с собственной скамейкой, вписанной в виноградную арочку.

Только однажды за мужем приезжали с работы, и он чудовищно кричал во дворе, пока водитель разбирался с мотором, и был еще случай одного единственного телефонного звонка, когда ответная речь мужа казалась катастрофой, мукой, жестокостью, следовали какие-то приказы, разносы, но Софья Андреевна настолько легко забывала всю служебную сторону их жизни, что и эти два недоразумения вскоре стерлись из памяти.

Муж уехал в Австрию, где поселился у кого-то, и вскоре сослуживцы мужа попытались объяснить Софье Андреевне, что он был пойман на непонятных экономических операциях, дезертировал и, зацепившись за иностранное подданство, не может перевести себе все свои сбережения. Два раза он тайно приезжал к брошенной Софье Андреевне и наставлял ее, как надо обращаться с их совместным имуществом, которое у нее скоро придется отобрать. Но потом он перестал напоминать о себе, говорили, что тамошний быт сложился еще лучше, а Софья Андреевна начала подозревать, что владеет чем-то чужим, но и квартира, и привычный достаток, и клумбы во дворе никуда не исчезали.

В Советской Армии, как выяснилось, за ней все венгерские годы оставалась фантомная должность учительницы географии. Она только год поработала учительницей в России, немного помнила ежедневную усталость и непрерывную головную боль (вертлявые стриженые затылки в грохочущей молочной мути), от которых ее избавило мгновенное замужество, как это бывает с юными учительницами и молодыми офицерами, и перевод мужа на службу в Будапешт. В Будапеште планировали открыть какую-то русскую школу, то ли для детей военных, то ли для венгерских детей; подобных школ было в избытке, но в этой начали искать служащих еще до начала строительства, и так получилось, что Софья Андреевна вспомнила о своей профессии, когда десять лет назад ей сообщили через переводчика, что по сохранившимся без ее участия документам ей положена неплохая пенсия. Она не смогла объяснить, что даже никогда не получала зарплаты.

В тех сбережениях, которые были переведены на нее мужем, она не смогла разобраться, ее путали и пугали суммы больше тех, что требовались на праздничную скромность месячного существования. И было что-то похожее на бережное устройство самого раннего детства и в ее незнании языка, и в счастливом спокойствии медленных дней, и в отсутствии малейших угроз ее блаженной хрупкости и ясному одиночеству.

Впрочем, если мы добрались до этого слова, то нет ли в его случайном появлении какой-то угнетающей обязательности? Ведь бывают же такие слова, которые сами включаются в уютном мраке, как автоматические светильники, имеющиеся в Буде на каждой стене. Можно было бы проскользнуть к подъезду в бледном свете луны, но электрический свет строго и яростно вспыхивает над тобой, и застаешь себя таким заброшенным, потерянным.

В Союз Софье Андреевне почему-то никак не хотелось. Если бы ей довелось когда-нибудь достичь психологической зрелости, то это произошло бы уже здесь, в Буде. Да и само ощущение зрелости приходило вместе с брезгливостью, как страх совершить воровство или ожиреть, что для Софьи Андреевны, всю свою жизнь невинной и тоненькой, было только дымным подозрением, только посторонней нехорошей сказкой.

Когда у Софьи Андреевны были знакомства среди жен советских военных, то многие из них отличались настоящим истеричным патриотизмом. Они носили русские вещи (тщательно выбирая их в магазинах одежды по изощренным представлениям о подлинном советском стиле), посещали только русские концерты и безупречно русские фильмы (вроде «Кубанских казаков»), и готовили у себя дома борщи, винегреты и яблочные пироги. Очень смущало то, что опытные кулинарши из числа венгерских служащих радостно сообщали им, что тоже обожают эти блюда, но только свекольник, квашеную капусту и штрудель – преступление готовить так небрежно, да и за одежду не стоило отдавать такие деньги, хотя, возможно, обман продавца заключается в том, что он сбыл залежавшиеся и совершенно не сочетаемые вещи.

Еще в молодые годы, когда судьба казалась временной привилегией, Софья Андреевна вращалась среди милых деятельных дам. Конечно, по своему происхождению все это были недавние крестьянки, медсестры из рабочих поселков, визгливые комсомолки (младших офицеров часто выуживали из глуши), но все они старались преобразиться, старались как-то открыто и солнечно жить, уравновешивая секретность своего оккупационного гетто праздной бурливой радостью. Это были большие стайки подруг, время от времени провожающие кого-нибудь в Союз, кого-нибудь встречающие из Союза, они издавали рукописные журналы, хором пели, делились книжными редкостями, щедро планировали совместные праздники, с неизменным валом новых стихов и песенных пародий на каждый день рождения.

Сейчас Софья Андреевна, когда случалось услышать местные хоровые репертуары среди русских собраний, не узнавала песен своей молодости и никак не могла признать новых, хотя и появились они впервые лет тридцать назад. Русские бабушки говорили о русских политиках, о русских актерах, о русских традициях, и все это было страшно не знакомо Софье Андреевне, так же как и венгерские политики, актеры, традиции.

Удачным тоном ее жизни стало то выжидательное удивление, которое появилось не оттого, что мир непредсказуемо изменчив, а оттого, что, вопреки опасениям, он слишком постоянен.

И было две особенно безграничных радости, которые Софья Андреевна пыталась незаметно для себя свести на уровень обыденного удовольствия. Когда никто не видит, часов в шесть утра, если позволяет погода, по большей части мягкая, Софья Андреевна выходила ухаживать за своей частью лужайки, копалась в своем цветнике, незаметно вдохновляясь и поправляя все проблемные цветы и травинки внутри доступного ей дворика, за что соседи подолгу разговаривали с ней и дарили маленькие подарки, вроде марципановых конфет или бутылочек вина. Софья Андреевна заметила, что новая соседка – русская – не знает о своем кусочке хозяйства вне дома, и не без преступного наслаждения обсаживала ее клумбу огромными лазурными фиалками.

Второе удовольствие – редкие миниатюрные картинки маслом – бесхитростные и скромные, выполненные без всякой строгости, радость выцветшей старости. Их Софья Андреевна писала у себя дома по памяти о местных достопримечательностях: например, ряды цветущих слив, елки в Рыбацком бастионе, платаны на острове Маргит, магнолия на берегу Дуная. Ни милых человеческих фигур, ни домов с причудливой лепниной и фигурками Богородицы в нишах, ни горделивых мостов, ни дворянских башен, ни удивительных бронзовых всадников Софья Андреевна не умела рисовать и даже не очень замечала их.

И вот, может быть, по причинам своей бесхитростной ненаблюдательности, жизненной невинности Софья Андреевна иногда подозревала, что чего-то о жизни не знает, чего-то не смогла сделать, что ее одиночество в каком-то смысле незаконно и что она проживает чью-то чужую, невольно присвоенную судьбу. Ведь доходили же до нее боль и недовольство тех людей, кто будто бы лишился своей подлинной судьбы?

II

Нет, не доходили...

Она знала, что пережила свои собственные потери, смерть состарившихся без нее родителей, не слишком щедрую привязанность мужа и утрату хорошей подруги, которая, как все ее знакомые, была возвращена в Россию, работала учительницей в Ленинграде и присылала длинные, сложные и очень печальные письма. Самое грустное было то, что Софья Андреевна лишилась лучшего, наиболее трогательного объекта ухаживания. Она в течение нескольких десятилетий собирала посылки, стараясь все подобрать правильно. Подруга слезно просила только одного, чтобы Софья Андреевна не присылала ничего такого, что пришлось бы кому-нибудь постороннему разворачивать, ломать, вскрывать. Платки, ночные сорочки, кофейники, мелкую хозяйственную утварь Софья Андреевна тщательно выбирала, и это было одно из лучших ежемесячных занятий. Ее подруга с восторгом принимала в подарок красочные альбомы живописи и путеводители по европейским городам, а счастливые внуки получали картонные блюдца с растекшимися по ним конфетами с орехами и марципаном, бутылочки с сиропами из фруктов с экзотическими названиями, а иногда бесцветных или раскрашенных солдатиков, немыслимо красивые конструкторы и миниатюрные поезда.

И если все-таки подумать, чему радоваться? Тому, что давным-давно она казалась более юной, чем ее многочисленные подруги? «Ты у нас молодая!» – всегда говорили они, и так кажется, что до сих пор должна продолжаться эта шутка. Но нет больше никаких подруг!

Кому понадобилось нарушать этот мирный порядок, – думала иногда Софья Андреевна. Советские люди приезжали служить в Будапешт и никогда никому не мешали. А что было бы, если бы со всеми я вернулась домой?

Сейчас, чтобы ехать куда-нибудь, чтобы, положим, отдохнуть в санатории, нужна только добрая компаньонка. Не деньги, не болезнь...

Софья Андреевна пришла в ресторанчик Арпи. Столики стояли в тесном дворике за глухим забором. Тут же принесли хлеб и тарелочку с огурцами, щедро залитыми уксусом. Потом появился гигантский бокал с лимонадом. Все это было настолько привычно, что странными казались те года, когда она никак не могла почувствовать вкус к этим странным изыскам: свежие овощи в едком уксусе и непомерные порции. Теперь она научилась особому будайскому режиму питания, когда завтрак и ужин были невероятно легкими, условными, а у нее чаще всего и отсутствовали.

День был особым, март потеплел, хозяин наконец-то вынес столики на улицу. Сегодня в меню непредсказуемого Арпи – после супа с горошком – был мелкий картофель с четырьмя кольцами копченой свинины и острой колбаской в центре каждого круга. Потом воздушный пирог с изюмом между листами слоеного теста: сверху в пудре, снизу в сиропе.

На секунду показалось, что за оградой прошли русские – в основном бабушки. И кто-то, похожий на Анну Федоровну из Ленинграда, внимательно посмотрел через калитку.

– Нет, здесь нам ничего не подскажут! – медленно, с очень отчетливыми русскими ударениями сказала пожилая женщина своим товаркам, и несколько грузных теней вразвалку побрели по щелям забора и веткам сухого еще винограда.

Софье Андреевне настолько редко приходилось появляться где-нибудь, кроме ресторанчика и кофейни, что она продолжала заботиться только о верхней одежде. Наденет пальто и лучится. Но весь ее внутренний быт и платья неизбежно засаливались и старели. Чудесный лазурный платок был по-прежнему легким, газовым и закалывался на шее бронзовой брошью с лазуритом. Он был расшит редкими пятиконечными снежинками, и ни одна ниточка до сих пор не вылезла. Но вот изнутри он давно уже лоснился из-за многолетнего обволакивания плюшевой морщинистой шеи. Длинные сережки из тусклого серебра оставались все теми же, так как должны были оправдывать вытянутые мочки ушей. Под пальто находилась особая угловатая кофта. И у сухих фигур бывают свои изъяны.

Сами собой прошли те времена, когда Софья Андреевна придирчиво исследовала все свои

одеяния, немедленно уничтожая все, что потускнело и одомашнилось. Она могла не копить, не перешивать, не чинить вещи. Ей так никогда и не пригодилось все то, чему ее с детства учила мать – вязание и цветная вышивка. Швейцарская швейная машинка, купленная сразу в первый год венгерской жизни (особая гордость семейной дамы), никогда не заработала и сейчас стояла в углу, как печальный памятник в честь матери.

Ведь это должно быть такой бедой – отсутствие общения, участия, понимания. Размеренная речь, уверенность, ясное, немного презрительное лицо – все это культурное достояние Софьи Андреевны никогда нигде не работало. В магазине, в турецкой бане ее приветствовали по имени, но дальше она оставалась в одиночестве. А ведь слишком часто местные ровесницы беседовали с ней, и не было никакой возможности подружиться с ними, ответить на приглашения. Звук ее полного имени и отчества казался самой Софье Андреевне забытым и неправдоподобным, и сама себя в мыслях она почему-то называла «матушка» или «лапочка».

Опять появились те же русские бабушки, и уже две-три головы заглядывали в ресторанный дворик. Вышел сын Арпи в фартуке, и его о чем-то спросили по-венгерски. Он тут же начал широко улыбаться, обводил пальцем какие-то дальние углы поверх забора, потом развел руками. Его не понимали.

Потом Софью Андреевну отвлек очень бурный разговор за соседним столиком – говорил один только черный невысокий человек с инфернальными ресницами, он с гортанными всплесками обращался к добродушному лысоватому господину, который всегда здесь обедал, был удивительно улыбчив, ни разу ничего не уронил, и за глаза назывался графом. Казалось, что всякая фраза смуглого шамана – стихотворная реплика. Слова, невероятно похожие на русские, и целые фразы мелькали в его речи, но Софья Андреевна давно привыкла относить подобные случаи к обману своего монолингвидного слуха.

Софья Андреевна даже не пыталась что-либо понять, но потом со стыдом вспомнила, что при появлении соотечественниц можно было бы испытать укол родственного чувства. Но давно уже было поздно. Она условно простилась со всеми, кто сидел в ресторане, и вышла на улицу. Можно было зайти в магазин, обойти район и посмотреть, не зацвело ли что-нибудь новенькое. Магнолии на днях зацветут.

III

Но главное дело на сегодня было сделано, обед завершен. Надо было идти домой и порисовать, пока в памяти держатся голые каштаны с не слетевшими и не раскрывшимися за зиму звездами.

И вдруг Анна Федоровна замахала ей с той стороны улицы, где находилась остановка автобуса с одной деревянной скамейкой, усыпанной мелкими желтыми цветами.

– Как я рада, – бодро говорила Анна Федоровна издалека, – ну ты посмотри! надо же!

– Ах! – ответила Софья Андреевна, перейдя дорогу и позволив тронуться машинам. – Здравствуйте! Вот и увиделись!

Конечно, это была не Анна Федоровна – не ленинградская подруга, – но эта бабушка точно когда-то была знакомой.

– Вы ведь Сонечка, правда? – спросила старушка, вглядываясь в Софью Андреевну с русской задушевной ясностью в глазах.

– Ах, да!

– Ну, надо же, какая красавица! Ты, Соня, всегда была молодой среди нас. И мы так тебя часто вспоминаем. А мне на прошлой неделе стукнуло шестьдесят восемь.

Возраст этот был более легким, чем у Софьи Андреевны, но та уже вспомнила свою особую роль инженю, которую постоянно поучали русские подруги.

– Мы с бабками решили сходить в настоящую будайскую «сукразду», чтобы поесть мороженого. Что-то ее нигде нет. Подруги нашли здесь хороший магазин, а я еду домой... Вот и встречаю тебя, такую дорогую куколку!

– Мороженое здесь, на Пашарети, – сказала радостная Софья Андреевна, гадая, сколько еще времени придется потом молчать по-русски, когда подруга покинет ее.

– Веди! – громко приказала подруга. – Я хотела мороженого. Когда еще сюда выберусь!? А с тобой нам надо о многом поговорить. Ты мне еще не сказала, что тут делаешь... Веди-веди!.. что-то от тебя никаких не было весточек, я переписываюсь со всей Россией... Идем-идем...

– Нам в другую сторону, – заметила Софья Андреевна, не ухитряясь поспеть за знакомой.

– Слушай, Сонечка, ты не знаешь, что это за желтенькие цветочки. Я который год радуюсь. Смотри сколько их, усыпаны буквально все улицы.

– Это фордиция, – с гордостью ответила Софья Андреевна, сверх всякой меры наслаждаясь русской речью и тем, что идет со знакомой.

– Вот ты-то мне все и сказала. А я буквально ни у кого не могу узнать. Лопочут по-венгерски – «феня», «феня», а я и не понимаю.

Старушки рассмеялись.

– По-венгерски я тоже все время забываю, – начала Софья Андреевна, – но эти цветы называют золотым дождем. Их с одного кустарника хватает, чтобы засыпать метров десять вокруг.

– Так они на кустах растут, – ответила подруга, очевидно отвлекаясь. – Смотри-ка, какое-то тут у них посольство с ангелками. Домики очень красивые.

Они добрались до кафе-мороженого «Alex» с большим павильоном над входной зеленой дорожкой. Через стекло павильона была видна стоящая на лужайке статуя – неуклюжая арфистка. Выполнена она была из неаккуратных шлепков невыглаженной бронзы, и, по замыслу автора, была какой-то нарезанной, расползающейся.

– Какая тут у них статуэтка, – продолжала подмечать спутница, сморщивая губы в сладкую кокетливую складочку. – Ну, сейчас мы намороженимся.

Внутри были пустые столики. На одном стояла вазочка с артистично отбитым краем и сухой нарцисс в ней. На другом столике у вазочки край был целым, но в ней находилось два нарцисса. Похожая на Анну Федоровну знакомая выбрала первый столик.

У Софьи Андреевны раньше – пока не стало тоскливо одной предаваться некоторым радостям – была страсть к тому водянистому мороженому, которым здесь угощали. Маленький шарик наполняли хрустящие льдинки, мороженое различалось на дюжину сортов и всегда удивительно свежо пахло.

– У меня накопилось кое-что от сына, я возьму сразу четыре шарика.

– Я угощу вас, – деловито предупредила Софья Андреевна.

– Да брось ты, – роясь в сумочке со злобой заговорщика, бросила спутница, – будем еще, как старые девы.

Софья Андреевна, не выходя из благостного душевного равновесия, хотела настоять, но та уже извлекла из каких-то платочков тряпичный кошелек и зажала его в кулаке.

– Ты как приехала?

– Я здесь живу, – с улыбкой ответила Софья Андреевна, будто предупреждая курьез и будто шутливо говоря – «ты у меня в гостях».

– Живешь? А муж-то где? Вы же возвращались.

– Нет, я сразу здесь осталась.

– Смогли, значит! Мы ведь с подругами потеряли твой адрес, как только вы съехали из военного городка. Все очень удивились, как это удалось твоему мужу выбраться. Да он у тебя мастак был воротить дела! Да вы ведь куда-то сюда и переехали. В гости мы, помниться, приходили, а сейчас забыли уже все. Как давно мы были молодыми куколками! О муже я твоем много чего слышала, ну его к чертям собачьим. Я ведь из России приехала уже лет восемь назад. У меня сын занят коммерцией, он посылает в Россию телевизоры и всякое видео, тут уже что-то наладил. Я ему говорю – перевози меня сюда, хочу назад в Венгрию. Теперь мне не дает воспитывать внука, здесь, видишь ли, родных бабушек не принято нагружать. Соседи странно посмотрят. Я с ним воюю, а он нанимает нянек. Но ничего, сейчас у него дела пошли хуже, мы живем в роскошных трех комнатах в Келенфельде, и на няньку скоро не хватит денег.

– А где это? – и после удивленного знака глазами Софья Андреевна добавила, – где вы живете?

– На этой стороне Дуная. Раньше жили в Пеште, тоже было неплохое место, но уже не в Пеште даже, а в часе езды до Дуная. А Келенфельд это слева от горы и до Дуная минут пятнадцать.

– Ах, – поняла Софья Андреевна, – прямо за Гелертом.

Все эти названия вечно не позволяли Софье Андреевне почувствовать себя коренной жительницей Будапешта. Еще она не знала очаровательного Сент-Эндре, смутно помнила бульвар Андреши и площадь Героев, и не могла похвастать тем, что пила золото токайского прямо из медовых бочек.

– Как хорошо, что я тебя нашла. Ведь у тебя хорошенький голосок. Мы поем, собираемся, выезжаем в разные города или на природу. Этим летом... Что ж мы летом с тобой не встретились?! Ведь мы ездили на Балатон... Я там купила вот этот камешек. Думаю подарить невестке.

На столике появился сердолик – оранжево-розовый и сочный, как нежный персик, если с надкушенного бока не собирать сок.

Софье Андреевне хотелось плакать, потому что она так любила петь и так боялась одиночества; ее мороженое уже растаяло, и тонкая линза воды проступила на нежно-зеленом и нежно-сиреневом шарике. Столько жизни все это время проходило мимо, что она взяла ложечку и попыталась охладить подступающие слезы. Она помнила, что все ее подруги так легко плакали.

– Ты что? Ты что? – говорила ее собеседница, невероятно осведомленная в выборах представителя Венгрии в Евросовет, – если он придет к власти, мадьяры могут пересмотреть наши паспорта и, чего доброго, вытурят нас из страны. Вот дошутишься... Как они нас не любят! Понимаешь, это по старой памяти. Ты знаешь, ведь постоянно подличают. Обязательно считай сдачу! А что в России творят?! Что творят! Анна Федоровна прислала мне вчера...

И дальше ровным озабоченным тоном звучал длинный рассказ о крошечных пенсиях, о плате за квартиру, о какой-то своей Анне Федоровне, о грубости ее родного внука, но как ни старалась Софья Андреевна проникнуться сопереживанием русской жизни, она никак не могла представить себе эту русскую жизнь, и более страшные вещи, которые рассказывала знакомая, начали пугать Софью Андреевну не тем, что она представляла их, а тем, что никак не могла понять, о чем идет речь.

Она смотрела на постаревшую знакомую, у которой, однако, глаза казались теперь яснее и пронзительнее, чем были когда-то. Одета она была в клетчатую непраздничную рубашку, и ее расстегнутая кофта так шла к недовольным политическим речам. На кофте между пуговиц были устроены клепки, из-за того, видимо, что пуговицы всегда выползали из вязаных растянутых петель. Было особенно грустно оттого, что Софья Андреевна, зная эту женщину, никогда еще не видела ее морщин, ее сухих желтых рук, ее условной прически – седых пластов, кое-как размазанных вдоль лба, а эта подвижность, эта жизнь так настраивали на долгую русскую мечтательность.

– Значит так, ты дашь мне свой адрес. Зайти я сейчас не успею, мне вести внука гулять. А завтра уже приду обязательно. К тебе, конечно, далеко ездить, надо будет купить трехнедельный билет. Тут как? не очень проверяют? Готовься, поедем завтра в наш хор. Да ты же кое-кого там знаешь. Правда, Анна Федоровна у нас умерла...

Софья Андреевна расплылась в улыбке и мечтательно покачала головой, не успевая перебить и успокоить. Речь шла не об ее подруге с родины, а, скорее всего, о той Анне Федоровне, которая была женой полковника Ячменева, и которую Софья Андреевна только что на днях видела на эскалаторе в магазине. Но ей трудно было говорить, язык стеснялся своей русской гибкости, и как человек, отвыкший от оживленного общения, Софья Андреевна постоянно отвлекалась и переставала слушать. То ее взгляд уводили сетчатые розовые колготки официантки, то синеватая пыль на цветных абстрактных барельефах вдоль арочек, то бесплотная мякоть в сердцевине выдохшегося нарцисса.

С ее места за столиком открывался вид на серую стену с проступающими на ней жгутами плюща. Это надо было рисовать. А выше над стеной поднимался двойной покров крыши – черепица и плющ поверх нее, залепленный серым пергаментом из многолетних листьев.

– Куда ни посмотришь, тут все огромное – анютины глазки и ротвейлеры, – засмеялась соседка, указывая на свой вид в окно. – А еще имеют манеру высмеивать Россию за бессмысленный гигантизм.

Софья Андреевна обернулась и увидела огромную чистую лужайку, отороченную великолепными радужными цветами с торчащими тычинками, которые никак не могла бы спутать с анютиными глазками. Тяжелый лохматый пес растянулся на стриженой травке.

Мимо них прошел молодой человек и тут же вежливо поздоровался со старушками.

– Твой знакомый? – тут же зашипела вновь обретенная знакомая. – А что же ты, какая доверчивая? Они тебе предложат помогать тебе, чтобы скрасить старость, а потом пристукнут и заберут все имущество. У них, знаешь, какая хитрая молодежь?

Пришло время выйти и искать остановку. Софья Андреевна двигалась прерывистой перестановкой тоненьких ног, а ее знакомая переваливалась, занимая много места локтями и боками.

На улице Софья Андреевна сладко вздохнула, потому что пахло новой жизнью, и потому что зима была короткой и не дала отвыкнуть от радостных оттенков и смутного шуршания мира. Ее спутница оглядывалась с хитрым прищуром:

– Это посольство я запомню. Мы все-таки выберемся сюда с бабками. Ну, ты, матушка, и забралась в дачный массив. А мы ведь поем каждую субботу. Ходим в гости. У моей знакомой огромная русская библиотека, ей подарил сосед, у которого отец всю свою жизнь собирал наши журналы. Мы слушаем пластинки. А, знаешь ли ты, какие бывают концерты в русском посольстве?

Все казалось новым для новых русских глаз. Софья Андреевна вспомнила, как официантка уронила вазочку с нарциссом и молитвенно сложила ладони вместе, как будто готовясь нырнуть щучкой. И этот обычный жест извинения теперь уже был странен.

– Хотя мороженое мне у них не нравится. Разве в мороженом должна быть вода?

И Софья Андреевна радостно кивала – зачем в мороженом вода.

– Нас постоянно просят петь цыганские романсы, и еще они здесь жутко любят Высоцкого. Ну, ты что? Не думаешь, что уже двадцать первый век и современные песни тоже надо знать. Ему, конечно, далеко до Петра Лещенко, но не бойся, тебе понравится. Зато для себя мы все время поем наши любимые.

Софья Андреевна думала по дороге: «Вот этот платан – одинокий, один на всю улицу. Я рисовала его уже четырежды, но надо попробовать еще. Очень уж он большой».

– Мы так хорошо поем, что нас часто приглашают выступать. Мы уже два раза приезжали на одну виллу за городом. У них каждую неделю концерты. Там держат павлинов в курятнике, а потом дают много вина и пирожных. А возвращаемся мы в темноте по длинной дорожке со свечками в банках по краям. А еще здесь есть русская церковь. Знаешь где?..

Они обошли фонарный столб с разных сторон, и спутница схватила Софью Андреевну за рукав и вернула ее назад, чтобы заставить обойти столб справа.

На остановке возникла заминка, старая знакомая задумалась о чем-то своем, и у Софьи Андреевны из вежливости появилось странное желание поохать, потереть поясницу, найти повод пожаловаться на что-нибудь. Но подъехал 5-й автобус. Бабушки поцеловались.

– Доеду до Москва-тер, а там уже знаю, как. Значит, не теряемся!

Софья Андреевна блаженно покачала головой и поправила вуальку, чтобы лучше видеть отъезд подруги. Ей на бегу посылали улыбки и наставительные взмахи рукой. Водитель автобуса совершенно равнодушно дождался конца церемоний и не спеша с бодрым шипением закрыл двери. Автобус тронулся и сразу сделал небольшой поворот, так что начал удаляться от Софьи Андреевны не вскользь, а полностью повернув к ней огромный экран заднего окна, в котором стояла старая подруга Софьи Андреевны и шуточно грозила ей слабым старческим кулачком.

Вдруг она бросилась к водителю – и автобус мягко остановился, и, казалось, боковая фара, как глаз покорного животного, покосился на Софью Андреевну. Добродушных венгров иногда можно уговорить остановиться не на остановке, хотя они и пугаются делать существенные нарушения.

Бабушка выскочила из автобуса и закричала из порядочного отдаления:

– Я дала вам свой адрес?

Софья Андреевна не расслышала. Знакомая тут же повторила свой вопрос на венгерском, очевидно понимая, что ее русская речь и неловкая задержка смутит пассажиров. Пассажиры весело смотрели в окно, радуясь тому, что что-то привлекло их внимание.

Справа от Софьи Андреевны за мелкой решеткой изгороди, за кустами золотого дождя сразу несколько маленьких детей кувыркались через надувные манежи среди двух осторожных такс и больших надувных мячей. Когда одна такса вскочила в поставленный на бок манеж, гигантская игрушка всей цветной легкостью обрушилась на какого-то малыша. Он долго обиженно выползал из-под нее и на воле тотчас заревел.

– Я оставила адрес, скажите? – кричала издалека подруга, и поскольку этот вопрос по-прежнему задавался по-венгерски, Софья Андреевна ласково кивнула. Прощально задрожали их правые руки в растопыренных перчатках.

Автобус наконец-то тронулся, в нем снова назидательно грозили пальцем и улыбались, а Софья Андреевна неожиданно замерла, повернувшись к ограде, и завороженно улыбнулась. Ей не было интересно то, как смуглая миниатюрная венгерка утешает ребенка среди акаций, потому что прямо над ними среди широких темноватых листьев тоненького деревца медленно раскручивался белый стручок из непомерно огромных плотных лепестков.

12 января 2005 г.

Сознание переселяется

Такая середина октября все равно подарок, даже если нет дождей. С утра мне показалось, что день будет полноценным, я даже забыл прихватить с собой зонтик, которым люблю дразнить полное солнце. Летняя одежда веселила фигуры людей. Особенно желтыми были прореженные листья осин, и вокруг них вились совсем июльские мошки. Мне захотелось пройти через сквер, чтобы сквозь непринужденную надежду проверить, не упало ли что-нибудь с каштана. Среди усохших чернеющих скорлупок с вялыми желтыми шипами лежали тоненькие ножки школьного стула, которыми мальчишки сбивают каштаны по пути в школу и обратно. Зачем им эти несъедобные декоративные камушки, я могу представить – у меня такая же детская тяга ко всему спелому, но требующему завершения со стороны воображения, – хотя уже в ста метрах от дерева каштаны можно увидеть разбросанными по лужам или надкусанными.

В ту самую секунду, когда я остановился под деревом, с досадой осматривая вытоптанную землю, мне под ноги вместе с обрывками зеленых листьев упали два свежих каштана. Они могли попасть в голову, но только кусочек скорлупы с ватным нутром задел рукав куртки, подняв с меня маленьких серых и оранжевых мушек, которые грелись на бежевом плече.

Два плода каштана были похожи на завитые шишечки из шоколадного крема, по-разному неровные, но одинаково аккуратные и аппетитные. Я бы тоже надкусил их, но у меня слишком развита репрезентация вкуса. На их выпуклой поверхности топографическими разводами с редкими сиреневыми оттенками был зарисован овраг или подводная впадина.

Я беспокойно поздравил себя с удачным днем, полная доступность и увертливость всего вокруг будили невероятный аппетит, самые невинные вещи начали вызывать счастливую паузу в легких. Можно было выбраться в город, чтобы на сносных улицах зацепить немного впечатлений, нежа в них и воспитывая любимые мысли.

На автобусной остановке я встал у самого края, подняв носки ботинок на бордюр. Загнутые вверх носы с поддельной клоунской тоской глядели на голый манеж, топчась по желтым листьям, и я начал покачиваться, легко взлетая в вихре от проносящихся машин. Безоблачное состояние лишало меня равновесия, так что если бы крохотная старушка, стоящая позади меня с запеленатым ведерком, или десятилетний ребенок с компьютерным диском в руке догадались толкнуть меня в момент медленного взлета, я долетел бы до чистого бампера какой-нибудь сияющей машины во втором ряду.

Уже из автобуса открылась длинная панорама людей и деревьев, расставленных с неуловимой логикой среди киосков и пустых машин. Я люблю такие состояния и знаю, что эта невнятная до сих пор логика сейчас начнет открываться. Танцующее сознание работает про себя втихую, с ленивой щедростью выдавая уже готовые выводы и осмысленные наблюдения. Но в такой день собственный разум еще можно упрекнуть в ненаблюдательности и указать ему что-нибудь просмотренное и подарить этой вещи значение чуда.

И вдруг с высокой девочки в джинсовой куртке, которая пляшущими шагами бежала за извивающимся курчавым псом, логика последовательно передающегося движения выдала себя. Торговка семечками сунула под мышку томик, из которого добывала бумагу для кульков и нагнулась, чтобы наполнить готовый кулек, в то время как пожилая женщина грузно поставила тяжесть на скамейку внутри автобусного павильона и плавным вращением кисти расслабила запястье. Под моим взглядом кто-то взметнул руку с часами, кто-то – по цепочке – поправил берет и оглянулся. Меня сразу заворожила эта кавалькада жестов, вся она казалась тонкой пластичной постановкой – ребенок выбросил из коляски погремушку, и мать с изящным спокойствием, не останавливая коляски, подобрала ее. Взгляд, как опытная цепкая обезьянка, неспешно перелетал с одного жеста на другой, и во все время своего перемещения ни разу не ошибся, не замер перед чем-то неподвижным.

Было так весело, я откровенно восхищался всем, что видел, и сидящая напротив школьница косилась на меня, отворачивалась и, не сдержавшись, нежно прыскала в стороны бесстрашными солнечными лучами. В проехавшем о бок трамвае все было глухо, не было даже глаз, люди смотрели друг на друга, только на передних местах вагона трогательная, будто заискивающая женщина сняла что-то с усов гневного растрепанного попутчика так быстро и легко, что он даже не успел дернуть головой. Мы обогнали этот трамвай, и сначала сквозь него в окне первого этажа появилась девушка, а потом прямо под душкой дворника, выгнувшись и встав на цыпочки, она задернула штору.

Нет, эта невыносимая сила приносила такое простое и деятельное счастье, что мне необходимо было ее немедленно испытать. Я скользнул взглядом по соседям, по школьнице, прячущейся от меня в насмешливый кулачок, по грузной старухе с каменными змеиными глазами и вдруг с циничной торопливостью озорника я наугад отшатнулся назад и шагнул под галстук одного аккуратного мужчины.

Это так завораживающе просто! нужно только выскользнуть из собственной тяжести, – я даже услышал, как уже не на мне, а вдалеке, в глухом кармане щелкнули каштаны, – и остается нырнуть в случайного господина. Этого, например.

Я с радужным ознобом открытия вытерпел вихрь тех возможностей, которые заголосили о себе, и около минуты качался внутри незнакомца, не веря себе и захлебываясь восторгом. Забавно было смутно начать узнавать самого себя изнутри чужого сознания, – когда я так отчетливо сидел перед самим собой, как посторонний, – и сразу с непривычной дотошной брезгливостью я оглядел свою неряшливую голову, переросшую бороду, несколько насекомых на бежевой куртке и отвратительно разношенные летние туфли с торчащими нитками на облезлых носах. Мне почему-то приятно было узнавать во всем этом облике признаки наивной бесполезности, которые подчеркивались трогательным округлым взглядом. С высокомерным равнодушием я почему-то сразу окрестил сидящего перед собой себя «интеллигентом», хотя давно уже забыл самый звук этого слова.

Похоже было, что тот человек, в которого я проник, только что обратил внимание на мой заброшенный облик. Значит, я сам направлял его взгляд, и он начинал следовать моему любопытству. Приличная строгая женщина, юная дурнушка и интеллигент сидели передо мной, и мне только не хватало занять свободное место в этом унылом квартете.

Еще я наслаждался чистым и резким чувством своей новой правильности. Ничто не жало в нагрудном кармане, хотя кошелек хранил довольно большие деньги. Это было удобно (немного закружилась голова от непонятной мне суммы, но тут же меня что-то одернуло, и идеи давно необходимых трат рухнули в бесчувственную бездну). Удобными были маленькие ключи в кармане

брюк, они пристегивались к ремню незаметной неощутимой цепочкой. Светлый кожаный ремень не ерзал на животе, как это бывает с дешевой одеждой – когда верхняя пуговица штанов неизменно выползает из-под пряжки. Хорошие фирмы оставляют на брюках темную атласную петельку, в которую продевается язычок пряжки. Когда интеллигент встал и неуверенно, с избыточной осторожностью прошел по моей ноге к выходу, я снова порадовался тому, что нисколько не похож на него. Такая разношенная подошва, что она даже не способна поцарапать лак моих ботинок. Была позволена тайная неуловимая улыбка. Мир полон красивых комфортабельных вещей, но несколько неандертальцев никогда не узнают этого. Я уже знал.

Кстати, этот ушедший был моим бывшим одноклассником (сам-то он пробовал сопротивляться, так как хорошо запоминал лица, но того, кто счел его своим одноклассником, в данный момент – изнутри – он не видел, архивы школьных воспоминаний были доступны, но, дергая подозрительно знакомые ярлычки, не вытягивалось ни лица, ни истории). Есть жгучее удовольствие в том, чтобы проходить неузнанным перед подобными людьми. Ведь, шутки шутками, а невольные знакомства прошлого пачкают зрелого человека.

Подошла моя остановка и, чтобы навсегда отделаться от неприятной встречи, мой подопытный вытер платком оба ботинка – сухой след на одном и несколько пылинок на другом. Урны по близости не было, и платок полетел к пивной банке в тень остановочной скамейки, которой мы и воспользовались, чтобы привести в порядок обувь. Городской автобус – это специальное место, где ходят по ногам. Настроение было отличным, и аппетит хищника распугивал голубей вокруг нас.

Около пятнадцати минут я провел довольно скучно, потому что он щелкал кнопочками мобильного телефона, и я не мог понять, чем он занят. Мне казалось, что его сознание мне все вот-вот объяснит, но все то время, пока он был занят, я переживал зловещее погружение в гулкую пустоту.

Мне удалось загулять в какие-то мнемонические закоулки, где со скоростью, удобной для восприятия, мелькнули туманная река, дачные качели, бойцовая брызгалка, наполняемая из испачканного в земле шланга, дуб из фильма «Война и мир» да гладенький Хрюша из снотворной передачи для малышей, который растворялся в углу пуховой подушки, а кровать подо мной складывалась в угловатую карету. Машина, которую мы выходим осматривать с кем-то из родственников (слишком бегло представленных); летний рынок в Туапсе; палец крабовой клешни, из которого за прозрачную пластинку я вытягиваю нежную полоску мяса; заднее сиденье мотоцикла – нога задевает грязное колесо и с туфли напрочь срывает подошву; хождение строем и глажение пионерского галстука с досадливо торчащими нитками по краю да несколькими чернильными точками в остром уголке. Я сразу заметил, что непонятные для меня вещи дотошно разъясняются, если у меня возникает желание, но я предпочел прогулку по образам, почти приближенным к моим собственным воспоминаниям. Это было собрание увлекательных шедевров, подаваемых, однако, с какой-то неизменной неловкостью – то ли с неудобного ракурса, то ли с неуместным комментарием («карету придумала сестра» или «этих крабов я объелся»).

Вдруг все снова заработало, и я узнал из телефонного разговора, что меня в ничуть не обременительном темпе несут в русский ресторан, где среди бревенчатых лесенок, лакированных плетней и кукольных самоваров нас будет ждать одна юная дама.

* * *

Казалось, что мозг, в котором я расположился, раздражен моим присутствием. Я явно был замечен. На секунду меня испугало предположение, что сейчас я буду вытряхнут на улицу и не смогу найти своего прежнего тела. Меня отвлек неожиданный поток рассуждений, направленный против меня, хотя странно бы было, если бы такие идеи могли сбивать меня с ног или оставляли бы на мне матовые синяки и звездные шрамы.

Мне – тому прежнему мне, который склеился в холодных складках этого на удивление монологичного черепа, – казалось, что до сих пор идут мои кровные мысли, я даже чувствовал,

как работают сосудики в головном мозге, как сладко и легко мне дышится. Я все еще восторгался своим сегодняшним открытием, как стал замечать, что меня грубо перебивают. Это поначалу было похоже на собственный мой внутренний голос (подумать только – внутренний голос, когда я внутри другого) – у многих людей есть ироничный спутник, гуляющий по внутренним паркам и влезающий в самые сокровенные парники с озорной проверкой. Но потом я понял, что это голос для меня совершенно посторонний.

«Всякая экзальтация, все высокопарные слова – это только словесный мусор. Кажется, об этом говорят современные философы, канты-мастурбанты».

Пренебрежительная ссылка на условный авторитет никогда не была в моих правилах. Тут я начал испытывать мозг моего подопытного: любимые цитаты, чувствительные рецепторы, потайные надежды. Не то чтобы у нас вышел спор, он никак не хотел делать свои возражения внятными, поскольку думал, что произносит для себя. Видимо, только поэтому они сохраняли монотонную экспрессию.

«Да уж, родители травили меня музыкой: куда ни сунься – хрустят пластинки или орет в ухо бас из старинного граммофона. Единственное, за что я им благодарен, – это за любовь к Высоцкому и Розенбауму, но никогда не прощу этих гладеньких клавиш, из-за которых у меня такие некрасивые распухшие пальцы».

Вот в моем прошлом не было никаких музыкальных уроков. Я снова застал себя за чудесным шпионством и рассмеялся внятности и простоте своего неслыханного подслушивания.

И как странно, что настолько неуловимо ты способен отвыкнуть от своих привычных мыслей и манер, а чужой характер проедает тебя, как простой воздух.

Впрочем, у меня давно было чувство, что это неизвестное тело остается в полном моем распоряжении, и мне легко узнать все его хитрости. Я видел, что приказ поправить прическу немедленно исполнен (причем рука развеселила меня тем, что преследовала чужой для себя жест, ища боковой пробор в откинутых назад волосах).

Я провел и другой шутливый опыт, попробовал поискать каштаны – и вялая непонятливая рука забралась в карман плаща. Мне пришлось скользнуть по позвоночнику беглой пробежкой, разыграться, с трудом отыскивая клавиши. Гамма ощущений здесь была такой крохотной и короткой, и так фальшивила, что с огромным трудом мне удалось поместить в скользкую глубину кармана два холодных фантома. Мой подопечный немного смутился. «Каштаны! Это каштаны!» – кричал я ему в восторге. «Чего еще?» – думал он, разрушая мою радость. Как я ни старался в обнаруженных призраках сохранить признаки каштанов, один оказался комочком иностранной ириски, а другой – карандашной точилкой в виде футбольного мяча.

Вдруг, с брезгливым любопытством, я почувствовал в паху какую-то шелковую сухую шероховатость. И тут уж память оказалась в моем полном распоряжении и скромно продиктовала мне, что я посещаю мастера, который бреет мои подмышки и промежность (возникала иллюзия, что профессионал педантично и безболезненно сбривает все лишнее, оставляя идеальную кукольную гладкость, а потом осыпает гигиеническую пустыню душистой дезинфицирующей манной). Таких фантазий я никогда не ведал! В этих подробностях для меня загадочной была не новая информация, не дикая чистоплотность, а то, с какой скованностью, как отстраненно я думаю о своих интимных местах. Было непривычно ощущать гениталии настолько далеко. Впору было посылать им дружеские телеграммы с уверениями в искренних симпатиях, но почтовые отправления в места ссылки здесь немедленно пресекались. Цензура вмешивалась в самый момент сочинения, сбривая с бумаги еле проращенные курчавые буквы.

Зато я владел безупречно отремонтированными зубами, и, признаться, когда язык не режется об обломки и не проваливается в огромные дупла, находя неприятные старые кусочки, ему так легко пляшется во рту и такая мятная свежесть вокруг. Было чувство, что я полноправный участник здешнего миропорядка, хотя большинство душевных движений и жестов только заранее информировали меня о том, что они будут произведены, и мне все равно нравилось мое участливое бездействие.

«Скоро солнце распухнет и накроет нашу жалкую Землюшку. Ученым все уже известно. У нашей планеты нет будущего. Нужен мне будет Пушкин тогда? Сейчас надо разобраться с тем,

что мы возьмем с собой, когда выберем подходящую планету. Нет, свои юношеские стихи я постесняюсь подсовывать, у меня есть гордость. Неужели этим умникам не стыдно продолжать их тусклую клоунаду? Стыдно должно быть в наше время так и не переступить порог дома Зрелости. (Сегодня у меня просто философский удар!)

Мелкие неудачники! почему так тошно от них? И это их взрослые рассудительные люди собираются спасать, пока они предаются своему бреду. Для них развивают экономику, занимаются сложнейшей политикой... Куда там! Нет, как-нибудь по-хорошему можно объяснить, чей хлеб они едят. Сегодня я сорвал такой процент, что дорого вспомнить, но я спокоен и невозмутим, и даже проехался на автобусе, потому что отправил водителя за девушкой. Вот это правильная жизнь, и все потому, что она окончательна».

Он думал, что продиктовал книгу... Все-таки, пройти свой путь до конца – это значит так никогда и не заняться искусством!

Я успокоился и отдышался. Мне по-прежнему было весело, и я надеялся вмешаться в ход его мыслей, как ребенок старается вставить новую полоску шпал из другого игрового набора перед самым приближением черного грациозного паровоза. Прицеп с углем катится сзади и угольная горка – живая деталь красного бортика, но этой машинке неведомо, что она – только современная электрическая игрушка.

* * *

Девушка сразу же бросилась к стилизованной телеге, загруженной ветками можжевельника и глубокими голубыми тазами с закусками. Она была такой говорливой, что меня закружило в чужой голове. Посмотрим, что тут у них за лакомства. Это были очень соблазнительные салаты (не сразу разберешь, что там – зеленые трубочки и фиолетовые медузы), корнишоны кольцами и прямые, маринованные кусочки мяса с бердслеевскими точками красного перца вдоль побелевших волокон, вареные шишечки спаржи, толстые спирали окорока с оранжевым краем, глазастая колбаса. С первой же пробы я отчаянно разозлился. То, что я гнездился в чужом мозгу, что мне не принадлежало чужое тело – при том, что я мог вызвать ощущение щекотки где угодно, на шее или пояснице – не давало мне права сочувствовать обычным людским ощущениям. И если осязание было еще как-то доступно, то вкус передавался в таком приблизительном пересказе, сквозь толщу чужого восприятия, что для меня не было разницы, жевали ли мы с моим испытуемым оливку или резиновый шарик. Когда подавали отбивную, занимавшую половину огромной тарелки, я даже не рассмотрел этот муляж, будто его величина только подчеркивала подделку.

Еще мне никак не удавалось разглядеть девушку, ведь, подумать только, через несколько часов я могу вступить... За соседним столиком сидела женщина с безупречной осанкой, перед книгой и стаканом с минеральной водой. У окна над масляным тортом резвились довольно пьяные юные бухгалтерши. Но на нашей избраннице взгляд не останавливался, будто стерлись ручки настройки, разъехались оптические линзы. В неуправляемом вихлянии взгляда, пронесенного мимо ее лица, я выхватывал бесформенную челку, комочки туши на ресницах – черную вербу, красную косточку ключицы, полную нижнюю губу. С чувством невнятной потери – что же такое я потерял? – я пытался нащупать какие-либо определенные эмоции, которые подчеркнули бы индивидуальность нашей дамы. Ничего не удавалось вспомнить, перед дамой висел уютный экран, по сию сторону от которого непрерывно крутилось условное представление из абстрактных эротических скульптур.

Первое время меня волновало то, что я стану незаметным участником чужой близости. Мне казалось, что я дрожу во внутренних улыбках своего увлекательного эксперимента. Несколько раз меня перевернуло отчаянной волной предвкушения, и целую минуту я с человеколюбивым облегчением наблюдал под собой внушительную эрекцию, разумно сглаженную одеждой. (Подлинного хозяина эрекции она сделала бледным и напрочь лишила аппетита.) Здесь снова была заметна скучная восковая невнятность чужого тела, тупеющего перед моим воображением. Вот так игрушечная армия не способна перенять решительность и благородство играющего

ребенка, жалкий пластмассовый штык гнется о застывшего противника, чье паденье на спину и негибкие кувырки никак не выводят его из свирепой целеустремленности. Меня давно утомили тактильные переживания, посылаемые сквозь вату, как фантомы. Я понял уже, что сбегу до начала сношения, но лучше всего мне открывалась бесплодная пустота моего возвращения. Я хорошо видел, что наблюдаю своего героя сквозь отрешенную тупость, и ничто уже не прояснит надо мной напуганного неба. А я все еще продолжал следовать ходами своего нового я. Мы не мешали друг другу, поскольку были одинаково опустошенными. Я наталкивался на его рыхлую душу, и она равнодушно убиралась в угол; в плече или подбородке ей действительно было уютнее.

«Я хочу ее! Это реально!» Тоска, которой пропитал меня чужой невнятный мир, была необъяснима, но безостановочно шла сквозь меня, выдувая целые залежи моих собственных воспоминаний и ощущений. Как погорелец, я замер во временном пристанище, с холодной отрешенностью наблюдая за тем, как просеивается мой дом, как рассыпаются книги и тайники, как из моего тела вымываются кальций и кровь, – то, что со стороны кажется обретением трагичного просветления. «Я уверен, я сделаю это! Что-то надо спросить у нее?! Хотя и так все ясно. К кофе надо взять по штруделю». Но как же быть с тем, чем я жил все это время? «Дурацкие выдумки! В мире слишком много клоунов». Я много выдумывал и верил только своему воображению, но где находится тот центр, в который мне следует вернуться? Путешествие затянулось, и родина мне уже неизвестна. «От клубничного ликера я начинаю думать каким-то тупым языком. Вон тот мужик ведет себя, как настоящий урка: расстегнутый ворот рубашки, золотая цепочка, никакой грубости – утонченное хамство! Но главное – голос, надо говорить в нос, – этому как раз нельзя научиться! Это тебе не новый русский, который подделывается под культуру воров. Красиво!» При той ясности, в которой находится мой разум, нельзя поверить, будто это состояние временное, и мне удастся вспомнить все, что я накопил до сегодняшнего дня. Этот опыт – и есть новое, ведь то, чем я жил недавно, тоже пришло на смену чему-то. «Я уверен в себе! Я хочу ее! Улыбается...» Может оказаться, что этот человек и есть я сам. А может статься, что это подарок, возможность прожить свою жизнь так, как я мог бы ее прожить. В конце концов, у человека не может быть никакой идентичности, и большинство вещей в этом мире – результат выбора. «А я ее возьму! Кстати, пить – все, пора заводить водителя и взять еще штруделя. Какой сегодня день недели?» Я все еще уверен в себе, я наделен интеллектом и, скорее всего, могу понять, что странное устройство существования – ложный залог для того, чтобы избегать жизни. Какое далекое, бездонное и пустое слово было для меня путеводным. Сегодня среда...

* * *

В ванной по давно заведенной привычке мое тело приготовилось почистить зубы перед поцелуями и обновить дезодорант, и потому начало с быстрой педантичной мастурбации. Никогда не следует удивлять девушку преждевременными эмоциями. Подлинный акт – второй, свежий и продолжительный, насколько потребуется. Правда, с легкой досадой мы почувствовали, выдавливая пасту, что уже вполне довольны сегодняшним вечером, и придется безрадостно тянуть время до возвращения в чресла томных переливов ложного уже желания.

С ошеломительной усталостью я сам невольно задержался за острый краешек пасты, лежащей на ворсе зубной щетки, и с брезгливым ужасом рассмотрел его лицо в зеркале, пока он защелкивал крышечку тюбика и чистил зубы. Мелкие черты грызуна с красноватыми веками и ноздрями, с самодовольством каждой морщинки – тонкой и заостренной, будто лицо исцарапано тщеславием. Не было никаких следов мира, пригодного для жизни. Мне казалось, что я обречен.

Я бросился вон из ванной, попадая в случайные предметы, везде натыкаясь на приторный душный запах – и в шкафу с доброй сотней галстуков, и в холодильнике с остатками торта и кремом от потливости ног, и в беспечной девице.

Я застал самого себя бредущим по светлому осеннему проспекту, и сразу нашел в кармане каштановые камешки, холодные без моего тепла. Мы стали взаимно греться, но куда им до моей грузной мутной тоски. Я даже не мог глубоко вздохнуть, так тяжело висела голова – больная и онемевшая до отчаяния. С трудом подняв ее на секунду, я только успел заметить далеко в начале улицы две светлых фигурки.

Не нужно было людей, не нужно было этого дня – какой кислой болотной болью он закончился. Я презирал себя, и казался себе ненужным, потому что вернулся в пустынный разграбленный мир, неуязвимые ценности которого больше не могли радовать. Я прекрасно видел слабость и ветхость всего того, в чем мы и не подозревали тления.

Нет, кроме этой тоскливой правды мне ничего не открылось, и я по-прежнему мог считать любую другую жизнь бессмысленной. Ни за что больше, ни в одного истукана, ни в одного счастливца! Но что мне-то теперь делать?

* * *

У первого дома на проспекте дымчато-лилового пуделя выгуливали девочка и ее маленький брат. Она была восхитительна, но, кроме воздействия на унылую писательскую или автоматическую мужскую наблюдательность, она удивляла еще каким-то неведомым образом. Не столько высокая, сколько точеная и тоненькая, в джинсовом костюме, она еще издалека шла как-то изломанно, неестественно, то ли мысленно танцуя под аккомпанирующую жестикуляцию, то ли что-то изображая для брата. Это была детская неслыханная грация – покачивание всем телом при неподвижной голове, и ломаные линии рук, и торжество на неопределенном лице. Вот так величие и превосходство незрелости выносит на зримый уровень те всполохи и те тайны, о которых мечтает посвященный. Это была красота без прошлого, красота победительной надежды, красота самых ясных воплощений и вымыслов (ценных тем, что именно сейчас они все абсолютно осуществлены).

Может быть, у меня не хватило бы воли и не достало бы памяти на неприятный опыт путешествий, – да и много ли я мог вспомнить в тот депрессивный момент, не успев еще войти в свои очертания, – возможно, я все-таки совершил бы безвольный нырок под чужую плоть, если бы волна красоты просто не вернула бы меня назад, засадив в себя навсегда среди медленно оседающих кристаллов взметнувшегося ила.

Безупречная красота, которая на самом деле отводит на второй план половые инстинкты: данная жажда безнадежна. Волна счастья путано уносит вас от того места, где среди обросшего пузырьками мха сияли вскрытые раковины, пока вам кажется, что взгляд прихватил дюжину жемчужин, и этого достаточно для обладания ими.

В одном каштане открылась трещина, я так сильно сжимал его в кулаке, что предупредительная пластинка тонкой скорлупы отворилась мне в ладонь. Знать нечто чужое, когда ты не способен уйти из себя и шевельнуться в себе, – это было настоящим состоянием, так что, придя домой, я лучезарно поздравил себя с открытием.

Два каштана я положил на стол, как безумец радуясь своей однообразной коллекции, – ведь по столу раскатились еще несколько каштанов, некоторые почернели, какие-то осунулись. Два в ножке монитора, один – закладка итальянского словаря. Когда-нибудь я собирался придумать, что делать с ними.

13 октября 2003 – 8 января 2004

Олег ДОЗМОРОВ

* * *

Подошел к самому себе
и дал по губе.
Отвесил еще оплеуху иль две.
Две.

Не будь идиотом, не будь, не будь.
Марш в путь.
Какой-нибудь марш сыграй на губе
себе.

Иди, отправляйся, не стой столбом,
не сиди за столом.
Рой, копай свой ход, бодай лбом,
как маленький гном.

* * *

Ради однокомнатной квартиры
тяжело трудиться десять лет.
«Ах, прощай, бряцанье праздной лиры,
я теперь рабочий, не поэт», –

сетовать. Из молодости выйдя,
распрощаться с радостью навек.
В зеркале – ланиты, очи, выя.
«Здравствуй, ординарный человек», –

умываясь, бреясь, чистя зубы,
по утрам приветствовать его.
Заменить проводку, ванну, трубы,
раковину. Больше ничего.

Творческую накопить усталость.
Распахнуть окно в убогий сад.
Если бы все это написалось
не сейчас, а десять лет назад!

Олег ДОЗМОРОВ родился в 1974 году в Свердловске. Окончил филологический факультет Уральского университета и аспирантуру. Автор книг: «Пробел» (1999), «Стихи» (2002), «Восьмистишия» (2004), вышедших в Екатеринбурге. Стихотворные подборки печатались в журналах «Арион», «Воздух», «Звезда», «Знамя», «Новая юность», «Таллинн», «Урал». Стихи переведены на английский, голландский и итальянский языки. Проза нон-фикшн «Премия "Мрамор"» публиковалась в «Знамени» (2006). С 2004 года живет в Москве.

Страсбург

Бьют часы на старой башне...

У ангела в руках песочные часы.
Другой дает сигнал с потешною гримасой.
Смерть костью шевелит – поберегись косы!
Но полдень, и петух проголосил три раза,

фигурки двинулись по кругу. Поворот –
к воскресшему Христу апостолы подходят,
часы двенадцать бьют, и разевают рот
туристы праздные и с кукол глаз не сводят.

Ага, понравилось. Всё разглядеть хотят,
сфотографировать и выполнить программу.
Не думайте, что нас вот так же воскресят.
Нам сдохнуть предстоит и провалиться в яму.

Ни жирной колбасы, ни девичьей красы
и триллионы лет в заплеванном бараке,
чтобы песочные перевернул часы
в апсиде ангелок и свет зажег во мраке.

* * *

«СентябЫрь. Сад весь в ожиданье чуда...» –
писал отнюдь не сельский пионер,
чуть опьянев от творческого зуда,
на несколько затасканный манер.
А непогода, между прочим, всюду
осенняя при неприятье мер
решительных, увы, сулит простуду,
и насморк, и чиханье, например,
при переохлажденьи организма.
Но осень наша, принято считать,
особенно способствует лиризму,
и осенью положено писать
роскошно, продуктивно, урожайно,
обильно, не «местами гениально»,
а гениально непрерывно, сплошь.
А между тем гляди: исподтишка
который раз природа начинает
обратный сочинительству процесс.
И полное собрание листвы,
в котором каждый клен как однотомник,
все ближе к избранному, а затем к цитате
все сводится оборванной одной.
И вот уже нам нечего читать,
парк грамоты не знает, ветер ищет,

кому задрать подол, за воротник
дождя насыпать – некому насыпать.
Затем приходит белый стих, который
себя сам пишет. Что ему читатель,
душа чужая, непонятная.
Потом молчит и он, как проза.

* * *

Город оплакал тебя дождем.
Где-то отправили дом на слом.
Застыл в центре города водоем.

Вот родишься в провинции, и потом
дождь со снегом и суп с котом.
Все мы думаем об одном.

Потому-то отправили дождь на слом.
В центре вырос отдельный дом.
Слез переполнился водоем.

* * *

Как алкоголик бережет недуг,
как перематывает руку туго
в подъезде нарк, как школьник прячет мук
позорный след, желая девку друга,
как, перепрятывая свой испуг,
игрок вдруг говорит себе «А ну-ка»
и скатывается в десятый круг
рулеточный, но вот какая штука –
так я скрывал сначала их отказ,
потом их управляемость, а после
их музыку простую, без прикрас,
в конце строки, и вечно где-то возле
заноза ныла, стыд колол мне глаз:
видны ли швы, запрятаны ли гвозди.

* * *

Как в поезде швейцарском, прославлять
который лишний раз нет смысла,
свежайший круассан уничтожать
и запивать водою чистой,
как в самолет из Мюнхена в Турин,
опаздывая вечно, что твой Тютчев,
сесть, Альпы пересечь и цепь вершин
рассматривать рассеянно, а лучше
в Люцерне, на мосту, как идиот,
расцеловать бродягу что есть силы,

как этих вожделелось мне высот,
когда бы это вовремя все было.
Ну а теперь смотрю на них с тоской.
Такие же Уральские, послушай,
к тому же были, в общем, под рукой.
И говорю швейцарцу: наши лучше.

* * *

...проблема слива...
Б. Р.

Метафоры нет лучшей, чем сравнить
природу и культуру, уподобить
одно другому; первую листву
и пробужденье вешнее природы –
чувств воскрешенью, ну а воскрешенье,
к примеру, чувств – цветению весны.
Но впрочем, это проза, говорите?
Ну да, Л.Н. Толстой, «Война и мир».
Пример, любимый так учителями
за простоту, наглядность: у героя
депрессия проходит – дуб цветет.
Но тут сравнение хромает, ведь одной
природе уподоблена другая.
Такие мысли мне пришли на ум,
когда я занимался важным делом:
с природой не поспоришь, я искал
укромный уголок и вдруг увидел
дом, особняк, забытую усадьбу,
приют бомжей, удобривших тут почву.
Окурки, мусор, пол сожженный, мел –
что лучше может быть, когда прижало,
да что тут объяснять: родной губернский,
но смело претендующий на званье
столицы третьей – что уже есть признак
провинциальности глубокой, город,
в котором я родился и люблю
который, в плане туалетов
(смотри-ка ты, оксюморон какой!)
собой являет полную пустыню
или сплошной публичный туалет.
Москва, конечно же, не лучше. Без обид.
Так вот, осуществляя наконец
желанье небольшое, ощущая
все, что естественно в такой момент,
и то, что, безусловно, всем знакомо –
гармонию, кайф, удовлетворенье –
найдите сами слово, я сравнил
природу и культуру, уподобил

одно другому. Долгое журчанье,
звук в барском доме том опустошенном –
есть нота екатеринбургская.

* * *

Переворошу стихотворенье.
Я писал его сто лет назад.
Сразу возникает подозренье,
но в подобных случаях молчат.

Где-то слишком густо, где-то пусто,
тут не я водил моей рукой.
Незнакомое приходит чувство
полного спокойствия, покой.

Что я вечно жался да боялся –
вдруг в окно увидят, что курю?
Все равно куда хотел пробрался,
ничего не страшно, говорю.

Андрей ПЕРМЯКОВ

* * *

Даше Тамировой

На вокзалах они виноградные:
семафоры, вагоны, пальто.
«Эти в кепках – такие занятные!»
Почему мы всегда не про то?

«Провожающих просим...» как скажете.
«Позвоню. Не теряйте билет».
Вы в окошко тихонько помашете,
я вам рожицу скорчу в ответ.

Эти в кепочках тоже прощаются:
угловатые, как домино.
обнимаемый отстраняется,
обнимающему смешно.

Заводные, холодные, быстрые,
как по серому камню вода.
Закурить и смотреть в золотистое.
Жаль, сейчас не дымят поезда.

Гусарское

Стихи – это карты: весёлый мухлёж,
отменная память, вино.
Обычная ставка – луна или грош
и небо на прикупе, но...
Отменная память отнюдь не музей –
скорее скамья подсудимых.
Стихи – это то, что крадешь у друзей,
у мёртвых и самых любимых.
И даришь, как дарят ворованный хлам:
за ради спасения чести.
Сдавайте, полковник. В стволах девять грамм.
Поехали. Козыри – крести.

Андрей ПЕРМЯКОВ родился в 1972 году в городе Кунгуре. Закончил Пермскую государственную медицинскую академию. Лауреат поэтических конкурсов «А-либитум» (Пермь, 2007), «Свезар» (Екатеринбург, 2007). Стихи печатались в журналах «Урал», «Волга – XXI век», «Дети Ра».

Дачное

Так и надо – чтобы холодина,
в белом небе белая заря.
Виноград краснее, чем рябина
только в первых числах октября.

В чайнике последняя мелисса.
Тонкий лист, похожий на билет,
прилетел из песенки про *лица,*
тех, кого сегодня рядом нет.

Осень дышит, как больной ребенок.
Дождик или очень мелкий снег.
На качелях серый медвежонок.
Кали-Юга. Двадцать первый век.

* * *

Так на Северном полюсе – только на юг,
так на Северном кладбище – только о птицах,
так уходят последними, целясь на звук,
так всегда умирает на первых страницах
тот, о ком на blurb jacket написано «ждал»,
или, если в кино — кто увидел котёнка.
Так, войдя в атмосферу, сгорает металл,
так (я помню ещё) проявляется плёнка.
Изумрудный Airbus заворчит словно тролль,
кучевые и город внизу станут пенкой.
Расставание так-то ведь вовсе не боль,
ерунда. Будто в детстве о гравий коленкой.

* * *

Нет-нет, не спать. Ну, разве полчаса,
я правда позвоню. Такие планы
свободно конвертируются в сны.
В чужие сны, где правят голоса,
и ждут Они, а комнаты длинны,
как похороны бывших звёзд экрана.

Неправильно проснуться на рассвете,
припомнить, где балкон, захлопнуть дверь,
тихонько дотянуться до задвижки.
Вот так. Почти тепло, когда б не эти –
счастливые билетики из книжки.
Подаренной? Забытой? Что теперь...

* * *

Отпустило потом, после сосен.
Незнакомый бухтел невпопад.
Здесь такая же вздутая осень,
но хотя бы не видно оград.

Больше света? Да нет, больше бреда:
сосны, водка, машина, другой...
И не то чтобы вечный, но этот,
как его, *безнадёжный покой*

* * *

На Полежаевской, на Курском, в остальных
местах, несообразных человеку,
сбиваясь, отражаясь в ледяных,
мешая одинаковому бегу
успешных, своевременных плащей,
цепляя злоумышленные плечи,
взыскать не света, но смешных вещей:
большой реки и окающей речи.

* * *

Город позорных фасадов, но правильных линий
осенью кажется чем-то навроде кроссворда;
каждый четвёртый троллейбус по-прежнему синий,
долгий маршрут до вокзала всё так же четвёртый.

Выжить в эпоху комфорта значительно проще:
что им до нрава и прочих ошибок природы?
Выйди у мэрии, сядь на автобус до рощи.
Пусто в салоне? Похоже такая погода.

Между последней и пивом пристало подумать о мести.
Urbi et orbi: Стоять! Нифига я не сдался!
А просыпаешься в поезде или в подъезде
и паучку на плече: «Ну, чего, дурачок, привязался»?

Александр КУЗЬМЕНКОВ

Рассказы

Вакидзаси

Детсад на пустыре начали строить в конце восьмидесятых, да так и не достроили, поскольку страна нашла себе другие занятия. С тех пор небо над ним было втиснуто в раму из ригелей, а ближнее пространство оккупировали перекрытия, намертво прижатые к земле собственной ненужностью. Металлурги, возвращаясь с работы, рассаживались на их шершавых слоновьих спинах, чтоб выпить водки, купленной в складчину. Из цокольного этажа выползали бомжи и терпеливо ждали, пока бутылка прекратит быть источником оптимизма и сделается стеклотарой.

Дневная смена закончилась часа три назад, и потому сейчас на плитах сидел один-единственный бомж, засушенный временем и невзгодами до спичечной ломкости. Свежего в нем было немного: ссадины, подернутые розовой, еще не успевшей почернеть, коростой. Центром его лица был спелый, изжелта-багровый фурункул с белой вершиной; глаза скрывались где-то на периферии, в проволочной щетине и складках морщин. Слышь, земляк, окликнул он Кравцова, купи ножик, да ты хоть погляди сперва, земляк. Какой еще ножик, спросил Кравцов. Кино про нидзю видал? вот такой. Не пизди, укоризненно сказал Кравцов. Бомж забожился, черкнув по горлу грязным, переломленным ногтем: вот бля буду, щас сам увидишь. Он ссыпался с плит, нырнул в амбразуру цоколя и тут же вылез назад с продолговатым газетным свертком в руках: на, гляди. В газете обнаружился слегка изогнутый, тронутый бурой ржавчиной клинок с круглой гардой и массивной рукоятью. Два стольника, объявил бомж. И куда я с ним, спросил Кравцов не столько бомжа, сколько себя. Стольник, взмолился бомж собрав рот в куриную гузку, земляк, да хули ты, в натуре, как не родной. Хер с тобой, стольник так стольник, согласился Кравцов, сам не зная, зачем, и спросил: а ты-то такое кино видал? Бомж, оскалив останки коричневых зубов, распустил рот в улыбку: я, зёма, много чё видал.

Заворачивая покупку в газету, Кравцов неловко зацепил острие большим пальцем. Тупое железо рвануло кожу, и он сунул палец в рот, ощутив языком лоскут отслоившейся плоти и металлический вкус крови. А ты газетку прилепи, посоветовал бомж. Столбняка мне только не хватало, ответил Кравцов. Он двинулся домой, держа порезанную руку на отлете. Винные капли крови редко и тяжело падали на землю и теряли свое естество среди частиц дорожной грязи.

Дома из кухонной двери высунулась Маринка, подруга жены: а вот и Ваня, садись с нами кофе пить. Внутри ее голоса жила влажная, обволакивающая ласка. Да мне бы палец перевязать, сказал Кравцов, порезался я. Маринка настойчиво завладела его рукой: я же, как-никак, врач. Все не по-людски, скривилась жена, а это что за металлолом? Объясняться не хотелось, и Кравцов сказал первое попавшееся: на улице нашел. Жена скривилась снова: выбрось, своего хлама девать некуда. Маринка, закончив перевязку, подняла голову: да ты чё? его почистить да на стенку, прикинь, стильно будет, у Ванечки вкус есть. Может, ты своего ненаглядного к себе заберешь, спросила жена, бери, недорого отдам. Маринка продолжила, будто и не слышала: Андрюшка Кабанов, одноклассник мой, на таких вещах вообще поехал, – голос ее увлажнился еще больше, глаза, рас-

---

Александр КУЗЬМЕНКОВ родился в 1962 году в Нижнем Тагиле Свердловской области. Закончил пединститут, был учителем, монтером пути, рабочим в черной и цветной металлургии, журналистом. С 1989 года живет в Братске Иркутской области. Последние три года – безработный. Несколько публикаций в периодике Среднего Урала и Восточной Сибири.

От редакции: *Мы поздравляем автора с только что вышедшей книгой – первым томом избранных сочинений «День облачный» (издательство* ***Franc****-Tireur USA (Вашингтон / Нью-Йорк)).*

ставшись с Кравцовым, смотрели куда-то внутрь, – ему бы показать, он историк, он разбирается, дать телефон? Дай на всякий случай, сказал Кравцов.

По телефону он позвонил дней через пять, большей частью оттого, что оставаться дома было невмоготу. Кабанов оказался тождествен своей фамилии: шесть пудов тренированного мяса, но неуютные глаза, пойманные в сетку красных, воспаленных капилляров, смотрели остро и испытующе. Бегло тронув клинок взглядом, он заключил: типичный вакидзаси – малый меч, оправа стандартная, времен Второй мировой, вообще-то офицерскому и сержантскому корпусу полагались большие мечи, но поди попрыгай по окопам с метровой приблудой на поясе, поэтому кое-кто предпочитал нетабельное оружие в табельной оправе, благо, командование не возражало. Видимо, красноармейский трофей, по-моему, не Бог весть что, но работа явно ручная – видите, какая неровная линия закалки? так что возможны сюрпризы, сейчас посмотрим. Скупыми хирургическими движениями короткопалых рук он разъял меч на фрагменты и присвистнул: да уж, сюрпризы, хвостовик слишком заржавлен, да и форма его – видите, на рыбье брюхо похож?.. нет, тут не сороковыми пахнет, а нет ли у вас медной монетки? Кравцов протянул ему полтинник. Кабанов осторожно поскреб ржавчину краем монеты, высвободив стертые очертания иероглифов. Я плохо читаю, твердо помню меньше тысячи знаков, сознался Кабанов. Он медленно, то и дело сверяясь со словарем, проговаривал: Мурамаса Хэйтаро для Ватанабэ Рантая из земли Каи, второй год Тэнсё*, ну что ж, поздравляю, классический миллион по трамвайному билету, нет, вы не представляете, что к вам в руки попало. Так объясните, попросил Кравцов, а то я дурак дураком. Если не ошибаюсь, это шестнадцатый век, и учтите: клинков школы Мурамаса уцелели единицы, но я не спешил бы радоваться. Что так, спросил Кравцов. Да так, ответил Кабанов неопределенно блеклым голосом, кстати, сам Рантай, судя по всему, обновке очень недолго радовался, полоса датирована вторым годом Тэнсё, а в следующем году армия провинции Каи полегла практически полностью, – он глянул на часы: прошу прощения, мне пора на тренировку, ментов, видите ли, дрессирую на предмет рукопашного боя, а вы бы не оставили мне клинок? попробую привести его в порядок, я, конечно, не профи, но...

*Слева, на бугре полоскался на горячем ветру княжий стяг Такэда – белый, с тремя красными ромбами, сросшимися в зубчатый восьмиугольник. В такт ему развевались флажки-сасимоно за спинами конников, застывших в ожидании приказа, – первый ряд в алых, будто забрызганных кровью, доспехах. Вдоль строя мерным шагом проезжал вперед-назад на вороном жеребце старый Найто Масатоё, положив поперек седла нагинату**. Кривое лезвие то и дело вскипало на утреннем солнце нестерпимо белым огнем, разбрасывало снопы искр, жгло глаза.*

*Дело складывалось так, что хуже не придумаешь. За спиной лежал непокоренный замок Нагасино, и в его стенах по-прежнему скрывался Окудайра Садамаса, озверевший от многодневной осады и движимый единственным желанием, – выйти за ворота, чтоб поквитаться за все мытарства. Ватанабэ лопатками чуял опасность, затаившуюся сзади. Спереди была опасность ничуть не меньшая. На том берегу ручья, рассекшего равнину, за решетчатым частоколом суетились стрелки в широкополых шлемах-дзингаса и грубых, сельской поковки, латах – вчерашнее мужичье из земли Овари, наспех обученное нажимать курок и орудовать шомполом. Время от времени среди них мелькал сам князь Ода*** в диковинном панцире заморской работы. Между частоколом и всадниками лежало поле, раскисшее от ночного ливня, и это было страшнее любой засады.*

*– Пойдем, как скотина под нож, – процедил сквозь зубы Огасавара. – Нам сейчас к лицу не красный цвет, а белый****.*

*– Покойный господин***** не допустил бы этой бойни, – отозвался Ватанабэ, поправляя шнуры шлема на подбородке.*

** 1574 г.*

*** Древковое оружие с изогнутой боевой частью.*

**** Князь провинции Овари, соперник князей Такэда, с 1568 по 1582 г. – фактический правитель Японии.*

***** Белые доспехи символизировали готовность умереть за безнадежное дело.*

****** Такэда Сингэн умер от раны в 1573 г.*

Откуда-то сзади донесся незнакомый голос, приглушенный наличником:

– Обидно знать, что тебя прикончит деревенщина, которая и меча-то в руках не держала. Шел бы дождь подольше, мы бы им показали.

Найто, привстав на стременах, рявкнул:

– Эй, там! Разболтались, что твои бабы! – и после короткой паузы, склонив на грудь рогатую голову, буркнул себе под нос: – Без вас тошно...

«Еще бы не тошно, – подумал Ватанабэ, – знаю, как ночью на совете ты едва в ногах у князя не валялся, умолял отступить, не губить войско ради собственной несусветной гордыни. Еще бы не тошно...»

На бугре князь Кацуёри, тщеславный и малоумный ублюдок, махнув кожаным веером, отрывисто пролаял команду.

– Великий бодхисаттва Хатиман! – исступленно выкрикнул Найто, ударив вороного стременами в бока.*

Из-под копыт полетели ошметки грязи. Лошади двинулись вперед тяжкой, неровной рысью, то и дело спотыкались, сбиваясь на шаг, но расстояние между всадниками и частоколом неумолимо сокращалось. Стали видны дымки ружейных фитилей. Стрелки выжидали. «Начнут у ручья, и меча-то вынуть не успеешь», – тоскливо решил Ватанабэ – и не ошибся. Едва кони заскользили на пологом берегу, из-за бревен раздался залп. Старик Найто попытался закрыться жеребцом, раздирая конский рот удилами, поднял вороного на дыбы, и тут же повалился наземь, выронив нагинату. Второй залп грянул почти без перерыва – видно, князь Ода успел худо-бедно пообтесать своих простолюдинов. Одна пуля ударила в грудь, пробив панцирь, вторая обожгла бедро. Ватанабэ, зажимая рану, попытался удержаться в седле, но тщетно, – кобыла, перепуганная пальбой, сбросила его. Он ударился о землю, жесткие стебли травы укололи лицо. Приподнявшись, Ватанабэ увидел, как Огасавара, уже пеший, последним усилием вырвал клинок из ножен, сделал, будто пьяный, несколько неверных шагов вперед и упал ничком в ручей, расплескав воду. Сзади накатывал волной и рос невнятный гул атаки, – ибо воины дома Такэда не отступают. «Конец», – мелькнула мысль. – «Сейчас затопчут». Он прикрыл голову руками. Ребра хрустнули под копытом, но тут из бойниц вновь заговорили ружья, и чье-то спасительное тело накрыло его сверху.

Город был придавлен громоздким монолитом неясного серо-зеленого света. Порубежье весны и лета непоправимо расплылось в слякоти. Голые ветви деревьев, ограбленных холодом и мокретью, равно соответствовали и маю, и сентябрю, и, глядя на них сквозь зеленоватую слизистую муть за окном, невозможно было понять, что на дворе, вечер или утро, весна или осень, – впрочем, редкие пласты черного, ноздреватого снега на газонах отчасти позволяли вправить суставы календаря.

Вой заводских гудков перестал рвать небо над городом полвека назад, но стрелки кварцевых будильников каждое утро разворачивались на сто восемьдесят градусов – короткая на шести, длинная на двенадцати, – и навязчивый электронный зуммер по-прежнему начинал отсчитывать чужое время, время полумертвого ума и оскоменных, марионеточных движений. Люди наполняли собой кровеносную систему улиц, умножали собой спрессованную тесноту автобусов, где бензиновая вонь перемешивалась с духотой человеческих испарений; в конце пути каждого ждал томительный многочасовой обмен вынужденного трудолюбия на вознаграждение в виде нескольких разноцветных бумажек, – всякий раз оскорбительно невесомое и большей частью призрачное, поскольку чаще всего оно принимало облик начальственных обещаний. Ближе к вечеру стрелки повторяли свой распахнутый жест, свидетельствуя о том, что чужое время прекращает свое течение до утра, но люди, отравленные его предчувствием, были равнодушны к этой малой милости и жили забвением самих себя, надеясь скудостью умственных и мышечных движений отсрочить неизбежное завтра. Лишь самые молодые решались обделить себя покоем и продавливали постели монотонными толчками тел, по-лягушачьи расшлепанных и разделенных непременной ribbed

* *Синтоистское божество, покровитель воинов.*

& lubricated резиновой преградой, отчего их совокупления имели неистребимый аптечный запах. Назавтра все начиналось сызнова, чтобы повториться еще раз и еще раз.

Невесть кем заведенный уклад попирал законы природы и разума, но рассудок, истощенный ежедневным исполнением чужой воли, отказывался принять эту простую, как хлебная корка, истину. Понимание должно было прийти извне, из газет, назойливо проповедавших рост двух ВВП; первый из них измерялся рублями, второй – процентами рейтинга, и оба были призваны насытить ближнего целью и смыслом. Но это, в сущности, были две ипостаси недосягаемого и потому неосязаемого блага, и люди в поисках осмысленности призывали на помощь воображение и обретали себя среди плоских теней на телеэкране, в радужных блестках чужого успеха, в патоке чужих чувств, в сперме чужих измен и говне чужих разводов – и, лишенные собственной жизни, неизбежно проживали чужую. Кто-то в отторжении себя шел еще дальше, менял имя, единственную неотъемлемую собственность человека, на вычурную болоночью кличку, а голос на птичий стук клавиатуры – и, умиротворенный, обитал в окружении зыбких фантомов, таких же, каким становился сам; press any key to continue. Иные, не имея своей жизни и не желая чужой, шли до последнего предела, с мужеством отчаяния истребляли в себе инстинкт самосохранения и протискивались в сумерки небытия, – но это были лучшие, и таких, как водится, были единицы.

Обморочное существование, которое отчего-то называлось жизнью, в иное время назвали бы помешательством, но те времена и нравы давно и прочно похерили, и теперь город жил именно так, и люди в нем жили именно так, и Иван Кравцов не был исключением.

День начался обыкновенно, то есть скверно, и начался он с режущего металлического света неоновых ламп и директорского окрика: Кравцов, я, по-моему, к тебе обращаюсь. Он оторвался от монитора: в чем дело? Нет, это я спрашиваю, в чем дело, сказал Вощанов, почему люди на крыльце курят, а начальнику производственного отдела по барабану, это твоя непосредственная обязанность – внушить сотрудникам, что рабочее время оплачено и является собственностью фирмы. Фраза, как и многие другие, была взята напрокат из американского пособия по менеджменту, спорить с ней было бессмысленно, и Кравцов предпочел промолчать. Во-вторых, продолжил директор, где у тебя Ахметзянова пропадает среди рабочего дня? В больнице лежит, объяснил Кравцов, у нее желтуха. Отношения с дизайнером Гулей Ахметзяновой строились на одной лишь устной договоренности, без записи в трудовой книжке, стало быть, больничный оплате не подлежал, и розовое, ветчинное лицо Вощанова осталось безучастным. Он еще раз оглядел помещение и уставился на битое оконное стекло: а это что еще такое? Батареи еще не выключали, растолковал Кравцов, очень душно, пришлось вчера окно открыть, а оно хлопнуло неудачно. Помоему, я запретил открывать окна, сказал Вощанов, мне что, видеокамеру к вам в отдел ставить? я поставлю. Так душно же. Вощанов, встав на цыпочки, поднес бумажку к вентиляционной решетке: вытяжка нормально работает, вам, может быть, кондиционер нужен? собирайте деньги и покупайте, я не возражаю, а за стекло вычту из зарплаты, – из твоей, Кравцов, вопросы есть? тогда я пошел, проводи-ка меня, Кравцов. Они вышли в коридор, и Вощанов, понизив голос, сообщил: значит, со следующей недели будешь подавать мне два отчета – один, как обычно, о проделанной работе, второй о настроениях в отделе. Прошу прощения, не понял, сказал Кравцов. До меня доходят разные слухи, я как директор предприятия, слухами пользоваться не могу, мне не сплетни нужны, а информация – теперь понял? Понял, ответил Кравцов, но это, по-моему, некрасиво. Вощанов посмотрел на него с тем дежурным сожалением, с каким обычно смотрят на олигофренов: ты не в курсе, что существует корпоративная этика? Эта штампованная американская аксиома также не подлежала сомнению, но Кравцов предпринял последнюю попытку: в моей должностной инструкции этого нет. Вощанов усмехнулся: нет – значит, будет, проведем приказом.

Час спустя секретарша Лена, соболезнуя щеками и ртом, принесла две бумаги: пожалуйста, Иван Сергеевич, вам под роспись. Это были два приказа, первый – об удержаниях из заработной платы, второй – об изменении должностной инструкции. Кравцов дважды добросовестно выполнил трехчленный канцелярский ритуал: «ознакомлен» – дата – подпись; «ознакомлен» – дата – подпись.

Жена, подобрав под себя ноги, каменной бабой утвердилась на тахте; в телевизоре на прекрасную няню рушились штабеля заготовленного впрок смеха, и прятаться от этой ежевечерней напасти в однокомнатной квартире было некуда. Спасением стал телефонный звонок Кабанова: где и когда мы можем повидаться? Если не возражаете, я бы опять к вам в гости напросился, ответил Кравцов, радуясь возможной отлучке. Да, пожалуйста, я сегодня как раз свободен.

На столе был зеленый чай, и на столе был меч; лезвие, избавленное от ржавых пятен, тускло блестело. Здорово, сказал Кравцов, совсем другой вид. Кабанов покачал головой: фигня, паллиатив, настоящая реставрация возможна только в Японии, скажите-ка лучше, что вы с ним намерены делать. Не знаю, сказал Кравцов. Давайте я вам кое-что расскажу, чтобы вы определились, я буду говорить банальные вещи, уж простите. Кабанов заговорил назидательным лекционным голосом, и видно было, что он обдумал свои слова заранее и тщательно: у оружия есть свой нрав, японцы делят клинки на два типа, это кацудзин-кэн, меч жизни, и сацудзин-кэн, меч-убийца, самые известные сацудзин-кэн ковал в четырнадцатом веке Мурамаса Сандзо, человек вздорный и мрачный, за работой молился о помощи не богам, а смерти, и изделия его были точно таковы. Князья Токугава боялись его мечей, как черт ладана: четверо в семье были убиты или ранены мечами Мурамаса, и потому Токугава уничтожали клинки этой школы при всякой возможности. О Мурамаса Хэйтаро, который делал ваш клинок, ничего не известно. Кстати, это говорит в пользу подлинности: какой дурак станет подделывать подпись неизвестного мастера. Так вот, о Хэйтаро: может, он потомок, а может, однофамилец. Допустим, это какой-нибудь правнук, – мастерства особого не унаследовал, а вот характер – вполне мог. Старшего Мурамаса сейчас считают шизофреником, и если это в самом деле его гены, то ваш вакидзаси опасен. Поймите Христа ради: человек свободы не любит, вечно ищет, кому бы подчиниться – другому человеку, деньгам, вещам, водке, оружию... Вы же окажетесь совершенно беззащитны перед ним, вам нечего ему противопоставить, да и вообще я не сторонник оружия в доме, закон Чехова, – если в первом акте ружье висит на стене, то в пятом непременно выстрелит. Кравцов кивнул в угол, где на черной лакированной подставке стоял длинный меч: а это как же? Испанский муляж, объяснил Кабанов, тренировочный вариант – тупой, как сибирский валенок, ну так что же, я вас в чем-нибудь убедил? Не знаю, надо подумать, ответил Кравцов, ожидая неизбежного в таких случаях предложения продать за бесценок, но Кабанов вместо этого сказал: ему вообще в этой стране не место, это же раритет, верните его японцам. Надо подумать, повторил Кравцов. Пока думаете, уберите его с глаз долой, посоветовал Кабанов, лучше всего в разобранном виде, полосу заверните во что-нибудь мягкое, типа фланели, чтоб окончательно полировку не портить – и пожалуйста, ради Бога, не пытайтесь им ничего рубить. Не буду, пообещал Кравцов и попросил напоследок: вы напишите мне на бумажке, как он называется, а то все время забываю.

Боль все еще донимала, но сделалась тупой, привычной, как назойливый писк комара. Однако вдруг она выросла, стала режущей и невыносимой. Ватанабэ со стоном открыл глаза. Над ним склонились двое. Один, тощий и темнолицый, с четками на шее, внимательно изучал его. Второй, круглоголовый крепыш с бородавкой возле носа, рвал с груди засохшее тряпье, приговаривая:

– Э-э, лекаря сильно худой люди... Она сильно любит всем-всем делать больно. Твоя не знал, да? Зато потом хорошо, совсем хорошо... Пуля шел насквозь, рана получился хороший, да, – пуля нет, гной тоже нет. Моя думает, легкий задет сверху, немного. Будем кашлять, да. Совсем мало. Станем пить травка, совсем как чай, он добрый травка. На нога совсем... как это? – царапина. Два ребры треснул, да, но чуть-чуть. А сейчас будем чуть-чуть жечь. Твоя ложись на брюхо, да? Сама не умеешь? Давай помогу. О-о, какая шрам! Копье?*

*– Нет, гэккэн**.*

– Моя брат тоже воин, большая воин. А моя не умей воевать, моя умей лечить...

Ватанабэ вздрогнул, почувствовав ожог возле позвоночника.

– Э-э, моя же сказала: лекаря любит делать больно...

** В традиционной японской медицине вместо иглоукалывания применяется прижигание.*

*** Древковое оружие с боевой частью в виде полумесяца.*

Незнакомцы заговорили по-китайски. Ватанабэ попытался вслушаться в их речь, но не сумел разобрать ничего, кроме «нии» и «чжегэ-чжегэ»**. Крепыш наложил чистую повязку и ушел, поклонившись. Ватанабэ не без труда перевернулся на спину.*

– Как чувствуешь себя? – спросил темнолицый.

– Где я? – ответил Ватанабэ вопросом на вопрос.

*– В монастыре. Ты прополз половину ри***, помнишь? Дальше тебя уже несли.*

– Этот... он китаец?

– Кореец, его мирское имя Пак. Плохой монах, – слишком любит выпить. Но хороший врач. Думаю, он поставит тебя на ноги.

– Не надо, – Ватанабэ попытался приподняться. – Дайте мне умереть. На мне срам поражения.

– Покажи мне этот срам, чтоб я мог взглянуть на него.

– Прошу вас, не смейтесь надо мной. Наш господин предал нас, и я не могу жить.

– Увы, ты глуп, – темнолицый поскреб бритый затылок. – Твой господин далеко, в своей вотчине. А ты зачем-то волочешь его сюда. Он тебе так необходим? Раз уж к слову пришлось: толкуют, уж он-то не спешил умирать. Напротив, бежал с поля так, что потерял княжью реликвию – шлем Сувахоссё. Рассуди, стоит ли он твоей смерти.

– Прошу, верните мне оружие. Я должен покончить с собой, – голос Ватанабэ сорвался, по щекам потекли предательские слезы. – Простите, я очень слаб.

– Что ж, тем лучше. Новорожденный немощен, и чем крепче он становится, – тем ближе к смерти. Будем считать, что ты родился заново. А мечей твоих мы не нашли, видимо ты потерял их где-то. Кстати, меня зовут Мокурай, а тебя?

Кравцов заполнял табель, против фамилии Ахметзяновой вытягивалась сороконожка букв «б». Позвонила секретарша Лена: Иван Сергеич, вас директор вызывает. Самому-то западло номер набрать, невесело подумал Кравцов, догадываясь, о чем пойдет речь.

В предбаннике, кроме Лены, сидела незнакомая особа с лицом, состоящим из пухлых, плотоядных губ, тщательно обведенных малиновым карандашом; Кравцов тоже сел, соблюдая очередь, но Лена показала ему на директорскую дверь: проходите, Иван Сергеич. Вощанов, демонстрируя энергичную занятость, не отрывал взгляда от бумаг: ну что, где баннер для «Промстройинвеста»? Вы же в курсе, что мы без дизайнеров остались, ответил Кравцов, Ахметзянова болеет, Петренко на сессию уехал. Директор, перелистывая бумаги, возразил: а это чья головная боль? сказано было – искать замену, почему не искал? Искал, сказал Кравцов, да кто пойдет на временную работу, и добавил: еще за такие-то деньги. Я ж тебе сказал: это твоя головная боль, не будет на этой неделе баннера – с тебя спросим, теперь дальше: почему в пятницу сдал один отчет вместо двух? с приказом ты ознакомлен, так что я слушаю. Мне эта затея не нравится, сказал Кравцов. Вощанов оторвал взгляд от бумаг: та-ак, работать мы не хотим, на фирму нам наплевать. Как аукнется, так и откликнется, сказал Кравцов, фирме тоже на меня наплевать, зарплата раз в три месяца. Пиши по собственному, ласково предложил Вощанов, человек на твое место есть, ты ее только что в приемной видел, работать, в отличие от тебя, будет. Смотря каким местом, подумал Кравцов, а вслух сказал: ничего я писать не стану, увольняйте по сокращению, со всеми выплатами. Нештатная ситуация упрямо не лезла в шаблон американского ликбеза, и Вощанов волей-неволей перешел на родную речь: ты чё, щегол, нюх потерял? забыл, бля, с кем говоришь? Это ты забыл, с кем говоришь, ответил Кравцов с непонятной самому себе радостью, расчет зарплаты на неоформленных работников позавчера подписывал? во-от, копии у меня дома лежат, черный нал налицо, мне до ОБЭПа десять минут ходьбы, а у тебя выборы на носу, залупу тебе, а не мандат с такой репутацией. Окорок директорского лица побагровел, Вощанов помолчал, прилежно соображая, и поднял телефонную трубку: ты в банке сегодня была? выдашь Кравцову зарплату за март

** Ты (кит.).*

*** Так сказать (кит.).*

**** Мера длины, равная 3,9 км.*

и за апрель и выходное пособие за три месяца, а эти подождут! дольше ждали! десять раз объяснять?! – он швырнул трубку и рывком ослабил галстук: а ты сдавай дела и проваливай на хуй. Кравцов вспомнил надутые резиновые губы в предбаннике: если твоя соска, кроме минета, что-то умеет, сама без проблем за день разберется. Следом за ним к дверям кабинета пополз злобный, полузадушенный шепот: копии чтоб сегодня же у меня были. По почте пришлю, мирно пообещал Кравцов, ну получишь днем позже, невелика разница.

С верхней площадки доносился тонкий и надсадный кошачий плач. Кравцов поднялся этажом выше: возле мусоропровода самозабвенно тосковал черный, чуть больше ладони, котенок. Пойдем ко мне, предложил Кравцов, присев на корточки, у меня молоко есть, а ты пацан или девка? ну девка так девка.

От молока кошка отказалась, мытьем осталась недовольна и несколько раз пыталась выбраться из ванны, цепляясь за скользкие эмалевые края растопыренными лапами. Кравцов вытер ее полотенцем, и теперь она, мокрая и взъерошенная, прихорашивалась на полированном журнальном столе, напоминая вздыбленный ирокез на бритой башке панка. В замке кратко проскрежетал ключ: вернулась жена и тут же уперлась недовольным взглядом в кошку. Это еще что такое? В подъезде подобрал, объяснил Кравцов, пропадет ведь. У тебя что, прикол такой – всякую дрянь подбирать? давай и я начну, куда потом побежим, а ты что вообще так рано? Я с работы уволился, сказал Кравцов. Жена опустилась на край тахты: это шутка такая? Какая шутка, говорю же, – уволился. Жена помолчала, собирая воедино разрозненные попреки, и мгновение спустя на Кравцова обрушился камнепад визгливых проклятий: у тебя крыша поехала, мудак, и так живем от получки до получки, шмотку купить не на что, ты что завтра жрать думаешь, хуеплет сраный? Кошка, перепуганная надорванным речитативом, шарахнулась под стол. Я вообще-то пособие получил за три месяца, сказал Кравцов. Да пошел ты в жопу со своим пособием, ни украсть, ни покараулить, пиздюк ебаный, мне двадцать семь лет, я из-за тебя ребенка родить не могу, с голоду подохнет, ты мне кошку вместо ребенка приволок, – кошку, блядь! Жена сорвалась с места и, не прекращая причитать, кинулась к шифоньеру: пиздец, хватит с меня, я жить хочу, ты меня достал на хер. Ты куда собралась, спросил Кравцов. А тебя, козла, не ебет, ответила жена, приминая в сумке непокорный ворох тряпья. Как знаешь, сказал Кравцов.

Дверь хлопнула, Кравцов и кошка остались вдвоем в притихшей квартире. Он снял телефонную трубку: здравствуйте, Андрей, а подскажите какое-нибудь японское женское имя, чтоб для кошки подошло. Н-ну, скажем... Мурасаки, ответил Кабанов. Нет, не нравится, больно уж на Мурку похоже. Мурка, Маруся Климова, рассмеялся в трубку Кабанов, а если Миёси? Уже лучше, большое спасибо, сказал Кравцов.

Он вынул из кармана бумажник, набитый пятисотками, и зачем-то пересчитал купюры: их было сорок, итого двадцать тысяч. На жизнь должно хватить. На очень недолгую жизнь.

Ватанабэ склонился над чистым листом бумаги, начертил кистью несколько знаков, но тут же вымарал.

– Ты пишешь письмо? – раздался сзади голос Мокурая.

– Я хотел бы сложить стихи.

– Прощальные? Все еще хочешь выпустить себе кишки?

– Нет. Стихи о павших при Нагасино.

Мокурай одобрительно хмыкнул:

– Я был худшего мнения о нынешних самураях. Думал, если они в чем и смыслят, то лишь в «Биншу», и нет среди них второго Таданори**.*

– Наш покойный господин поощрял книжные занятия. Ученость для человека, говорил он, что листья и ветви для дерева.

** Свод китайских трактатов по военной науке.*

*** Правитель земли Сацума, военачальник и поэт, погиб в 1184 г. в битве при Ити-но-Тани; популярный герой средневековых военных эпопей и театра Но.*

– Так что же твои стихи?
– Ничего не выходит. Жаль, но я не Таданори.
– И в чем же помеха?
– Мне не написать лучше Сайгё:*

Сердце в себе умертвил.
Подружилась рука с «ледяным клинком».
Или он – единственный свет?
Озаряет поле сраженья
*Месяц – туго натянутый лук.***

– Как ты поступал со своими врагами? – спросил Мокурай после недолгого молчания.
– Убивал, иначе они убили бы меня, – пожал плечами Ватанабэ. – И что же?
– Так убей Сайгё, раз он тебе мешает, но прежде убей Ватанабэ Рантая, – пока они вдвоем не прикончили тебя.
– Простите, я не понимаю.
– Не думай, что я сам себя понимаю, – усмехнулся Мокурай.

Кравцова обступили странные, пустынные дни и ночи, наполненные бессонницей, хотя соседский приемник, начиненный разнокалиберной попсой, вежливо умолкал еще до полуночи. Вечерами Кравцов подолгу и трудно соскальзывал в дремоту, тихо и счастливо теряя самого себя, но непрочное, паутинное полузабытье в одночасье рвалось, и он распахивал глаза, наткнувшись всем телом на внезапную преграду, непонятную и неподатливую. Он мучительно пытался зарыться в сон, но вместо этого зарывался в противную мякоть подушки, нагретой с обеих сторон, и в конце концов оставлял истерзанную постель. Подчиняясь чему-то безотчетному, но беспрекословному внутри себя, он клал на колени клинок и надолго застывал, пристально вглядываясь в подступившую тьму. Он совладал-таки со звуками чужой речи и невесть зачем шептал: вакидзаси, и немного погодя повторял: да, вакидзаси, и это древнее слово тревожно холодило рот.

Меч, что лежал на его коленях, был поверенным мертвых, тусклый глянец лезвия хранил их яростную память: небо, расчерченное стрелами и небо, расчерченное дымными ракетами, хрипы побежденных и крики победителей, мрак, распоротый языками взбешенного пламени, неистовый стук копыт и неистовый стук пулеметных очередей. Настоящее в эти часы умирало, однако отзвуки и отблески прошлого жили свирепо и взахлеб и принуждали жить – обременяли душу невнятным, безысходным знанием, корежили тело, заставляя мышцы каменеть в напряженном ожидании неведомого, но наступало утро, и сон, снизойдя до подачки, укрывал Кравцова тонкой, полупрозрачной кисеей, сквозь которую сочился ручей чахлого серо-зеленого света. Вместе с ним в путаницу видений просачивались голоса улицы, где по-прежнему тяжело перекатывалась река чужого времени.

В один из вечеров воды ее расступились, выпустив на берег Маринку, она была влажная и липкая, приторно-сладкая, как перезрелый персик в лопнувшей кожице. Она пришла в настойчивом нетерпении, спеша поручить влагу своего тела и сладость своих губ рукам и губам Кравцова, уверенная в черной магии грешной женственности, готовая обманывать и обманываться, лишь бы докрасна раскалить пепельно-серую мглу городских сумерек. Но разрозненные тела так и не обрели друг друга, ибо между ними лежала непобедимая, до черноты выжженная пустошь ожесточенного отчуждения. Рядом с мертвой памятью все оказалось напрасным, – и жаркий, срывающийся шепот, и медленная, шелковистая ласка пальцев, и мокрый трепет жадного языка. Маринка, полагаясь на змеиное могущество бабьей волшбы, измучила его и себя неутоляющими, бесплодными прикосновениями, однако ночь, единственная союзница ведьм, отступила, рассвет

** Поэт XII в., один из создателей стиля «югэн».*
*** Перевод В. Марковой.*

означал поражение, и она ушла, потерянная и притихшая, безропотно и бесследно растворившись в зеленоватой мути нового дня.

Следом от Кравцова ушла Миёси. Она оказалась нелюдимой, упрямо не отзывалась на кличку, старательно хоронила от человека свою малую жизнь в дальнем углу и оттуда провожала хозяина настороженным желтым взглядом, но в один из дней вдруг выгнула спину, бросилась к двери, заскребла когтями металл и заплакала навзрыд и безутешно, как давеча в подъезде. Он открыл дверь: иди, раз уж хочется. Кошка опрометью, суетливо метнулась в проем, чтобы больше никогда не возвращаться.

Кравцов, изъятый из обращения, отлученный от чужого времени, мало тяготился сиротским существованием и не выходил из дому без крайней необходимости. Нескончаемый трехсотметровый путь до ближнего магазина и сутолока стали ему невыносимы, и он всякий раз спешил вернуться к себе, все больше замыкаясь в брезгливом презрении к человечьей возне за наглухо зашторенными окнами. Он спускался на улицу, когда на западе переставала кровоточить рваная рана заката, и ночь опустошала мостовые, и томительное биение выморочной жизни замедлялось до брадикардии.

Дышалось на улице тяжело, будто сквозь мокрую тряпку. От сырости, фабричной и бензиновой гари неоновый свет сгустился, сделался непроницаемо плотным и слоистым. В какой-то момент Кравцову показалось, что если фонари погаснут, дышать станет легче. Уходя от серого уличного марева, он сворачивал в темные дворы, где пахло мокрым асфальтом и прелыми прошлогодними листьями, а фонари рассеивали приглушенные лучи слабого чайного цвета.

Кравцов ступил в желтый круг фонаря, и навстречу ему из мрака соткались двое, дохнули перегаром: дай закурить, мужик. Извините, не курю, ответил он. Двое глумливо захихикали: ссыт, бля, значит уважает... Главное было не допустить себя до первого страха, который и определяет исход; Кравцов прислушался к себе, но страха не было, было лишь ленивое, неспешное любопытство, – как далеко способны они зайти в поисках чужого унижения. Я не испугался, сказал Кравцов, что дальше? Один шагнул к нему, занося широко расставленную пятерню: щас увидишь, пидор мокрожопый. Над Кравцовым нависло бугристое лицо, разорванное смрадным оскалом. Тягучее мгновение расплескалось до размеров вечности. Кравцов одной рукой перехватил в воздухе большой палец, выламывая его из кисти, другой рванул из-под куртки вакидзаси. Нападавший, следуя направлению боли, стал заваливаться назад, зашарил свободной рукой в воздухе, пытаясь нащупать опору. Меч обрел жуткую бумажную легкость, продолжил собою предплечье, всецело покорный ладони, крепко обнявшей рукоять. Коротким и точным движением Кравцов послал клинок в основание шеи. Нападавший сложился пополам, будто картонная коробка, недоуменно выплюнул длинную черную слюну и грузно, мешком лег под ноги Кравцова, часто и сипло задышал дырой в горле, загреб руками по асфальту, пытаясь удержать возле себя иссякшую жизнь. Разлитое мгновение миновало. Второй отступил в спасительную тьму, слился с ней и стал незаметен.

У себя в подъезде Кравцов снял кроссовки и бросил их в зловонную пасть мусоропровода. Дома, в ванной он сунул клинок под струю воды, и та порозовела. Это розовая вода, пробормотал Кравцов с усмешкой, просто розовая вода. Мельком глянув на себя в зеркале, он отпрянул: вместо лица оттуда смотрел гладкий, безглазый шар, бледный, как картофельные ростки. Кравцов почувствовал себя наглухо укутанным в войлочную усталость; она позволила принять увиденное без боязни, как должное. Шатаясь, и стены комнаты шатались вместе с ним, он дотащил самого себя до постели и провалился в кромешное безмолвие.

Кравцов пробудился лишь к вечеру, подумал, не включить ли телевизор, но что могла сказать с экрана заводная кукла? казенная, слово в слово заимствованная из милицейской сводки скороговорка диктора была знакома до оскомины: на-улице-Дзержинского обнаружен-труп-неизвестного-мужчины с-признаками-насильственной-смерти по-факту-возбуждено-уголовное-дело личность-погибшего-устанавливается граждан-что-либо-знающих-о-происшествии просят-позвонить... Без приглашения вернулось вчерашнее: низкие выпуклые надбровья и темные

вдавленные глазницы над оскаленным ртом, – мир повернулся к нему лицом, прислал гонцами тех двоих; значит, его не оставили в покое, и нет у него иного оружия, кроме беспощадной, пламенной правды мертвых.

Под ногами чуть слышно похрустывали сосновые шишки. Густой, горький запах хвои, разогретой солнцем, кружил голову. Ватанабэ, подобрав с земли длинный сук в потеках застывшей смолы, осмотрелся, выбрал себе в противники чешуйчатый обломок сухого ствола чуть ниже человеческого роста и явственно увидел напротив себя темно-коричневую шнуровку чужих доспехов, рогатый шлем, обтянутый косматой медвежьей шкурой, и широкий, старинной выделки меч с гравированным, прихотливо изогнувшимся драконом на лезвии.

Враг резко встряхнул плечами, чтоб сошлись пластины панциря, рога на шлеме угрожающе качнулись, наплечники тяжко лязгнули. Ватанабэ, не отрывая взгляда от кончика своего клинка, попытался приблизиться, надеясь подцепить острием нагрудную пластину, но наткнулся на гудящий веер из непрерывных взмахов стали. Ватанабэ направил разящее движение в горло над латным ожерельем, но железо звякнуло о железо, – враг отбил выпад, и Ватанабэ кожей почувствовал его презрительную ухмылку, упрятанную под наличник. Отступив на шаг, Ватанабэ попытался рассечь незащищенное запястье, и это почти удалось, но за спиной послышался сдавленный смешок Мокурая:

– Забавно, знаешь ли, смотреть на тебя.

– Ну да, дурак размахивает палкой.

– Вовсе не потому. То, что ты пытаешься делать, – это искусство, но не Путь. Суета, не более того. Если хочешь, попробуй достать меня своей дубиной.

Мокурай встал напротив, безвольно уронив руки вдоль тела. Ватанабэ выпрямил спину, опустил локти и плечи, держа сук почти наперевес. Вдоль позвоночника вдруг пробежал зябкий холодок дрожи. Страх рос где-то внутри, становился все нестерпимее, захватывал все естество и разрастался до необоримой жути. Колени задрожали, и Ватанабэ, в ледяном поту, выронил палку и повалился ниц, распластав по земле руки и ноги, словно гигантская лягушка.

– Что это было? – спросил он, отдышавшись.

– Отравленный взгляд, – Мокурай сел рядом. – Я лет шесть провел в Сёриндзи, там этому неплохо учат.*

Ватанабэ вытер со лба испарину:

– Когда кончается искусство, и начинается Путь?

– Когда ты поймешь, что меч в твоей руке – не меч, и враг перед тобой – не враг.

– Что же это, если не меч и не враг? Скажите, прошу вас.

– Сказать? Но речь – клевета.

– А где же правда?

– По ту сторону речи и молчания. Узнаешь, если доберешься туда, – Мокурай сделал паузу. – Пак говорит, что ты совсем здоров. По моему разумению, ты выздоравливаешь: перестал утверждать и начал спрашивать. Так что можешь уйти, если хочешь.

Внезапно заглянул Кабанов, собранный и деятельный: а не одолжили бы вы мне меч дней на пять? улетаю в Москву, будет там толковище, соберутся, куды не на хрен, одни випы, все при высоких данах, – Амосов, Морев, Алексеевский, хотелось бы им показать. Как же вы с ним в самолет, спросил Кравцов. Не проблема, возьму в ментуре справку, что спортинвентарь, блат выше наркома. Кабанов ощупал глазами лицо Кравцова: простите, вы не больны? вид какой-то нездоровый, не надо ли чего? Спасибо, я в порядке, не беспокойтесь. А как с клинком сосуществуете? В атмосфере взаимопонимания, ответил Кравцов, не погрешив против истины.

* *Японское произношение китайского слова «Шаолиньсы».*

Ветер принес с другого края неба мелкие дожди, нудные, как старая бормашина. Пласты черного снега на газонах истончились, истаяли, и вместе с ними, размытое дождем, таяло желание жить и двигаться. Но чужое время упорствовало в своем неизбывном желании взять реванш: пластмассовые, натужно бодрые голоса за стеной приказывали делать неслыханное, – сникерснуть, чупсоваться, пробовать джага-джага; другие, кирпичные голоса с бутафорским пафосом выговаривали квадратные слова о долге и памяти, слова величественные и бесполезные, как сотенная купюра царских времен; еще одни, бархатные, вкрадчиво звали поклониться чужому мясу, зачем-то приколоченному к доскам, а после нарисованному на других досках; еще одни, металлические, драпированные лоскутьями разноцветных знамен, кроили толпу на своих и чужих.

Люди, заменив ненужную и опасную волю уютным тряпичным повиновением, не спрашивали себя, нужно ли им это, не противились услышанному, – изо дня в день, согласно подсказке, калечили свои мысли, до неузнаваемости уродовали речь, искажали лица, коверкали позы и жесты, чтоб, отбыв эту повинность, вялыми, анемичными ошметками повиснуть на злобных шестернях чужого времени. Выбирать было не из чего, поскольку мир и не предлагал ничего другого, кроме неторопливой, по графику расчисленной агонии, которая считалась жизнью лишь в силу скудоумия и тщеславия гибнущих.

Кравцов отгородился от заоконной суеты расслабленной дремотой, благо, сон заключил с ним перемирие. Теперь он подолгу залеживался в постели, то и дело ныряя в туманный обморок, к полудню, собравшись с духом, поднимался, чтобы проделать безбожно длинный путь до ванной и смыть остатки сна, – но ненадолго, ибо полчаса спустя он вновь заставал себя, зевающего, в обнимку с подушкой. Точно таким же его застала жена. Открыв дверь своим ключом, она совершала дефиле по восемнадцати квадратам неприбранной жилплощади, демонстрируя и обручальное кольцо, перемещенное на левую руку, и новый брючный костюм, гордая тем, что сумела навязать себя миру, нашла-таки придурка, согласного втридорога платить за глазунью, подгоревшую во имя прекрасной няни, и парализованный секс. Пихнув в сумку вещи, бывшие формальным поводом для визита, она прошипела, не разжимая рта: все валяешься? ну-ну... А тебя не ебет, ответил Кравцов ее же словами, будешь уходить, – ключ в прихожей оставь.

Вскоре после жены объявился Кабанов: ну, Иван, вот вам ария московского гостя – я привез предложение, от которого невозможно отказаться, хотя давайте-ка по порядку. Генералы наши мою версию подтвердили, клинок действительно шестнадцатого века. Костя Амосов, правда, его облажал – мол, в таком состоянии годится только капусту на даче рубить. Зато потом взял меня ласково за штаны, увел подальше и просил вам передать, что всегда готов его купить за двадцать штук баксов, это неплохие деньги, так что подумайте. Да и клинок будет в хороших руках, Амосов специалист известный, в прошлом году в Питере издали его книжку об эволюции японского меча. Нет, ответил Кравцов. Кабанов хмыкнул: вам цена не нравится? конечно, пару лет назад вакидзаси восемнадцатого века ушел с аукциона за двадцать пять, но там, уж простите, состояние было не в пример лучше, а ваш требует затрат. Какой процент, спросил Кравцов. О чем речь, не понял Кабанов. Я спрашиваю, какой ваш процент от сделки. Кабанов поморщился: да прекратите вы, ей-Богу! у нас с Амосовым абсолютно не те отношения, ну так что же в результате? Да не могу я, развел руками Кравцов, не могу, мы с ним как-то сдружились, что ли, это на предательство будет похоже, мне кажется, вы меня понимаете. Понимаю, кивнул Кабанов, но, по-моему, было бы лучше... он испытал взглядом лицо Кравцова: кстати, вы в последнее время часом ни в какой блудняк не влетали? скажем, в драку или еще куда. Господи, какие там драки, ответил Кравцов, сплю круглые сутки, кстати, о драках, – все хочу спросить, на кой оно вам сдалось, ментов тренировать, ведь не из-за денег же? Нет, рубли там недлинные, подтвердил Кабанов, просто не выношу дебильных костоломов, пусть у них хоть что-нибудь в голове остается.

Поначалу ночь была застегнута на оловянную пуговицу луны, но набрякшее дождевое небо похоронило тусклый кругляшок в своей разбухшей утробе и теперь норовило стечь на крыши. Темнота сделала дома и деревья плоскими, упростив их до черных двухмерных силуэтов. Кравцов миновал сквер, заросший чахлыми, царапающими акациями, и свернул в незнакомый двор.

Из-за угла доносились робкие, задавленные всхлипы: ой, не надо, ой, пожалуйста, я сама, ой... Кравцов шагнул на звук. Чайный свет фонаря запутался в ветвях голых тополей, и на стене колыхались их длинные траурные тени. Первоначальные предположения не оправдались: девчонка, притиснутая к дверям подъезда каменным мужским торсом, защищала ладонями не лобок, а лицо. Ты что творишь, урод, сказал Кравцов без всякого выражения, тронув пальцами тугую оплетку рукояти. Он стоял вполоборота, опираясь на выдвинутую вперед правую ногу, опустив клинок вдоль бедра. Вакидзаси, готовый следовать любому движению, утратил вес и обрел жестокую, выверенную и справедливую точность. Мгновение вновь разлилось, выплеснулось из всех мыслимых границ. Мужик шагнул навстречу, впереди него летела длинная, до бритвенной остроты заточенная стамеска. Кравцов резко, всем телом повернулся влево, выбросив вверх руку с мечом; стамеска, ужалив пустоту, тупо стукнулась о бетонный бордюр, мужик схватился за горло, бодая воздух, шатнулся прочь, но запутался в собственных ногах и вытянулся во весь рост на асфальте, расколов собою черное зеркало лужи.

Девчонка, еще сильнее прилепившись к дверям, опять заскулила, но уже без слов, только голосом. Размазанная косметика уподобила ее лицо трагической маске белого клоуна. В одном ухе качалась круглая цыганская серьга, мочка второго была разорвана, мелкие кровяные кляксы пятнали светлую куртку. Кравцов, наклонившись к покойнику, разжал его левый кулак и добыл оттуда теплые кусочки металла – кольцо в острых завитушках, серьгу и безнадежно перепутанную цепочку с крестом: твое? на, забирай. Девчонка смотрела на него безумными, вывихнутыми глазами, и Кравцов понял, что она видит все тот же незрячий, матово-бледный шар. Кравцов сунул побрякушки ей в карман: ментов не вызывай, не надо. Девчонка согласно замотала головой, распространяя кислый запах пива.

Закапал, набирая силу, дождь. Что ж, оно к лучшему.

Кореец Пак, стоя на пороге, приложил палец к губам, и это далось ему не без труда: под мышкой он зажал большой жбан, а в руке держал вместительную деревянную плошку.

– Тихо, пожалуйста. А то моя скоро уходить, а мы ни разу вместе не выпил, худо.

– Откуда у тебя это? – спросил Ватанабэ.

– Водка просил в деревне, редька украл на кухне. Японский еда худой, совсем пресный. А самый-самый худой еда, – кореец хитро улыбнулся, – это спасительная камень. Ничего, моя скоро кушать другой еда, вкусный. Моя идти к морю, потом плыть на юг... как это? – в Сямуро**.*

– Я, наверно, тоже уйду, – сказал Ватанабэ, глотнув из жбана.

– Твоя пошел снова убивать?

– Не знаю. Сейчас трудно не убивать. Вся Япония только этим и занята.

*– Мокурай не убивать. Он писать книга про заморский вера, про... как это? – про Кирисито***, – Пак приложился к жбану и захрустел маринованой редькой. – Моя тоже не убивать. Моя вернется домой и тоже будет писать книга, как разный народы лечат свой люди. Моя учился в Китае, потом тут, дальше будет в Сямуро. Люди не надо убивать, он и так коротко живет, – совсем коротко, потому и помирает глупый. Не успевает понимать жизнь. Люди надо лечить, чтобы он жил долго и не был глупый. Моя отец помирал рано, совсем рано, моя уже старше его на целый два годы, а все дурак. Твоя тоже дурак, как моя брат, ничего не видал, один война в голове.*

– Возможно, ты прав, – ответил Ватанабэ, удивляясь собственному равнодушному смирению.

Массивное тело Кабанова изготовилось для мгновенного броска, лицо закостенело в судорожной сосредоточенности: Иван, у меня к вам серьезный разговор, более чем серьезный, – ведь на вас два трупа, так? Это еще надо доказать, усмехнулся Кравцов. Не проблема, отмахнулся Кабанов, во-первых, я геометрию вашего клинка знаю, как свои пять пальцев, в обоих случаях одна и та же ромбовидная колото-резаная рана, мужики из убойного мне фотки показывали, любой эксперт идентифицирует с завязанными глазами, во-вторых, первый труп был шестнадцатого числа,

** Нагретый камень, который дзэнские монахи клали на живот вместо ужина.*

*** Японское название Таиланда.*

**** Японское произношение слова «Христос».*

восемнадцатого я забрал у вас меч и вернул двадцать пятого, а двадцать восьмого был второй. И потом, локализация характерная: оба убиты одинаково, ударом в горло, это тодомэ, чисто японский прием, ведь не человек убивает, а меч... да что ж вы молчите? Что о них толковать, пожал плечами Кравцов, оба еще при жизни умерли. Пожалуй, кивнул Кабанов с видимым облегчением, второго вашего клиента, между прочим, опознали по фотороботу, гопник, с баб золото снимал, а первый кто? Понятия не имею, – так, рванина, отморозок. В любом случае не нам с вами их судить, я же говорил, что ваш вакидзаси опасен, мне бы, кретину, еще тогда его у вас отобрать... примите добрый совет, менты пока не в курсе, так что идите с повинной, – как-никак, смягчающее обстоятельство, шестьдесят первая статья УК. За мной нет никакой вины, сказал Кравцов, мне не в чем каяться. Кабанов потер лоб рукой: дело ваше, Иван, но тогда я вынужден буду сообщить... вы понимаете? зачем вам вся эта ментовская хрень – силовое задержание, побои, обыск? Невесть откуда пришел ответ: чем больше грязи, тем выше Будда. Кабанов покачал головой – то ли удивленно, то ли укоризненно: прощайте, Иван. В дверях он остановился: кажется, у вас кошка была – Миёси, да? давайте я ее заберу. Бросила меня кошка, сокрушенно сознался Кравцов, не сошлись характерами. Ну что ж, прощайте, невесело повторил Кабанов.

С его уходом Кравцов понял: есть полчаса, от силы час, чтобы избежать тюремной вони немытых тел, презрительных окриков охраны и тупых, никчемных вопросов следователя. Мысль о них заставила сердце лихорадочно зачастить, наполнила и полонила тело темным и тоскливым ужасом; нет, этого надо было избежать. Как угодно.

Он через голову стащил футболку и, опустившись на колени, обернул ею лезвие, тем самым укоротив его до нужной длины. Память мертвых и воля мертвых делали движения точными и размеренными. Плоть подалась, впустила хищный металлический холод, под напором железа внутри что-то рвалось с мерзким крахмальным хрустом. Кравцов, не в силах совладать с раздирающей болью, отбросил вакидзаси и, наклонившись вперед, перенес вес тела на руки, чтобы расслабить брюшные мышцы, движение отозвалось новой болью, и он неуклюже и нелепо, с долгим стоном перевалился на бок. Он бережно потревожил рану кончиками пальцев: крови почти не было, но в разрушенном теле что-то мучительно и тяжко плескалось, звук толчками тек изнутри вместе со слабыми темно-вишневыми струйками. А ты газетку прилепи, сказал Кравцов себе. Его медленно сковывала вязкая, холодная дурнота, он чувствовал, как, покорствуя ей, стынут руки и ноги; воздух растрескался, и его зазубренные осколки царапали гортань; рот иссушила внезапная полынная горечь, – впрочем, это была всего лишь плата за избавление, цена входного билета. По жилам беззвучно и беспрепятственно лилась уже не кровь, но смерть. Сердце, все еще не согласное с неизбежностью, билось гулко и часто, однако мозг опередил его, – не справляясь с тошнотворным головокружением, суматошно вытряхивал из своей копилки окаменелые пустяковины: огрызки плесневелых фраз, обрывки истрепанных сновидений. Предметы вокруг выцвели, отступили, сделались мертвы для глаза, освобождая зрение для сумрака благой и безмолвной пустоты. Вот и все, пробормотал Кравцов в пустоту, едва улавливая звуки собственного голоса, ибо тот доносился издалека, из страны мутного серо-зеленого света, вот и все.

Ватанабэ сделал привал среди низкорослого, тенистого ивняка, на берегу быстрого и мелкого ручья, дно которого устилала веселая пестрая галька. В прозрачной воде суетились мальки. Отложив посох, Ватанабэ черпнул воду горстями, и рыбешки бросились врассыпную. От холода заломило зубы. Он скинул соломенные сандалии и опустил ступни в обжигающе студеные струи, но этого показалось мало. Он разделся догола, встал на колени и облился с головы до ног, избавляясь от многодневного пота и дорожной пыли. Листья ивы напоминали наконечники стрел, но эта увядшая память уже не бередила душу, не застила глаза и не мешала словам складываться в строки:

Не дошли.
Только ветер
Шевелит в траве сасимоно...

Эксгумация

...и рыхлый сумрак тамбура насквозь прожженный янтарным огоньком сигареты и громоздкий тюремный лязг буферов и непривычно круглая похожая на шишку поленница в оконном проеме привези мне кедровую шишку попросила Даша большую и в смоле и вот теперь упругая пульсация пола под ногами и четырехтактная пунктирная морзянка колес и освещенные перроны за окном опутанным водорослями табачного дыма станция Гороблагодатская сиречь город Кушва тебя зачем в Кушву посылали? спросил редактор Жданов и ты ответил про МЖК писать вот именно продолжил он а на хрена было под рудничное начальство копать ведь юридически там все чисто но и не копать было тоже невозможно директор рудоуправления прописал сына с молодой женой в девятиметровой самой маленькой комнате и сталинские хоромы в одночасье обернулись коммуналкой а сын как молодой специалист встал в очередь на квартиру одним из первых на зависть всему МЖК не ломая горб на стройке ты попытался втолковать это Жданову но тот махнул рукой да в курсе я у этого обормота хватило ума в обком звонить обкому галочки в отчетах тоже нужны в общем создали комиссию супостату твоему сейчас персоналку шьют короче заварил ты кашу хрен расхлебаешь прожектор блин перестройки! и ты сказал я пойду в обком и Жданов ответил вот этого я и боялся ну куда ты с дурной головой пусть сами дерьмо ковыряют а мы результата подождем Кушва по-пермяцки «голая вода» а Ивдель по-мансийски «лесная река» поезжай-ка ты от греха подальше в Ивдель чтоб тут дров не наломать сказал Жданов и поезд Свердловск–Приобье идет на северо-запад и за ним косо бегут желтые ромбы оконного света и четырехстопный ямб колес и влажная наволочка со слабым запахом заношенного носка и ты сказал какого рожна я там забыл? и Жданов раскрыл свежий номер «Урала» гляди коллеги там самородка откопали поэт девять лет назад погиб и ты уткнулся в курсивом набранную сопроводиловку за подписью Бородина члена СП впервые стихи Виктора Ермакова я прочел в год его трагической гибели когда они не могли быть опубликованы в грохочущих буднях великих строек мы забыли Некрасова кто живет без печали и гнева тот не любит отчизны своей но к счастью времена барабанных рапортов миновали и Жданов сказал про мертвяков писать самое милое дело с одной стороны злободневно с другой риск минимальный вон Берию рвут на немецкий крест кому не лень очерк сделай полноценный строк на пятьсот и ты сказал у меня и так четыре материала в секретариате гниют тыща двести строк между прочим и Жданов опять махнул рукой не проблема опубликуем фактуру поднови где надо и неси ко мне взятку значит даете? стало быть даю! а ты вообще в Ивделе бывал? но ты не бывал и Жданов сказал веселое место старатели да зэки природа опять же сплошной Джек Лондон тебе как романтику понравится это я-то романтик? а кто ж еще практик с кулаками на танк не полезет и ты использовал последний аргумент вообще-то по культуре у нас Алла и Жданов изобразил лицом драму с Аллой связываться себе дороже как командировка так аборт и мировая скорбь на три месяца жалко видать дуре четыре копейки на изделие номер два а денег побольше бери учреждение Н-240 лес в Питер гонит снабжение в городе ленинградское и водки прихвати а то там теперь сухой закон горком старается заставь дурака Богу молиться и ты запоздало обрадовался там же Новиков сидит! и Жданов спросил а материал про него кто печатать будет «Нью-Йорк Таймс»? я тебя прошу не ищи ты там приключений на пятую точку работай спокойно по теме и сосед на верхней полке давит массу с бульдозерным храпом почему в поездах никогда не спится Кушва Верхотурье а дальше Серов последний русский город а за ним мансийская вотчина земли Пелымского княжества Атымья и Лангур Вонъеган и Понил и лесная река Ивдель и Даша водила пальцем по атласу смотри какие дивные языческие названия а стихи у твоего Ермакова по-моему так себе и на рынке она сказала привези мне кедровую шишку большую и в смоле и морская свинка выудила из драной солдатской ушанки безногого в похмельных отеках мужика билетик счастья ваши недруги сильны но вам покровительствуют Марс и Плутоний ваш брак удачен ну вот сказала Даша а ты все сомневаешься мудак уж климакс близится а Германа все нет вот возьму и рожу́ чтоб алименты платил и в телефонной трубке бился застарелый булькающий кашель члена СП Бородина ничем не могу помочь я же говорю ничем некогда мне молодой человек так что Ивдель придется осваивать в одиночку и гидролизный за-

вод и учреждение Н-240 дед дребезжал ложкой в кофейной чашке в Н-240 режим суровый уж на что у нас в Дубровлаге не сахар но по сравнению с тамошним говорили курорт и ты сказал а меня в гостиницу Н-240 определили и дед сказал благодари Бога что только в гостиницу ну скачи князь до вражьего стану да что ж не спится-то этак завтра весь день насмарку да нет уже сегодня ну лишь бы Плутоний с Марсом не облажались...

Гостиница оказалась полублагоустроенной общагой: горячая вода в батарее, туалет в конце коридора, наставляла вахтерша, а уснуть так и не удалось, и Баринов стряхнул с себя обрывки дремоты: подъем, перед смертью не надышишься.

За порогом на него хлынуло белесое анемичное небо, подкрашенное слабым раствором октябрьского солнца. Свежемороженый день отливал жестью. Асфальтовая дорожка, бугристая, как черепаший панцирь, полого ныряла вниз, вдоль нее выстроились тополя, голые, будто рекруты на медосмотре. Фасад учреждения Н-240 нес на себе потемневшие тесовые латы и обязательный транспарант про юбилейный год и перестройку работы каждого. Школа искусств роняла наземь мелкие струпья серо-голубой краски. Занозистый забор на противоположной стороне улицы был оплетен колючей проволокой, над ним нависал изломанный многоугольник кирпичной стены, и зэки подставляли застуженному солнцу черные стеганые спины, и цырик на вышке что-то жевал, вопреки уставу.

Редакция «Северной звезды» встретила Баринова привычным, крепкого настоя, кофейно-табачным запахом. В закрытые двери кабинетов дробью билась скороговорка пишущих машинок. Редактор Матвеева рыхлила оловянной общепитовской вилкой землю в цветочных горшках: совсем не растете, милые, забыла вас плохая тетка, а вы по какому вопросу, молодой человек? Баринов предъявил удостоверение: не поможете ли? Матвеева уселась в кресло, размазав по столу полужидкие груди: чем могу? Ермаков? не припомню. Она наморщила лоб в пергидрольных овечьих кудряшках, и Баринов вынул из сумки номер «Урала»: да вот же. А-а, протянула Матвеева, это вам в промотдел к Иванычу надо, к Кононову то есть, они вроде когда-то контачили...

Кононов, раздраженно мотнув плешивой головой, отклеился от «Ятрани» и с хрустом поскреб подбородок, присыпанный мелкой солью седой щетины: ладно, антракт пять минут, сигарета есть? у меня сегодня два досыла, на первую и на четвертую, курева купить некогда, а про Витьку можете поговорить, э-э... Ну, во-первых, с Анной Миковой, как по батюшке – не помню, жила с ним одно время, в библиотеке работает – по мосту, а потом прямо и направо, не заплутаете, кстати, там недалеко парк, обязательно загляните, кедрам по двести лет, стоит видеть. Во-вторых, с Яковом Алексеичем Шитоевым, это бывший директор пятой школы, с детства его знал, – тоже недалеко, на Трошева, дом восемь, квартира два, уже на пенсии, всегда застанете. В-третьих, с Ольгой Андревной Давлетшиной, это следователь прокуратуры, на труп выезжала, с ней контакты по звонку, телефон видите? под ним справочник. А с вами можно потолковать, спросил Баринов. Думаю, можно, но в конце дня, часам к пяти подходите. Баринов потянулся к телефону. В дверь плеснулась взбаламученная Матвеева: ой-вы-еще-тут? вас-в-горком-просят-зайти-это-тут-в-этом-здании-первый-просит. Баринов поморщился: у меня к товарищу первому вопросов нет.

Давлетшина, не выпуская изо рта сигареты, распрямила долгое баскетбольное тело и отметила желтым табачным ногтем место на карте: примерно в этом квадрате, севернее Вижая, обнаружили его ягодники, конец августа, как раз сезон, фильм «Даки» видели? Видел в детстве, сказал Баринов. Жертвоприношение помните? вот точно так же, один в один. Лихо, восхитился Баринов эффектной картинкой и ткнул себя пальцем в грудь: прямо насквозь? Давлетшина стукнула по столешнице костяшками пальцев: вы что?! на себе не показывают, а вообще да, точно так – лицом вверх, на обломке сосны, явно со скалы сорвался или спрыгнул. Может, сбросили? Была и такая версия, но не подтвердилась. А потом на дому у него выемку сделали – в военном билете статья семь-бэ, да и стихи откровенно суицидальные, так что возбуждаться не стали по пять-один УПК, за отсутствием события. Честно говоря, не до него было, тут такое творилось, – весь город на ушах стоял. Что именно, спросил Баринов. Давлетшина придавила окурок в пепельнице и отпра-

вила в рот леденец: собрались два орла красноперых по ягоду – начальник оперчасти да лепший его кентяра, начальник отряда, взяли с собой двух солдат при оружии да литра полтора спирта. С вечера нажрались в зимовье до зеленых соплей, солдатам почти не наливали. Утром те взяли пайвы да отправились промышлять, а кумовья с бодуна дрыхнут. Тут вышли к избушке два беглых ооровца... Виноват, не понял. Аббревиатура такая: ООР, особо опасный рецидивист. Глядь, а там знакомые все лица и два акээма в углу. Штык-ножами разделали господ офицеров на гуляш, что и хоронить-то толком было нечего, а сами ушли с автоматами. Всех тогда припахали – и нас, и уголовный розыск, и зоновскую прокуратуру... Давлетшина посмотрела на часы: с вами хорошо, но у меня допрос в ИВС. Ну, удачи вам, Ольга Андревна.

Река лежала под мостом слитком дымчатого стекла, а на правом берегу распластался черный, в рыжих подпалинах березняка, лес, и на его краю скученно толпились избы. На обочине тлели вороха скрученных листьев, похожих на пустые ракушки, под ноги стелился белый и едкий чад, и под каблуками с треском погибали слюдяные от холода лужи.

Баринов, следуя изгибу черепашьего асфальта, повернул направо. По ту сторону дороги были похороны: бабы в черных платках до бровей мелко и заученно крестились, мужики, встав цепочкой, деловито совали в автобус венки и неправдоподобно маленький закрытый гроб – без слез, без бутафорского надрыва медной музыки, движимые единственным желанием избавиться от ненужного ящика, обитого по краям черной гипюровой лентой. Баринов наблюдал за ними не один, – поодаль, заложив руки в карманы пальто, остановилась невысокая женщина. Ее меловое скуластое лицо резала пополам безгубая и неуместная победная улыбка, но глаза, похожие на пересохшую глину, жили сами по себе, отстраненно и безучастно. Под серым драпом обозначались туго скрученные узлы кулаков.

Объявление на библиотечных дверях извещало о санитарном дне, хотя какой там санитарный день, – если снаружи амбарный замок, то внутри тараканов не морят. За спиной, отъезжая, фыркнул автобус. Посмотрим, что ли, достопримечательности, решил Баринов.

Парк «Кедровник» был обнесен чахоточным штакетником. За полудохлой решетчатой изгородью дремали скелеты футбольных ворот, лишенных на зиму сетки, полукруглый строй скамеек и беговая дорожка, посыпанная серым песком. Поодаль жались друг к другу кедры, скованные не столько страхом, сколько брезгливой оторопью перед убогими человеческими поделками, и Баринов пошел к ним через футбольное поле. Кедры стояли мамонтами, грузно опираясь на морщинистые ноги, высоко задрав острые бивни мертвых сучьев. Баринов отломил от комля чешуйку бурой коры и положил ее в рот. На языке осталась тонкая, едва уловимая смоляная горечь.

В магазине «Геолог» напротив парка обнаружились московская ветчина, венгерский чеддер и коньяк «Бакы» – сорок два оборота, неистребимый вкус жженого сахара и гарантированная сивушная отрыжка; а как же сухой закон? Будьте добры, сыру граммов триста, хлеба полбулки и чая пачку, вот этого, цейлонского, снедь упаковали в бланк характеристики особо опасного рецидивиста: ФИО, дата и место рождения, статья, срок, предыдущие судимости; пожалуй, здесь и в сортир с этой бумагой ходят.

На улице Трошева повторилась история с библиотекой: Шитоев скрылся в нетях, поцелуй пробой да иди домой, сказал бы дед. Ну что ж, уже есть Давлетшина, Бог даст, будет нынче и Кононов; два из четырех, а пятьдесят – недурной процент попадания для одного дня.

Экую, прости Господи, хрень печатаем! Кононов обреченно уставился на четвертую полосу свежей газеты, в глубоко посаженных глазах сгустилась мглистая усталость. Он ткнул пальцем в колонку объявлений и продекламировал с фанерным пионерским пафосом: прошло уже немало лет! как совершилось чудо! явилась ты на белый свет! неведомо откуда! по-моему, так очень даже ведомо... а что прикажете делать? уплочено, как сказал кот Бегемот. Слова Кононова юродствовали, но он тщательно зажимал что-то внутри себя, как зажимают рану. Он запер дверь кабинета изнутри и вынул из письменного стола початую бутылку коньяка: тонус на нуле, как насчет наркомовских? А мне говорили, тут у вас сухой закон, сказал Баринов, вообще-то у меня водка с

собой. Верной дорогой идете, товарищ! а дурь горкомовская приказала долго жить: на лесозаводе написали коллективное письмо первому – если к Октябрьским пойла в продаже не будет, фиг вам, не демонстрация. Ну и вот, во избежание скандала... И слава Богу, хватит в Горбачева играть, а то больница по самую крышу травленниками забита, врачи ревмя ревут. Баринов спросил: вы об этом писали? и Кононов ответил знакомое: писал бы, да кто опубликует? мы врага бы на рога, только шкура дорога, чем в редакции сидеть, пойдемте ко мне.

Они поднимались вверх по улице – мимо школы искусств, мимо стройплощадки. Жестяной блеск дня мало-помалу таял в сумерках. Из-за забора в проволочном венце черной гусеницей потянулась колонна арестантов, и Кононов спросил: любопытствовать изволите? цивилизация, по Руссо, начинается со строительства ограды, то есть, по типу ограды можно определить тип цивилизации. Баринов кивнул в сторону перестроечного плаката: авось, что-нибудь да переменится, и Кононов хмыкнул: штука в том, что прочих стройматериалов на склад не завезли, а из этих ничего другого не смастеришь. Он говорил, как чертил, смыкая воедино линии фраз, выпукло разворачивая мысль в трех проекциях: вот увидите, лет через десять уморимся экспериментировать, затоскуем по Лаврентию Палычу и кинемся под сень родной колючки, к тому, кто посулит маломальский орднунг, я это кино уже смотрел – в шестьдесят четвертом, когда Никиту Сергеича похерили. Вы обещали про Ермакова рассказать, напомнил Баринов. А это и есть про Ермакова – преамбула, если угодно, вот мы и дома.

Выпив водки, Кононов свирепо, взасос потянул в себя табачный дым: так вот, про Витьку. Север, изволите видеть, – территория депрессивная, взять хоть финнов, живут нам на зависть, зато процент самоубийств больше всех в Европе. А тут еще и лагеря... есть места намоленные, а это место проклятое – прикиньте, сколько заключенных в Н-240 перебывало и как они Ивдель материли. Причем, граница зоны и воли чисто условная, – бесконвойники по всему городу бродят, а знаете, во что у нас продукты заворачивают? Уже видел, сказал Баринов. На психику все это давит. Плюс личные обстоятельства: рос без отца, мамка по инерции сына ненавидела, из армии комиссовали через дурдом с волчьим билетом, – Кононов отпустил себя, прямые линии его речи надломились, сумеречные глаза отправились в бесцельное странствие, – думаю, Витька на стихи надеялся отчаянно, как на джокера в прикупе: мол, все оправдают. Ну и где он, памятник нерукотворный? – да и провинция для литератора смерть, самиздата, и того нет... что мог человек с такой жизненной школой? две вещи: самому мучиться и других мучить. Баринов спросил: и вас тоже? Да пробовал, царство ему небесное. Мы с ним познакомились году в семьдесят третьем. Его тогда с работы выгнали, две горбатых в трудовой, потом за что-то избили вусмерть, аж в больнице лежал, а потом пришел в редакцию: дайте копейку заработать, я писать умею. Я о себе такого сказать не могу, а тут является бомж оборванный: умею! Покажи материал, говорю, а там посмотрим. Дня через три принес он две зарисовки про природу. Грамматика на грани фантастики, но чувствовалось, что рука набита: что-то тургеневское между строк. В общем, на летучке признали его опусы лучшими за неделю, выписали двойной гонорар, потом все повторилось, – срубил он за месяц полтинник, не меньше, и пропал. Немного погодя встретил я его бухого в магазине. Что, спрашиваю, глаз не кажешь? Тут его, болезного и понесло, заблажил на всю лавку: да мне с тобой, с обмылком, на одной параше верзать в падлу, я ж тебе целый месяц «Записки охотника» таскал, а ты печатал, валет! Я не поверил, но потом убедился: точно, Тургенев, малость подправленный на местный лад. И на хера ему соавтор? тайгу знал отменно, все окрестности облазил. Вы про стихи знали? Сложно было не заподозрить, а «Урал», по-моему, какую-то ересь наворотил: жаль, что не дожил, не дождался... чего не дождался-то? очередного пенделя? Сами видите, какая культура у нас востребована: явилась, блядь, неведомо откуда! второе пришествие хама... Не тяжело вам с такими взглядами в газете? Скомканную гримасу Кононова при желании можно было назвать ухмылкой: как это у Акутагавы? – мудрость состоит в том, чтобы, презирая нравы и обычаи своего времени, ни в коем случае их не нарушать... ну, дай Бог, не последняя!

За окнами плыла мутная луна, размытая облачной ретушью.

В бледной немочи белых ночей, в пресной пакости красных речей этот город увяз. Он и я – как шрам и щека, как клеймо и лоб варнака: Бог сулил, да не спас. Здесь клыки вертухаев цепных, здесь чахотка бараков смурных, здесь сума и тюрьма. Тишину промозглую рвет хриплый скрежет острожных ворот – как не спятить с ума? Здесь единственный способ жить – не видать, не думать, забыть в летаргическом сне, и поэтому здешний народ поллитровую титьку сосет и доволен вполне.

...и мышиный писк радио за стеной возвещает полночь и с улицы гнусаво откликается запоздалый гриппозный клаксон и надо уснуть но здесь другое небо и другие сны может и впрямь проклятое место ни сон ни явь смутное пограничье где мир кренится и плывет и откуда эта неотвязная сосущая голоду под стать тревога? ведь два от силы три дня а там плацкарта в приобском поезде и Свердловск вельми преславный Катеринбурх где чинный полумрак кафедрального собора согрет кошачьими взглядами свеч где тусклая позолота книжных корешков в «Букинисте» и разноязыкий сорочий гомон Шувакиша и good bye America oh и ломкий папирус ветхих газет вырвем-жало-троцкизма-из-наших-рядов! и Даша ясноглазая ласковая матерщинница и дед лагерный лепила битый фраер справочник на все случаи жизни все твое с тобой неуклюжая попытка подкупить самого себя посулами но здесь другое небо и другие боги из их глухого дыхания сотканы обомшелые валуны прелая хвоя ослизлые в два бревна срубы на безымянных вогульских могилах багровая россыпь клюквы на болотах поневоле дышишь в такт и ни сон ни явь серый луч процеженного сквозь шторы уличного света режет по живому будто тупой нож и за стеной лающий клочковатый не то кашель не то плач кому-то тоже не спится и твердой земли под ногами больше нет вместо нее ленивое колыхание трясины прикрытой ржавым с прозеленью мхом назад! но чья-то жесткая пятерня клещами сжимает запястье и горбатые деревья окунают иссохшие руки в воду и косматое липкое марево обнимает сутулые стволы и гнилая бурая жижа громко чавкая затягивает ноги но незачем цепляться за остов сосны все равно рухнет хватая воздух растопыренными пальцами корней облепленных слюнявой тиной и черная почти неразличимая сквозь туман птица над головой и агатовый провал зеркала на стене и недовольный стон панцирной сетки встать зажечь свет да откуда же это? ведь ничего не двинулось с места ровным счетом ничего! или все же? все же?..

За ночь небо обрюзгло, налилось шинельной серостью и теперь нехотя отпускало на волю редкий невесомый снег. Скоропостижное ночное смятение, напротив, иссякло, утратило темную тяжесть и сделалось бесплотным и хрупким, как жухлые листья на обочине. Застилая кровать тощим казенным одеялом, Баринов поймал взглядом свое отражение, исковерканное никелированной спинкой кровати, и показал ему язык. Двойник, свернутый в трубку, скроил в ответ рожу, похабную и трагическую, и Баринов велел ему: пшел в жопу, нежить.

В живых у Якова Шитоева осталась левая половина лица, правую сожрали розово-серые глянцевитые рубцы, среди которых мертво мерцал стеклянный глаз: не обращайте внимания, это я в сорок втором в танке горел. Маленький и худой, точно из дранки сколоченный, Шитоев суетливо перемещал свое сухое тело по комнате, без нужды перебирал газеты и ровнял стопку книг на столе: а чайку? а с медком? а про Витеньку что вам сказать, – несчастный он был. Папка-то у него литерный, с Кабаковым* за руку здоровался, вот и КРД да еще германский шпион, – тут нация подвела. Витенька же только по метрикам Ермаков был, мать на свою фамилию записала да отчество русское дала, а по-настоящему он Виктор Оттович Рюгер, ребята вечно фашистом дразнили, жестокие они, дети-то. Отто, как в сорок седьмом освободился, остался в Н-240 нормировщиком, деваться-то больше некуда было, да подженились они с Клавой, вот в сорок восьмом Витенька и родился, а в пятидесятом Валечка. А после двадцатого съезда в один день подхватился да уехал, Клаву-то с детишками бросил, даже алиментов не платил, а Клава-то давай пить, потом

* *Первый секретарь Свердловского обкома ВКП(б), расстрелян в 1937.*

одумалась, правда... а Витеньку все равно не любила – на дворе мороз, а он в резиновых сапожках бегает. Я иной раз думаю, Валю-то она, поди, с кем с другим нажила, не с Отто... Тогда говорю ей: Клавдия, как тебе не стыдно? а она меня в мать-перемать: я, говорит, эту немчуру на роду бы истоптала. Ну, повел я его в магазин, валеночки купил, а он мне и говорит: вырасту, пойду в армию и старшиной буду, они живут богато, – это он на соседа насмотрелся... А учился плохо, две пятерки только и было – география да история. Про народников, было дело, отвечал, – так даже Нечаева вспомнил, хоть и не по программе. Шитоев наконец угомонился, устроился на табуретке, старательно растер по половинке печенья комочек скверного засахаренного меда: зря отказываетесь, башкирский. Ну вот, восемь он закончил да уехал, в училище поступил, вроде на токаря, потом призвали его, да не дослужил, подробностей не знаю, он ведь скрытный был, молчун, слова не вытянешь. Жил где-то в Пермской области, потом вроде бы под Свердловском, а потом сюда вернулся, – видать, не пожилось. Да и тут не лучше: Клава-то перед смертью дом на Валю записала, та Витеньку не прописывала никак, – понятно, муж да дети. А потом и вовсе выгнали его: у сестры пальто зимнее пропил. Ему и так-то устроиться трудно было, справка была от ВТЭК: запрещается работа с движущимися механизмами, работа в ночное время, еще что-то такое... А без прописки вообще никуда не брали. Кое-как взяли в магазин грузчиком, ночевал в подсобке, да и оттуда выгнали: консервы какие-то украл, что ли. А потом я его встретил: ох ты, горе луковое, сам на себя не похож, отощал, в чем душа держится, зубы выбиты. Пойдешь, говорю, в школу истопником? – у нас котельная-то своя. Он согласился, даже не пить пообещал. И правда ведь, ни разу на работе не выпил. Тосковал все о чем-то. Дров, бывало, наколет, сядет возле поленницы на чурку, коленку вот так руками обхватит и смотрит куда-то, смотрит... Жил сперва при школе, потом комнату ему от гороно дали. С Анечкой с Миковой вот сошлись, уж я так рад был, оба ведь мои ученики, недолго только пожили, около года, ушла она от него, да... А потом и несчастье это с Витенькой, беда-то одна не ходит. Я ведь и не знал, что он пишет, а где, говорите, напечатали? обязательно почитаю. Я вот тоже фельетон в стихах пишу, про пьяниц, надо же партию поддержать, – Шитоев сощурил живой глаз, линялый и студенистый, и прилежно, по-учительски, прочел с листа: схватив последнюю десятку, один знакомый мужичок бежит к «Геологу» вприсядку, ведь там на полке коньячок! вот концовка что-то не выходит, второй день подряд маюсь...

Это пляшут вприсядку, а бегают вприпрыжку, подумал Баринов, но в прихожей остановился и сказал: Яков Алексеич, а как вам такой вариант? в конце, как водится, мораль: безвольных пьяниц нам не жаль, но каждый рубль пропитый это – урон семейному бюджету. Шитоев по-птичьи засеменил к столу: как вы сказали, как?

А все ж, брат Одиссей, ты не умен. В противном случае какой резон тащить свою израненную сраку домой, на захолустную Итаку? Теперь всех дел, что пялиться в окно, хлебать перебродившее вино... а помнишь, брат, у лотофагов зелье? – высокий градус, минимум похмелья. Положим, Навсикая не дала: девчачий бред плюс женские дела, зато была податливее гипса упругая и влажная Калипсо. Троянки тоже были недурны: у всей Ахайи лопались штаны. Но девок застит сморщенная жопа состарившейся верной Пенелопы. Блеснуть умом и доблестью? – прости, у домочадцев это не в чести. Нет рядом ни Аякса, ни Ахилла, и за морем их братская могила. Пейзаж в окне не радует глаза: дерет лозу облезлая коза, а вдалеке – струя светлей лазури, и рваный парус тщетно просит бури...

Река под мостом из стеклянного слитка превратилась в свинцовый. Библиотека встретила Баринова уютным треском дров в печи и ванильным запахом старых книг. Глазированная заведующая отложила маникюрные ножницы и улыбнулась, показав подозрительной желтизны коронки: к Анечке? пойдемте, я провожу. Лицо ее тяготил избыток дешевой косметики. Приоткрыв двери читального зала, она пропела деланным фальцетом: Анечка-а Сергевна-а, к вам тут молодой-интересный журнали-ист...

За столом сидела та, что смотрела вчера на похороны, отсеченная от всего мира тонким лезвием непонятного торжества. Нелегко мне с ней придется, подумал Баринов. Она тряхнула корот-

ко, по-мальчишески остриженной головой: я так понимаю, вы насчет Виктора? а вы, Маргарита Петровна, желаете присутствовать? Заведующая попятилась от дверей, помавая пухлыми бисквитными ручками: уже ухожу-у, и Баринов остался один на один с немигающими глиняными глазами.

Анна дважды отгородилась от Баринова – решеткой из переплетенных пальцев и предупреждением: у меня минут сорок, сейчас из школы придут, у них тут внеклассное чтение – Великий Октябрь в литературе. Баринов попробовал обойти ее с фланга: вам Яков Алексеич кланяться велел. А-а, дядя Яша, глиста озабоченная... За что вы его так, спросил Баринов, по-моему, милый старичок. Анна гадливо опустила углы тонких бескровных губ: как же не милый, всех девок в школе перелапал, подойдет в коридоре, обнимет: как дела, дочка, как учеба? а у самого слюни текут, – хотел, да не мог, на фронте все под корень сгорело. Не его вина, возразил Баринов. Верно, подтвердила Анна, но горе мыкать надо умеючи, так мы дядю Яшу будем обсуждать? Нет, конечно, сказал Баринов, и Анна спросила: вам стихи понравились? Он пожал плечами: даже не знаю, и она сказала: по крайней мере откровенно, и наконец выговорила вслух то, о чем, по-видимому, ожесточенно молчала последние недели: а вот Бородин ваш врет, как на исповеди. Где именно врет? Да везде, от начала до самого конца. Тексты к нему попали пять лет назад, в восемьдесят втором, – я их тогда выправила и перепечатала, и в журнал кое-что отправила от имени Виктора, самое невинное. Рецензия была отвратная, вешаться впору. Баринов спросил: это чем-то подтверждается? Анна положила перед ним машинописный лист: автор словесно тренирован, но это не искупает главного – русский поэт во все века был духовным поводырем, а не заблудшим слепцом... хронический нравственный ступор героя... школярское подражание дворовой лирике Высоцкого... обильно употребляя грубо-просторечную лексику и жаргон, автор, очевидно, забыл прописную истину, – это сугубо устная словесность, для которой нет азбуки... литконсультант В. Бородин, член СП. Баринов подыграл Анне: вот это виражи, и она продолжила: полгода назад он у нас был от общества «Знание», лекции читал про перестройку в советской литературе, я ему показала ту же самую подборку, а он даже и не вспомнил. Или вид сделал. Баринов потянул лист к себе: как хотите, но я это заберу, так что же? состоится у нас разговор? Анна кивнула, ее согласие было мерзлым и шершавым, как обломок пористого весеннего льда. А не могли бы вы завтра устроить мне экскурсию по ермаковским местам? – где жил, где работал и так далее? Анна вновь кивнула: придется отгул брать, впрочем, не страшно. Она поднялась из-за стола, накинула пальто: давайте покурим, а то мне целый час всякий вздор городить.

Спички, противореча безветрию, гасли одна за другой, пока Анна не помогла укрыть огонек холодными твердыми ладонями. Баринов сказал: могли бы и вчера столковаться, да у вас санитарный день, и она вновь опустила углы рта: к Марго сын приехал, вот и весь санитарный день. Баринов спросил: вчера ребенка хоронили? Анна закутала лицо дымом: это у Пономаревых дочь под машину попала, говорят, вся голова раздавлена, ну вот, уже идут, до завтра, в десять на площади...

...и дегтярный чай в граненом стакане и расплавленные блики на ребрах гостиничной посудины и пласты табачного дыма лежат в воздухе будто ступени ведущие к потолку и стихи их как реку пришлось перейти вброд но это не ивдельское стеклянное мелководье это другая река плотная и глубокая ртутно-тяжелая миновать ее можно налегая всем телом на тугую воду высоко подняв голову чтоб не захлебнуться ненароком но твое отражение клонится ныряет ведь точно так же было и у него чем выше он запрокидывал голову желая увидеть небо свободным от проволочных тенет тем ниже погружался его двойник в мучительном стремлении нашарить на дне ключ от всех дверей расслышать беззвучное окликнуть по имени безымянное но верный путь нельзя пройти до конца и он каждый раз выбирался на берег с пустыми руками и сгустком надсадного трагического мата в горле ты-то откуда это знаешь? но откуда-то знаешь и так раз за разом и бесплодные попытки становились все яростнее все больнее пока над ним не сомкнула свои воды река куда воистину можно войти лишь однажды и листы исклеванные пишущей машинкой явка с повинной длиною в сорок пять стихотворений Бог ты мой как тесно было в колючем кольце и он остервене-

ло бросался на проволоку оставляя на ее когтях кровавые клочья снова и снова поскольку из всех слов выбрал неистовое добела раскаленное «нет!» и из всех дорог выбрал дорогу прочь но стоит сказать миру что ты свободен и мир в ответ заявит что свободен от тебя он выблевывает все что не в силах переварить и внезапная вспышке подстать догадка да это же мальчик Кай герой северной сказки жил с осколком бесовского зеркала в глазнице и пытался сложить из ледяных осколков слово «вечность» оплеванный на самого себя покинутый изгой с клеймом бессрочного сиротства на лбу – что ему люди? на что ему люди? – слепо упорствуя брел за призраком вечности по топкому редколесью янги по угрюмым каменным громадам Чистопа и Ялпынга сбивая в кровь не ноги но душу сквозь хмурый морок северных дней сквозь блеклый бред белых ночей неотличимых от дня паломничество в надежде расслышать беззвучное в древнем распеве кайне эрыг и разглядеть незримое в тяжких разломах гранитного мяса и прочесть волю торумов в прихотливых морщинах на щучьей речной коже он пил синюю воду Лозьвы и святую воду Вижая и лесную воду Ивделя но ни одна не могла утолить жажду смыть с запекшихся губ неизбывную горечь и он в ужасе и бессилии захлебывался собственным воем пока не захлебнулся могильным безмолвием и бездонный омут мглы за окном и зеркало на стене будто кусок омертвевшей дыбом поставленной воды и жутко взглянуть туда незачем видеть как исказила тебя беззаконная ибо не должно пересекаться путям живых и мертвых еретическая прихоть выведать у бумаги то что узнал он там за Вижаем где скалы островерхими вогульскими идолами прободают дряблую облачную мякоть и суковатый сосновый кол ломая кости с глухим хрустом прободал тело – но узнал ли? и на запястье вновь сплетаются жесткие пальцы вперед расталкивая плечами и грудью твердые струи и ноги утратили дно – куда ж нам плыть?..

Говорила же умная баба Давлетшина – на себе не показывают. Баринов проснулся от боли; она угнездилась в грудной клетке зазубренным огрызком ржавого металла, разрывала мышцы при любой попытке шелохнуться или вздохнуть поглубже, и он вспомнил дедовы уроки: сердце в руку отдает или под лопатку, пульс тоже не частит, значит, невралгия, избыточное напряжение связок, значит, анальгин с амидопирином, пизда дело, где ж я их возьму? Он, стараясь не потревожить железяку в груди, с грехом пополам натянул штаны и осторожно, как по канату, двинулся на вахту, где плевался кипятком чайник и вполголоса пел приемник: у вас аптечки нет? но в аптечке не нашлось ничего, кроме зеленки и ваты, и бабка-вахтерша отложила наполовину облупленное крутое яйцо: щас у соседей у ваших попросим, а чё надо-то? Баринов вспомнил прошлую ночь: там тоже мужик болеет, вчера кашлял, и вахтерша удивленно подняла брови над очками: какой такой мужик? да вы чё? там две девки живут, врачиха да учителка, обе чисто ходят, никаких гостей, уж я-то знаю...

К утру отечное небо наконец-таки разрешилось от бремени кратким снегопадом; тонкое снежное покрывало на площади было вдоль и поперек расчерчено черными цепочками следов, и Анна чертила новую. Из-за колонны кинотеатра Баринов видел, что она идет тяжело, будто ее невеликое тело высечено из камня, – отрывает себя от земли с видимым усилием, как поднимают булыжник, с размаху бросает вперед и опять поднимает. Доброе утро, сказала она и тут же, без паузы продолжила: я подумала, – я ведь о нем мало что знаю... Ее неподвижные глаза упирались в грудь Баринова, однако он чувствовал, что смотрит на Анну снизу вверх: но ведь что-нибудь да знаете? вот, допустим, с киношкой что-то связано? и она ответила: Виктор кино не любил, я его единственный раз вытащила на «Служебный роман»... Под ноги к ним ворохом засаленной ветоши катилась цыганка, волоча за собой детишек, похожих на грязные тряпичные свертки. Она выпростала из складок пухового платка темное, измятое лицо и высвободила из складок лица крупные конские зубы: залатые маи, спрасить хачу, можна? да нэ гадать, спрасить! и Анна опередила Баринова: на хохав, биби, со тукэ трэби? Цыганка, столкнувшись взглядом с Анной, осеклась, потерянно пробормотала: ничи мэ тутыр на мангава, и внезапно сорвалась на визг: на дыкх! на дыкх, рувны биболды! Путаясь в бархатной юбке, она потащила свой выводок прочь, и Анна брезгливо уронила ей вдогонку: джя адатхыр, бакри. Баринов побожился: вот вам святой

истинный, в первый раз такое вижу, и Анна ответила: какие ваши годы. Что вы ей сказали? Анна махнула рукой: ничего особенного. Откуда язык знаете? Анна покачала головой: это называется знать? вот Виктор немного знал, где нахватался, понятия не имею. Мы про кино толковали, напомнил Баринов. Да, про кино: когда запели «надо благодарно принимать», встал и вышел и всю дорогу матерился – благодарно принимать, какая мразь мастевая эту херню сочиняла?! насилу его успокоила... с чего прикажете начать? Пойдемте к нему на кладбище, сказал Баринов неожиданно для себя, или ехать надо? Не надо, здесь два шага.

Они шли вдоль берега, согласно течению реки и согласно течению времени, – от жизни к смерти. Баринов на ходу пытался приноровиться к неровному шагу спутницы; Ивдель вскоре потерялся за крышами домов и сопровождал их невидимый. Баринов спросил: в армии-то что у него вышло? За сержантом со штыковой лопатой гонялся, убить хотел, больше ничего не рассказывал. А про дурдом рассказывал? Немного, что там часто били. Вот странно, сказал Баринов, такие темы богатые, – армия, дурдом, – а в стихах ни слова, и Анна ответила размазанным, невразумительным жестом. Навстречу попался Кононов, поздоровался с излишней и торопливой бодростью, как если бы его застали за непотребством. Анна не откликнулась на приветствие, глаза ее не приняли участия в стертой улыбке: я вижу, вы знакомы? очумелый чекист... Почему чекист? Да попросил у меня как-то стихи почитать, а сам настучал в органы, что самиздат распространяю, потом, правда, прощения просил, – мол, не по своей воле. С вами не соскучишься, развел руками Баринов, и чем же дело кончилось? Ничем, профилактической беседой...

Могилы за кладбищенским забором рассыпались по земле беспорядочно, как горсть песка, но в нынешнем хаосе прочитывались былые шеренги. Вялая тропка то и дело спотыкалась об углы оград, об нахохленные венки. Под ногами что-то звякнуло, и Баринов поднял с земли гнутую жестяную табличку с петлистыми буквами, похожими на след дождевого червя: вы комне ходите я вас очень жду вы меня неждите я к вам неприду. Анна неопределенно повела плечами: спорный вопрос. В смысле? Манси говорят, что у человека много душ, и одна, ис-хор, идет за покойником в могилу. Но может выйти оттуда и увести за собой живого. Вы в это верите? А почему нет? сейчас направо.

Виктор Ермаков, при жизни негодный к строевой службе, и здесь ломал шеренгу памятников. В рыжей траве, тронутой снежной проседью, торчал обрезок арматуры с приваренной железной пластиной: фамилия и две даты, края тридцатилетней прорехи в небытии. Анна зажгла сигарету, раза два глубоко затянулась и положила длинный дымящийся окурок на могилу. Баринов спросил: опять манси? Анна кивнула: да, манси... мы можем идти? Да, пожалуй. Из травы поднималась витая, затейливая струйка дыма.

Тридцать лет хуйни, тридцать лет говна, тридцать лет подряд: «а пошел ты на ...», тридцать лет – в ебло, тридцать лет – под дых, тридцать смрадных лет, тридцать лет срамных. Тридцать лет не слыхал, что орут «атас», и платил за это глухим «alas»; а дела, как следствие, полный швах: весь мой капитал – седина в мудях, и, сколь ни дрочился, до сей поры не прошиб калганом в стене дыры. Подобьем баланс, подведем итог: сожрала свинья, – значит, выдал Бог. Неужель не ясно – еб вашу мать! – я уже вконец заебался ждать, когда мне намажут зеленкой лоб, да еще, видать, не готов мой гроб...

Мальчик Кай? по-моему, неплохо... только Герда из меня никакая. Погост остался далеко за спиной, но Анна, сосредоточенно глядя под ноги, до сих пор давила оцепенелыми глазами тлеющий окурок в понурой осенней траве, и Баринов попытался развернуть ее вспять ходу времени, от смерти к жизни: отчего ж никакая? Вам как, спросила Анна, в деталях? темные аллеи, блин... Знаете, невесело быть в шестнадцать лет некрасивой. Учились у нас две примы, все пацаны на них Богу молились. Вот я и решила: все равно их уделаю, раньше всех мужика попробую и буду самой взрослой, пусть завидуют, суки. На лице Анны обозначилось подобие косой усмешки: первый опыт вышел ни к черту – одноклассник, глаза дикие, ладони потные, подергался полминуты, как кролик, и все, никаких особых поводов для гордости, проще было пальцем расковырять. Бари-

нов вспомнил самого себя и беззлобно подумал: вот ведь курва, но тут же забраковал слишком простое определение. Недели через две на литературе надо было Блока наизусть отвечать, я с книжкой на школьном дворе «Скифов» вслух повторяла, а Виктор курил у поленницы. Послушал и говорит: говно стихи. Я фыркнула: много вы понимаете! Он объяснил: рассуди сама, девка, – на хрена кочевнику ломать коням тяжелые крестцы? ему конь первый друг. Подобрал с земли колун и ушел. Я сдуру навоображала семь бочек арестантов, короля в изгнании: такой умный, такой загадочный, – голос Анны прихотливо изогнулся сообразно вычурной девчачьей мелодраме, – ах! зачем я осчастливила недостойного?.. Еще через неделю был осенний бал, намахнули мы с девками в сортире кагора, и пошла я к нему в кочегарку: чем грязнее, тем взрослее. Он и послал меня по-взрослому. Потом зима, как-то все подзабылось, а на последнем звонке вышла я во двор покурить, а он там плачет. Жутко, все-таки, когда мужик плачет... я его обняла, вместе с ним разревелась... в общем, сбылась мечта идиотки. И понесло меня, – какие там планы, какой универ? на следующий день после выпускных перебралась к нему, устроилась на почту телеграммы разносить. Только места для меня в его жизни не нашлось. Он, если не работал, пил или читал, я пробовала вместе с ним пить, – вышло еще хуже. Как-то раз сказала ему спьяну: не ори, я тебя не боюсь, а он мне бритву к горлу – ссышь, когда страшно, дешевки кусок? так до утра и продержал по стойке «смирно», бритва и в самом деле страшная была, золингеновская... А потом угораздило меня залететь. И тут меня как осенило: на что же я жизнь трачу, на бухого придурка? ведь второй попытки не будет. Сделала тайком аборт, из больницы в тот же день сбежала, собрала вещи и уехала в Свердловск, на почте кое-как упросила уволить без отработки. В универе баллов не добрала, поступила в культпросветучилище. Что погиб, узнала только в ноябре, когда домой на праздники приехала, тогда и рукопись в прокуратуре выпросила. Знаете, манси делают человеку посмертную куклу, называется иттерма, у самоубийц она из тряпок. Я себя почувствовала такой куклой, – именно тряпичной. За что ни бралась, все из рук валилось. В училище выдержала полтора года, сходила замуж, но и того меньше продержалась – семь месяцев...

Анна перебирала гангренозные ошметки прошлого, как девочка перебирает коллекцию ярких импортных открыток, с отчетливым превосходством, – да прошлое и было единственным достоянием маленькой, невнятной женщины с глазами, в которых не отражается жизнь, добровольной заложницы трупа, погруженной в тягучий поток неспешного умирания. Баринову стало не по себе, и он спросил: манси – это тоже наследство Ермакова? Анна подняла голову: да, кое-что Виктор рассказывал, кое-что потом сама читала... Виктор говорил, что они больше нашего о жизни знают. Или, по крайней мере, раньше знали. Например? Например, Кононов, – для манси лысый мужик не мужик, таким не доверяют... Это Виктор вам рассказывал? Да, а ему рассказывал шаман... ну, не совсем шаман, – хранитель святого места, Таратов Николай Васильич. Виктора туристы в тайге за что-то избили, скорее всего, по пьянке, – зубы выбили, ребра сломали, почки опустили, в общем, постарались. Он в таком вот виде, поломанный весь да обоссанный, набрел на мансийский пауль – маленький поселочек, домов пять-шесть. Пока машину до города на трассе поймали, дня два прошло. Таратов возле него сидел, кормил брусникой в рыбьем жире, лечить пытался по-своему: боль высасывал через берестяной рожок, каким-то отваром поил, на плече татуировку сделал, сороку, – чтоб душу в теле удержать. Виктор потом к нему всегда захаживал, пока тот не умер, – спички приносил, керосин, сахар. Ветхозаветный был дед, даже косы заплетал... Стоп, сказал Баринов, а отчего вообще туда не уйти, раз все так гладко складывалось? Анна возразила: ничего там нет, одна пьянь гумозная, Николай-то Васильич был из последних могикан...

Средь темного леса червивым пеньком торчит узкоглазый кудесник. Христос ему по фиг, Перун не знаком: он инок торумов и крестник. Скажи мне, любимец замшелых богов... а впрочем молчи. Обойдемся без слов. Сквозь горький туман алатырской махры царапаешь взглядом дотошно. Ну что, изучил? Так сопи в две дыры, косой Нострадамус таежный. Ты, рума, таких не видал отродясь: чтоб сам себе мерин, и аспид, и князь. Подобный расклад – ты согласен, вогул? – прозрачней, чем водка в стакане, поэтому всуе тревожить тайгу ударами бубна не станем. Кой черт в беспонтовой твоей ворожбе? И так все понятно и мне, и тебе.

...а черновиков я у Виктора никогда не видела, писал сразу набело, без помарок, видимо, обдумывал подолгу. Если уж совсем переставало нравиться, вырывал страницу из тетради, в последний год только этим и занимался, перечитывал и рвал немилосердно, от девяноста шести листов половина осталась. День понемногу набирал силу, и небо, избавленное от снежного бремени, снова было высоким и бледным, и белая кисея на земле, устав притворяться зимой, распалась на лоскуты. Баринов попросил: можно рукопись посмотреть? и Анна отозвалась со сдержанным раздражением: что раньше-то не предупредили? она у меня дома, но немного погодя сказала примиренно: ладно, придется вас пригласить. Баринов вспомнил: вы говорили, он читал много, а что читал? Да все подряд, думаю, это у него с детства: куда идти-то, если дома плохо, на улице еще хуже? – летом в лес, зимой в библиотеку... сейчас налево и прямо, вот тут мы и жили.

Двухэтажные деревянные дома обступили их, как толпа калек на паперти, где убожество – знак отличия и сопричастности, где всякая хворь напоказ: и бельма полиэтиленовой пленки на выбитых окнах, и гнилые кости черных бревен в длинных продольных трещинах, и ревматические суставы заржавленных дверных петель. Во дворе обосновались помятые мусорные контейнеры, клейменные инвентарными номерами, дощатый сортир в облезлой скарлатинозной известке и хромые качели, – Баринов после двухлетних разъездов по губернии не удивлялся человеческой способности размножаться в любых условиях. Анна достала сигареты: загляните, если любопытно, пятая комната, я здесь подожду. Баринов толкнул дверь, обитую драным ватным одеялом.

В больном теле барака закономерно обосновался нездоровый дух мокрого белья, прогорклой пищи и помоев. Под потолком тлела лампочка, ее скаредного света хватало лишь на квадратный метр у входа. Тазы и рукомойники на стенах делали узкий коридор окончательно непроходимым, затоптанные половицы на каждый шаг отвечали досадливым ворчанием. Увернувшись от влажного лифчика, свисавшего с веревки, Баринов постучал в дверь с меловой цифрой «пять», и та приоткрылась. Комнату делили между собой печь из разобщенных кирпичей, кое-как скрепленных желтоватой побелкой, и древний диван, облаченный в заскорузлую клеенчатую кору; на нем лежала старуха, почти неотличимая от вытертой плюшевой жакетки, которой была укрыта. Старуха, разлепив коричневые веки, набрякшие тоской по медным пятакам, извлекла из горла длинный скрипучий выдох: это... кого? пожарники? Нет, ответил Баринов, и она заскрипела горестно и безадресно, подстать половицам в коридоре: Бог ты мой, батюшко-о, печки-то когда-а перелаживали, померзнем ведь...

Анна бросила окурок под ноги: как впечатление? Периферия вся одинакова, хошь «Терминатора» без декораций снимай, сказал Баринов; Анна явно не поняла вторую половину фразы, и он продолжил: там бабка каких-то пожарников требовала, – это о чем она? Анна растолковала: им недавно Госпожнадзор топить запретил, – печи аварийные, угроза возгорания, ну, куда теперь пойдем?

С утра Христос воистину воскресе. Но в каторжной гиперборейской веси всегда страстная пятница царит: железным терном всяк забор увит. С утра Христос – воистину? воскресе? Апрель портянкой небо занавесил и снежной перхотью присыпал грязь. Сосед бредет за водкой, матерясь. В помойке менструальная затычка – должно, заместо красного яичка, и у соседки осиянный вид: на кой ей третий, коли муж сидит? День вылеплен из глины диамата, но пасхой дурочка душа брюхата, и я опять ищу в стакане дно: авось, пресуществится в кровь вино. Да все черней в окне дыра пейзажа – наверно, туча иль на стеклах сажа. Портвейн – говно, и в комнате темно... Где жало твое, смерть? – да вот оно: где город распластался мертвой птицей, окутан неба серой плащаницей. И ангел воскресенья не трубит: он в дупель пьян, бескрылый инвалид.

...худой был, высокий, вечно горбился, – Анна запнулась, выбирая из реестра примет особые: ну, зубы выбиты, это я уже говорила, про татуировку тоже, руки и плечи все в шрамах. Я сперва решила, что вены вскрывал, – нет, от тоски резался, думал, полегчает... вот, пожалуйста, средняя школа номер пять.

Ребятня, подхваченная звонком, унеслась в классы, оставив на дворе ликующий и докучливый матерный визг; он без остатка растворился в прозрачном шелесте осени, и Анна сказала: все на своих местах, – вон кочегарка, вон дрова, и Баринов оседлал узловатый приземистый чурбан: здесь он сидел? Да, здесь, – голосу Анны пришлось добираться издалека потому что дневной свет иссяк сумерки скруглили изломы сгладили неровности и от поленницы уцелело темное ребристое пятно и черный квадрат школы вопреки канону насквозь прорезан прямоугольниками освещенных окон в соседнем доме окна жолты нет не жолты там перемигиваются елочные гирлянды и лабухи выворачивают наизнанку нутро магнитофона ка-ак прекра-аа-аа-сен этот ми-и-ир а с утра на линейке пацаны вразнобой ковыряли струны учитель нас проводит до угла и девки кобылы привязанные к белокочанным бантам выкатывали крупнокалиберные цыцки из кружевных передников такой же разнобой дурного свойства сусальная умиленным родителям на забаву игра переростков в детство и первоклассница приделанная к радостной и бессмысленной улыбке наотмашь трясла коровьим боталом и дядя Яша тряс нестругаными виршами своеручной работы ты! уходя! в счастливый! путь! родную! школу! не забудь! ага счастливый счастья там для вас целая помойка заготовлена всем хватит и лабухи нудно размазывают сироп и патоку посмотри-и-и вот лет через пять и посмотрим как этих нищих провели смех и грех но табачный дым царапает режет гортань и приторная музыка петляет путается в собственных извивах рушится навзничь и ноет ноет навзрыд панихидой в путь узкий ходшие прискорбный вси житие яко ярем вземшие и не удержать чинарь в прыгающих пальцах и не удержать в груди хриплый лающий не то кашель не то плач ебаный в рот да что же это? и твердые холодные ладони гладят виски и затылок и рядом дрожь перепуганного тела и дрожь выщербленного боязнью голоса не надо я то-же за-запла-чу-у и слезы на щеках перемешиваются с чужими и губы перемешиваются с чужими неловкими но настойчивыми солеными от слез – Баринов, пробившись к себе сквозь густые потемки наваждения, недоуменно посмотрел на переломленную сигарету в руке и зачем-то спросил: школа малокомплектная?

Они ушли со школьного двора; Баринов судорожно, ощупью пытался отыскать в себе поломку, которая на краткий строк наделила его беспощадным чужим зрением; чужим, но не чуждым, – это озадачивало ничуть не меньше. Шурша бумажными крыльями, прилетела фраза, давным-давно читанная в краснокожих дедовых фолиантах: шизофрения есть не расстройство интеллекта, но расстройство способности пользоваться интеллектом, и Баринов наспех проэкзаменовал себя, однако все окружающее сохранило прежние контуры и имена: осень была осенью, и женщина рядом была женщиной; ничто не указывало на причину сбоя, мир говорил привычным голосом, внятным и ровным, где не было ни боли, ни угрозы, и Баринов замер, настороженно прислушиваясь к работе механизмов внутри. Так продолжалось, пока Анна не указала на серую от времени брусовую избу, крытую новым рубероидом: а вот его дом, заходить не рекомендую, – и тогда перед глазами закачались высокие стебли крапивы и сумка доверху груженная хлебом больно резанула потную ладонь и на дороге по щиколотку в пыли пацаны собранные в круг считалкой в-на-шей ма-линь-кой из-буш-ки кто-то пер-нул как-из-пуш-ки лишь бы не заметили гады но гады заметили заметили считалка обрывается на полуслове ребя зырь фриц ползет круг рассыпается эршиссен и в спину летят камни и слова быстрее и тяжелее камней эй ты эсэс хенде хох фашист ебаный Гитлер капут бежать но поклажа тянет к земле хлебные кирпичи всеми углами бьют по ногам лишь бы крапивы не нарвали гады и радостное глумливое разноголосье сливается воедино не-миц пе-риц кал-ба-са! на-та-рел-ки ва-ла-са! ва-ла-са ше-ве-ля-цца! не-миц аба-се-ри-цца! мамка на счастье застряла жопой вверх на грядках а то опять лаяться начнет бросить сумку в сенях и забиться на чердак подальше от всех затеряться среди изувеченной утвари и разномастной рванины отдышаться возле полулунного слухового окна содрать с себя намертво прилипший барабанный ритм не-миц пе-риц тра-та-та сродни считалке про избушку тра-та-та-та... пердуны?.. и уже увереннее суки бляди пердуны обосрали все штаны и улыбка сквозь слезы сквозь частое сбитое дыхание – складно! – Баринов выволок себя из водоворота чужой памяти: виноват, не расслышал. Анна повторила: ну что, ко мне? Как угодно, сказал он, как угодно.

Первый позыв был немедленно попрощаться и уйти, укрыться в номере, но гостиничная дверь неважная защита от безумия, если это безумие, и уединение с самим собой не сулило умиротворения. Баринов пытался прочесть на известковом лице Анны отпечатки своих падений в никуда, но тонкие губы и парализованные глаза остались безучастны к нему, стало быть, не так все страшно.

Они шли рядом, почти касаясь друг друга плечами, но это не делало их ближе: между ними залегло стылое подземное молчание, оттого что апатичный ритуал вопросов и ответов был исчерпан, и оттого что чужая память обесцветила и обесценила и без того скудные слова, – а на те вопросы, которые Баринов задавал сам себе, заведомо нельзя было ответить словами.

В доме Анны пахло болотной сыростью, и Баринов понял: печка нетоплена, и понял: без нее топить некому, и сказал: вы, значит, одна живете? Одна, мать к отчиму в Серов перебралась, дом мне оставила. И не трудно одной? Ответ был предсказуем: по-другому – еще хуже, чаю хотите? Пожалуй, хочу. Сейчас, – Анна расстегнула ворот джинсовой рубашки; под горлом скользко блеснула серебряная монета с двуглавым орлом. Анна нашла на себе взгляд Баринова и объяснила: на иттерма должна быть монетка, иначе покойник станет злым духом; ее упрямое и наивное язычество уже не удивляло. Она взяла с книжной полки растрепанную тетрадь: вот, пожалуйста, а я чаем займусь.

Тетрадь населяли зубчатые строки, похожие на нервный и неровный след кардиографа; остроугольные литеры жили отдельно от клетчатых, в неопрятных пятнах, листов, переламывались и пульсировали. Одну из страниц наискось рассекала приписка, лишенная знаков препинания: тем хуже для куска дерева если он осознает себя скрипкой Рембо; «тем хуже» было подчеркнуто, жирно и дважды, и в конце нижней черты карандаш насквозь пропорол бумагу.

Анна на кухне гремела заслонкой, начиняя топку дровами. Баринов вернул тетрадь на место, перебрал книги на полке и вынул ту, что была в истертом матерчатом переплете, с оторванным корешком, и прочел на желтом титульном листе: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа и ниже: попечением Священного Синода, СПб, 1912. Наугад открыв страницу, Баринов вслепую провел по ней пальцем, – детская привычка гадать по старым книгам всегда была при нем, – и прочел: Я есмь воскресение и жизнь; вослед знакомым словам Иоанна нагрянули незнакомые и пугающие: но мыслимо ли воскресение без смерти? Чужое зрение вернулось обновленным, теперь невозможно было положить предел между ним и собой, потому что круглый стол у окна был столом, и окно в грязных потеках было окном, но книга упорно настаивала: мыслимо ли?.. Баринов поспешно пролистал ее от конца к началу и остановился на пятой главе Матфея, жестоко вцепившись глазами в Нагорную проповедь: прокляты нищие духом, ибо ничего не несут в мир, кроме собственного убожества; прокляты алчущие и жаждущие правды, ибо сегодняшняя правда завтра наречется ложью, а злодеяния во имя ее уже совершатся; прокляты кроткие, ибо только смирением прирастает беззаконие; блаженны воздающие кесарю кесарево, ибо все стремятся воздать кесарю Божье; блаженны дающие камень вместо хлеба, ибо вовек не познают неблагодарности; блаженны одинокие, ибо не вкусят ни унижений рабства, ни отравы господства; блаженны проклинающие, ибо немногое под солнцем достойно благословения...

Анна принесла с кухни себя, заключенную в скорлупу натужной любезности, и тарелку с толсто, неряшливо нарезанными бутербродами: скоро закипит, что читаете? а-а, это бабкино, Виктор тоже его читал, когда мы сюда приходили. Баринов заглянул в книгу, – рядом с Анной евангелист возвратил нищим и кротким изъятое блаженство. Он поднялся: извините за беспокойство, я пойду, и Анна сказала: не смею задерживать.

...и булыжный гнет внезапного забытья где оплывшее пасмурное небо стекает в беззвучную непроницаемо серую реку зажатую между утесами и на покатых плечах тяжелых волн переваливается узкая как лезвие лодка и на крутых плечах прибрежных скал медвежьей шкурой лежит мохнатый ельник и кто-то спиной к тебе налегая на весло пишет договор челнока с течением и черная птица чертит в небе круг за кругом и сонные толчки воды и глухие тревожные толчки

сердца и гребец поворачивает лицо изувеченное шрамом злобной ухмылки и голосом острым как вороний клюв граненым как вороний клюв выкрикивает то ли пророчество то ли проклятие темные древние слова камнем тянут ко дну и безотрадное пробуждение среди обломков разрушенного сна в мутных волнах сумерек затопивших комнату с затхлой горечью во рту и ломотой во всем теле в мутных волнах вязкой неисцелимой тоски что ломает засовы и скрепы воли дотла разоряет душу корежит тело не оставляя места ничему кроме самой себя кроме оголтелого отчаяния оно расплывается в воздухе и каждый вдох отравлен им встает из тени на краю гаснущего дня и каждый взгляд затуманен им изо всех щелей сочится его скорбный зловещий и зловонный шепот но незачем зажигать лампу все равно глаза изнутри застит предвечная мгла...

Вены лезвием бредят... Как дожить до утра? Разум сумрачно цедит: может, вправду пора? От рожденья до гроба плещет черная боль, и поди-ка попробуй переплыть ее вдоль... Бесполезны молитвы, плакать настоебло, – пусть опасная бритва расправляет крыло.

В приоткрытую дверь поползла полоса жидкого света и следом за ней – голос вахтерши: ой, а чё это, нет никого? а чё это вы в темноте? вас к телефону, межгород. Из трубки плыло низкое, грудное легато: Ро-омка, ми-илый, где пропал? – речь плавилась в певучей истоме: назад скоро? а шишку привезешь? и он кое-как вылепил мешкотный пластилиновый ответ: я не знаю... Рома, ты в порядке? что с тобой? и он повторил, на сей раз тверже: я не знаю, и добавил: но к этому быстро привыкают, и еще тверже придавил пальцем рычаг телефона, будто поставил точку.

Где-то внутри несбывшиеся, бестелесные слова норовили сплестись в смутный ритм, назвать происходящее по имени, но они не давались в руки, расползались в пальцах, подобно ветхой ткани, и опознать удалось только отточенное золингеновское «нет». Но отрицающий обречен на отрицание, он чувствовал, что отделен от самого себя: вчерашнее золото поблекло, стало мятой фольгой, и вчерашний звон истощился до глухого шороха, – признаки прежней жизни обернулись призраками, враждебными нынешнему, подлинному порядку вещей. Выморочная память о них показалась никчемной, как давешняя девочка с раздавленным черепом. Обугленный отчаянием, он был способен только на отвращение, которое стало его единственным достоянием, единственным мерилом всему.

Вернувшись в комнату, он щелкнул выключателем; из зеркала на него пролилось смазанное лицо, согласное на любые очертания, и он коротко, без замаха ударил по нему кулаком. По амальгаме побежала сложная, перепутанная паутина трещин, раздробленный двойник шатнулся куда-то вглубь. Он, стряхнув с пальцев кровь, пробормотал: тебя мне только не хватало, обмылок, – отвращение требовало иных голосов и иных лиц.

Анна обитала в полумраке, вне пределов светлого круга настольной лампы, – она лежала на диване, вытянув из-под джинсовой рубашки голые и аккуратные, как у фарфоровой статуэтки, ноги. Рябой домотканный половик был засыпан табачным пеплом, рядом с диваном стояла наполовину пустая бутылка коньяка. Хули приперся? хули еще тебе надо? – Анна была тяжело и тупо пьяна, меловое лицо окончательно выцвело, прочно вросло в грязно-желтую тень, короткие пряди черных волос на лбу склеились от холодной, это чувствовалось, испарины, – может, тебе еще пизду показать? я покажу. Он вспомнил истошный визг цыганки и подумал: вот уж точно, волчица некрещенная, рувны биболды, а вслух сказал: за языком следи, ладно? Взяв бутылку, он устроился в изножье дивана и неспешно, вдумчиво глотнул из горлышка, раз и другой; рот наполнился приторным жжением. Пачка «Столичных» на полу оказалась пуста, и он попросил: дай сигарету. Анна слизнула с верхней губы мелкие капли пота: выеби Свету. Он искоса глянул на Анну: совсем обурела, лярва? Из глубин пьяного отчуждения посыпался беглый, надменный смешок: только не ногами, Вася, только не ногами. Он сгреб в горсть джинсовый ворот и рывком вздернул перед собой маленькое, невесомое тело, лишая его опоры, и крест-накрест, почти равнодушно хлестнул Анну по щекам. Теперь она смотрела на него снизу вверх, с напряженным, болезненным любопытством не к нему, а к чему-то в нем, и он ударил снова. В глазах, лишенных

глиняной корки, влажно заблестела оливковая зелень, и Анна улыбнулась ему – победно, как третьего дня на похоронах. Она повисла у него на губах, до крови впилась в них, заполнила собой все его впадины, жадно потянула вниз, распахнулась и расступилась, и он уступил нежданной и ненасытной тяжести.

Он долбил ее люто, как долбят ломом мерзлый грунт, истязал безжалостными пальцами заостренные луковичные груди, выдирая из них сморщенные соски. Анна, захлебываясь долгожданной болью, блаженно жертвовала ему свою наготу, отвечала на каждое движение трудным, клокочущим выдохом; глаза ее окунулись в одичалую муть, тонкие губы в кровавых мазках дрожали и кривились, разбросанные руки комкали половик, – пока она не выгнулась, не затвердела, не превратилась в мокрый протяжный хрип, в долгую судорогу.

Он уронил себя на пол и долго лежал, уткнувшись в ладони, не желая видеть ничего, кроме темноты под веками, а когда пожелал, привлеченный недвижимой тишиной рядом, на него надвинулись детали: заросшая подмышка, скрученный волос возле бледного, опавшего соска, опрокинутая бутылка в темной коньячной луже. Он сказал: подъем, штрафная рота, но Анна не ответила. Он приподнялся на локте и увидел липкую пену в углах перекошенного рта, нищие, обессмысленные глаза и землистую черноту под ногтями и сказал, не осязая ни сожаления, ни беспокойства: вот, значит, как.

Работа жизни, ненужная и бесплодная, будто семя в мертвом лоне, завершилась, и фарфоровая плоть обмякла, и Анна сделалась тем, чем мыслила себя, – тряпичной куклой. Ее новая, матерчатая белизна, укрытая лишь крыльями серебряной имперской птицы, плоско расстелилась в пестрых складках смятого половика. Ну вот, девка, сказал он, все по-твоему вышло, все по-твоему...

...и в уличной темноте бродит и бредит ветер тугой как удар бубна и лимонный круг фонаря мечется из стороны в сторону и вместе с ним бабочками мечутся сухие листья теперь и ты будешь затравленно метаться в кольце когтистой проволоки где все живое давится собственной гнилью где возлежит пустоглазая самка исторгшая из себя смерть мертвая и беременная смертью слепая и немая но всевластная Йоли-Торум-Шань матерь этого мира что проку возиться с ледышками? вот она вечность и тьма изнуренная ветром не выдерживает рвется и в облачных лоскутьях скалится наголо обритая луна жестяное солнце этого горького горше алатырской махры мира где поневоле блаженны одинокие блаженны проклинающие и к лицу прирос волчий непримиримый оскал благодарно принимать? да барал я в грызло вашу веру и вашу совесть! но уничтожить падаль можно только вместе с самим собой йир кровавая жертва тягостный выбор между смертью и смертью однако смерть смерти рознь восходящие да идут своим путем нисходящие да идут своим путем дело за малым стиснуть эту уверенность в себе как в кулаке торум ёт отыр ёт вместе с Богом вместе с богатырем в клубящийся поток ветра унести сквозь кривые переулки сквозь колючку к дальней реке что течет на север к благословенной реке куда впадают все реки куда можно войти лишь однажды...

Сергей СЛЕПУХИН

О прозе Александра Кузьменкова

Есть с юности усвоенная формула: судьба по отношению к писателям неблагосклонна и капризна, серьеньких она балует, ярких – обижает. Первые успехи зависят от случая, благоприятной конъюнктуры, или от того и другого одновременно. Считается, что признание к большому писателю обязательно приходит посмертно. Но исключения – на то они и исключения – все же бывают. Пример тому – пока мало кому известный Александр Кузьменков, живущий в глубинке, Сибири, Братске. Случилось чудо: ознакомившись с рукописью Кузьменкова, издательство ***Franc***-Tireur USA в небывало короткие сроки выпустило том избранной прозы сибиряка и выразило намерение продолжить сотрудничество. Вот так Александр Кузьменков занял место в ряду признанных литераторов – Андрея Назарова, Сергея Юрьенена, Александра Мильштейна, Николая Пырегова, Владимира Загребы, Александра Иванченко, Олега Разумовского, Александра Иличевского.

Выпущенная книга называется «День облачный». Что же в ней такого волшебного, и в чем своеобразие прозы Кузьменкова? Сила его таланта – не в гладкости, не в изяществе, а скорей в мастерском препарировании и тонком понимании человеческой души, столь уязвимой и уязвленной в наше лукавое время. Антитеза добра и зла, темного и светлого в человеке – только она интересует писателя. Напряжение между этими крайностями, этими полюсами внутри нас, делает героев Кузьменкова такими, какие они есть. Мы не только одно, мы еще и другое, мы свет и тьма, война и мир, опыт и неведение. Все это в нас течет медленно и непрерывно, перемешивается, сталкивается, вспыхивает внутри, на секунду освещая мрак преисподней. «Мы мёртвый человек / такой каким мы был / никто и никогда ни присно ни аминь», – как-то обронил поэт Александр Левин, и это можно было бы сказать обо всем, что вышло из-под пера Кузьменкова.

Человек без всякой роли – ничто, но и человек, полностью вросший в роль, тоже лишен способности к жизни, он лишь существует по воле рока. Жизнь – столкновение с собственной ролью, соизмерение с нею внутреннего «я», отчаянное сопротивление.

Тягостное впечатление вызывают пейзажи провинциальных городов, вроде уездного Бахмутова или зэковского Ивделя, в которых в разные времена и происходят истории, составившие «пасмурные хроники» книги.

У Кузьменкова каждый из героев «получает свою роль» в искривленном, сдавленном, искаженном пространстве зла. Все пожирающие тучи, мелкие дожди, «нудные, как бормашина»; темнота, делающая плоскими дома, деревья, людей. Мрак, упрощающий все живое «до черных двухмерных силуэтов», теней в аду. Аввакумовский горький вздох: «Выпросил у бога светлую Россию сатона...»

Герои новелл Кузьменкова испытывают непрекращающийся страх перед ответственностью за свою жизнь, страх перед неудобной ее сложностью, перед угрозой капитуляции. Самурайский меч, случайно попадающий в руки одного из них, рождает в человеке искушение почувствовать себя властелином собственной судьбы и вершителем других судеб. Неразличение добра и зла внутри себя приводит героя к закономерной гибели. Он оказывается лишь одной из пружинок адской шарманки, но отнюдь не рукой, приводящей сложные механизмы в движение.

Способность человека к самоопределению, самоидентификации, а, соответственно, умение правильно соизмерить себя с уготованной роком ролью – сквозная тема прозы писателя. Есть разные роли и разные сценарии. Иногда, как, например, Сергей Лавров, герой рассказа «Красный Хутухта», ты придумываешь себе алиби, стараешься отрешиться от всплывающей в памяти

бойни минувшей войны и от мракобесия, переживаемого в настоящем. Успокаиваешь себя тем, что предназначено тебе во что бы то ни стало закончить ценный научный труд, ибо постигаешь ты тайные смыслы добра и зла в экзотическом буддистском вероучении. Добро и зло для тебя существуют исключительно как абстрактные категории, ты уверен, что все глубже и глубже погружаешься в вековую мудрость, но оказываешься неспособным увидеть мрак, рождающийся рядом с тобой, и противостоять ему.

Точечные мутации в душах героев Кузьменкова происходят как-то сами собой, нередко люди неспособны почувствовать, в какой момент аспид поселяется в их сердцах, понять, что приоткрыли темным силам дверцы души. Отсюда неумение сделать правильный выбор. А что есть выбор, что есть поступок? Суицид – это поступок или проявление безволия? Одни, как, например, Андрей из «Дурдома», слишком поздно признают слабостью произошедшее с ними. Другие, как Виктор Ермаков в «Эксгумации», приносят себя в жертву, ибо обнаруживают, что тьма поселилась в душе, и нет другого способа борьбы. Бессмысленно ли жертвоприношение? Вопрос остается открытым. В рассказе «Красный Хутухта» дьявол через пенсне чекиста Нестерова, фокусируя зло в призме, разлагает живое до праха, до небытия. Но у противника Нестерова не находится собственной линзы, которая была бы способна вернуть жизни изначальную цельность. Отчуждение героев от их «я» объясняет право зла мигрировать везде и повсюду. «Серфинг» становится отличительным художественным приемом автора: имена, судьбы, личины перемещаются в пространстве и времени. Образ кривобокого дерева постоянно возникает в историях «Бахмутовских хроник», хотя между самими историями пролегают целые столетия. «Достоевские», «Шаламовы», «Сергеи Лавровы» перестают быть отличительными знаками конкретных судеб. Имена отклеиваются от прежних обладателей и перемещаются в поисках новых хозяев, раздавая им роли. Так пишется сценарий фатума. И пишется этот сценарий отнюдь не героем. Мы назвали героя героем, но это не так: человек лишь персонаж в «чужой игре», каким он оказывается в одноименной новелле Кузьменкова. В ней на экране телевизора невидимый режиссер разыгрывает эпизоды прошлого и финал судьбы зрителя. И только ему, режиссеру, дано право выбрать жанр постановки – комедия или трагедия...

«Своевременно», – так коротко отозвался о прозе Кузьменкова Сергей Юрьенен. Вы согласны? Нет? Ну, тогда достаньте из кармана пригоршню нейролептиков и антидепрессантов. Вот тогда-то тучки и рассеются, «дурдом» засияет фальшивым гламурным глянцем, черная жаба выпрыгнет из подреберья, а часы вместо «28.32» покажут не подлежащее сомнению «6.30». В вашем родном Бахмутове настанет «мутный белесый рассвет», как доктор и прописал.

Сергей БОРОВИКОВ

В русском жанре - 38

* * *

Очень давно, едва начав читать толстые книги, я задался вопросом: почему одни писатели нумеруют главы арабскими, а другие римскими цифрами? Почему одни прибегают к делению текста на части, тома, книги, а другие нет?

Ответа не нашел. Можно было бы начать приводить примеры, но совестно – каждый ведь может взять и сравнить, хоть Толстого, хоть Достоевского, хоть кого хошь.

* * *

К своим очень смешным рассказам Пантелеймон Романов вызывающе не затруднялся подыскивать заголовки.

«Крепкий народ», «Нераспорядительный народ», «Дружный народ», «Мелкий народ», «Терпеливый народ», «Гостеприимный народ»;

«Хороший комитет», «Хорошая наука», «Хороший характер», «Хорошие места», «Хороший начальник», «Хорошие люди»;

«Плохой председатель», «Плохой человек», «Неподходящий человек», «Плохой номер», и т.д.

Есть ли у нас серьезные работы по заголовкам? Я когда-то интересовался этим (начал с Лескова, крайне изобретательного не только в заголовках, но в определении жанров своих сочинений), но, как обычно, забросил. А ведь название много говорит о сути писательской. А еще – «Как вы яхту назовете, Так она и поплывет». По воспоминаниям Бунина, Леонид Андреев заставил М. Горького исправить название первой его знаменитой пьесы «На дне», которая первоначально именовалась «На дне жизни». Сам Андреев иногда импрессионистски резок и практически изобретателен: «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных», «Конь в Сенате», «Предстояла кража», «Рассказ, который никогда не будет окончен», «Тот, кто получает пощечины», но чаще неизобретателен. Горький же явно не трудился над названием: у него есть 4 «Жизни...», 5 «Рассказов о...», 21 текст просто «О...», 3 «Случая с...», есть, правда, неожиданный «Город Желтого дьявола». Бунин, кажется, почти, как и Горький, равнодушен к названию. Ведь редко-редко – загадка, вроде «Петлистые уши», «Я все молчу», но фокус в том, что очень часто предельно простое – «Господин из Сан-Франциско», «Солнечный удар», оказывается многомерным. В этом он как бы следует Льву Толстому. У А. Куприна яркие названия наперечет: «Механическое правосудие», «Запечатанные младенцы» вот и все.

Все они учились у Чехова, а он?

У Антона Павловича, как и в его «свадебной» Греции, всё есть. И бесконечные «В...», бесчисленные заголовки – краткие существительные или имена героев. Но зато есть и «Анна на шее», «Весь в дедушку», «Володя большой и Володя маленький», «Герой барыня», «Глупый француз», «Женщина с точки зрения пьяницы», «Живая хронология», «Забыл!!!», «Идиллия – увы и ах!», «Интеллигентное бревно», «Контрабас и флейта», «Кухарка женится», «Лошадиная фамилия», «Мошенники поневоле», «Невидимые миру слезы», «Пересолил», «Разговор человека с собакой», «Скрипка Ротшильда», «Спать хочется», «Стража под стражей», «Толстый и тонкий», «Умный дворник», «Человек в футляре» и др. – бесконечно!

Вот Достоевский – тут уж и поиски, и находчивость, и ерничанье, почти неприличное – «Чужая жена и муж под кроватью», и дерзость почти безумная – кто бы еще мог назвать роман – «Идиот»?!

А Гоголь... одним только (хотя есть и «Нос», и «Вий»), одним только «Мёртвые души»! – поставил рекорд непобиваемый!

* * *

«Писать не хочется, да и трудно совокупить желание жить с желанием писать» (Чехов – брату Александру 15 апреля 1894)

* * *

«Сердито, по-хохлацки, поглядел» (А. Чехов. В родном углу)

* * *

«...существо узкое, пьяное и злое» (А.Чехов. Муж)

Это – уже из Достоевского.

* * *

В рассказе Чехова «У знакомых» меня очень поразили строки «С неумением брать от нее (от жизни – ***С.Б.***) то, что она может дать и со страстной жаждой того, чего нет и не может быть на земле». Когда узнал, что они записаны им на телеграмме и потом включены в рассказ, понял, что они настигли его, как откровение.

* * *

Случалось, он использовал чужое. Все помнят мальчика Паву из Ионыча, который по велению хозяина «А ну-ка, Пава, изобрази!»» на потеху гостям трагическим тоном– «Умри, несчастная!». А вот глуповатенький Капитон из комедии Островского «В чуждом пиру похмелье»: «Представь что-нибудь нам... Капитон Титыч (трагически) Изумлю мир злодействами, и упокойники в гробах спасибо скажут, что умерли!»

* * *

«За границей пиво удивительное. Кажется, будь такое пиво в России, я спился бы». (Чехов – сестре из Милана 29 сентября 1894)

* * *

«Николай Андреевич Капитонов, нотариус, пообедал, выкурил сигару и отправился к себе в спальную отдыхать. Он лег, укрылся от комаров кисеей и закрыл глаза, но уснуть не сумел. Лук, съеденный им вместе с окрошкой, поднял в нем такую изжогу, что о сне и думать нельзя было. Не надо в другой раз лук в окрошку класть, а то околеешь от этой изжоги». (А.Чехов. От нечего делать).

Или скверная кухарка была у нотариуса, или великий писатель не всегда в ладу с русской гастрономией, что, впрочем, отмечал и сам В.В.Похлёбкин.

Окрошку без лука приготовить нельзя, но изжогу в правильно приготовленной окрошке лук никогда не даст. Потому что его следует не бросать живьем, просто порезанным, но очень долго,

до посинения и лука и того, кто его растирает, растирать вместе с солью, пока не образуется от огромного пука лука небольшое количество пенистой сопливой кашки. Вообще приготовление окрошки требует любви к ней, большого терпения и тщательности. В последние годы докатились до того, что заправляют окрошку колбасой!

А из классической литературы мы можем узнать, что для этого употреблялся сухой белужий бок или вяленый судак, в любом случае сушеная речная рыба. И сейчас, не оскорбляя себя и окрошку колбасою, следует купить воблы, желательно настоящей астраханской, что и пожирнее, но вместе с тем посуше, пожестче, изрезать ее узкими ломтиками, и замочить в небольшом количестве кваса хотя бы на часик. Квас, разумеется, лучше готовить самому, но ладно. Еще секрет правильной окрошки в том, что, отделив в сваренных яйцах желток от белков, белки следует мелко покрошить, а желтки, в фарфоровой посуде, долго растирать с горчицей, постепенно ее подбавляя.

А еще обязательно и ни в коем случае не следует пренебрегать редисом, каковой нужно натирать на терке, пересыпать солью, отчего он даёт обильный шипучий сок.

А не следует класть в окрошку ни свеклы, ни моркови. (Холодный свекольник – отдельное самоценное чудо.) А вот свежие огурцы обязательно, причем или мелко резать или даже на крупную терку.

И – последнее! Никогда не следует делать окрошку только на одном квасе, но непременно смешав его примерно в пропорции три к двум с кефиром! Ну и петрушкой посыпать, конечно, укропчиком.

А перед самою подачею, уже в налитую тарелку подложить ложку-другую тертого хренку со сметаною и побросать льда. Эх!

* * *

У т е ш и т е л ь н ы й. Да ведь сыр, почтеннейший, когда хорош? Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой, – вот где его настоящее значение. Он всё равно, что добрый квартермистр, говорит: «Добро пожаловать, господа. Есть еще место». (Н. Гоголь. Игроки).

* * *

В последнее время все большее внимание к Александру III.

Мудрено ли!

Положительным цифрам места здесь не хватит. Нехорошо, правда, что обязательно всё у нас с подтекстом. «Патриоты» – с обожанием, потому что инородцев гонял, евреев не любил, с Европой свысока изъяснялся. «Либералы» с неприязнью по той же самой причине.

Но что ни говори, бурный экономический рост, общий, редкий для России политический покой что-нибудь да значат.

А самый бессобытийный классик русской прозы – это Чехов.

А что если так.

Когда-нибудь в русской истории имена писателя Чехова и императора Александра III будут связаны неразлитно.

Разве весь Чехов – не свидетельство всепоглощающего ощущения стабильности (или застоя), покоя (или скуки), предчувствия грядущих перемен (потрясений), которым отмечен уникальный для России период правления царя-миротворца?

Оговорюсь на всякий трусливый случай прежде всего в том, что никоим образом не собираюсь апологетизировать царя и установившийся при нем порядок. Народ зря прозвищ не давал, и миротворцем Александра Александровича прозвали не только за отсутствие войн (в Средней Азии повоевали и результативно), но за общее ощущение мира, отсутствие явных реформ, резких движений и проч.

Разве мир Чехова не иллюстрирует именно это ощущение мира, лишенного движения? Не будет конца примерам – напомним лишь «самый» – «Трех сестер» – героев и ситуаций с настроением куда-то двигаться, бежать к какой-то настоящей жизни. А какая эта другая жизнь? Куда и зачем они собираются уезжать, если и там, куда они сбираются, то же самое – т. е. стабильное, почти без намека на «перемены» «безвременье».

Если взглянуть на большинство повестей, рассказов и пьес Чехова с заявленной мною точки зрения, то станет очевидна конгениальность его сюжетов, идей, а главное поэтики, эпохе Александра III. Ну, скажите, можно ли было в другие времена написать немалую повесть о том, как некий петербургский чиновник поселяет у себя даму, а когда она ему надоедает, переезжает на другую квартиру, сообщив ей при этом, что находится в служебной командировке. (Не знаю, почему мне пришел на ум именно «Рассказ неизвестного человека»).

Конечно, таков не только Чехов, но и та современная ему литература – Лейкин, Потапенко, Щеглов и проч,, которую он с невиданной скоростью и силой перерос.

* * *

Для Саратова имя Алексея Петровича Боголюбова не чужое – основал здесь Радищевский музей и художественное училище. Входящих в музей встречает портрет роскошного могучего седобородого старца работы И.Е.Репина, младшего товарища Боголюбова. В экспозиции много его работ.

И все же не ошибусь, если скажу, что даже интеллигентному саратовцу известно о великом земляке (Алексей Петрович родился в Кузнецком уезде Саратовской губернии – ныне это Пензенская обл.) две-три строки: внук Радищева, маринист, передвижник, основатель музея. Более того, и большинству искусствоведов могло быть еще знакомо разве что его многолетнее пребывание во Франции? да как следствие его – прививка барбизонской школы к русскому пейзажу.

Не странно ли: ведь передвижник! Но в советской литературе о передвижниках имя Боголюбова очень часто оказывалось в «и другие». Тенденция эта сильна даже в изданной в перестроечные времена книге главного исследователя передвижничества Фриды Рогинской «Товарищество передвижных художественных выставок». Ключ отыскивается в примечательной оговорке исследователя: «Даже те из передвижников, которые по происхождению не принадлежали к разночинцам, как Клодты (бароны) или Мясоедов (дворянин), по образу своей жизни и по самосознанию принадлежали к трудовой интеллигенции». Ну, и далее он естественно выступает как «сложная и противоречивая фигура» с соответствующим выводом: «В то же время деятельность Боголюбова, способствующая развитию демократического искусства, сочеталась с его верноподданнической привязанностью к царствующему дому».

Да что там привязанностью! – тесною дружбой с Александром III, которая позволила царю пошутить в собственноручно написанной поздравительной телеграмме Боголюбову по поводу открытия в Радищевского музея:

«Благодарю сердечно за телеграмму и радуюсь освящению Радищевского музея, которому от души желаю успеха и процветания на пользу художества и искусства в России. ***Саша***».

Вообще угрюмый на портретах царь не был чужд юмора.

Когда Оболенский доложил Государю о предложенном обеде в честь моряков в Большом Петергофском дворце и спросил, провозгласит ли Государь только тост в честь эскадры или скажет речь, то Государь ответил, что будет тост за Францию, за адмирала и эскадру, на что Оболенский доложил, что в таких случаях по этикету следует играть гимн, и Государь ответил, что так и следует поступить. «Но, Ваше Величество, это Марсельеза». – «Но ведь это их гимн, значит, его и следует играть». – «Но, Ваше Величество, это Марсельеза...» – «Ах, князь, Вы, кажется, хотите, чтобы я сочинил новый гимн для французов; нет уж, играйте тот, какой есть».

Вот в связи с Боголюбовым и Александром записи из дневника Госсекретаря А.А.Половцева.

«Вечером прогулка по Неве с Боголюбовым, который, живя во Франции в Париже, влюбился в тамошние учреждения по части изящных искусств и предлагает немедленно уничтожить все у нас существующее и ввести то, что существует во Франции. Как это легко и какие тут были бы последствия». Почти постоянно живя в Париже, Боголюбов был своеобразным культурным атташе России во Франции, много помогая русским художникам.

«Завтракать приходит Боголюбов и рассказывает, как был на днях у государя, по обыкновению завтракал там и после завтрака излагал свои мысли о реформе Академии Художеств. Уговаривал он государя купить коллекцию Шпицера, но это, кажется, не удастся. Государь выразил ему желание увидеть фотографии, снятые с этой коллекции, кои я и послал ему немедленно.

«...подходит государь, подтверждает, что считает оконченным дело о покупке коллекции Базилевского; выражает опасение, чтобы не произошло какого-нибудь спора или недоразумения. Заверяю, что присутствие Боголюбова служит достаточным обеспечением»

«10 июня 1886. Приезжает завтракать Боголюбов. Весьма обиженный тем, что он представлял в Петергофе вчера государю свою картину «Открытие морского канала». Государь был очень мил и любезен, как всегда, а Владимир Александрович, увидав картину Савицкого, сказал: «Какая дерзость представлять государю пьяных солдат». Императрица и Елизавета Федоровна старались пред Боголюбовым смягчить резкость этой выходки».

Картина Савицкого – «На войну» изображает сцены проводов на вокзале рекрутов на войну против Турции.

Заметим, что Владимир Александрович – великий князь, сын Александра II. Елизавета Федоровна – принцесса Гессенская. И она, и царица извиняются перед живописцем за поведение брата царя!

* * *

Странные у меня случались «догадки».

Когда-то написал я пародию «С «Веной» в венах» на книгу Олега Михайлова «Куприн» в ЖЗЛ (1981). Там была сцена, где пьяный Куприн и Алексей Толстой на лихаче едут к девкам. И Толстой спрашивает: «А И., а ты больше с одной или двумя больше любишь?» На что Куприн отвечает: «Щенок! С тремя!»

И вот в недавно опубликованном дневнике Ф. Ф. Фидлера читаем: «Потом он (Куприн) сказал, что любит иметь дело с двумя женщинами одновременно. Владея одной, он целует и ласкает другую, лежащую рядом» (Ф. Ф. Фидлер. Из мира литераторов. – М.: Новое Литературное Обозрение, с. 386). Нет, в самом деле, бином Ньютона я, конечно, не открыл, но как в мою дурацкую башку в 1981 году прилетело почти именно то, о чем Фидлеру рассказывал Куприн в 1904-ом?

* * *

Вспоминается и хорошее. Как-то году в 72-75, в журнале «Волга», была очередная «большая» редколлегия. Состав ее был тогда обширен – от Кирова до Астрахани, от Калинина до Волгограда, от Ярославля до Пензы, От Костромы до Куйбышева, да еще Татария, Калмыкия, Чувашия, Мордовия, Мари, тогда еще без Эл. После редколлегии, естественно, состоялось «товарищеское застолье». Оно проходило в большом кабинете ресторана речного вокзала. Среди приехавших членов редколлегии была Маргарита Константиновна Агашина из Волгограда. По завершении банкета, который состоялся на втором этаже, спускаемся – мне как бы поручили ее сопровождать, или я сам нашелся – не помню, спускаемся по лестнице, и вижу среди оркестрантов своего приятеля саксофониста Юру Колчина... Извинившись, я обогнал Маргариту Константиновну и шепнул Юрке, что эта пожилая женщина – автор «А где мне взять такую песню», и пока я возвра-

щался к Агашиной, саксофон уж мягко загудел всем известную мелодию, а следом встал и заиграл и оркестр. Как тихо радовалась она, как приятно было мне.

* * *

На днях по телефону между прочим один очень известный современный беллетрист сказал мне, что разочаровался в Гоголе, прямо так и сказал: обнаружил я, что писал-то он не очень...

А у меня как раз был открыт 2-ой том, начало, там, где о ленивом времяпрепровождении Тентетникова: «...он глядел вместо того на какой-нибудь в стороне извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын – разумеется, птица, а не человек; он глядел, как этот мартын, поймав рыбу, держал ее впоперек в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и глядя в то же время пристально вздоль реки, где в отдаленьи виден был другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу».

Что это? Что-нибудь чуть близкое к этому можно встретить у другого русского писателя? Помещик отворачивается от зрелища покоса его лугов и глядит на чайку с рыбой в клюве, которая в свою очередь пристально глядит на другую чайку, еще не поймавшую рыбы, которая пристально же глядит на первую чайку.

Даже авторы «Записок охотника» и «Обыкновенной истории» едва приближались к ничем не замутненной эпичности, не искривленной сколько-нибудь «идеей», по выражению Лескова (в «Железной воле») «не свободной направленческой узостью»...

* * *

Утомленная совесть нежно с телом прощалась.

Евгения ИЗВАРИНА

Путь «искренность – правда – истина» в поэзии Максима Анкудинова: первое приближение

Я жду сверхчистоты...
М.А.

Сегодня, как, впрочем, и во все времена в окололитературных дискуссиях живо обсуждается проблема эволюции (революции, мутации), короче говоря, насущного и сущностного преображения современной поэзии – ради ее просто-таки видового, физического выживания в нашем бездуховном мире.

Делать что-то надо, все с этим согласны. Но ведь и поделать-то нельзя ничего! Критикам, литературоведам, филологам, хранителям либо реформаторам языка, то есть, тем, кто как раз и задается апокалиптическими вопросами, – им-то роль отведена по определению пассивная, созерцательная и сострадательная. Действуют же – носители языка. Малые и великие человеческие общности и сообщества – говорят, литературно одаренные единицы (поэты, прозаики, драматурги) – пишут. Внешне – облекая речь в художественную форму, по сути – даря «тем же самым» словам новую жизнь, волшебные свойства, возможность нетривиальной судьбы. Те же слова – да не те. Литература, понимаешь... И вот, всем вроде бы сейчас ясно: настоящая поэзия все с большим трудом находит благодарного слушателя и читателя. Двигается, по большей части, в арьергарде общественного сознания, формально совершенствуясь – духовно покоится, а то и деградирует, а уж в вопросах этики и морали – «плавает». Без компаса, руля и ветрила, по воле волн, поскольку сама за редким исключением «волны не гонит».

Как никогда (как всегда) недостает в поэзии сильного духа, умного сердца, нового слова. Как пробиться к читателю и с чем к нему выйти, «пробившись»? Есть, среди прочих, такое мнение: врать не надо.

Это, на самом деле, не такое уж частное требование и вовсе не наивный принцип. Жизнь познается и преобразуется жизнью, человек говорит с человеком, сердце видит (слышит) сердце. Дар искренности, усилие честности, поиск истины – в идеале эта триада неделима и непреложна, но на практике мы лишь время от времени, там и сям имеем (или не имеем) дело с ее отдельными категориями, какими-то их житейскими проявлениями. Но подлинные художники на понижение не играют и ценности не нивелируют. Их творчество и живет-то лишь благодаря тому, что для автора искренность-правда-истина необходимы (нужны), не обходимы (никак не минуемы), максимально соприродны индивидуальности этого самого автора. Он по-другому – просто не может. А читатель – если заглянуть глубже биологических рефлексов на попсовые раздражители – другого и не хочет. Другого (неискренности, тривиальности, пренебрежения) читатель и не прощает. Читатель ждет исповедующегося исповедника – собеседника, в сердечных муках либо в мыслительных трудах – соучастника. На час – товарища, на жизнь – друга. Некоторым везет: с ними говорят настоящие поэты.

*

Максим Арикович Анкудинов (1970 – 2003 гг.) – замечательный уральский поэт, трагически мало проживший, но в литературе, на мой взгляд, успевший сказать свое слово, оставивший не только след, а может быть и путь... На сегодняшний день опубликовано досадно мало его стихов и прозаических произведений. Надеюсь, издание тщательного собрания хотя бы лучших из них – не за горами.

Хочется в это верить потому, что Максим был в равной мере наделен и бесспорным талантом, и яркой индивидуальностью. И одной из главных черт этой индивидуальности как раз и была удивительно искренняя интонация: то детски непосредственная, то мятущаяся,

горькая, то прозрачно-светлая, но никогда не панибратски «задушевная» и не пошло истерическая.

Маленькая остановка к югу от древнего
города Невьянска, по существу – деревня
Шурала с парусом церкви старинной,
прозрачным воздухом, тенью длинной

до самой железной дороги, и запад
горящее солнце спрятал в лапы,
Уральский хребет вот-вот позолотится.
...Сколько ни едешь – сердце колотится.

– стихотворение «419-й км» своеобычно настолько же, насколько самодостаточно в качестве мгновенного, ослепительно свежего скола бытия, здесь и сейчас равновеликого скромному быту. Бедность – как чистота, заброшенность – как свобода, все новые и новые «грани» и «планы» моментального кадра возникают благодаря не столько точности слова, сколько чистоте душевного движения автора-созерцателя.

Или – например, такое:

серебряное небо
в поселках ближе
потому что горы
задевают сердце
объясните сердцу
почему горы
объясните ветру
почему любят

...Объясните провинциальному читателю – почему стихотворение, как и многие другие у Анкудинова, записано без знаков препинания? Когда интонация графически не закреплена, она свободна меняться сообразно читательскому восприятию, наплыву ассоциаций. Такое чтение – уже сотворчество, в какой-то мере соучастие в рождении стихотворения, тогда как само стихотворение предстает более искренним. Нет непреложного канона прочтения, снята последняя защита: только – голос, и не структура, а «облако», или же «поле» смыслов...

Искренность в поэзии как не бесцельную, а духовно наполненную спонтанность высказывания, как животворящую силу – вот что ценил Максим в чужих стихах, вот что умел делать сам, не как профессиональный фокус, а всегда – как житейское чудо:

стихи пишутся
не пишутся
любовь с безнадегой
вода с глиной
снег с водкой

– как никто он умел сберечь живыми все краски феерического переживания, озарения-откровения, и все же в письме как-то написал: «Как остаться искренним, даже эротическим лириком, и не скатиться в скотство, в разврат, как остаться православным христианином, чистым перед Богом, – и шептать о нежной любви?

Это очень сложно и серьезно, на самом деле. Бог есть Любовь, и Бог создал любовь, чтобы люди любили, а не скорбели; Бог людей любит, но как не плоть петь, а Бога, а в плоти величать – Творца?» Он хотел писать – и не меньше того, жить, любить, *быть и говорить* –

глубоко и нежно
как только умеешь
по зову и духу

и искал образы для самого потаенного и интимного, например, для «раковины любимой» – телесного центра притяжения мужчины к женщине:

вечно интересна напрасна
перецелованная
р-рюмочка соленой
водки светлячок зеленый
крылышко полевой птички
краешек ночи размах электрички

Эротическое чувство здесь впускает в себя – как бы захватывает по расширяющейся спирали – огромный внешний мир, поэтому метафора получается – восходящая, поэтому плотское – одухотворяется, не теряя силы чувственности.

Искренность в понимании Анкудинова естественна и неотчуждаема как от речи (по-

этической, да и обыденной тоже) так и от самого человека, тем более – поэта. Искренность – родная боль:

Прости, что я пишу такие
стихи из боли и из страха,
но раз пишу – пишу.

А я – касание руки
восставшего вчера из праха
и тем дышу.

Характерно, что лирический герой, почувствовав свою открытость как инакость, на опыте познав ее несовместимость с негласными нормами *комфортного* общения, – не замыкается в себе, не прибегает, как это сплошь и рядом встречается у других авторов, к самооборонительной иронии, к нарочитой жестокости, цинизму и т.д. Он не изменяет себе – напротив, утверждает право на сильные чувства и их свободное выражение: «отстаивай свою беду». Легко догадаться, с чем в реальной жизни сталкивается такая романтическая установка.

многим без меня
хорошо как без сердца –

пишет М. Анкудинов. Среди всеобщего (осознанного или подсознательного – не важно) стремления к оптимизации и унификации эмоциональной сферы подлинность и искренность ведут к одиночеству.

Одинок, что называется, «по определению» и человек, совмещающий в себе природную открытость и обостренное чувство правды, сохраняющий верность правде.

у меня же нет
ничего кроме правды

– подразумевается: «у меня нет ваших клыков и когтей, вашего оружия, вашей низменной смекалки. Чего – требуете? Чего – боитесь?»

Впрочем, такая декларация собственной честности для М. Анкудинова – редкость. Поиск правды и преданность правде в его стихах выражаются опосредовано, через наблюдение ежечасной, повседневной, привычной, уже никем не замечаемой окружающей лжи.

Грязь вперемешку с тараканьим снегом
Бегут автобусы гремят трамваи
Звезды дымят снимают кино пьют пиво
шарахают дамочек
Нежно любят верных подруг
Играют в театрах играют в театры
В школах играют на деньги и сигареты
в шапки и карты
Дети в детском садике играют
в «камень-ножницы-бумага»
Русский язык все это терпит
.....
(Мужество это когда его нет
Когда есть страдание и есть терпение)

Стерпит и то, что любви не бывает
Стерпит недружбу и дружбу между
тиграми освобождения
«Тамил Илама» и Джохаром Дудаевым
в небе

Стерпит и то, что ты меня не любишь

Но за наблюдением логически следует прозрение лжи не просто многоликой, но лжи всеобщей, тотальной, фундаментальной:

* * *

Город – казнь:
духа – камнем
веры – дружбой
любви – надеждой

Искажены, лгут – сами основания обманчиво процветающего мира. Старая, конечно, песенка: «Что-то неладно в Датском королевстве...» Но разве не происходит это с нами здесь и сейчас? «В этом странном мире, где поэтессе шьют срок за пачку марихуаны, а машины с героином прозрачно перетекают через пограничников и таможни, где солдаты на южной войне крадут оружие у своих товарищей и продают за травку противнику, подводя товарищей под расстрел или штрафбат, где талантливые поэты утверждают абсолютную ценность денег и относительную – души, где критики и издатели не могут получить денег ни от частных людей, ни от правительства кроме как под рекламу

– чаще всего, порока...» – в этом мире, кроме уже перечисленного, замалчивают постыдные факты прошлого и настоящего, без конца переписывают и переиначивают национальную историю, плевали на стариков, чихали на будущее своих детей...

Если лжет государство, если ложь приемлет общество, не остается в стороне и искусство, те же этические искажения претерпевает литература, причем, мало кого на самом деле это заботит. Анкудинов же писал в статье «Слово в защиту русского авангарда»: «Отстой и серость выдают себя за цвет и правду, (...) без любви, без плача, без личной жертвы – без обязательств верности и дружбы, нежной дружбы между силой и разумом, между сердцем и духом – между женщиной и мужчиной. (...) Где совесть, где правда? «Что есть истина?» Смешной вопрос, правда?»

Однако, просто заметить и отметить самоутверждение окружающей лжи Максиму было недостаточно. Он, конечно, задумывался о причинах и сущности этого явления, и подбираясь к нему ближе, вглядываясь глубже, приходил к парадоксальному выводу: лжи вокруг столько, что лжи... нет. Цинизм ведь, по сути, – правдивость, неправая, но реальная ипостась правды. Цинична история, цинично общество, цинична жизнь по отношению к конкретному человеку – тотальный цинизм, все – правда. И Максим записывает одностишие – в одну строчку, в два слова: «неправды нет». Хотите более пространного объяснения? – пожалуйста:

* * *
настоящее время
настоящие люди
настоящие бомбы
настоящий Освенцим

Жизнь – настоящая. Чтобы настоящей была и поэзия – она должна говорить правду:

* * *
Вода стирается с души
в карандаши и авторучки
и ты пиши, пиши, пиши,
как интересно до получки,
как неподкупен проездной,
как день белеет и дымится,
как дышишь ты своей страной
и запах – длится, длится, длится...

Подлинность и правда, однако, не гарантируют легкости и свободы. Многими нитями они связаны с болью жизни, познанием, страданием, а также с роком, личной судьбой. «...за излишнюю откровенность меня ругали, и сильно, – признавался М. Анкудинов в одном из писем. – А знаете ли, неправду не обожаю как-то. (...) Считаю себя плохим человеком и плохим поэтом. Пишу потому что больно, и все. Когда могу стерпеть – не пишу». Невозможность говорить правду – по сути, немота. Жизнь, добровольно или принудительно пошедшая вразрез с правдой сердца, – то же, что и смерть:

счастье итог, и так
страшно без счастья, как
рубль превратился в пятак,
стала ногой рука,
колокол без языка
из углепластика

Анкудинов остро чувствовал и умел передать в стихах не только повседневные трудности либо глубинный трагизм существования, но также и абсурдность окружающих идей, ценностей, стремлений, положений. Эстетика и поэзия абсурда если и не были для него предпочтительны, то не были и совершенно чуждыми. Судя по стихам, он, в частности, задумывался о соотношении реальности и иллюзии. Тотальная ложь, тотальная иллюзорность бытия – понятия весьма близкие, открывающие, как мы знаем, широкое поле для разнообразных художественных идей. Максиму Анкудинову, однако, принадлежит такое вот стихотворение из трех слов:

* * *
иллюзорно
не спастись...

А разговор о спасении – Спасении в религиозном понимании (которое характерно для Анкудинова) есть уже разговор не столько о приверженности правде, сколько о поиске Истины.

...Вообще, поэт – настоящий поэт – может и не теоретизировать на эту тему. За него говорят стихи, через него сам язык (или же то или иное национальное самосознание) нащупывает пути к абсолюту самовыражения и самосовершенствования. «Вдохновение, выражаемое словом, выражает Истину» – писал Джордано Бруно. Но в стихах М. Анкудинова Истина (а также истинное содержание либо предназначение человеческой жизни) – несомненно, объект поиска, интуиции, осмысления. Он часто пытается воспроизвести некие, я бы сказала, *истинные состояния*, моменты не обязательно совершенного счастья, но, может быть, – гармонии, равновесия, чистоты восприятия. Таково трехстишие:

кофе
полрюмки сухаря
и улыбнуться

Не так уж это непритязательно, поскольку – пронзительно, точно, в самом деле вдохновенно. И даже не столь совершенные стихи – что-то такое дают почувствовать:

* * *
Креозота запах.
Ручка на листке.
Жить у ветра в лапах
Волны на реке.

И в глуби источник
Находить и пить
Ощущенье тоньше
Шепота: любить.

Прыгать в электричку
На чертовом ходу
И последней спичкой
Поджигать звезду.

– прочитаешь такое – словно свежим ветром прохватит: есть надежда – быть...

Но речь-то мы заводили все же об истине, а не о прекрасных остановленных мгновениях. В религиозном, повторяю, понимании Истина нам не подвластна и недоступна. Этим самым, однако, она не уничтожает, а возвышает смысл жизни. Путь к Истине труден:

* * *
синие крылья
небесного казачества
не даются даром

– в этих и других стихах М. Анкудинов предстает поэтом подлинно русским. Он писал о русском православии, он искал «русского Бога» и – проходя через крушение иллюзий, отчаяние, стыд за себя и ужас перед реальностью – все-таки верил в христианскую любовь, и с интимно-достоверной лирикой у него уживалось предельное и запредельное одухотворение любимой. Приземленного *обожания* в его стихах, слава Богу, не встретишь, но *обожествление* – случалось:

Синекрылая птица
Огненная пламень
Святая простота
Светящаяся Муза

– где-то здесь, рядом, тот «огнь поядающий», который выводит человека к Истинной жизни. А пути – могут быть разные: путь любви, путь к свободе, путь к исторической и философской правде существования, прошлого и будущего России (у Анкудинова об этом немало сказано) и, конечно же, путь к Богу.

* * *
О Боге
молчаливо

о Боге
торопливо

пока еще
пока

репейники крапивы
цветы уральской сливы
и облака

Слов и какого-либо *мудрствования* здесь минимум, зато максимум неба, света, *Премудрости* – не от знания, а по вдохновению.

Со времени общения с Максимом Анкудиновым помню и сейчас по стихам его – вижу: он ни в коем случае не чувствовал себя «в Боге»,

вправе рассуждать и поучать на эту тему. Он был – в поиске, в процессе самоопределения, в пути. И путь этот гораздо важнее творческих, не говоря уже о карьерных, амбиций поэта. «Лучше быть серостью, – читаю в его письме, – но чистым и честным человеком. (...) сейчас ПОЧТИ ВСЯ моя жизнь не согласна истине, и что с того, что Истину я знаю?»

О непознаваемости Истины мы уже говорили выше. Но нельзя поспорить с мощной интуицией поэта, подсказывающей такие, например, истинно провидческие (причем, накрепко связанные с традицией русской философской поэзии) строки:

...Веришь, что лучшее будет,
Или не веришь – равно:
Осень, кормящая грудью, –
Бездна, раскрывшая дно.
Бездна раскрылась, из бездны,
С грязью арктических слез
Вылезет сильный и честный,
И беспощадный мороз.
Пахнет летящим морозом.
Ближней холодной рекой.
Там, где кончаются слезы,
Не наступает покой...

Начало этого отрывка развертывается по-державински и по-тютчевски величаво-отстраненно. Зато в последних строках – какова полемика с финалом поэмы «Мороз-Красный нос»! Некрасов утверждал в нем примиряющую и очищающую функцию смерти, слияния с Абсолютом. Анкудинов, констатировав: «не наступает покой», – видит дальше, чувствует глубже. Мне кажется, неспроста здесь вспоминается «Мороз-Красный нос». Как и в этой поэме, в поэзии М. Анкудинова нераздельны женщина и любовь, Россия, Истина. Для него эти понятия накрепко связаны («накоротко замкнуты»?) между собой. Одно подразумевает – нет, *разумеет* – другое. Судьба России настолько глубоко укоренена в его сердечном беспокойстве, что встает сама, без специального упоминания, за многими образами и сюжетами – как тот самый отсвет Истины, вносящий трагическую гармонию в лирическую импровизацию:

* * *
У вас так много правил,
Так много заправил,
Что я ваш мир оставил,
Хотя и полюбил,
А может, не оставил,
Хотя и не люблю.
Идет воскресший Павел
По стеклам и углю.
На бешеной Плотинке,
Где колется тусняк,
Стучат его ботинки,
Хламиду рвет сквозняк,
Идет сквозь сигаретный,
Автомобильный дым
В свой град новозаветный,
В московский Третий Рим,
До Лобного на Красной,
На царский русский трон –
Сквозь рев попсы ужасной,
Блатной цветной жаргон...
Его – пинает гопник,
Милиция метет,
Штрафует на двухсотник,
А он – идет, идет...

Может быть, это (одно из последних) стихотворений как раз и дает ответ на вечный вопрос. Искренность с правдой, а правду с истиной – дабы из абстрактных категорий они превратились в квинтэссенцию жизни – соединяет движение, вечное движение души, непрестанное духовное развитие. Но чтобы этот морализаторский трюизм переродился в твое личное – единокровное – достояние, нужно жизнь прожить-претерпеть, нужно научиться жертвовать и прощать, познать себя, но больше себя полюбить другого, пожалеть этот мир – захлебываясь скоростью разминовения: «Если бы я умел рассказывать о жизни! елы-палы, вот она, вот, вот она...»

Вот она – *здесь*, вся – с нами. Нет лишь автора этих строчек, он уже – *там*...

(март – апрель 2007)

Сергей СЛЕПУХИН

«Мне это ощущение знакомо...»

Некогда довелось услышать исключительное. Радиожурналист, ведущий передачу on-line, переспросил: «Откуда-откуда вы? Из Петербурга? Понятно. Ну, в принципе, тоже город, хоть и провинция».

Ну, так вот, Казань, в которой живет поэт Глеб Михалев, «в принципе, тоже город», как и вся эта наша «рязань-череповец-саратов-чита-находка-колыма». То есть то несчастное пространство, населенное человеками, так и не сумевшее вписаться в священный нимб московской окружной дороги.

...а в голове – другие города,
дождавшиеся своего героя...
Москва – столица. А Казань – горда.
Как Троя.

Нет-нет! Я не хочу обидеть московских собратьев-поэтов! Ведь все мы, кто называет себя поэтами, по сути, певцы спальных районов, да и писательство – одинокое дело, как любил говаривать Хемингуэй.

В песенке поется: «Через дырку в небесах / въехал белый «Мерседес», / всем раздал по три рубля и ... проехал мимо...» Вот уж, что-что, а «Мерседес» явно не для лирического героя стихотворца Михалева. Наблюдать нашу «спальную» провинциальную жизнь удобнее через мутное окно «пазика»: «дворники» вжик-вжик, а поэт – зырк-зырк. Поскольку он, поэт, существо неравнодушное, душу болящую имеющее, стремящееся запечатлеть в памяти все зигзаги жизненного маршрута, повороты и передряги дороги.

В тысячелетнем городе – зима
Холодные дворы. Февраль кромешный,
где «пазика» квадратная корма
болтается, как щепка, в струях снежных.
Где жизнь идёт. И скоро выйдет вся.
И не вернётся – хоть кричи... хоть спейся.
А тучи, что над городом висят –
тяжёлые, как паруса ахейцев...
(На один мотив: Казань)

А что еще за окном «пазика»? – День, *«нелепой суетою занят»*, долгий, *«как гомеровский гекзаметр». «Споры, ссоры, перебранки... / словно чёрные вороны / прилетели спозаранку/ разбрелись по огороду / угощение почуяв... / не собрать мне урожая.»* Серый пейзаж, кукольный театр из серого картона (или бетона). Мир в окне «пазика» безлюден: только деревья, только столбы, только дома... Если и есть что-то одушевленное, то намечено оно небрежным росчерком, намеком, эскизом. Вот (смутно и неотчетливо) лирический герой, то качающийся *«на железной ниточке с Еленой»*, то стоящий среди этого унылого серого пейзажа *«как пугало»*, молчащий или *«нудный, как бритье»*. Вот Сентябрь, наступающий на пятки, с пытливым взглядом Малюты Скуратова. А вот (иногда, но редко) – *«беспечный ангел в травке луговой»*...

...и холодно и хочется халвы и девушку в малиновом берете и в темноте бредут к тебе волхвы – Ремантадин, Феназепам и третий и в городе гуляют братья Грипп и прочее подобное иродство творится и зелёная горит во лбу звезда вьетнамская и жжётся...
(Январь)

О чем думается в обжитом транспортном средстве? – *«О жизни холостой и пустяковой, / о том, как не жалеешь ни о ком и /ещё – земля качается едва- / едва...»* О том, что осенний куст во дворе *«светел, рыж и жив»*, а сам ты чувствуешь себя мышью в норе, сжавшейся и дрожащей – *«всё смерть вокруг»*.

«Все мысли так нелепы и страшны...»

Очень грустно в «пазике» Глеба. И, когда выйдешь из «пазика», тоска вовсе не отпускает, *«ходишь никого не любя, да и сам, собссно, никому не нужен»*. В доме живет темнота, в доме гуляют темные тучи. Мир черно-бел:

здесь «чёрен чай и чёрен хлеб»
«белый рис и белый сахар»
такие чёрные и злые
живут в твоей подушке сны
и ты всю ночь проводишь с ними
а днём – когда они одни
под белым хлопком белым пухом

в какой-то бездне или тьме
всё продолжается разруха
и голод и беда и смерть

Но это «черно-белое кино», эти правдивые фильтры позволяют поэту видеть жизнь вокруг такой, какая она есть – без помады, без ретуши.

Тощий, словно карандаш
и такой же деревянный...
Знаю – ты меня предашь,
знаю... Поздно или рано.
Что ты мне ни говори,
ни доказывай упорно...
Стержень у тебя внутри –
тонкий-тонкий.
Чёрный-чёрный.

Глеб Михалев убедителен в своих драматических композициях. Одиночество, вынужденная изоляция героя, тревога – все правдиво передает душевное состояние жителя сегодняшней провинции. Человек зовет свою душу, пытается выговориться, но часто не находит собеседника.

Однажды почувствуешь остро,
так, словно под рёбрами – нож:
как суп из пакетика – просто
и очень невкусно живёшь.

А жизнь (хоть сравнениям грубым
ты сопротивлялся всегда)
уходит по фановым трубам,
как всякая, впрочем, еда.

И хмуришься, высоколобый,
от мысли, что это – твой крест:
жить, словно лапша из столовой,
пока тебя время не съест...
(Пессимистическое)

Трагическая интонация, пессимистическая окраска, неудовлетворенность, искания, самоотрицание и попытки его преодоления. Лирический герой казанского поэта чувствует свою незащищенность, он живет предчувствием войны:

Мне это ощущение знакомо.
Когда живёшь предчувствием войны,
пожалуйста, не выходи из дома...

Ощущение войны... *«Ночь тяжелым кирзачом»* наступает *«на татарскую столицу». «Вокруг салют! ошмётки и объедки / и рукоплещет восхищенный зал». «За грудиной / сидит и курит пушечный расчёт». «Писать стихи – становится войной, / одна строка считается за три»*. За окном «пазика» – листья на тротуаре, как *«умирающие солдаты»* или *«беженцы»*. И *«в результате – короток итог / и горек, словно дым пороховой...»*

так жить – отточия оттачивая
и даже не понять когда
вдруг приплывет твоя трехмачтовая
под чёрным парусом беда
и поплывет твоя мелодия
над чьим-то дружеским плечом
уродливая и юродивая
но – не жалея ни о чём

Быть собой – бремя тяжелое. Поэт, если он ощущает себя личностью, должен вынести его, это бремя. Вокруг поэта – безличный и анонимный хайдеггеровский мир «man». Мир, в котором все «другие», и человек даже по отношению к самому себе является «другим», он отчужден от себя самого...

слегка усопший и полупустой
укатанный обыденным маршрутом
очнёшься вдруг – а рядом – дух
Святой
без шуток.
и он молчит
и ты дурак молчишь
а ведь спросить про многое хотелось...
но нет тебя

а то, что «пазик» мчит –
лишь тело

...пространство понемногу перетекает в тебя и внутри становится более,
чем снаружи. более света и тьмы, пива и консервированных сардин, и отпрысков рода человеческого со всеми его коленами...

да умираешь-то вовсе не оттого, что совсем один...
а просто сам превращаешься во вселенную

Само существование лирического героя Глеба Михалева, его exsistentia, в очерченном поэтическом пространстве хрупко и ненадежно. Он должен научиться жить и любить с постоянным сознанием этой хрупкости и конечности всего, что он любит, незащищенности любви. Глубоко скрытая боль, причиняемая этим сознанием, придает его привязанности особую чистоту и одухотворенность.

Читаю Рейна. И смотрю на дождь.
Хотя наверно так – мы смотрим. Двое.
И дождь идёт. И где-то ты идёшь.
И холодно. И зябко вам обоим.
У нас тут с Рейном тишь да благодать.
Зелёный чай да бежевая лампа.
А там у вас – лица не увидать.
Как дня в ночи. И дождь стучит по лавкам.
И тонкое оконное стекло
дрожит меж нами как в ознобе, просто
не понимая, что произошло
но чувствуя нежданное сиротство...
(На один мотив: Любовь)

...И нету больше «нас».
Лишь «ты».
И «я».

Как хрупок и непрочен
наш роман –
попробуй сохрани
страсть, когда становятся короче
ночи. И томительнее – дни...
(Июнь)

Осознание своего существования достигается поэтом через преодоление *«безъязыкости своей»*, через нахождение в себе *«вороха мелодий, цвета и запаха»*, через особый дар прозрения, умение увидеть, как *«в сумраке лиловом, / не торопясь, нисходит с высоты / доселе не прочитанное слово...»*

всё равно не перестанешь.
даже зная, что потом – как письмо в почтовый ящик канешь. будешь жадным ртом лопотать свои словечки, йамбы бедные свои – перед свечкой, перед печкой, перед членами семьи – им-то пофиг... мелкий почерк, неумелое шитьё – если кто потом захочет вжиться в это житиё, в это, крестиками, чтоб их, то откликнутся тебе голоса твоих почтовых голубого голубей...

Стихи Глеба трагичны. В одном из стихотворений поэт признается: «Я темен».

Рассказ о стихах глубокого и тонко чувствующего поэта из Казани хотелось бы все же закончить вот чем.

В один из суровых дней, которые иногда выпадают нашей многострадальной отчизне, в очередной «черный» то ли четверг, то ли вторник, когда намеченная программа телепередач обычно ломается, и в телестудию приходят известные люди, чтобы выразить свою печаль о случившемся, забрел на огонек НТВ Николай Фоменко. Давно это было, но разговор тот врезался в память...

Чуть нагнувшись к собеседнику, Фоменко сказал тогда: «Если честно признаться, я не люблю людей». Меня точно током ударило.

Герой моего очерка, я уверен, так не скажет никогда. Пусть *«в тени двуглавого орла / сидит какая-то урла»*, пусть мир стихов Михалева мрачен, но печаль его светла:

Пока играет Вольфганг Амадей
я понимаю, что люблю людей.

И эта вот весёлая игра –
как яркий свет, как тонкая игла.

И тоненькой уколотый иглой,
я становлюсь спокойный и не злой.

Олег РОГОВ

Пусть Пелевин повторяется...

Виктор Пелевин. П5. Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана. – М.: Эксмо, 2008.

Перелистав пухлые, прянично покрашенные «Прощальные песни», понимаешь: правила популярности просты. «П5» прилежно прописывает полюбившиеся публике приемы. Проза Пелевина продолжает пеленговать позывные постсоветской потусторонности. Пять представленных произведений посвящены привычной постмодернизму проблематике – проявлению потаённых пунктиров повседневности. Пусть Пелевин повторяется, перечитывать приятно.

Классика и современность

Сергей Солоух. Естественные науки. Книга рассказов. – М.: Время, 2008.

В книге три цикла – «Картинки», «Разное» и «Естественные науки». Названия разделов первых двух, возможно, смутно знакомы некоторым читателям: «Крыжовник», «Ионыч», «Человек в футляре», «Господин из Сан-Франциско». Третий цикл построен по принципу классификации естественных наук и делится на три части: «Физика», «Математика» и «Химия». Внутри каждой из них – соответственные подразделы: «Свет», «Движение». «Тепло»; «Вычитание», «Равенство» и т.д.

Классические заголовки умело коррелируют с повествованием, сопоставляя с ним фон, персонажи или сюжетные извивы произведений русской прозы. Это и поэтика дачного досуга, и женские судьбы, и неожиданные социальные параллели.

В третьей части – «Естественные науки» – рассказы складываются циклы, составляя некий пунктир большой формы. Как всегда у Солоуха, музыкальное построение фразы, поэтическая, в основе своей, стилистика, отнюдь не отменяет сюжет, лишь оркеструя его и подчеркивая те или иные векторы. Так, мелодраме может быть придан оттенок высокой трагедии, а житейская драма обернется сомнительного качества водевилем.

Солоух, один из главных российских рассказчиков, еще со времен опубликованной в «Волге» «Шизгары», присягал на верность сюжетному повествованию, продолжая изощряться в стилистических экспериментах. В «Естественных науках» один из разделов посвящен «Вете Акатовой и Розе Ветровой. Взволнованно». Эта третья точка, замыкающая треугольник рассказов Солоуха (вкупе, напомним, с сюжетным повествованием и отсылками к русской классике), также то сама вспоминается по ходу чтения книги, то сам автор приветливо кивает в сторону Саши Соколова.

Рассказ, помещенный, скажем, в журнале или в Интернете, и тот же рассказ, включенный в книгу – два качественно разных текста. Книга создает тот единственный контекст, который заставляет рассказы собираться в некую единую картину, хотят они того или нет – как детали побережья складываются в пейзаж. «Естественные науки» – пример такого умело срежиссированного контекста, когда линейка текстов постепенно начинает завиваться в иероглиф.

Александр ЖУРОВ

Всего лишь быть

Олег Сивун. Бренд. Поп-арт роман. – Новый мир, №10, 2008

Мысль в тему: по Марксу – 3-я степень отчуждения – это отчуждение человека от его человеческой сущности.

Когда это читаешь, то неплохо бы иметь перед собой стакан с виски Jameson и баночку колы – чтобы удвоить атмосферу присутствия. Впрочем, можно просто вспомнить свой ежедневный путь на работу, учебу, или куда-то там еще. Рекламные щиты, витрины, люди в джинсах Levi's, гламурные барышни, выпархивающие из дорогих бутиков. Черт возьми,

можно просто включить телевизор. А вы еще не поняли, что загнаны в угол и никто не покажет, где выход? Впрочем, вас ведь итак все устраивает. Меня, наверное, тоже, иначе я был бы не с вами. Но где мне тогда быть? Я и так не с вами. Я даже не знаю кто я.

Появления такого романа рано или поздно стоило ожидать. Но пока непонятно: насколько рано он появился. Поколение российских яппи только начинает свой разбег. Не исключено, что книга пройдет почти незамеченной. А книга важная, по сути, это первый серьезный текст на русском языке, рефлексия которого целиком и полностью порождена новой социально-экономической формацией. Это не гневная критика, это просто честный взгляд изнутри. Ждете антиглобалистских лозунгов, призывов бить витрины в макдаках? Не дождетесь. Мы же все в одной лодке. И черт ее знает: куда она приплывет. Пока абсолютно ясно, что в этом месте будет скучно, пластмассово и безумно одиноко. Впрочем, уже так оно и есть.

«Я ем в McDonald's, но я не такой толстый. Andy Warhol ел в McDonald's, он совсем не был толстым. Может, дело в том, что я постоянно блюю после еды в McDonald's и она не усваивается во мне в полном объеме? Я блюю после McDonald's, но мне все равно нравится McDonald's. Я уверен, что это просто какой-то дефект моего организма. McDonald's если в чем и виноват, так это в том, что его еда вызывает привыкание».

Но витрину разбить все-таки захотелось: может, это какой-нибудь дефект моего организма?

Целая картина мира, построенная на брендах. И мир-то до боли узнаваем. Думать о мире брендами – это самый простой и самый естественный метод сегодня. Он дает результаты, близкие к действительности, наиболее адекватно отражает реальность. И не только социальную, этот метод отлично передает человеческое измерение. То есть уже не совсем человеческое – а то, что от него осталось в процессе упрощения.

Если хочешь описать новый дивный потребительский мир изнутри – удобно мыслить брендами. Это его язык, его мифология. Нужно вскрыть этот мир, принимая правила игры, – после, возможно, удастся из нее выйти. Хотя, это почти невозможно.

«Мы считаем себя индивидуальностями только потому, что носим одежду "независимых" лейблов, смотрим "независимые" фильмы, слушаем "альтернативную" музыку, ходим в "альтернативные" клубы и т. д. Человек не может различаться только по тому, что он потребляет. Человек может различаться только по тому, потребляет он или нет. Я потребляю, и поэтому я — как все. "Я пляшущая и поющая срань господня", — как говорила обезьянка-астронавт своему отражению в "Бойцовском клубе"».

Но если ты нашел в себе силы рискнуть – это уже полдела. Потребительский мир не приемлет риска, особенно если он не имеет отношение к деньгам. Только это прерогатива избранных – они не столько потребители, сколько рулевые с завязанными глазами (я не верю в теорию заговора; никто ни в чем никогда не виноват, — все виноваты во всем). Остальным это не по-карману. А если риск связан с осуждением общества – это не по карману даже Биллу Гейтсу.

Собственно, как построен этот роман? Очень просто. 26 небольших глав – 26 брендов; и о каждом из них написано несколько страниц, которые включают: фактическое описание (factum), «лирическая часть» (Punctum), Soundtrack (название песни, соответствующей тексту) и Bonus – нечто похожее на сценарий рекламного клипа. То есть форма фрагментарна; объединяющий элемент – человеческое измерение, личность автора и, конечно же, мифология. На личностном взаимоотношении автора с мифами, возникшими вокруг брендов, и строится эта книга. Фрагментарность текста не случайна. Более того, она органична и она отражает реальность. Не случаен и первый раздел – factum, он содержит только цифры и фактические данные.

«Все, что имеет сейчас значение, — это фактическое количество. Сколько денег на твоем счету? Сколько телевизоров у тебя дома? Сколько ты посмотрел фильмов? Сколько лет ты работаешь? Сколько гигабайт памяти в твоем ноутбуке? Со сколькими девушками ты переспал? (Сколько из них были девственницами?) Сколько раз ты занима-

ешься сексом (в неделю, в месяц, в год)? Сколько килограммов мне надо сбросить к пляжному сезону? Сколько раз ты был за границей? Сколько продано экземпляров этой книги? Сегодня можно зачеркнуть вопросы типа "кто виноват?" и "что делать?", современный вопрос только один – СКОЛЬКО? Никого не интересует содержание, всех интересуют факт и количество этих фактов».

Таким образом, достигается единство формы и содержания. Soundtrack и Bonus довершают картину. В итоге имеем атмосферу рекламного ролика с вкраплениями ЖЖ. А внутри этого атмосферного явления мы встречаемся с лирическим героем. Если коротко, то он одинок, несчастен, у него достаточно денег, удобства и комфорта; он живет в мегаполисе, пьет Coca-Col'у, ест в McDonald's, покупает продукты в супермаркетах, имеет три кредитных карты VISA, фотоаппарат Kodak, которым никогда не пользуется, мебель из IKEA, телефон Nokia, телевизор SONY, любит Andy Warhol'a, но не столько как художника, сколько как миф, в холодильнике у него всегда припасена бутылочка Jameson'a... ну и что-то там еще. В общем: он потребитель, винтик, часть обезличивающей экономической системы. И он ясно осознает все это.

«Реклама в обществе потребления может сделать человека счастливым, если поверить в нее как в религию. Я же воспринимаю свое потребление как данность, а не как счастье, потому что я уже давно крещен в другой вере и не могу принять мир рекламы как нечто божественное. Я давно перестал думать о счастье. У меня есть теперь только множество удовольствий и одно несчастье как плата за них».

Конечно, сегодня обильная потребительская корзина – это лишь мечта большинства населения в нашей стране. И кто-то может возразить: с жиру бесятся, выдумывают себе проблемы. В этом и состоит главная опасность: возможность потреблять без ограничения особенно притягательна, пока ее нет. Идеологически общество потребления уже победило как в нашей стране, так и практически во всем мире. Coca-Cola есть везде.

Большая часть социально активной молодежи мечтает работать в крупных корпорациях. Кстати, не только ради денег. Это еще и престижно – работать на известный бренд. Администрация президента РФ – тоже бренд. Общество потребления уже здесь, и это нисколько не меняет тот факт, что уровень жизни населения оставляет желать лучшего. Механизм запущен, общественное сознание уже изменилось. Потреблять – это главная потребность российского общества не меньше, чем американского. Разница только в возможностях эту потребность реализовать.

Чтобы больше производить, нужно больше потреблять. И это уже не обоснованно потребностями человека, это обоснованно потребностями экономики, которая обретает автономию и становится независимой от реальных человеческих нужд. Это замкнутый круг, превращающий человека разумного в человека потребляющего. Есть, правда, такие мелочи, как экология или исчерпаемые ресурсы, но кому это все нужно в атмосфере массового безумия? Человека больше нет, он умер. А чего мы хотели, если Бог умер еще сто лет назад; мы и так прожили слишком долго.

Человек больше не властен над собой. Он сталкивается с огромным массивом информации, получаемой через телевидение, радио, Интернет. Информация эта обрабатывается весьма поверхностно (ее слишком много) и она, как правило, искажает действительность. Мир, который мы видим в телеприемниках, сильно отличается от реального. Тотальность этого информационного давления приводит к тому, что мы скатываемся в виртуальность. В жизни отдельного человека виртуального мира количественно становится едва ли не больше, чем мира реального. Происходит смешение реальности и виртуальности. Реальность уже воспринимается нами ущербно.

«При помощи техники и электроники мы получили такое расширение наших чувств, как говорил Маршал Маклюен, что чувства наши просто стерлись, как кусок мыла. Это теперь не чувства, это культи чувств, а их функционирование возможно только при помощи протезов-гаджетов. Только они обеспечивают нашу жизнедеятельность. Мы все на аппаратах искусственного дыхания, и нам всем нужна срочная эвтаназия, чтобы родиться заново».

Кроме того, СМИ являются тем средством, с помощью которого людям внушается, что они

должны покупать, как они должны одеваться, в конечном счете, как они должны жить. Внушается образ жизни. Конечно, такое давление существовало всегда, но тотальность СМИ очень сильно сужает возможность самостоятельного, критического мышления. Эта уже не прямая, явная пропаганда. Это такое внушение, которое оставляет иллюзию самостоятельного выбора, ибо оно не позиционирует себя как некое направленное воздействие, оно действует незаметно и обращается не к сознательному, а скорее к бессознательному и подсознательному (вплоть до использования НЛП, выработки определенных условных рефлексов). Оно обращается не к разуму, а к иррациональным страстям человека. Вся «массовая культура» направлена на это. Реклама, журналы, телепередачи, телесериалы, песни поп-исполнителей агрессивно, но незаметно утверждают определенные стандарты жизни, отличительным признаком которых является массовое отупение и потеря способности к самостоятельному мышлению и действию. Это самый эффективный способ создания суперконформистского общества. Безличная тотальная власть над индивидуальной жизнью превратила человека в средство для бесконечного, бессмысленного экономического роста. Это власть экономики над человеком, власть бездушной общественной машины над индивидуумом.

«Эпоха скуки всегда делает так, чтобы мне чего-то не хватало, чтобы я чего-то хотел, но сам не знал чего. Общество изобилия — это еще и общество тотального дефицита, поэтому оно уже и не общество изобилия, а общество постизобилия. Постоянное чувство скуки, в конце концов, заставляет меня обратиться к поп-культуре или пойти в супермаркет затем, чтобы понять, что мне нужно. Мне ничего не остается, кроме как стать частью эпохи скуки, чтобы сбежать от скуки. Я трачу деньги. Я трачу себя. Я приобретаю другого. По большому счету, я перестаю жить своей жизнью. Я отказываюсь от нее».

Если бы у меня были деньги я бы, возможно, нюхал кокаин. Это честнее и интереснее, чем пить кока-колу. К тому же это тоже своеобразный вызов обществу. Общество выбирает комфорт, ты выбираешь наркотики – протест ясен и примитивен. Даже слишком. Хантер Томпсон написал совсем не бредовую книгу*. Только и этот путь заканчивается стеной; ни капли света.

Но вообще-то обо всем этом уже написано, и довольно много. Керуак и Коупленд, Паланик и Томпсон, Кизи, Хаксли, Буковски, Лу, Бегбедер и многие другие. Нет нужды называть всех. Об этом писали, но писали на Западе. И сегодня книги этих писателей для нашей страны гораздо актуальнее, чем многое из того, что красуется в книжном магазине на полке с надписью «Современная русская литература». Олег Сивун, конечно, вписывается в эту ветвь западной традиции. Но она только прививается к дереву русской литературы. Это не плохо, это – неизбежно. Они уже прошли то, что мы проходим сейчас. Глупо не воспользоваться чужим опытом. Было бы еще хорошо не повторять чужих ошибок, но на грабли мы уже наступили, что тоже было неизбежно; это магистральная линия развития западной цивилизации (а мы ее неотъемлемая часть); остается ждать очередного удара по лбу и попытаться его смягчить.

Олег Сивун одним прыжком попал в авангард молодой прозы. Он прямо заговорил о том, что в общем-то всем известно, что витало в воздухе но не находило адекватного выражения. Но он находится в некотором отдалении от остальных молодых писателей. Его невозможно отнести ни к одной из литературных кучек сегодняшнего дня. Более того, он вообще не литературен. В хорошем смысле этого слова.

«Поп-арт — это не жанр искусства, это способ осознания действительности».

Наша литература до сих пор не изжила игровое представление о самой себе. Мы пожинаем плоды постмодернизма. Сегодня литература – это игра. О чем бы она ни была, и как бы не называла себя («новый реализм» например), она остается искусственным довеском к нашей жизни, а значит она, по большому счету, бессмысленна. Но Олег Сивун написал не что иное, как исповедь, пусть и с таким причудливым подзаголовком как «поп-арт роман». Формально «Бренд» – постмодернизм чистой воды. Сивун играет на поле культуры, возни-

** «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» – книга Хантера Томпсона, повествующая о диком путешествии двух наркоманов с чемоданом наркоты (потребляющейся в режиме нон-стоп) в сердце американской мечты – Лас-Вегас.*

кает немалое количество межтекстуальных связей, переплетение образов, мотивов. Но все это не важно. Дело в том, что по авторскому ощущению себя в мифологическом пространстве брендов и вообще в современном раздробленном мире – этот текст не имеет к постмодернизму никакого отношения. Это тоска разорванного, фрагментарного сознания по утерянной гармонии, по собирающему мировоззрению, тоска по Единому; тоска человека по самому себе. Горькая, подчас даже циничная ирония Олега Сивуна, в конечном итоге – не принимает мира, шагающего из телеэкрана. За ней всегда стоит грусть. А постмодернизм не умеет грустить, он прячется за смешное или страшное, – прячется за все мимолетное.

Я иду по улице и пью Coca-Col'у. У меня нет денег на кокаин. В голове играет песня Аквариума «Аристократ». Над головой синее небо. Хочется быть счастливым, хочется быть свободным, хочется быть для кого-то, хочется просто: хотя бы *быть*.

18.10.2008, суббота, 2.52

Олег РОГОВ

От трагедии – к идиллии

Татьяна Лебедева. Кукушкины дети. – Саратов, 2008.

Первая книга прозаика. В это устойчивое сочетание так и просится прилагательное «молодого», и в данном случае это в определенной степени верно. Татьяна Лебедева стала серьезно заниматься прозой не так давно. В реальности, которая «кормит», она работала в самых разных областях, что, безусловно, помогло ей, когда началась жизнь прозаика. Возможно, всё предыдущее было некоей подготовкой к этому писательскому опыту и, наверняка, филологическое образование как-то способствовало особому взгляду на все события и перипетии жизни, которые потом (и осозналось это тоже потом) стали поводом для писательства.

В книгу вошли повести и рассказы, написанные Татьяной Лебедевой за последние пять лет. Это и публиковавшаяся уже в «Волге» (тогда еще с прибавкой «XXI век») повесть «Кукушкины дети», центральное произведение сборника, «Пять историй о любви», малая проза – короткие рассказы, на грани минималистской техники, и два текста об Испании – рассказ о путешествии и повесть «Фламенко».

Эта проза многоголосна, иногда повествование идет от первого лица (рассказ «Если б я птичкой» или миниатюра «Такси вызывали?») и тогда рассказчиками становятся самые разные люди; каждый со своей интонацией; в других случаях нам предлагается некая ретроспекция судьбы какого-нибудь персонажа, изложенная его знакомым, в этом случае «рассказчиком» становятся уже сами события. Прием столь же действенный, сколь и проверенный временем – у каждого найдется десяток-другой знакомых, чьи судьбы могли бы стать «сюжетом для небольшого рассказа».

Герои этих историй не равны себе. С преподавателем музыкальной школы из рассказа «Настоящая любовь» на протяжении девяти страниц происходят глобальные трансформации: оставаясь в своем физическом теле, она успевает побывать и маленькой девочкой в момент пробуждения от сна, и зрелой женщиной, отягощенной повседневными заботами. Приятели юности – тоже на минимуме текстового формата – неузнаваемо меняются в глазах рассказчиков, не замечая, очевидно, происходящие в них перемены. У некоторых есть «астральные двойники», регулирующие ход их жизни и направление экзистенциального вектора.

Самый пронзительный, пожалуй, рассказ – «Если б я птичкой...» (первая строчка из песенки). Цепь событий строится, как музыкальная фраза, в которой доминантсептаккорд получает разрешение в неожиданной тональности. «Love story», коих сотни и тысячи, с течением лет вдруг обретает выстроенный контекст, который иногда называют судьбой. Мальчик любил девочку, девочка любила мальчика, жизнь их разлучила, она вышла за другого, родила ребенка. Они снова встречаются, ее старый друг богат и успешен. Она бы и рада бросить мужа, а заодно и его обременительную родню, но вместо индийской мелодрамы получается вполне новорусская история. Оказывается, можно жить счастливо всем вместе, и это отнюдь не аморально, скорее наоборот. Рваное и нервное повествование от первого лица как бы успокаивается на последних страницах, снижает градус: человеческую трагедию, оказывается, можно превратить в идиллию с помощью социальных и финансовых технологий.

Что подкупает у Ледебевой – так это подлинность в сочетании с некоторой стилисти-

ческой изощренностью. Как говорит сам автор, «все истории, рассказанные мною, – это истории моих друзей и знакомых, которые время отложило в моем сердце. Теперь они просятся на свободу, и я их отпускаю».

Сергей ТРУНЕВ

Влияние почвы

Юнгер Э. Сады и дороги: дневник. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2008.

Почва и кровь, то, что испокон волновало немецких мыслителей, на рубеже XIX-XX веков обрело новую значимость и новое, трагическое звучание. Шпенглер в «Закате Европы» восхищается традиционным крестьянским бытом и презирает города с их суетными, оторванными от почвы, жителями. Хайдеггер в «Истоке художественного творения» пишет о споре земли и мира, производящем на свет истину о сущем. И тот, и другой знают, что язык – это дом бытия, крестьянский дом, укорененный в почве диалектов. При фюрере Шпенглер открыто критикует фашизм, Хайдеггер столь же открыто поддерживает национал-социалистические идеи. Смерть спасает Шпенглера от репрессий, Хайдеггера начинают травить уже после поражения Германии во Второй Мировой. Эрнст Юнгер остается запредельным обеим крайностям. На фотографии – худощавый немецкий офицер в пилотке, с «Железным крестом» на груди. Философ и писатель, умудрившийся побывать в окопах обеих мировых войн, ныне известный, в основном, своими дневниками. Эрнст Юнгер, человек, любивший свою почву и свою кровь.

После Первой Мировой войны Бердяев напишет о том, что для того, чтобы собрать воедино и упорядочить огромные просторы России, русским не хватает рыцарского духа: «Россия невестится, ждет жениха, который должен прийти из какой-то выси, но приходит не суженый, а немец-чиновник и владеет ею»*. Немецкая любовь к почве оказывается антиподом абстрактной любви к Родине. Юнгер на своем огороде – это не интеллектуал на дачном участке, это крестьянин на клочке своей маленькой, требующей труда и заботы, Германии. Читаешь и удивляешься: «Столовую свеклу, редис, кустовую фасоль высеял на грядки, а кормовую капусту и брюкву – на опытном участке. Из капусты, помимо обыкновенной, посадил темно-красный сорт, почти с черным отливом – из пристрастия к оптике. Еще у меня будет виться по жердям турецкая фасоль с красными цветами. Куры тоже должны быть одной, ласкающей глаз породы. Только так можно рассчитывать и на экономический успех». И так далее, каждый божий день. Немец-чиновник, совмещающий заботу о красоте с расчетами экономической эффективности. В перерывах – философские размышления и энтомологические штудии. И в том, и в другом – немецкая книжная ученость в сочетании с тонкими наблюдениями человека, твердо стоящего на своей земле, превозносящего ручной труд и не доверяющего слепой машинерии вне зависимости от того, что перед ним: машина или государство. Все это до войны, впрочем...

Впрочем, война – это тоже рутина повседневных дел, нескончаемая череда военных будней. Бельгия, Франция... Забота об укреплениях, раненых солдатах, пленных, наконец, оставленных без присмотра художественных ценностях. Временами аскетизм походного существования разбавляется офицерским сибаритством в брошенных хозяевами особняках, точнее, в винных погребах особняков. Без похоти и разнузданного пьянства, с немецкой выдержкой.

Временами война прерывает прекрасные видения природы и ощущения послевкусий, но даже бесчисленные мертвые тела людей, лошадей и мелкой домашней живности служат предметами описаний и знаками чего-то высшего, как «Падаль» Бодлера. Худощавый немецкий офицер в пилотке, с «Железным крестом» на груди наблюдает трагедию существ, внешней силой с корнем выдернутых из родной почвы. Здесь, вдали от дома, при виде знакомых/чужих пейзажей: «Происходит какое-то не поддающееся описанию смещение центра тяжести в атомах: иной воздух, иная вода, иная земля изменяют жизнь и течение соков. Мы ощущаем что-то неотчуждаемое, вкус родной стихии, родной почвы. Сохранить его в памяти могут только стихи». Немецкий офицер знает, что язык поэзии – это дом бытия, крестьянский дом, укорененный в питательной почве диалектов. И это не от того, что в 1939 году он читал «Всемирную историю второго дохристианского тысячелетия» Шпенглера, в дневнике отмечая, что данный автор в своих заблуждениях куда значительнее оппонентов со всеми их истинами. Это влияние почвы, общего, связующего всех нас начала.

* *Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М.: Мысль, 1990. С. 19.*

Иван КОЗЛОВ

Морфий для пленного солдата

Морфій. Фильм Алексея Балабанова

Начало нового фильма Алексея Балабанова напоминает его ранний фильм «Замок», снятый по роману Кафки. Молодой человек приезжает в какую-то дыру, где с ним начинают происходить странные вещи. Там живут странные люди, цивилизация где-то далеко. Собственно, этот сюжет наиболее мощно воплощен еще и в разнообразных «Дракулах». Только роль всесильного графа-вампира здесь играет морфий. Болезненное пристрастие трактуется режиссером тоже в слегка вампирическом ключе – первый укол доктор Поляков сделал после осложнений, вызванных прививкой от дифтерии. Ему, естественно, полегчало, и потом, подумывая о возобновлении приятных ощущений, он закатывает рукав и то и дело трогает место неудачной прививки, приведшей его к знакомству с морфием.

Впрочем, только ли с морфием? В юнгианской системе координат и Дракула у Копполы, и морфий у Балабанова – это встреча с Тенью. Которая, увы, не ведет к спасительному восхождению к Самости – во всяком случае, у героя фильма (в отличие, заметим, от самого Булгакова). Доктор Поляков обречен уже с первых кадров. Сестры милосердия, встречающие его повозку, похожи на каких-то инфернальных босховских монахинь, а деревянное здание больницы – типичное «гиблое место».

Разумеется, «Морфій» напоминает и другой ранний фильм Балабанова «Про уродов и людей». Тщательная стилизация, детальная проработка эпохи, идеальный музыкальный ряд (первый укол сопровождает задушевная песенка из репертуара Вари Паниной со словами «Предо мною открылась могила»).

Балабанов продолжает поддерживать имидж «темного» и «жестокого» режиссера. Абсолютная безвыходность лишь усугубляется травестированием религиозных символов – персонажи то и дело плещутся в переносной ванне, которая напоминает купель, в конце фильма священник чуть ли не машинально кладет епитрахиль на голову Полякова, только что проставившегося очередной дозой в опустевшем храме. Проходится Балабанов и по киношным штампам – встреча разлученных возлюбленных в конце фильма сопровождается отнюдь не поцелуем, герой делится с бывшей медсестрой самым дорогим – баночкой «стаффа».

Революция в начале фильма демонстративно существует где-то «там», за пределами замкнутого сугробами пространства, да и в конце она проявляется лишь для того, чтобы позволить герою в последний раз поживиться морфием, как заправскому «аптечному ковбою». В последних кадрах он пускает себе пулю в башку в кинематографе, где крутят какой-то дикий трэш, которому аккомпанирует издевательски стилизованный под оперетку «Варяг».

Кстати, странно, что Балабанов не противопоставил «медленные темы» – релаксанты, к которым относится и морфий – стимуляторам (кокаину, в том числе). Последние в мягком своем варианте (кофе) вполне социально приемлемы и даже поощряемы. Глобальные преобразования вполне адекватны массовому употреблению революционерами мощных стимуляторов вроде кокаина. Релаксанты же традиционно ассоциируются с сугубо частной жизнью, закрытостью от социальной активности. Губит, впрочем, и то, и другое.

Балабанов не стал осовременивать тему, в интервью он заявил: «Я не хочу делать ничего нравоучительного. Я хочу просто сделать красивое кино». Это еще и дань памяти Сергею Бодрову-младшему, когда-то написавшему сценарий, по которому Балабанов и сделал свой фильм.

Бумажный солдат. Фильм Алексея Германа-младшего

Третий фильм Алексея Германа-младшего получил на Венецианском фестивале Серебряного льва – за лучшую режиссуру. Еще одна премия на том же фестивале – за операторскую работу. Фильм, действительно, снят так, что глаз не оторвать, его можно смотреть без звука.

Зрителям предлагается история о враче, который работает в составе отряда, готовящего первый полет человека в космос. Доктор Покровский запутался в себе, в своих отношениях с женщинами, он безудержно рефлексирует, как и положено русскому интеллигенту, и его сердце, в конце концов, не выдерживает, и он умирает в день полета Гагарина.

«Бумажный солдат» то ли вызывающе наивен, то ли циничен в своей постмодернистской изощренности. Невозможно всерьез после десятков – хороших и не очень – советских фильмов о честных и совестливых интеллигентах делать такое кино. Мы все это видели – и героический моральный выбор, и «сдачу и гибель», и «лишних людей», и различные вариации на тему девяти дней одного года. Тем не менее, гости снова съезжаются на дачу и говорят о том, как жить и как построить справедливое общество, о том, применимы ли к науке нормы морали и так далее. Но у Германа народ тусуется подобным образом и в 1961-м, и в 1971-м, что, в одно и то же время, и забавно, и грустно.

Фото Хемингуэя на стене и песни Окуджавы под гитару стали уже настолько избитым знаком времени, что становится как-то не по себе (собственно, и название фильма, со всеми предсказуемыми ассоциациями по отношению к главному герою – оттуда же). Но в то же время герои пристально рассматривают нас, зрителей, в бинокль. Избитые фразы об интеллигенции и ее месте в отечественной истории соседствуют с вполне современными приемами организации звукового ряда – еле слышными шепотами, скороговорками, одновременным говорением, что, очевидно, должно создавать впечатление естественной обстановки (но при этом почему-то все время представляешь себе, как озвучивали эту – да и не только эту – картину). Впрочем, когда главный герой в тяжелый для себя период чуть не попадает под поезд и его ругает бабка-обходчица, звук бидона, дребезжащего в ее руках, звучит громче, чем ее крики. Звуковой ряд фильма – постоянное словесное копошение, обрывки фраз, с которыми то и дело обращаются на секунду мелькнувшие крупным планом персонажи: «Пальто краской испачкали».

Само Дело – подготовка полета – показано очень буднично и как-то мельком. Будущие космонавты нехотя проходят регулярные обследования, несут какую-то ахинею, занимаются физкультурой. Даже Гагарин в фильме есть, ничего особенного, никакого трепета и осознания Миссии, во всяком случае, внешнего. Сплошная рутина, быт и обыденность. Даже внештатные ситуации – пожар в барокамере – не более, как несчастный случай на производстве. Собственно, так же был десакрализован Серебряный век в предыдущем фильме Германа-младшего «Гарпастум» (вспомним Гошу Куценко в небольшой роли какого-то резонера, который оказывается знакомым героини по имени Саша Блок).

Впрочем, в фильме хватает и сюра – ликвидируемый женский лагерь, в который забредает жена главного героя, солдаты, фарцующие сантехникой на Байконуре, безвылазная грязь Казахстана, по которой космонавты катаются в скафандрах на велосипедах. Безумно красивое кино, с которым не знаешь, что делать, как не знал и его герой, что ему делать со своей жизнью.

Пленный. Фильм Алексея Учителя

Пятая картина Алексея Учителя – экранизация повести Владимира Маканина, первоначально фильм планировался к выходу под названием «Кавказский пленный», как и литературный первоисточник. Но если в случае с прозой работали неизбежные ассоциации с Львом Толстым, то кинематограф столь же неизбежно напоминал известную комедию Гайдая. Поэтому просто – «Пленный».

Сюжет фильма буквально повторяет канву повести Маканина. Чеченская война, двое солдат берут пленного, которого предполагается обменять на нашего, которого держат у

себя чеченцы. Обмен не состоялся, пленником пришлось пожертвовать, чтобы выжить. Проще и грубее – убить своими руками, задушить, несмотря на то, что за время совместных хождений по чужой и прекрасной земле оказалось, что враги могут по-человечески общаться между собой и даже помогать друг другу. Что за этим стоит – широта русской души или скрытая гомоэротика, (более четко прописанная в повести Маканина), в которой никогда не решится признаться себе герой фильма, не так уж и важно.

Кто же, собственно, пленный? Почему это слово вынесено в название? Чеченский юноша Джамал или солдат Рубахин, которого «держит в плену» долг, сиюминутная необходимость принимать страшные и гибельные – и для других, и для него самого, как духовного существа – решения?

Оказывается, эта ситуация вненациональна и не привязана к конкретному эпизоду нашей истории. Когда фильм «Пленный» получил приз за лучшую режиссеру на кинофестивале в Карловых Варах, к Алексею Учителю обратились американские кинематографисты с предложением сделать ремейк «Пленного». Действие предполагаемого фильма будет происходить в Ираке и его героями будут американские солдаты.

Действительно, во время просмотра фильма возникают ассоциации – от противного, естественно, – с американским военным кинематографом. Смелые парни берут пленного и, рискуя жизнью, спасают своих. Кто-то, конечно, гибнет, но тем радостнее победа, тем дороже счастливый финал. В этом фильме его нет.

Как нет его, собственно, во всех фильмах Учителя. «Пленный» продолжает линию, заданную лентами «Прогулка» и «Космос как предчувствие». Во всех этих фильмах герои сталкиваются с незнакомцами, которые круто меняют их жизнь, заставляя пересматривать привычную систему координат – и социальных, и внутренних. Эти встречи дают им новое знание о себе и мире. И знание это – печально.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Сергей Боровиков
Алексей Александров
Роман Арбитман
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Сергей Слепухин
Олег Рогов

Формат 60x84 $^{1}/_{16}$. Усл. печ. л. 24
Уч.-изд. л. 20,8
Подписано в печать 14 января 2009 г.
Журнал отпечатан в типографии
Адрес типографии:

Заказ №
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.